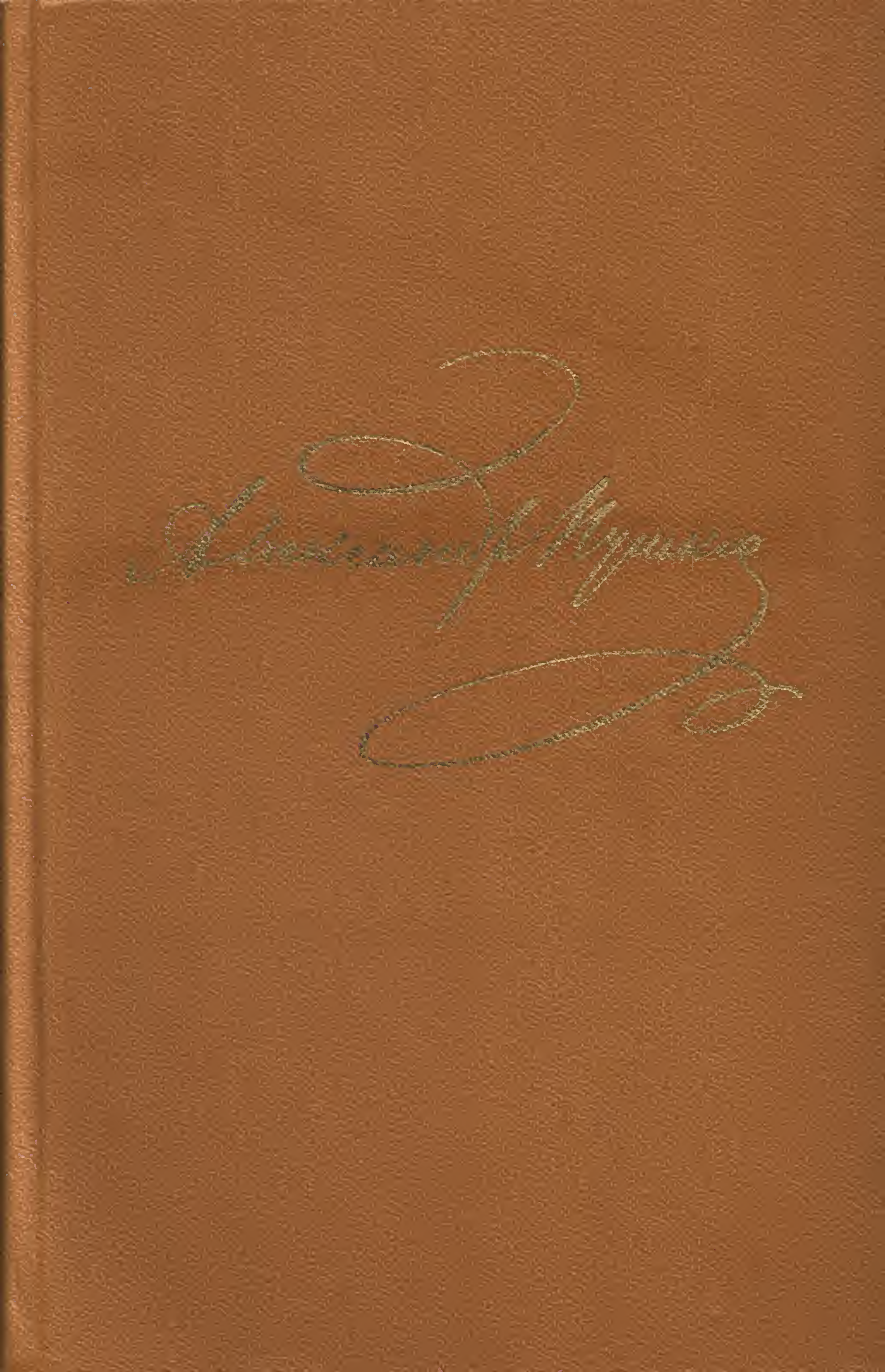




А. С. ПУШКИН

Акварель художника П. Соколова. 1830 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



А. С. ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

* * *

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД 1978

А. С. ПУШКИН

ТОМ СЕДЬМОЙ

КРИТИКА
И
ПУБЛИЦИСТИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД 1978

Печатается на основе
Полного собрания сочинений
А. С. Пушкина,
изданного Академией наук СССР

П $\frac{70301-567}{042(02)-78}$ Подписное

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

МОИ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ РУССКОМ ТЕАТРЕ

Должно ли сперва поговорить о себе, если захочешь поговорить о других? Нужна ли старая маска Лужнического пустынника для безымянного критика «Истории» Карамзина? Должно ли укрываться в чухонскую деревню, дабы сравнивать немку Ленору с шотландкой Людмилой и чувашкой Ольгою? Ужели, наконец, необходимо для любителя французских актеров и ненавистника русского театра прикинуться кривым и безруким инвалидом, как будто потерянный глаз и оторванная рука дают полное право и криво судить и не уметь писать по-русски? Думаю, что нет, и потому не прилагаю здесь ни своего послужного списка, ни свидетельства о рождении, ни росписи своим знакомым и друзьям, ни собственной апологии. Читатель, которому до меня нет никакой нужды, этим нимало не оскорбится, и если ему нечего делать, то пробежит мои *замечания об русском театре,* не заботясь, по какому поводу я их написал и напечатал.

Публика образует драматические таланты. Что такое наша публика?

Пред началом оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» — «От Семеновой, от Сосницкой, от Колосовой, от Истоминой».— «Как ты счастлив!» — «Сегодня она поет — она играет, она танцует — похлопаем ей — вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой талант!..» — Занавес подымается. Молодой человек, его приятели, переходя с места на место, восхищаются и хлопают. Не хочу здесь обвинять пылкую, ветреную молодость, знаю, что она требует снисходительности. Но можно ли полагаться на мнения таковых судей?

Часто певец или певица, заслужившие любовь нашей публики, фальшиво дотягивают арию Боэльдье или della Maria. Знатоки примечают, любители чувствуют, они молчат из уважения к таланту. *Прочие* хлопают из доверенности и кричат форо из приличия.

Трагический актер заревет громче, сильнее обыкновенного; оглушенный раёк приходит в исступление, театр трещит от рукоплесканий.

Актриса... Но довольно будет, если скажу, что невозможно ценить таланты наших актеров по шумным одобрениям нашей публики.

Еще замечание. Значительная часть нашего партера (т. е. кресел) слишком занята судьбою Европы и отечества, слишком утомлена трудами, слишком глубокомысленна, слишком важна, слишком осторожна в изъявлении душевных движений, дабы принимать какое-нибудь участие в достоинстве драматического искусства (к тому же русского). И если в половине седьмого часу одни и те же лица являются из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел, то это более для них условный этикет, нежели приятное отдохновение. Ни в каком случае невозможно требовать от холодной их рассеянности здравых понятий и суждений, и того менее — движения какого-нибудь чувства. Следовательно, они служат только почтенным украшением Большого каменного театра, но вовсе не принадлежат ни к толпе любителей, ни к числу просвещенных или пристрастных судей.

Еще одно замечание. Сии великие люди нашего времени, носящие на лице своем однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости, неразлучных с образом их занятий, сии всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, может быть, в одних только балетах, не должны ль необходимо охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить лень и томность на их души, если природа одарила их душою?

Но посмотрим, достойны ли русские актеры такого убийственного равнодушия. Разберем отдельно трагедию, комедию, оперу и балет и постараемся быть снисходительными и строгими, но особливо беспристрастными.

Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама

собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения, всё сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Она украсила несовершенные творения несчастного Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины; она одушевила измеренные строки Лобанова; в ее устах понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией. В пестрых переводах, составленных общими силами и которые, по несчастью, стали нынче слишком обыкновенны, слышали мы одну Семенову, и гений актрисы удержал на сцене все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых каждый отец отрекается поодиначке. Семенова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости, прекратились, она осталась единодержавною царицею трагической сцены. Было время, когда хотели с нею сравнивать прекрасную комическую актрису Валберхову, которая в роли Дидоны живо напоминала нам жеманную Селимену (так, как в роли *Ревнивой жены* * напоминает она и теперь карфагенскую царицу). Но истинные почитатели ее таланта забыли, что видали ее в венце и мантии, которые весьма благоразумно сложила она для платья с шлейфом и шляпки с перьями.

В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно, частая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во всё продолжение игры ее рукоплесканья не прерывались. По окончанию трагедии она была вызвана криками исступления, и когда г-жа Колосова большая

Filiae pulchrae mater pulchrior

---

* Иные почитают лучшею ролью г-жи Валберховой роль *Ревнивой жены*. Совершенно несправедливо. Разве они не видали ее в «Мизантропе», в «Нечаянном закладе», в «Пустодомах» и проч.?

в русской одежде, блистая материнскою гордостью, вышла в последующем балете, всё загремело, всё закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу. Пример единственный в истории нашего театра. Рассказываю просто, не делая на это никаких замечаний. Три раза сряду Колосова играла три разные роли с равным успехом. Чем же всё кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел, похвалы стали умереннее, рукоплескания утихли, перестали ее сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре стала она являться пред опустелым театром. Наконец, в ее бенефис, когда играла она роль Заиры, все заснули и проснулись только тогда, когда христианка Заира, умерщвленная в пятом действии трагедии, показалась в конце довольно скучного водевиля в малиновом сарафане, в золотой повязке, и пошла плясать по-русски с большою приятностию на голос: *Во саду ли, в огороде.*

Если Колосова будет менее заниматься флигель-адъютантами е. и. в., а более своими ролями; если она исправит свой однообразный напев, резкие вскрикиванья и парижский выговор буквы *Р*, очень приятный в комнате, но неприличный на трагической сцене, если жесты ее будут естественнее и не столь жеманными, если будет подражать не только одному выражению лица Семеновой, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем истинно хорошую актрису — не только прелестную собой, но и прекрасную умом, искусством и неоспоримым дарованием. Красота проходит, таланты долго не увядают. Кто нынче говорит об Каратыгиной, которая, по собственному признанию, никогда не могла понять смысла ни единого слова своей роли, если она писана была стихами? Было время, когда ослепленная публика кричала об чудном таланте прелестной любовницы Яковлева; теперь она наряду с его законною вдовою, и никто не возьмет на себя решить, которая из них непонятнее и неприятнее. Скромная, никем не замеченная Яблочкина, понявшая совершенно всю ничтожность лица трагической наперсницы, предпочитается им обеим простым, равнодушным чтением стихов, которое, по крайней мере, никогда не вредит игре главной актрисы.

Долго Семенова являлась перед нами с диким, но пламенным Яковлевым, который, когда не был пьян, напоми-

нал нам пьяного Тальма. В то время имели мы двух трагических актеров! Яковлев умер; Брянский заступил его место, но не заменил его. Брянский, может быть, благопристойнее, вообще имеет более благородства на сцене, более уважения к публике, тверже знает свои роли, не останавливает представлений *внезапными своими болезнями;* но зато какая холодность! какой однообразный, тяжелый напев!

По мне уж лучше пей,
Да дело разумей.

Яковлев имел часто восхитительные порывы гения, иногда порывы лубочного Тальма. Брянский всегда, везде одинаков. Вечно улыбающийся Фингал, Тезей, Орозман, Язон, Димитрий — равно бездушны, надуты, принужденны, томительны. Напрасно говорите вы ему: расшевелись, батюшка! развернись, рассердись, ну! ну! Неловкий, размеренный, сжатый во всех движениях, он не умеет владеть ни своим голосом, ни своей фигурою. Брянский в трагедии никогда никого не тронул, а в комедии не рассмешил. Несмотря на это, как комический актер он имеет преимущество и даже истинное достоинство.

Оставляю на жертву *бенуару* Щеникова, Глухарева, Каменогорского, Толченова и проч. Все они, принятые сначала с восторгом, а после падшие в презрение самого райка, *погибли без шума.* Но из числа сих отверженных исключим Борецкого. Любовь, иные думают, несчастная, к своему искусству увлекла его на трагическую сцену. Он не имеет величественной осанки Яковлева, ни даже довольно приятной фигуры Брянского, его напев еще однообразнее и томительнее, вообще играет он хуже его. Certes! c'est beaucoup dire — со всем тем я Борецкого предпочитаю Брянскому. Борецкий имеет чувство; мы слыхали порывы души его в роли Эдипа и старого Горация. Надежда в нем еще не пропала. Искоренение всех привычек, совершенная перемена методы, новый образ выражаться могут сделать из Борецкого, одаренного средствами душевными и физическими, актера с великим достоинством.

Но оставим неблагодарное поле трагедии и приступим к разбору комических талантов.

О ПРОЗЕ

Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюфона. Этот человек пишет: Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь». Лагарп удивляется сухому рассуждению философа. Но д'Аламбер очень умный человек — и, признаюсь, я почти согласен с его мнением.

Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне — великом живописце природы, коего слог, цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы, некоторые картины отделаны кистию мастерской. Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут *дружба,* не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее.

Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актриса — и продолжай — будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет.

Презренный зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского Парнаса, коего утомительная тупость может только сравниться с неутомимой злостию... боже мой, зачем просто не сказать *лошадь;* не короче ли — г-н издатель такого-то журнала.

Вольтер может почесться лучшим образом благоразумного слога. Он осмеял в своем «Микромегасе» изысканность тонких выражений Фонтенеля, который никогда не мог ему того простить. *

Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выра-

---

* Кстати о слоге, должно ли в сем случае сказать — не мог ему того простить — или не мог ему то простить? Кажется, что слова сии зависят не от глагола *мог,* управляемого частицей *не,* но от неопределенного наклонения *простить,* требующего *винительного* падежа. Впрочем, Н. М. Карамзин пишет иначе.

жения ни к чему не служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется).

Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — *Карамзина*. Это еще похвала не большая — скажем несколько слов об сем почтенном . . . .
. . . .

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

В течение последних четырех лет мне случалось быть предметом журнальных замечаний. Часто несправедливые, часто непристойные, иные не заслуживали никакого внимания, на другие издали отвечать было невозможно. Оправдания оскорбленного авторского самолюбия не могли быть занимательны для публики; я молча предполагал исправить в новом издании недостатки, указанные мне каким бы то ни было образом, и с живейшей благодарностию читал изредка лестные похвалы и ободрения, чувствуя, что не одно, довольно слабое, достоинство моих стихотворений давало повод благородному изъявлению снисходительности и дружелюбия.

Ныне нахожусь в необходимости прервать молчание. Князь П. А. Вяземский, предприняв из дружбы ко мне издание «Бахчисарайского фонтана», присоединил к оному «Разговор между Издателем и Антиромантиком», разговор, вероятно, вымышленный: по крайней мере, если между нашими печатными классиками многие силою своих суждений сходствуют с Классиком Выборгской стороны, то, кажется, ни один из них не выражается с его остротой и светской вежливостью.

Сей разговор не понравился одному из судей нашей словесности. Он напечатал в 5 № «Вестника Европы» второй разговор между Издателем и Классиком, где между прочим прочел я следующее:

«Изд. Итак, разговор мой вам не нравится? — *Класс.* Признаюсь, жаль, что вы напечатали его при прекрасном стихотворении Пушкина, думаю, и сам автор об этом пожалеет».

Автор очень рад, что имеет случай благодарить князя Вяземского за прекрасный его подарок. «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения.

Не хочу или не имею права жаловаться по другому отношению и с искренним смирением принимаю похвалы неизвестного критика.

Александр Пушкин

Одесса

О ПРИЧИНАХ, ЗАМЕДЛИВШИХ ХОД НАШЕЙ СЛОВЕСНОСТИ

Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1) общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались,— но кто же виноват, как не они сами. Исключая тем, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может быть довольно привлекателен. У нас еще нет ни словесности, ни книг, * все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны.

Но русская поэзия, скажут мне, достигла высокой степени образованности. Согласен, что некоторые оды Державина, несмотря на неровность слога и неправильность языка, исполнены порывами истинного гения, что в «Душеньке» Богдановича встречаются стихи и целые страни-

* ...в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной.
Согласен с последним полустишием.

цы, достойные Лафонтена, что Крылов превзошел всех нам известных баснописцев, исключая, может быть, сего же самого Лафонтена, что Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского; что Жуковского перевели бы все языки, если б он сам менее переводил.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ЦЫГАНАМ»

1

Долго не знали в Европе происхождения цыганов; считали их выходцами из Египта — доныне в некоторых землях и называют их египтянами. Английские путешественники разрешили наконец все недоумения — доказано, что цыгане принадлежат отверженной касте индейцев, называемых *париа*. Язык и то, что можно назвать их верою,— даже черты лица и образ жизни — верные тому свидетельства. Их привязанность к дикой вольности, обеспеченной бедностию, везде утомила меры, принятые правительством для преобразования праздной жизни сих бродяг — они кочуют в России, как и в Англии; мужчины занимаются ремеслами, необходимыми для первых потребностей, торгуют лошадьми, водят медведей, обманывают и крадут, женщины промышляют ворожбой, пеньем и плясками.

В Молдавии цыгане составляют большую часть народонаселения; но всего замечательнее то, что в Бессарабии и Молдавии крепостное состояние есть только между сих смиренных приверженцев первобытной свободы. Это не мешает им, однако же, вести дикую кочевую жизнь, довольно верно описанную в сей повести. Они отличаются перед прочими большей нравственной чистотой. Они не промышляют ни кражей, ни обманом. Впрочем, они так же дики, так же бедны, так же любят музыку и занимаются теми же грубыми ремеслами. Дань их составляет неограниченный доход супруги господаря.

2

П р и м е ч а н и е. Бессарабия, известная в самой глубокой древности, должна быть особенно любопытна для нас:

Она Державиным воспета
И славой русскою полна.

Но доныне область сия нам известна по ошибочным описаниям двух или трех путешественников. Не знаю, выйдет ли когда-нибудь «Историческое и статистическое описание оной», составленное И. П. Липранди, соединяющим ученость истинную с отличными достоинствами военного человека.

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ А. БЕСТУЖЕВА «ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛА 1825 ГОДОВ»

Бестужев предполагает, что словесность всех народов следовала общим законам природы. *Что это значит?* Первый век ее был возрастом *гениев.*

Кажется, автор хотел сказать, что всякая словесность имеет свое постепенное развитие и упадок. Нет.

Автор первым ее периодом предполагает век «сильных чувств и гениальных творений». «По времени *круг сей* (какой?) стесняется... Жажда нового ищет нечерпанных источников, и гении смело кидаются в обход мимо толпы в поиске новой земли мира нравственного и вещественного, пробивают свои стези». Следовательно, настает новый период, но г-н Бестужев сливает их в одно и продолжает: «За сим веком творения и полноты следует век посредственности, удивления и отчета. Песенники последовали за лириками, комедия вставала за трагедиею; но история, критика и сатира были всегда младшими ветвями словесности. Так было везде». Нет. О греческой поэзии судить нам невозможно — до нас дошло слишком мало памятников оной. О греческой критике мы не имеем и понятия. Но мы знаем, что Геродот жил прежде Эсхила, гениального творца трагедии. Невий предшествовал Горацию, Энний — Виргилию, Катулл — Овидию, Гораций — Квинтилиану, Лукан и Сенека явились гораздо позже. Всё это не может подойти под общее определение г. Бестужева.

Спрашивается, которая из новейших словесностей являет постепенность, своевольно определенную г. Бестужевым? Романтическая словесность началась триолетами. Таинства, ле, фаблио предшествовали созданиям Ариоста, Кальдерона, Данте, Шекспира. После кавалера Marini явился Alfieri, Monti и Foscolo, после Попа и

Аддиссона — Байрон, Мур и Соуве. Во Франции романтическая поэзия долго младенчествовала. Лучший стихотворец времени Франциска I Marot

Rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела сильный перевес: Монтань, Рабле были современниками Марота.

Спрашивается, где видим и тень закона, определенного г. Бестужевым?

У нас есть критика? где ж она? Где наши Аддиссоны, Лагарпы, Шлегели, Sismondi? что мы разобрали? чьи литературные мнения сделались народными, на чьи критики можем мы сослаться, опереться?

Но г-н Бестужев сам же говорит ниже — «критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало».

О г-же СТАЛЬ и о г. А.М—ВЕ

Из всех сочинений г-жи Сталь книга «Десятилетнее изгнание» должна была преимущественно обратить на себя внимание русских. Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новости и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы,— всё приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины. Вот что сказано об ней в одной рукописи: «Читая ее книгу „Dix ans d'exil", можно видеть ясно, что, тронутая ласковым приемом русских бояр, она не высказала всего, что бросалось ей в глаза. * Не смею в том укорять красноречивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу, вечному предмету невежественной клеветы писателей иностранных». Эта снисходительность, которую не смеет порицать автор рукописи, именно и составляет главную прелесть той части книги, которая посвящена описанию нашего отечества. Г-жа Сталь оставила Россию как священное убежище, как семейство, в которое она была принята с доверенностию и

* Речь идет о большом обществе петербургском, прежде 1812 года.

радушием. Исполняя долг благородного сердца, она говорит об нас с уважением и скромностию, с полнотою душевною хвалит, порицает осторожно, *не выносит сора из избы*. Будем же и мы благодарны знаменитой гостье нашей: почтим ее славную память, как она почтила гостеприимство наше...

Из России г-жа Сталь ехала в Швецию по печальным пустыням Финляндии. В преклонных летах, удаленная от всего милого ее сердцу, семь лет гонимая деятельным деспотизмом Наполеона, принимая мучительное участие в политическом состоянии Европы, она не могла, конечно, в сие время (в осень 1812 года) сохранить ясность души, потребную для наслаждения красотами природы. Не мудрено, что почернелые скалы, дремучие леса и озера наводили на нее уныние.

Недоконченные ее записки останавливаются на мрачном описании Финляндии...

Г-н А. М.,* *пробегая снова книжку г-жи Сталь, набрел* на сей последний отрывок и перевел его довольно тяжелою прозою, присовокупив к оному следующие *замечания на грёзы г-жи Сталь:* «Не говоря уже о обличении ветреного легкомыслия, отсутствия наблюдательности и совершенного неведения местности, невольно поражающих читателей, *знакомых с творениями автора книги о Германии,* я в свою очередь был поражен самим рассказом, во всем подобным пошлому пустомельству тех *щепетильных французиков, которые, немного времени тому назад, являясь с скудным запасом сведений и богатыми надеждами в Россию, так радостно принимались щедрыми и подчас неуместно добродушными нашими соотечественниками (только по образу мыслей не нашими современниками)».*

Что за слог и что за *тон!* Какое сношение имеют две страницы Записок с «Дельфиною», «Коринною», «Взглядом на французскую революцию» и пр., и что есть общего между *щепетильными (?) французиками* и дочерью Неккера, гонимою Наполеоном и покровительствуемою великодушием русского императора?

«Кто читал творения г-жи Сталь,— продолжает г. А. М.,— в коих так часто ширяется она и пр..., тому точно покажется странным, как беспредельные леса и пр... не

* «Сын отечества», № 10.

сделали другого впечатления на автора „Коринны“, кроме скуки от единообразия!» — За сим г. А. М. ставит в пример самого себя. «Нет! никогда,— говорит он,— не забуду я волнения души моей, расширявшейся для вмещения столь сильных впечатлений. Всегда буду помнить утра... и пр.» — Следует описание северной природы слогом, совершенно отличным от прозы г-жи Сталь.

Далее советует он покойной сочинительнице, *посредством какого-либо толмача, расспросить извозчиков своих о точной причине пожаров* и пр.

Шутка о близости волков и медведей к Абовскому университету отменно не понравилась г-ну А. М.; но г. А. М. и сам расшутился. «Ужели,— говорит он,—400 студентов, там воспитывающихся, готовят себя в звероловы? В этом случае академию сию могла бы она точнее назвать псарным двором? Ужели г-жа Сталь не нашла другого *способа отыскивать причин,* замедляющих ход просвещения, как, перерядившись Дианой, заставить читателя рыскать вместе с собою в лесах финляндских, по порошам за медведями и волками, и зачем их искать в берлогах?.. Наконец от страха, наведенного *на робкую душу нашей барыни»,* и проч.

О сей *барыне* должно было говорить языком вежливым образованного человека. Эту *барыню* удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной.

Уважен хочешь быть, умей других уважить.

Ст. Ар.

9 июня 1825

О ПРЕДИСЛОВИИ г-на ЛЕМОНТЕ К ПЕРЕВОДУ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА

Любители нашей словесности были обрадованы предприятием графа Орлова, хотя и догадывались, что способ перевода, столь блестящий и столь недостаточный, нанесет несколько вреда басням неподражаемого нашего поэта. Многие с большим нетерпением ожидали предисловия г-на Лемонте; оно в самом деле очень замечательно, хотя и не совсем удовлетворительно. Вообще там, где

автор должен был необходимо писать понаслышке, суждения его могут иногда показаться ошибочными; напротив того, собственные догадки и заключения удивительно правильны. Жаль, что сей знаменитый писатель едва коснулся до таких предметов, о коих мнения его должны быть весьма любопытны. Читаешь его статью * с невольной досадою, как иногда слушаешь разговор очень умного человека, который, будучи связан какими-то приличиями, слишком многого не договаривает и слишком часто отмалчивается.

Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь на уверения русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилен разнообразными оборотами.

Мнения сии нетрудно было оправдать. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.*

Г-н Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стопая под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных

* По крайней мере в переводе, напечатанном в «Сыне отечества». Мы не имели случая видеть французский подлинник.

властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на порабощенный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка; он один оставался неприкосновенною собственностию несчастного нашего отечества.

В царствование Петра I-го начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастию, явился Ломоносов.

Г-н Лемонте в одном замечании говорит о всеобъемлющем гении Ломоносова; но он взглянул не с настоящей точки на великого сподвижника великого Петра.

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка.

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни: но если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему предложения

псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения. * Они останутся вечными памятниками русской словесности; по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему; но странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, чтобы человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики. Как будто нужны для славы великого Ломоносова мелочные почести модного писателя!

Упомянув об исключительном употреблении французского языка в образованном кругу наших обществ, г. Лемонте столь же остроумно, как и справедливо, замечает, что русский язык чрез то должен был непременно сохранить драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений. Не хочу оправдывать нашего равнодушия к успехам отечественной литературы, но нет сомнения, что если наши писатели чрез то теряют много удовольствия, по крайней мере язык и словесность много выигрывают. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей 18 столетия? Общество M-e du Deffand, Boufflers, d'Epinay, очень милых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали не для *благосклонной улыбки прекрасного пола.*

Строгий и справедливый приговор французскому языку делает честь беспристрастию автора. Истинное просвещение беспристрастно. Приводя в пример судьбу сего прозаического языка, г. Лемонте утверждает, что и наш язык, не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать *европейской своей общежительности.* Русский переводчик оскорбился сим выражением; но ес-

---

* Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над *славянщизнами* Ломоносова, как важно советует он ему перенимать *легкость* и *щеголевитость речений изрядной компании!* Но удивительно, что Сумароков с большою точностию определил в одном полустишии истинное достоинство Ломоносова-поэта:

Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен!
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, etc.

ли в подлиннике сказано civilisation Européenne, то сочинитель чуть ли не прав.

Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны.

Г-н Лемонте, входя в некоторые подробности касательно жизни и привычек нашего Крылова, сказал, что он не говорит ни на каком иностранном языке и только понимает по-французски. *Неправда!* — резко возражает переводчик в своем примечании. В самом деле, Крылов знает главные европейские языки и, сверх того, он, как Альфиери, пятидесяти лет выучился древнему греческому. В других землях таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах; но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается.

В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно народного поэта, дабы познакомить Европу с литературою севера. Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие (naïveté, bonhomie) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов.

Н. К.

12 августа

P. S. Мне показалось излишним замечать некоторые явные ошибки, простительные иностранцу, например

сближение Крылова с Карамзиным (сближение, ни на чем не основанное), мнимая неспособность языка нашего к стихосложению совершенно метрическому и проч.

О ПОЭЗИИ КЛАССИЧЕСКОЙ И РОМАНТИЧЕСКОЙ

Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму всё, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое неточное. Стихотворение может являть все сии признаки, а между тем принадлежать к роду классическому.

Если вместо *формы* стихотворения будем брать за основание только *дух*, в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений. Гимн Ж.-Б. Руссо духом своим, конечно, отличается от оды Пиндара, сатира Ювенала от сатиры Горация, «Освобожденный Иерусалим» от «Энеиды», однако ж все они принадлежат к роду классическому.

К сему роду должны отнестись те стихотворения, коих *формы* известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили; следственно, сюда принадлежат: эпопея, поэма дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и басня.

Какие же роды стихотворения должны отнестись к поэзии романтической?

Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими.

Не считаю за нужное говорить о поэзии греков и римлян: каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности. Взглянем на происхождение и на постепенное развитие поэзии новейших народов.

Западная империя клонилась быстро к падению, а с нею науки, словесность и художества. Наконец она пала; просвещение погасло. Невежество омрачило окровавленную Европу. Едва спаслась латинская грамота; в пыли

книгохранилищ монастырских монахи соскобляли с пергамента стихи Лукреция и Виргилия и вместо их писали на нем свои хроники и легенды.

Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков; побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие — любить размеренность, соответственность свойственно уму человеческому. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились virelai, баллада, рондо, сонет и проч.

От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним; мелочное остроумие заменило чувство, которое не может выражаться триолетами. Мы находим несчастные сии следы в величайших гениях новейших времен.

Но ум не может довольствоваться одними игрушками гармонии, воображение требует картин и рассказов. Трубадуры обратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили народные предания,— родился ле, романс и фаблио.

Темные понятия о древней трагедии и церковные празднества подали повод к сочинению *таинств* (mystères). Они почти все писаны на один образец и подходят под одно уложенье, но, к несчастию, в то время не было Аристотеля для установления непреложных законов мистической драматургии.

Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы.

Мавры внушили ей исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие востока; рыцари сообщили свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольность нравов походных станов Годфреда и Ричарда.

Таково было смиренное начало романтической поэзии. Если бы она остановилась на сих опытах, то строгие приговоры французских критиков были бы справедливы, но отрасли ее быстро и пышно процвели, и она является нам соперницею древней музы.

Италия присвоила себе ее эпопею, полуафриканская Гишпания завладела трагедией и романом, Англия противу имени Dante, Ариосто и Кальдерона с гордостию выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира. В Германии (что довольно странно) отличилась новая сатира, едкая, шутливая, коей памятником остался Ренике Фукс.

Во Франции тогда поэзия всё еще младенчествовала: лучший стихотворец времени Франциска I

Rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела сильный перевес: Монтань, Рабле были современниками Марота.

В Италии и в Гишпании народная поэзия уже существовала прежде появления ее гениев. Они пошли по дороге уже проложенной: были поэмы прежде Ариостова «Орланда», были трагедии прежде созданий de Vega и Кальдерона.

Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве, без всякого направления, безо всякой силы. Образованные умы века Людовика XIV справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к древним образцам. Буало обнародовал свой коран — и французская словесность ему покорилась.

Сия лжеклассическая поэзия, образованная в передней и никогда не доходившая далее гостиной, не могла отучиться от некоторых врожденных привычек, и мы видим в ней всё романтическое жеманство, облеченное в строгие формы классические.

P. S. Не должно думать, однако ж, чтоб и во Франции не осталось никаких памятников чистой романтической поэзии. Сказки Лафонтена и Вольтера и «Дева» сего последнего носят на себе ее клеймо. Не говорю о многочисленных подражаниях тем и той (подражаниях, по большей части посредственных: легче превзойти гениев в забвенье всех приличий, нежели в поэтическом достоинстве).

О СТИХОТВОРЕНИИ «ДЕМОН»

Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную.

В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гёте называет вечного врага человечества *духом отрицающим*. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух *отрицания или сомнения*, и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века.

ОБ АНДРЕ ШЕНЬЕ

André Chénier погиб жертвою французской революции на 31 году от рождения. Долго славу его составляло несколько слов, сказанных о нем Шатобрианом, два или три отрывка, и общее сожаление об утрате всего прочего. Наконец творения его были отысканы и вышли в свет 1819 года. Нельзя воздержаться от горестного чувства...

О ТРАГЕДИИ

Изо всех родов сочинений самые неправдоподобные (invraisemblables) сочинения драматические, а из сочинений драматических — трагедии, ибо зритель должен забыть, по большей части, время, место, язык; должен усилием воображения согласиться в известном наречии — к стихам, к вымыслам. Французские писатели это чувствовали и сделали свои своенравные правила: действие, место, время. Занимательность будучи первым законом драматического искусства, единство действия должно быть соблюдаемо. Но место и время слишком своенравны: от сего происходят какие неудобства, стеснение места действия. Заговоры, изъяснения любовные, государственные совещания, празднества — всё происходит в одной комнате! — Непомерная быстрота и стесненность происшествий, наперсники... a parte столь же несообразны с рассудком, принуждены были в двух местах и проч. И всё это ничего не значит. Не короче ли следовать

школе романтической, которая есть отсутствие всяких правил, но не всякого искусства?

Интерес — единство.

Смешение родов комического и трагического, напряжение, изысканность необходимых иногда простонародных выражений.

О НАРОДНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ

С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность.

Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории.

Но мудрено отъять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и проч.— достоинства большой народности; Vega и Кальдерон поминутно переносят во все части света, заемлют предметы своих трагедий из итальянских новелл, из французских ле. Ариосто воспевает Карломана, французских рыцарей и китайскую царевну. Трагедии Расина взяты им из древней истории.

Мудрено, однако же, у всех сих писателей оспоривать достоинства великой народности. Напротив того, *что есть народного в Петриаде и Россиаде, кроме имен,* как справедливо заметил кн. Вяземский. Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?

Другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения.

Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана, вызывающего на дуэль своего противника. Всё это носит, однако ж, печать народности.

Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее от-

ражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу.

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА В «МНЕМОЗИНЕ»

Статьи «О направлении нашей поэзии» и «Разговор с г. Булгариным», напечатанные в «Мнемозине», послужили основанием всего, что сказано было противу романтической литературы в последние два года.

Статьи сии написаны человеком ученым и умным. Правый или неправый, он везде предлагает и дает причины своего образа мыслей и доказательства своих суждений, дело довольно редкое в нашей литературе.

Никто не стал опровергать его, потому ли, что все с ним согласились, потому ли, что не хотели связаться с атлетом, по-видимому сильным и опытным.

Несмотря на то, многие из суждений его ошибочны во всех отношениях. Он разделяет русскую поэзию на лирическую и эпическую. К первой относит произведения старинных поэтов наших, ко второй Жуковского и его последователей.

Теперь положим, что разделение сие справедливо, и рассмотрим, каким образом критик определяет степень достоинства сих двух родов.

«Мы, напр...», выписываем сие мнение, потому что оно совершенно согласно с нашим.

Что такое *сила* в поэзии? сила в изобретенье, в расположении плана, в слоге ли?

Свобода? в слоге, в расположении,— но какая же свобода в слоге Ломоносова и какого плана требовать в торжественной оде?

Вдохновение? есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных.

Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом.

Нет; решительно нет: *восторг* исключает *спокойствие*, необходимое условие *прекрасного*. Восторг не предполагает силы ума, располагающей части в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следственно, не в силе произвесть истинное великое совершенство (без которого нет лирической поэзии).

Восторг есть напряженное состояние единого воображения. Вдохновение может быть без восторга, а восторг без вдохновения не существует.

Гомер неизмеримо выше Пиндара; ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм. Трагедия, комедия, сатира все более ее требуют творчества (fantaisie), воображения — гениального знания природы.

Но *плана* нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения. Какой план в олимпийских одах Пиндара, какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина?

Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого.

О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ

Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий. Лет 15 тому назад молодые люди занимались только военною службою, старались отличаться одною светской образованностию или шалостями; литература (в то время столь свободная) не имела никакого направления; воспитание ни в чем не отклонялось от первоначальных начертаний. 10 лет спустя мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический; литературу (подавленную самой своенравною цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и возмутительные песни; наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные.

Ясно, что походам 13 и 14 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие

влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах; должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей. Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение, еще не наученное никаким опытом и которое скоро явится на поприще жизни со всею пылкостию первой молодости, со всем ее восторгом и готовностию принимать всякие впечатления.

Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла. *Не просвещению,* сказано в высочайшем манифесте от 13-го июля 1826 года, *но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель.* Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия.

Чины сделались страстию русского народа. Того хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее состояние России. В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником. Он входит в свет безо всяких основательных познаний, без всяких положительных правил: всякая мысль для него нова, всякая новость имеет на него влияние. Он не в состоянии ни поверять, ни возражать; он становится слепым приверженцем или жалким повторителем первого товарища, который захочет оказать над ним свое превосходство или сделать из него свое орудие.

Конечно, уничтожение чинов (по крайней мере гражданских) представляет великие выгоды; но сия мера влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как вообще всякое изменение постановлений, освященных временем и

привычкою. Можно, по крайней мере, извлечь некоторую пользу из самого злоупотребления и представить чины целию и достоянием просвещения; должно увлечь всё юношество в общественные заведения, подчиненные надзору правительства; должно его там удержать, дать ему время перекипеть, обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм.

В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника. Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное.

Надлежит всеми средствами умножить невыгоды, сопряженные с оным (например, прибавить годы унтерофицерства и первых гражданских чинов).

Уничтожить экзамены. Покойный император, удостоверясь в ничтожестве ему предшествовавшего поколения, желал открыть дорогу просвещенному юношеству и задержать как-нибудь стариков, закоренелых в безнравствии и невежестве. Отселе указ об экзаменах, мера слишком демократическая и ошибочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации, вытеснив всё новое поколение в военную службу. А так как в России всё продажно, то и экзамен сделался новой отраслию промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною. Итак (с такого-то году), *молодой человек, не воспитанный в государственном училище, вступая в службу, не получает вперед никаких выгод и не имеет права требовать экзамена.*

Уничтожение экзаменов произведет большую радость в старых титулярных и коллежских советниках, что и будет хорошим противудействием ропоту родителей, почитающих своих детей обиженными.

Что касается до воспитания заграничного, то запре-

щать его нет никакой надобности. Довольно будет опутать его одними невыгодами, сопряженными с воспитанием домашним, ибо, 1-е, весьма немногие станут пользоваться сим позволением; 2-е, воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои неудобства, не в пример для нас менее вредно воспитания патриархального. Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Гетингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностию и умеренностию — следствием просвещения истинного и положительных познаний. Таким образом, уничтожив или, по крайней мере, сильно затруднив воспитание частное, правительству легко будет заняться улучшением воспитания общественного.

Ланкастерские школы входят у нас в систему военного образования и, следовательно, состоят в самом лучшем порядке.

Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большего присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников; доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию; чрез сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства. Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание; за возмутительную — исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе: наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастию, слишком у нас обыкновенное.

Уничтожение телесных наказаний необходимо. Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия; не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом; слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников.

В гимназиях, лицеях и пансионах при университетах должно будет продлить, по крайней мере, 3-мя годами круг обыкновенный учения, *по мере того повышая и чины, даваемые при выпуске.*

Преобразование семинарий, рассадника нашего духовенства, как дело высшей государственной важности, требует полного особенного рассмотрения.

Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены. Кажется, однако ж, что языки слишком много занимают времени. К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уже достаточен? К чему латинский или греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?

Во всех почти училищах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах. Всё это отвлекает от учения, приучает детей к мелочным успехам и ограничивает идеи, уже и без того слишком у нас ограниченные.

Высшие политические науки займут окончательные годы. Преподавание прав, политическая экономия по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистика, история.

История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений. К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны.

Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. «История государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве.

Сам от себя я бы никогда не осмелился представить на рассмотрение правительства столь недостаточные замечания о предмете столь важном, каково есть народное воспитание: одно желание усердием и искренностию оправдать высочайшие милости, мною не заслуженные, понудило меня исполнить вверенное мне препоручение. Ободренный первым вниманием государя императора, всеподданнейше прошу его величество дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых.

ОБ АЛЬМАНАХЕ «СЕВЕРНАЯ ЛИРА»

Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движении и успехах. Несколько приятных стихотворений, любопытные прозаические переводы с восточных языков, имя Баратынского, Вяземского ручаются за успех «Северной лиры», первенца московских альманахов.

Из стихотворений «Греческая песнь» Туманского, «К одесским друзьям» (его же) отличаются гармонией, точностию слога и обличают решительный талант. Между другими поэтами в первый раз увидели мы г-на Муравьева и встретили его с надеждой и радостию. О г. Шевыреве умолчим как о своем сотруднике.

Заметим, что г-ну Абр. Норову не должно было бы переводить Dante, а г-ну Ознобишину — Андрея Шенье. Предоставляем арабским журналистам заступаться за честь своих поэтов, переводимых г-ном Делибюрадером,— что касается до нас, то мы находим его преложения изрядными для татарина.

Прозаическая статья о Петрарке и Ломоносове могла быть любопытна и остроумна. В самом деле, сии два великие мужа имеют между собою сходство. Оба основали словесность своего отечества, оба думали основать свою славу важнейшими занятиями, но вопреки им самим более известны как народные стихотворцы. Отделенные друг от друга временем, обстоятельствами жизни, политическим положением отечества, они сходствуют твердостию, неутомимостью духа, стремлением к просвещению, наконец уважением, которое умели приобрести от своих соотечественников. Но г-н Р. глубокомысленно замечает, что

Петрарка был влюблен в Лауру, а *Ломоносов* уважал Петра и Елисавету; что Петрарка писал на латинском языке, написал поэму Сципион Африканский (т. е. Africa), а Ломоносов латинской поэмы не написал. Он в любопытном отступлении рассказывает, что старик приходил из Испании в Рим к Титу Ливию и что *такой же* старец, но к тому же *слепой,* приходил *видеть* Петрарку,— таковой чудесный пример наш Ломоносов не может представить; наконец, что Роберт, король неаполитанский, спросил однажды у Петрарки, отчего он не представился Филиппу и проч., но что он (г. Р.) не знает, что бы сказал Ломоносов в таком случае.

Долго г-н Р. не знал, почему «у нашего холмогорца такая свежесть, такая сладость в стихах, не говорю уже о силе, которою без сомнения обязан он древним; но перечитавши всё, написанное им, я нашел, что он умел и счастливо умел перенести в свои творения много, очень много итальянского и даже некоторые так называемые concetti». Сомнительно.

СТИХОТВОРЕНИЯ ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО 1827 г.

Наконец появилось собрание стихотворений Баратынского, так давно и с таким нетерпением ожидаемое. Спешим воспользоваться случаем высказать наше мнение об одном из первоклассных наших поэтов и (быть может) еще недовольно оцененном своими соотечественниками.

Первые произведения Баратынского обратили на него внимание. Знатоки с удивлением увидели в первых опытах стройность и зрелость необыкновенную.

Сие преждевременное развитие всех поэтических способностей, может быть, зависело от обстоятельств, но уже предрекало нам то, что ныне выполнено поэтом столь блистательным образом.

Первые произведения Баратынского были элегии и в этом роде он первенствует. Ныне вошло в моду порицать элегии, как в старину старались осмеять оды; но если вялые подражатели Ломоносова и Баратынского равно несносны, то из того еще не следует, что роды лирической и элегический должны быть исключены из разрядных книг поэтической олигархии.

Да к тому же у нас почти не существует чистая элегия. У древних отличалась она особым стихосложением, но иногда сбивалась на идиллию, иногда входила в трагедию, иногда принимала ход лирический (чему в новейшие времена видим примеры у Гёте).

О ДРАМАХ БАЙРОНА

Английские критики оспоривали у лорда Байрона драматический талант. Они, кажется, правы. Байрон, столь оригинальный в «Чайльд-Гарольде», в «Гяуре» и в «Дон Жуане», делается подражателем, коль скоро вступает на поприще драматическое: в Manfred'е подражал он «Фаусту», заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению благороднейшими; но «Фауст» есть величайшее создание поэтического духа; он служит представителем новейшей поэзии, точно как «Илиада» служит памятником классической древности.

В других трагедиях, кажется, образцом Байрону был Alfieri. «Каин» имеет одну токмо форму драмы, но его бессвязные сцены и отвлеченные рассуждения в самом деле относятся к роду скептической поэзии «Чайльд-Гарольда». Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею, то, наконец, странствующим посреди... В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой), всё, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных. Байрон чувствовал свою ошибку и в последствии времени принялся вновь за «Фауста», подражая ему в своем «Превращенном уроде» (думая тем исправить le chef d'œuvre).

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ

Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности.

*

Ученый без дарования подобен тому бедному мулле, который изрезал и съел Коран, думая исполниться духа Магометова.

*

Однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного.

*

Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б.

*

Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причиною незнание отечественного языка: но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Баратынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностию самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстроивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... Исключения редки.

*

Мне пришла в голову мысль, говорите вы: не может быть. Нет, NN, вы изъясняетесь ошибочно; что-нибудь да не так.

*

Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешки. Эгоизм может быть отвратительным, но он не смешон, ибо отменно благоразумен. Однако есть люди, которые любят себя с такою нежностию, удивляются своему гению с таким восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет всю смешную сторону энтузиазма и чувствительности.

*

Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах.

*

Примеры невежливости

В некотором азиатском народе мужчины каждый день, восстав от сна, благодарят бога, создавшего их не женщинами.

Магомет оспоривает у дам существование души.

Во Франции, в земле, прославленной своею учтивостию, грамматика торжественно провозгласила мужеский род благороднейшим.

Стихотворец отдал свою трагедию на рассмотрение известному критику. В рукописи находился стих:

Я человек и шла путями заблуждений.

Критик подчеркнул стих, усумнясь, может ли женщина называться человеком. Это напоминает славное решение, приписываемое Петру I: женщина не человек, курица не птица, прапорщик не офицер.

Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей; и т. п.

Тредьяковский пришел однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! меня Александр Петрович так ударил в правую щеку, что она до сих пор у меня болит».— «Как же, братец? — отвечал ему Шувалов,— у тебя болит правая щека, а ты держишься за левую».— «Ах, ваше высокопревосходительство, вы имеете резон»,— отвечал Тредьяковский и перенес руку на другую сторону. Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал оду у придворного пииты Василия Тредьяковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростию оплошного стихотворца.

*

Один из наших поэтов говорил гордо: Пускай в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж прозы не найдется. Байрон не мог изъяснить некоторые свои стихи. Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения.

*

«Всё, что превышает геометрию, превышает нас», — сказал Паскаль. И вследствие того написал свои философические мысли!

*

Un sonnet sans défaut vant seul un long poème. Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедии... что это значит? Можно ли сказать, что хороший завтрак лучше дурной погоды?

*

Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Хорошо было сказать это в первый раз, но как можно важно повторять столь великую истину? Эта шутка Вольтера служит основаньем поверхностной критике литера-

турных скептиков; но скептицизм во всяком случае есть только первый шаг умствования. Впрочем некто заметил, что и Вольтер не сказал également bons.

*

Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей изо всего русского театра и еще не игранной и не напечатанной. В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!

*

Л., состаревшийся волокита, говорил: Moralement je suis toujours physique, mais physiquement je suis devenu moral.

*

Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии.

*

Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести (point d'honneur), очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные расприю Юный Феодор, уничтожив сию гордую дворянскую оппозицию, сделал то, на что не решились ни могущий Иоанн III, ни нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов.

*

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. «Государственное правило,— говорит Карамзин,— ставит

уважение к предкам в достоинство гражданину образованному». Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage!

*

Сказано: Les sociétés secrètes sont la diplomatie des peuples. Но какой же народ вверит права свои тайным обществам, и какое правительство, уважающее себя, войдет с оными в переговоры?

*

Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которой не видал бы собственными глазами. Однако ж в «Дон Жуане» описывает он Россию, зато приметны некоторые погрешности противу местности. Например, он говорит о грязи улиц Измаила; Дон Жуан отправляется в Петербург *в кибитке, беспокойной повозке без рессор*, по *дурной каменистой дороге*. Измаил взят был зимою, в жестокий мороз. На улицах неприятельские трупы прикрыты были снегом, и победитель ехал по ним, удивляясь опрятности города: Помилуй бог, как чисто!.. Зимняя кибитка не беспокойна, а зимняя дорога не камениста. Есть и другие ошибки, более важные.— Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю. В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях. Сон Сарданапалов напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во время суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он Петра Великого. В 1813 году Байрон намеревался через Персию приехать на Кавказ.

*

Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным.

Не знаю где, но не у нас,
Достопочтенный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой,—
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова об Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решились тонким, и пр.

Пушкин.

*

Милостивый государь! Вы не знаете правописания и пишете обыкновенно без смысла. Обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою: не выдавайте себя за представителя образованной публики и решителя споров трех литератур. С истинным почтением и проч.

*

Coquette, prude. Слово кокетка обрусело, но prude не переведено и не вошло еще в употребление. Слово это означает женщину, чрезмерно щекотливую в своих понятиях о чести (женской) — недотрогу. Таковое свойство предполагает нечистоту воображения, отвратительную в женщине, особенно молодой. Пожилой женщине позволяется многое знать и многого опасаться, но невинность есть лучшее украшение молодости. Во всяком случае *прюдство* или смешно, или несносно.

*

Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времени кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместия, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке.

*

Москва девичья, а Петербург прихожая.

*

Должно стараться иметь большинство голосов на своей стороне: не оскорбляйте же глупцов.

*

Появление «Истории государства Российского» (как и надлежало быть) наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц, чего не ожидал и сам Карамзин. Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени нигде ни о чем ином не говорили. Признаюсь, ничего нельзя вообразить глупее светских суждений, которые удалось мне слышать; они были в состоянии отучить хоть кого от охоты к славе. Одна дама (впрочем, очень милая), при мне открыв вторую часть, прочла вслух: «Владимир усыновил Святополка, однако ж не любил его... *Однако!* зачем не *но?* однако! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина?» В журналах его не критиковали: у нас никто не в состоянии исследовать, оценить огромное создание Карамзина. Каченовский бросился на предисловие. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие (предисловие!). Михаил Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал от историка не истории, а чего-то другого.

Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина; зато почти никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет, во время самых лестных успехов, и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Примечания к русской истории свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно заключен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Многие забывали, что Карамзин печатал свою Историю в России, в государстве самодержавном; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Повторяю, что «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека. *(Извлечено из неизданных записок)*.

*

Идиллии Дельвига для меня удивительны. Какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, и какое необыкновенное *чутье* изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, неестественного в описаниях!

*

Французская словесность родилась в передней и далее гостиной не доходила.

МАТЕРИАЛЫ К «ОТРЫВКАМ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛЯМ И ЗАМЕЧАНИЯМ»

Предисловие

Дядя мой однажды занемог. Приятель посетил его. «Мне скучно,— сказал дядя,— хотел бы я писать, но не знаю о чем».— «Пиши всё, что ни попало,— отвечал

приятель,— мысли, замечания литературные и политические, сатирические портреты и т. п. Это очень легко: так писывал Сенека и Монтань». Приятель ушел, и дядя последовал его совету. Поутру сварили ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философически рассудил, что его огорчила безделица, и написал: нас огорчают иногда сущие безделицы. В эту минуту принесли ему журнал, он в него заглянул и увидел статью о драматическом искусстве, написанную рыцарем романтизма. Дядя, коренной классик, подумал и написал: я предпочитаю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону — несмотря на крики новейших критиков.— Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постелю. На другой день послал он их журналисту, который учтиво его благодарил, и дядя мой имел удовольствие перечитывать свои мысли напечатанные.

*

Сумароков лучше знал русский язык, нежели Ломоносов, и его критики (в грамматическом отношении) основательны. Ломоносов не отвечал или отшучивался. Сумароков требовал уважения к стихотворству.

*

Если всё уже сказано, зачем же вы пишете? чтобы сказать красиво то, что было сказано просто? жалкое занятие! нет, не будем клеветать разума человеческого, неистощимого в соображениях понятий, как язык неистощим в соображении слов. В сем-то смысле счастливая шутка князя Вяземского совершенно справедлива; он, оправдывая излишество эпитетов, делающих столь вялыми русские стихи, сказал очень забавно, что все существительные сказаны и что нам остается заново оттенивать их прилагательными. Добросовестные люди задумались и важно стали доказывать, что и глаголы и деепричастия и прочие части речи давно уже сказаны.

*

У нас употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм.

*

Браните мужчин вообще, разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь сатирически до прекрасного пола — все женщины восстанут на вас единодушно — они составляют *один* народ, одну секту.

*

Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей,— наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками — даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если б они оставляли нам свои признания.

*

Кс. находит какое-то сочинение глупым. — Чем вы это докажете? — Помилуйте,— простодушно уверяет он,— да я мог бы так написать.

*

Проза князя Вяземского чрезвычайно жива. Он обладает редкой способностию оригинально выражать мысли — к счастью, он мыслит, что довольно редко между нами.

*

Есть различная смелость: Державин написал: «орел, на высоте паря», когда счастие «тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вкруг тебя заснуло».

Описание водопада:

Алмазна сыплется гора
С высот и проч.

Жуковский говорит о боге:

Он в дым Москвы себя облек

Крылов говорит о храбром муравье, что

Он даже хаживал один на паука.

Кальдерон называет молнии огненными языками небес, глаголющих земле. Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму преисподней.

Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и поэтические картины.

Французы доныне еще удивляются смелости Расина, употребившего слово pavé, помост.

Et baise avec respect le pavé de tes temples.

И Делиль гордится тем, что он употребил слово vache. Презренная словесность, повинующаяся таковой мелочной и своенравной критике. Жалка участь поэтов (какого б достоинства они, впрочем, ни были), если они принуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса!

Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию — такова смелость Шекспира, Dante, Milton'a, Гёте в «Фаусте», Молиера в «Тартюфе».

*

Повторенное острое слово становится глупостью. Как можно переводить эпиграммы? Разумею не антологические, в которых развертывается поэтическая прелесть, не маротическую, в которой сжимается живой рассказ, но ту, которую Буало определяет словами:

Un bon mot de deux rimes orné.

ЕСЛИ ЗВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...

Если звание любителя отечественной литературы само по себе достойно уважения и что-нибудь да значит, то и я во мнении публики, не взирая на убожество дарований, имею право на некоторое ее внимание. Произошед в 1761 году от честных, но недостаточных родителей, я не мог пользоваться источниками просвещения, открытыми в последствии времени в столь великом изобилии, и должен

был довольствоваться уроками приходского дьячка, человека, впрочем, весьма довольно образованного в смиренном своем звании. Сему-то почтенному мужу обязан я благородною страстию к изящному вообще и к российской словесности в особенности. Вверенный мне им «Письмовник» г. Курганова не выходил из моих рук, и 8-и лет знал я его наизусть. С того времени, смело могу сказать, что не вышло из печати ни одного русского творения, ни одного перевода, ни одного русского журнала (включая тут хозяйственные и поваренные сочинения, также и месяцесловы), коих бы я не прочитал или о коих, по крайней мере, не получил достаточного понятия. Старых людей обвиняют вообще в слепой привязанности к прошедшему и в отвращении от настоящего. Но я не заслуживаю такого упрека. Успехи нашей словесности всегда радовали мое сердце, и я не мог без негодования слышать в нынешних журналах нападки, столь же безумные, как и несправедливые, на произведения писателей, делающих честь не только России, но и всему человечеству, и вообще на состояние просвещения в любезнейшем нашем отечестве. Сии журналы не суть ли сами красноречивыми доказательствами исполинских успехов нашего просвещения; какой из иностранных превзойдет их — в глубокомыслии «Вестник Европы», в учености «Северный архив», в приятном разнообразии «Московский телеграф» и в прочих достоинствах «Сын отечества», «Московский вестник», «Северную пчелу» и другие. В чем, конечно, согласятся почтенные издатели «Вестника Европы», «Северного архива», «Московского телеграфа», «Северной пчелы» и проч. Сии-то несправедливые и безумные нападения принудили меня в первый раз выступить на поприще писателей, надеясь быть полезен любезным моим соотечественникам, пока неумолимые парки прядут еще нить жизни, как говорит г. Филимонов в одном трогательном газетном объявлении о поступившей в продажу книжке своего сочинения.

О ТРАГЕДИИ ОЛИНА «КОРСЕР»

Ни одно из произведений лорда Байрона не сделало в Англии такого сильного впечатления, как его поэма «Корсар», несмотря на то, что она в достоинстве уступает многим другим: «Гяуру» в пламенном изображении стра-

стей, «Осаде Коринфа», «Шильонскому узнику» в трогательном развитии сердца человеческого, в трагической силе «Паризине», наконец, 3 и 4-ой песням «Child Harold» в глубокомыслии и высоте парения истинно лирического и в удивительном шекспировском разнообразии «Дон Жуану». «Корсар» неимоверным своим успехом был обязан характеру главного лица, таинственно напоминающего нам человека, коего роковая воля правила тогда одной частию Европы, угрожая другой. По крайней мере английские критики предполагали в Байроне сие намерение, но вероятнее, что поэт и здесь вывел на сцену лицо, являющееся во всех его созданиях и которое наконец принял он сам на себя в «Чайльд-Гарольде». Как бы то ни было, поэт никогда не изъяснил своего намерения: сближение себя с Наполеоном нравилось его самолюбию.

Байрон мало заботился о планах своих произведений или даже вовсе не думал о них: несколько сцен, слабо между собою связанных, были ему достаточны для сей бездны мыслей, чувств и картин. Английские критики оспоривали у него гений драматический, и Байрон за то на них досадовал. Дело в том, что он постиг, полюбил один токмо характер (именно свой), всё, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера — и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных.

Вот почему, несмотря на великие красоты поэтические, его трагедии вообще ниже его гения, и драматическая часть в его поэмах (кроме разве одной «Паризины») не имеет никакого достоинства.

Что же мы подумаем о писателе, который из поэмы «Корсар» выберет один токмо план, достойный нелепой испанской повести, и по сему детскому плану составит драматическую трилогию, заменив очаровательную глубокую поэзию Байрона прозой надутой и уродливой, достойной наших несчастных подражателей покойного Коцебу? — вот что сделал г-н Олин, написав свою романтическую трагедию «Корсер»,— подражание Байрону. Спрашивается: что же в Байроновой поэме его поразило — неужели план? о miratores!..

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

Благодарю вас за участие, принимаемое вами в судьбе «Годунова»: ваше нетерпение видеть его очень лестно для моего самолюбия; но теперь, когда по стечению благоприятных обстоятельств открылась мне возможность его напечатать, предвижу новые затруднения, мною прежде и не подозреваемые.

С 1820 года, будучи удален от московских и петербургских обществ, я в одних журналах мог наблюдать направление нашей словесности. Читая жаркие споры о романтизме, я вообразил, что и в самом деле нам наскучила правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей, что утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии. Мне казалось, однако, довольно странным, что младенческая наша словесность, ни в каком роде не представляющая никаких образцов, уже успела немногими опытами притупить вкус читающей публики; но, думал я, французская словесность, всем нам с младенчества и так коротко знакомая, вероятно, причиною сего явления. Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признанье ведет к другому, более важному: так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суеверно порабощать литературную совесть? Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы.

Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе Отца нашего Шекспира, и принес ему в жертву пред его алтарь два классические единства, и

едва сохранил последнее. Кроме сей пресловутой тройственности есть и единство, о котором французская критика и не упоминает (вероятно, не предполагая, что можно оспоривать его необходимость), единство слога — сего 4-го необходимого условия французской трагедии, от которого избавлен театр испанский, английский и немецкий. Вы чувствуете, что и я последовал столь соблазнительному примеру.

Что сказать еще? Почтенный александрийский стих переменил я на пятистопный белый, в некоторых сценах унизился даже до презренной прозы, не разделил своей трагедии на действия,— и думал уже, что публика скажет мне *большое спасибо.*

Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий,— словом, написал трагедию истинно романтическую.

Между тем, внимательнее рассматривая критические статьи, помещаемые в журналах, я начал подозревать, что я жестоко обманулся, думая, что в нашей словесности обнаружилось стремление к романтическому преобразованию. Я увидел, что под общим словом романтизма разумеют произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности, что, следуя сему своевольному определению, один из самых оригинальных писателей нашего времени, не всегда правый, но всегда оправданный удовольствием очарованных читателей, не усумнился включить Озерова в число поэтов романтических, что, наконец, наши журнальные Аристархи без церемонии ставят на одну доску Dante и Ламартина, самовластно разделяют Европу литературную на классическую и романтическую, уступая первой — языки латинского Юга и приписывая второй германские племена Севера, так что Dante (il gran padre Alighieri), Ариосто, Лопец де Vega, Кальдерон и Сервантес попались в классическую фалангу, которой победа, благодаря сей неожиданной помощи, доставленной издателем «Московского телеграфа», кажется, будет несомненно принадлежать.

Всё это сильно поколебало мою авторскую уверенность. Я начал подозревать, что трагедия моя есть анахронизм.

Между тем, читая мелкие стихотворения, величаемые романтическими, я в них не видел и следов искреннего и свободного хода романтической поэзии, но жеманство лжеклассицизма французского. Скоро я в том удостоверился.

Вы читали в первой книге «Московского вестника» отрывок из «Бориса Годунова», сцену летописца. Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших, между коими озлобленная летопись князя Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков.

Мне казалось, что сей характер всё вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателя; что же вышло? Люди умные обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм называться стихами. Г-н З. предложил променять сцену «Бориса Годунова» на картинки «Дамского журнала». Тем и кончился строгий суд почтеннейшей публики.

Что ж из этого следует? Что г-н З. и публика правы, но что гг. журналисты виноваты, ошибочными известиями введшие меня во искушение. Воспитанные под влиянием французской литературы, русские привыкли к правилам, утвержденным ее критикою, и неохотно смотрят на всё, что не подходит под сии законы. Нововведения опасны и, кажется, не нужны.

Хотите ли знать, что́ еще удерживает меня от напечатания моей трагедии? Те места, кои в ней могут подать повод применениям, намекам, allusions. Благодаря фран-

цузам мы не понимаем, как драматический автор может совершенно отказаться от своего образа мыслей, дабы совершенно переселиться в век, им изображаемый. Француз пишет свою трагедию с Constitutionnel или с Quotidienne перед глазами, дабы шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберия, Леонида высказать его мнение о Вилледе или о Кеннинге. От сего затейливого способа на нынешней французской сцене слышно много красноречивых журнальных выходок, но трагедии истинной не существует. Заметьте, что в Корнеле вы применений не встречаете, что, кроме «Эсфири» и «Вереники», нет их и у Расина. Летопись французского театра видела в «Британике» смелый намек на увеселение двора Людовика XIV.

Il ne dit, il ne fait que ce qu'on lui prescrit etc.

Но вероятно ли, чтоб тонкий, придворный Расин осмелился сделать столь ругательное применение Людовика к Нерону? Будучи истинным поэтом, Расин, написав сии прекрасные стихи, был исполнен Тацитом, духом Рима; он изображал ветхий Рим и двор тирана, не думая о версальских балетах, как Юм или Walpole (не помню кто) замечает о Шекспире в подобном же случае. Самая дерзость сего применения служит доказательством, что Расин о нем и не думал.

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ «АТЕНЕЯ»

В 4 книге «Афенея» напечатан разбор 4-ой и 5 главы «Онегина».

Под романтическим автор разумеет оговорку, выручающую поэта.

Разбирая характеры в романе, он их находит вообще безнравственными. Порицает Онегина за то, что он открыто и нравственно поступает с Татьяной влюбленной и что жмет руку у Ольги, с дурным намерением подразнить своего приятеля.

Ему странно, что тихий (?) *мечтательный* (?) (справедливее: пылкий влюбленный) Ленский за сущую безделицу хочет вызывать Онегина на дуэль и называет свою бесстрастную невесту кокеткой и ветреным ребенком (ибо молодые люди обыкновенно стреляются за дело, а любовники никогда не поревнуют по пустякам).

Негодует на Татьяну за то, что, раз увидев Онегина, она влюбилась без памяти — и пишет ему любовное письмо; что, конечно, очень неприлично.

Наконец находит он, что сии две главы никуда не годятся, о чем я с ним и не спорю.

Что касается до стихосложения, то критик отзывается о нем снисходительно и с полною похвалою — хотя и находит в двух последних главах «Онегина» 91 мелочь и еще сотни других, цепляющих людей, учившихся по-старинному.

Из 291 мелочи многие достойны осуждения, многие не требуют от автора милостивого отеческого заступления,— вольно всякому хвалить и порицать всё, что относится ко вкусу. Но критик ошибся, указывая на некоторые погрешности противу языка и смысла. И я решился объяснить ему правила грамматики и риторики не столько для собственной его пользы, как для назидания молодых словесников.

Времян, следственно, Державин ошибся, сказав: «Глагол времен».

Но Батюшков (который, впрочем, ошибался почти столь же часто, как и Державин) сказал:

То древню Русь и нравы
Владимира времян.

Что звук пустой вместо подобно звуку, как звук.— В поле etc.

Частица *что* вместо грубого *как* употребляется в песнях и в простонародном нашем наречии, столь чистом, приятном. Крылов употребляет его.

Кстати о Крылове. Вслушивайтесь в простонародное наречие, молодые писатели— вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах.

Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

Там, где сходство именительного падежа с винительным может произвести двусмыслие, должно по крайней мере писать всё предложение в естественном его порядке (sine inversione).

Стесняет сожаленье, безумные страданья есть весьма простая метонимия.

Два века ссорить не хочу.— «Кажется, есть правило об отрицании *не*»...

Грамматика наша еще не пояснена. Замечу, во-первых, что так называемая стихотворческая вольность допускает нас со времен Ломоносова употреблять indifféremment после отрицательной частицы *не* родительный и винительный падеж. Например — . . . .

Во-вторых, в чем состоит правило: что действительный глагол, непосредственно управляемый частицею *не*, требует вместо винительного падежа родительного. Например — я не пишу *стихов*.— Но если действительный глагол зависит не от отрицательной частицы, но от другой части речи, управляемой оною частицею, то он требует падежа винительного, например: Я не хочу писать стихи, я не способен писать стихи. В следующем предложении — Я не могу позволить ему начать писать *стихи* — ужели частица *не* управляет глаголом писать?

Если критик об этом подумает, то, вероятно, со мною согласится.

Младой и свежий поцелуй

вместо поцелуй молодых и свежих уст — очень простая метафора.

Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед,

в извлечении для смысла: ребятишки катаются по льду. Точно так — сие справедливое изъяснение делает честь догадливости автора.

На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед.

Лоно не означает *глубины,* лоно значит *грудь.*

...теплотою
Камин чуть *дышит* —

Опять простая метафора.

Кибитка удалая

Опять метафора.

Людская молвь и конский топ

Выражение сказочное (Бова Королевич).

Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка.

«Как приятно будет читать роп вм. ропот, топ вм. топот» и проч. На сие замечу моему критику, что роп, топ и проч. употребляются простолюдимами во многих русских губерниях — NB мне случалось также слышать стукот вместо стук.

Если наши чопорные критики сомневаются, можно ли дозволить нам употребление риторических фигуров и тропов, о коих они могли бы даже получить некоторое понятие в предуготовительном курсе своего учения, что же они скажут о поэтической дерзости Кальдерона, Шекспира или нашего Державина. Что скажут они о Потемкине сего последнего,

> который взвесить смел
> Дух россов, мощь Екатерины,
> И опершись на них хотел
> Вознесть твой гром на те стремнины,
> На коих древний Рим стоял
> И всей вселенной колебал?

Или о воине, который

> Поникнул лавровой главою

Или . . . .

Люди, выдающие себя за поборников старых грамматик, должны были бы по крайней мере иметь школьные сведения о грамматиках и риториках — и иметь хоть малое понятие о свойствах русского языка.

О ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОГЕ

В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. Так некогда во Франции blasés, светские люди, восхищались музою Ваде, так ныне Wordsworth, Coleridge увлекли за собою мнения многих. Но Ваде не имел ни воображения, ни поэтического

чувства, его остроумные произведения дышат одною веселостию, выраженной площадным языком торговок и носильщиков. Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдима. У нас это время, слава богу, еще не приспело, так называемый язык богов так еще для нас нов, что мы называем поэтом всякого, кто может написать десяток ямбических стихов с рифмами. Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем. Опыты Жуковского и Катенина были неудачны не сами по себе, но по действию, ими произведенному. Мало, весьма мало людей поняли достоинство переводов из Гебеля, и еще менее силу и оригинальность «Убийцы», баллады, которая может стать наряду с лучшими произведениями Бюргера и Саувея. Обращение убийцы к месяцу, единственному свидетелю его злодеяния.

Гляди, гляди, плешивый —

стих, исполненный истинно трагической силы, показался только смешон людям легкомысленным, не рассуждающим, что иногда ужас выражается смехом. Сцена тени в «Гамлете» вся писана шутливым слогом, даже низким, но волос становится дыбом от Гамлетовых шуток.

«БАЛ» БАРАТЫНСКОГО

Наши поэты не могут жаловаться на излишнюю строгость критиков и публики — напротив. Едва заметим в молодом писателе навык к стихосложению, знание языка и средств оного, уже тотчас спешим приветствовать его титлом гения, за гладкие стишки — нежно благодарим его в журналах от *имени человечества,* неверный перевод, бледное подражание сравниваем бéз церемонии с бессмертными произведениями Гёте и Байрона. Таким образом набралось у нас несколько своих Пиндаров, Ариостов и Байронов и десятка три писателей, *делающих истинную честь нашему веку,*— добродушие смешное, но безвредное; истинный талант доверяет более собственному суждению, основанному на любви к искусству, нежели

малообдуманному решению записных Аристархов. Зачем лишать златую посредственность невинных удовольствий, доставляемых журнальным торжеством.

Из наших поэтов Баратынский всех менее пользуется обычной благосклонностию журналов. Оттого ли, что верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действует на толпу, чем преувеличение (exagération) модной поэзии, потому ли, что наш поэт некоторыми эпиграммами заслужил негодование братии, не всегда смиренной,— как бы то ни было, критики изъявляли в отношении к нему или недобросовестное равнодушие, или даже неприязненное расположение. Не упоминая уже об известных шуточках покойного «Благонамеренного», известного весельчака, заметим, для назидания молодых писателей, что появление «Эды», произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных,— появление «Эды» подало только повод к неприличной статейке в «Северной пчеле» и слабому возражению, кажется, в «Московском телеграфе». Как отозвался «Московский вестник» об собрании стихотворений нашего первого элегического поэта! Между тем Баратынский спокойно усовершенствовался — последние его произведения являются плодами зрелого таланта. Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее.

Его последняя поэма «Бал», напечатанная в «Северных цветах», подтверждает наше мнение. Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красот и прелести необыкновенной. Поэт с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шутливый и страстный, метафизику и поэзию.

Поэма начинается описанием московского бала. Гости съехались, пожилые дамы в пышных уборах сидят около стен и смотрят на толпу с *тупым вниманием*. Вельможи в лентах и звездах сидят за картами и, *встав из-за ломберных столов*, иногда приходят

Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Молодые красавицы кружатся около их.

Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно острится.

Вдруг все смутились; посыпались вопросы. Княгиня Нина вдруг уехала с бала.

Вся зала шепотом полна:
«Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей».— Ужели? —
«В кадрили весело вертясь,
Вдруг помертвела!» — Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею?

— Бог весть,— отвечает с супружеским равнодушием князь, занятый своим бостоном. Поэт отвечает вместо князя. Ответ и составляет поэму.

Нина исключительно занимает нас. Характер ее совершенно новый, развит con amore, широко и с удивительным искусством, для него поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики — для нее расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии.

Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит:
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?

Как в близких сердца разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!

Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те:
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Напрасно поэт берет иногда строгий тон порицания, укоризны, напрасно он с принужденной холодностью говорит о ее смерти, сатирически описывает нам ее похороны и шуткою кончит поэму свою. Мы чувствуем, что он любит свою бедную страстную героиню. Он заставляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе падшего, но еще очаровательного создания.

Арсений есть тот самый, кого должна была полюбить бедная Нина. Он сильно овладел ее воображением и, никогда вполне не удовлетворя ни ее страсти, ни любопытству, должен был до конца сохранить над нею роковое свое *влияние* (ascendant).

ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ

Tantae ne animis scholasticis irae!

Распря между двумя известными журналистами и тяжба одного из них с цензурою наделали шуму. Постараемся изложить исторически всё дело sine ira et studio.

В конце минувшего года *редактор* «Вестника Европы», желая в следующем 1829 году потрудиться еще и в качестве *издателя*, объявил о том публике, всё еще худо понимающей различие между сими двумя учеными званиями. Убедившись единогласным мнением критиков в односторонности и скудости «Вестника Европы», сверх того *движимый глубоким чувством сострадания при виде беспомощного состояния литературы*, он обещал *употребить наконец свои старания, чтобы сделать журнал сей обширнее и разнообразнее*. Он надеялся *отныне далее видеть, свободнее соображать и решительнее действовать*. Он собирался пуститься в *неизмеримую область бытописания*, по которой Карамзин, как всем известно, *проложил*

тропинку, теряющуюся в тундрах бесплодных. «Предполагаю работать сам,— говорил почтенный редактор,— не отказывая, однако ж, и другим литераторам участвовать в трудах моих». Сии поздние, но тем не менее благие намерения, сия похвальная заботливость о русской литературе, сия великодушная снисходительность к своим сотрудникам тронули и обрадовали нас черезвычайно. Приятно было бы нам приветствовать первые труды, первые успехи знаменитого редактора «Вестника Европы». Его глубокие знания (думали мы), столь известные нам по слуху, дадут плод во время свое (в нынешнем 1829 году). Светильник исторической его критики озарит вышепомянутые тундры области бытописаний, а законы словесности, умолкшие при звуках журнальной полемики, заговорят устами ученого редактора. Он не ограничит своих глубокомысленных исследований замечаниями о заглавном листе *«Истории государства Российского»* или даже рассуждениями о *куньих мордках,* но верным взором обнимет наконец творение Карамзина, оценит систему его разысканий, укажет источники новых соображений, дополнит недосказанное. В критиках собственно литературных мы не будем слышать то брюзгливого ворчанья какого-нибудь старого педанта, то непристойных криков пьяного семинариста. Критики г. Каченовского должны будут иметь решительное влияние на словесность. Молодые писатели не будут ими забавляться, как пошлыми шуточками журнального гаера. Писатели известные не будут ими презирать, ибо услышат окончательный суд своим произведениям, оцененным ученостью, вкусом и хладнокровием.

Можем смело сказать, что мы ни единой минуты не усумнились в исполнении планов г. Каченовского, изложенных поэтическим слогом в газетном объявлении о подписке на «Вестник Европы». Но г. Полевой, долгое время наблюдавший литературное поведение своих товарищей-журналистов, худо поверил новым обещаниям Вестника. Не ограничиваясь безмолвными сомнениями, он напечатал в 20-й книжке «Московского телеграфа» прошедшего года статью, в которой сильно напал он на почтенного редактора «Вестника Европы». Дав заметить неприличие некоторых выражений, употребленных, вероятно, неумышленно г. Каченовским, он говорит:

«Если бы он («Вестник Европы»), старец по летам, признался в незнании своем, принялся за дело скромно, поучился, бросил

свои смешные предрассудки, заговорил голосом беспристрастия, мы все охотно уважили бы его сознание в слабости, желание учиться и познавать истину, все охотно стали бы слушать его».

Странные требования! В летах «Вестника Европы» уже не учатся и не бросают предрассудков закоренелых. Скромность, украшение седин, не есть необходимость литературная; а если сознания, требуемые г. Полевым, и заслуживают какое-нибудь уважение, то можно ли нам оные слушать из уст почтенного старца без болезненного чувства стыда и сострадания?

«Но *что* сделал до сих пор издатель ,,Вестника Европы''? — продолжает г. Полевой.— Где *его* права, и на какой возделанной *его трудами* земле он водрузит свои знамена: где, за каким океаном эта обетованная земля? Юноши, обогнавшие издателя ,,Вестника Европы'', не виноваты, что они шли вперед, когда издатель ,,Вестника Европы'' засел на одном месте и неподвижно просидел более 20 лет. Дивиться ли, что теперь ,,Вестнику Европы'' видятся чудные распри, грезятся кимвалы бряцающие и медь звенящая?»

На сие ответствуем:

Если г. Каченовский, не написав ни одной книги, достойной некоторого внимания, не напечатав в течение 20 лет ни одной замечательной статьи, снискал, однако ж, себе бессмертную славу, то чего же должно нам ожидать от него, когда наконец он примется за дело не на шутку? Г-н Каченовский просидел 20 лет на одном месте,—согласен: но как могли юноши обогнать его, если он ни за чем и не гнался? Г-н Каченовский ошибочно судил о музыке Верстовского: но разве он музыкант? Г-н Каченовский перевел «Терезу и Фальдони»: что за беда?

Доселе казалось нам, что г. Полевой неправ, ибо обнаруживается какое-то пристрастие в замечаниях, которые с первого взгляда являются довольно основательными. Мы ожидали от г. Каченовского возражений неоспоримых или благородного молчания, каковым некоторые известные писатели всегда ответствовали на неприличные и пристрастные выходки некоторых журналистов. Но сколь изумились мы, прочитав в 24 № «Вестника Европы» следующее примечание редактора к статье своего почтенного сотрудника, г. Надоумки (одного из великих писателей, приносящих истинную честь и своему веку и журналу, в коем они участвуют).

«Здесь приличным считаю объявить, что препираться с Бенигною я не имею охоты, отказавшись навсегда от бесплодной

полемики, а теперь не имею на то и права, предприняв другие меры к охранению своей личности от игривого произвола сего Бенигны и всех прочих. Я даже не читал бы статьи Телеграфической, если б не был увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и к достоинству места, при котором имею счастие продолжать оную. *Рдр».*

Сие загадочное примечание привело нас в большое беспокойство. Какие *меры к охранению своей личности от игривого произвола г. Бенигны* предпринял почтенный редактор? что значит *игривый произвол г. Бенигны?* что такое: *был увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и достоинству места?* (Впрочем, смысл последней фразы доныне остается темен как в логическом, так и в грамматическом отношении).

Многочисленные почитатели «Вестника Европы» затрепетали, прочитав сии мрачные, грозные, беспорядочные строки. Не смели вообразить, на что могло решиться рыцарское негодование Міхаила Трофімовича. К счастию, скоро всё объяснилось.

Оскорбленный как издатель «Вестника Европы», г. Каченовский решился требовать защиты законов как ординарный профессор, статский советник и кавалер и явился в цензурный комитет с жалобою на цензора, пропустившего статью г-на Полевого.

Успокоясь на счет ужасного смысла вышепомянутого примечания, мы сожалели о бесполезном действии почтенного редактора. Все предвидели последствия оного. В статье г. Полевого личная честь г. Каченовского не была оскорблена. Говоря с неуважением о его занятиях литературных, издатель «Московского телеграфа» не упомянул ни о его службе, ни о тайнах домашней жизни, ни о качествах его души.

Новое лицо выступило на сцену: цензор С. Н. Глинка явился ответчиком. Пылкость и неустрашимость его духа обнаружились в его речах, письмах и деловых записках. Он увлек сердца красноречием сердца и, вопреки чувству уважения и преданности, глубоко питаемому нами к почтенному профессору, мы желали победы храброму его противнику; ибо польза просвещения и словесности требует степени свободы, которая нам дарована мудрым и благодетельным Уставом. В. В. Измайлов, которому отечественная словесность уже многим обязана, снискал себе новое право на общую благодарность свободным изъ-

яснением мнения столь же умеренного, как и справедливого.

Между тем ожесточенный издатель «Московского телеграфа» напечатал другую статью, в коей дерзновенно подтвердил и оправдал первые свои показания. Вся литературная жизнь г. Каченовского была разобрана по годам, все занятия оценены, все простодушные обмолвки выведены на позор. Г-н Полевой доказал, что почтенный редактор пользуется славою ученого мужа, так сказать, на честное слово; а доныне, кроме переводов с переводов и кой-каких заимствованных кое-где статеек, ничего не произвел. Скудость, более достойная сожаления, нежели укоризны! Но что всего важнее, г. Полевой доказал, что Міхаил Трофімович несколько раз дозволял себе личности в своих критических статейках, что он упрекал издателя Телеграфа винным его заводом (пятном ужасным, как известно всему нашему дворянству!), что он неоднократно с упреком повторял г. Полевому, что сей последний купец (другое столь же ужасное обвинение!), и всё сие в непристойных, оскорбительных выражениях. Тут уже мы приняли совершенно сторону г. Полевого. Никто, более нашего, не уважает истинного, родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном; но в мирной республике наук какое нам дело до гербов и пыльных грамот? Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны перед законами критики. Князь Вяземский уже дал однажды заметить неприличность сих аристократических выходок; но не худо повторять полезные истины.

Однако ж таково действие долговременного уважения! И тут мы укоряли г. Полевого в запальчивости и неумеренности. Мы с умилением взирали на почтенного старца, расстроенного до такой степени, что для поддержания ученой своей славы принужден он был обратиться к русскому букварю и преобразовать оный удивительным образом. Утешительно для нас, по крайней мере, то, что сведения Міхаила Трофімовича в греческой азбуке отныне не подлежат уже никакому сомнению.

С нетерпением ожидали мы развязки дела. Наконец решение главного управления цензуры водворило спокойствие в области словесности и прекратило распрю миром, равно выгодным для победителей и побежденных...

О ПУБЛИКАЦИИ БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА В «СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЕ»

Возвратясь из путешествия, узнал я, что г. Бестужев, пользуясь моим отсутствием, напечатал несколько моих стихотворений в своем альманахе.

Неуважение к литературной собственности сделалось так у нас обыкновенно, что поступок г-на Бестужева нимало не показался мне странным. Так, например, г-н Федоров напечатал под моим именем однажды какую-то идиллическую нелепость, сочиненную, вероятно, камердинером г-на Панаева. Но когда альманах нечаянно попался мне в руки и когда в предисловии прочел я нежное изъявление благодарности издателя г-ну Ап, доставившему ему (г. Бестужеву) пьесы, из коих 5 и удостоились печати,— то признаюсь, удивление мое было чрезвычайно. В числе пьес, доставленных г-ном Ап, некоторые принадлежат мне в самом деле; другие мне вовсе неизвестны. Г-н Ап собрал давно писанные и мною к печати не предназначенные стихотворения и снисходительно заменил своими стихами те, кои не могли быть пропущены цензурою. Однако, как в мои лета и в моем положении неприятно отвечать за свои прежние и за чужие произведения, то честь имею объявить г-ну Ап, что при первом таковом же случае принужден буду прибегнуть к покровительству законов.

О «РОМЕО И ДЖЮЛЬЕТЕ» ШЕКСПИРА

Многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены. Трагедия «Ромео и Джюльета», хотя слогом своим и совершенно отделяется от известных его приемов, но она так явно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что ее должно почесть сочинением Шекспира. В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и concetti. Так понял Шекспир драматическую местность. После Джюльеты, после Ромео, сих двух очаровательных созданий шекспировской грации, Меркутио, образец молодого кавалера того времени, изыскан-

ный, привязчивый, благородный Меркутио есть замечательнейшее лицо изо всей трагедии. Поэт избрал его в представители итальянцев, бывших модным народом Европы, французами XVI века.

О «НЕКРОЛОГИИ ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ Н. Н. РАЕВСКОГО»

В конце истекшего года вышла в свет «Некрология генерала от кавалерии Н. Н. Раевского», умершего 16 сентября 1829. Сие сжатое обозрение, писанное, как нам кажется, человеком, сведущим в военном деле, отличается благородною теплотою слога и чувств. Желательно, чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека. С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812-м году!.. Отечество того не забыло.

ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ

Несколько московских литераторов, приносящих истинную честь нашему веку как своими произведениями, так и нравственностию, видя беспомощное состояние нашей словесности и наскуча звуками кимвала звенящего, решились составить общество для распространения правил здравой критики Курганова и Тредьяковского и для удержания отступников и насмешников в границах повиновения и благопристойности.

Общество имело первое свое заседание на Малой Бронной в доме г. Х., бывшего корректора типографии, 17 октября сего года, при стечении многочисленной публики. Некоторые соседние дамы удостоили заседание своим присутствием.

Председателем был избран единогласно г-н Трандафырь, знаменитый переводчик одного бессмертного романа.

Секретарем был избран единогласно же Никодим Невеждин, молодой человек из честного сословия слуг, оказавший недавно отличные успехи в словесности и обеща-

ющий быть законодателем вкуса, несмотря на лакейский тон своих статеек.

Ждали г-на Сравцова — но он не мог прийти по причине флюса, полученного им на ярманке во время метания чрезвычайно счастливой тальи.

Г-н Трандафырь открыл заседание прекрасною речию, в которой трогательно изобразил он беспомощное состояние нашей словесности, недоумение наших писателей, подвизающихся во мраке, не озаренных светильником критики г-на Трандафырина. Красноречиво убеждал он приняться за дело. «Что сделали мы до сих пор, почтенные слушатели,— сказал он,— перевели романы, доставлявшие нам 700 рублей от Ширяева, и разобрали заглавный лист «Истории государства Российского» — труды бессмертные бесспорно, но совершенно недостаточные».

После речи г-на председателя г-н Невеждин прочел проект нового журнала, имеющего быть издаваемым в следующем 1830 году под названием *Азиатский рак.*

Журнал сей будет выходить каждый месяц по одной книжке. Каждая книжка будет заключать в себе четыре отделения.

Отделение I. Изящная словесность. Переводы Байрона с польского; стихи молодых семинаристов; отрывки из записок г-на Трандафырина; для примеру г-н секретарь общества прочел пленительное описание отрочества почтенного г-на Трандафырина. Все с удовольствием слушали милые проказы маленького купчика, и тогда уже столь много обещавшего.

Отделение II. Критика.

О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА Б. КОНСТАНА «АДОЛЬФ»

Князь Вяземский перевел и скоро напечатает славный роман Бенж. Констана. «Адольф» принадлежит к числу *двух или трех романов,*

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,

Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.*

Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона. С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы.

ИЛИАДА ГОМЕРОВА,

переведенная Н. Гнедичем, членом императорской Российской академии и пр.— 2 ч. СПб., в типогр. императорской Российской академии, 1829 (в 1-й ч. XV — 354, во 2-й — 362 стр. в большую 4-ю д. л.).

Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожиданный перевод Илиады! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на блестящие безделки, когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности, когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие,— с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность.

О ЖУРНАЛЬНОЙ КРИТИКЕ

В одном из наших журналов дают заметить, что «Литературная газета» у нас не может существовать по весьма простой причине: *у нас нет литературы.* Если б это было справедливо, то мы не нуждались бы и в критике;

---

* *Евг. Онегин,* гл. VII.

однако ж произведения нашей литературы как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству. Критика в наших журналах или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с корректором и проч.— «Очистите место для новой статьи моей»,— пишет сотрудник. «С удовольствием»,— отвечает издатель. И это всё напечатано. Недавно в одном журнале было упомянуто о *порохе.* «Вот ужо вам будет порох!» — сказано в замечании наборщика, а сам издатель возражает на сие:

«Могущему пороку — брань,
Бессильному — презренье».

Эти семейственные шутки должны иметь свой ключ и, вероятно, очень забавны; но для нас они покамест не имеют никакого смысла.

Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных. В прошлом году напечатано несколько книг (между прочими «Иван Выжигин»), о коих критика могла бы сказать много поучительного и любопытного. Но где же они были разобраны, пояснены? Не говоря уже о живых писателях, Ломоносов, Державин, Фонвизин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих. Впрочем, «Литературная газета» была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов.

РАЗГОВОР О КРИТИКЕ

А. Читали вы в последнем № «Галатеи» критику NN?

В. Нет, я не читаю русской критики.

А. Напрасно. Ничто иное не даст вам лучшего понятия о состоянии нашей литературы.

В. Как! неужели вы полагаете, что журнальная критика есть окончательный суд произведениям нашей словесности?

А. Нимало. Но она дает понятие об отношениях писателей между собою, о большей или меньшей их известности, наконец, о мнениях, господствующих в публике.

В. Мне не нужно читать «Телеграф», чтобы знать, что поэмы Пушкина в моде и что романтической поэзии у нас никто не понимает. Что же касается до отношений г-на Раича и г. Полевого, г-на Каченовского и г. Булгарина — это для меня вовсе не любопытно...

А. Однако же забавно.

В. Вам нравятся кулачные бойцы.

А. Почему же нет? Наши бояре ими тешились. Державин их также воспевал. Мне столь же нравится кн. Вяземский в схватке с каким-нибудь журнальным буяном, как и гр. Орлов в бою с ямщиком. Это черты народности.

В. Вы упомянули о кн. Вяземском. Признайтесь, что из высшей литературы он один пускается в полемику.

А. Позвольте... сперва скажите, что вы называете высшей литературой...

. . . .

В. Публика довольно равнодушна к успехам словесности — истинная критика для нее не занимательна. Она изредка смотрит на драку двух журналистов, мимоходом слушает монолог раздраженного автора — или пожимает плечами.

А. Воля ваша, я останавливаюсь, смотрю и слушаю до конца и аплодирую тому, кто сбил своего противника. Если б я сам был автор, то почел бы за малодушие не отвечать на нападение — какого бы оно роду ни было. Что за аристократическая гордость позволять всякому уличному шалуну метать в тебя грязью! посмотрите на английского лорда: он готов отвечать на учтивый вызов gentleman и стреляться на кухенрейтерских пистолетах или снять с себя фрак и боксовать на перекрестке с извозчиком. Это настоящая храбрость. Но мы и в литературе и в общественном быту слишком чопорны, слишком дамоподобны.

В. Критика не имеет у нас никакой гласности, вероятно, и писатели высшего круга не читают русских журналов и не знают, хвалят ли их или бранят.

А. Извините. Пушкин читает все №№ «Вестника Европы», где его ругают, что значит, по его энергическому выражению,— *подслушивать у дверей, что говорят об нем в прихожей.*

В. Куда как любопытно!

А. Любопытство, по крайней мере, очень понятное!

В. Пушкин и отвечает эпиграммами, чего вам более.

А. Но сатира не критика — эпиграмма не опровержение. Я хлопочу о пользе словесности, не только о своем удовольствии. Если бы все писатели, заслуживающие уважение и доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением, то вскоре критика сделалась бы не тем, чем она есть. Не любопытно ли было бы, например, читать мнение Гнедича о романтизме или Крылова об нынешней элегической поэзии? Не приятно ли было бы видеть Пушкина, разбирающего трагедию Хомякова? Эти господа в короткой связи между собою и, вероятно, друг другу передают взаимные замечания о новых произведениях. Зачем не сделать и нас участниками в их критических беседах.

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ

Соч. М. Н. Загоскина.— М. в типогр. Н. Степанова, 1829.— 3 части, с виньетками на заглавных листах (в I-й части 255, во II-й 166, в III-й 263 стр. в 12 д. л.).

В наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. Валтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея! подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины, не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости. В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. Под *беретом*, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает накрахмаленный галстух нынешнего dandy. Го-

тические героини воспитаны у Madame Campan, а государственные люди XVI-го столетия читают Times и Journal des débats. Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни! Однако ж сии бледные произведения читаются в Европе. Потому ли, что люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени и, следственно, не в состоянии заметить нелепости романических анахронизмов? потому ли, что изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для воображения, притупленного однообразной пестротою настоящего, ежедневного?

Спешим заметить, что упреки сии вовсе не касаются «Юрия Милославского». Г-н Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши — всё это угадано, всё это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной веселости в изображении характеров Кирши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея! Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического. Автор не спешит своим рассказом, останавливается на подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не утомляет внимания читателя. Разговор (живой, драматический везде, где он простонароден) обличает мастера своего дела. Но неоспоримое дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим. Речь Минина на нижегородской площади слаба: в ней нет порывов народного красноречия. Боярская дума изображена холодно. Можно заметить два-три легких анахронизма и некоторые погрешности противу языка и *костюма*. Например, новейшее выражение: *столбовой дворянин* употреблено в смысле человека знатного рода *(мужа честна,* как говорят летописцы); *охотиться* вместо: *ездить на охоту; пользовать* вместо *лечить*. Эти два последние выражения не простонародные, как, видно, полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества. *Быть в ответе* значило в старину: *быть в посольстве*. Некоторые пословицы употреблены автором не в их первобытном смысле: *из сказки слова не выкинешь* вместо *из песни*. В песне слова составляют стих, и *сло́ва*

не выкинешь, не испортив *склада;* сказка — дело другое. Но сии мелкие погрешности и другие, замеченные в 1-м № «Московского вестника» нынешнего года, * не могут повредить блистательному, вполне заслуженному успеху «Юрия Милославского».

О ЗАПИСКАХ САМСОНА

Французские журналы извещают нас о скором появлении «Записок Самсона, парижского палача». Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений.

После соблазнительных *Исповедей* философии XVIII века явились политические, не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее. Когда нам и это надоело, явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями. Но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы и Современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменого каторжника. Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи. Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился, и, к стыду нашему, скажем, что успех его «Записок» кажется несомнительным.

Не завидуем людям, которые, основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторению сказаний, вероятно, безграмотного Самсона. Но призна́емся же и мы, живущие в веке признаний: с нетерпеливостию, хотя и с отвращением, ожидаем мы «Записок парижского палача». Посмотрим, что есть общего между им и людьми живыми? На каком зверином реве объяснит он свои мысли? Что скажет нам сие творение, внушившее графу Мейстру столь поэтическую,

* «Московский вестник» будет издаваться в нынешнем году в том виде, в каком издавался он в 1827 и 1828. Сей журнал почти постоянно отличается статьями любопытными, дельными критиками и благонамеренностию. Прежние сотрудники продолжают участвовать в сем издании.

столь страшную страницу? Что скажет нам сей человек, в течение сорока лет кровавой жизни своей присутствовавший при последних содроганиях стольких жертв, и славных, и неизвестных, и священных, и ненавистных? Все, все они — его минутные знакомцы — чредою пройдут перед нами по гильотине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль. Мученики, злодеи, герои — и царственный страдалец, и убийца его, и Шарлотта Кордé, и прелестница Дю-Барри, и безумец Лувель, и мятежник Бертон, и лекарь Кастен, отравлявший своих ближних, и Папавуань, резавший детей: мы их увидим опять в последнюю, страшную минуту. Головы, одна за другою, запáдают перед нами, произнося каждая свое последнее слово... И, насытив жестокое наше любопытство, книга палача займет свое место в библиотеках, в ожидании ученых справок будущего историка.

О «РАЗГОВОРЕ У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙ» ФОНВИЗИНА

Недавно в одном из наших журналов изъявили сомнение: точно ли «Разговор у княгини Халдиной», напечатанный в 3-м № «Литературной газеты», есть сочинение Фонвизина. Во-первых: родной племянник покойного автора ручается в достоверности оного; во-вторых, не так легко, как думают, подделаться под руку творца «Недоросля» и «Бригадира»: кто хотя немного изучал дух и слог Фонвизина, тот узнает тотчас их несомненные признаки и в «Разговоре». Статья сия замечательна не только как литературная редкость, но и как любопытное изображение нравов и мнений, господствовавших у нас лет сорок тому назад. Княгиня Халдина говорит Сорванцову *ты,* он ей также. Она бранит служанку, зачем не пустила она гостя в уборную. «Разве ты не знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться?» — «Да ведь стыдно, В. С.»,— отвечает служанка. «Глупа, радость»,— возражает княгиня. Всё это, вероятно, было списано с натуры. Мы и тут узнаем подражание нравам парижским. Изображение Сорванцова достойно кисти, нарисовавшей семью Простаковых. Он записался в службу, чтоб ездить цугом. Он проводит ночи за картами и спит в присутственном месте, во время чтения запутанного дела. Он чув-

ствует нелепость деловой бумаги, и соглашается с мнением прочих из лености и беспечности. Он продает крестьян в рекруты, и умно рассуждает о просвещении. Он взяток не берет из тщеславия, и хладнокровно извиняет бедных взяткобрателей. Словом, он истинно русский барич прошлого века, каковым образовали его природа и полупросвещение. Здравомысл напоминает Правдина и Стародума, хотя в нем и менее педантства. Прочитав «Разговор у княгини Халдиной», пожалеешь невольно, что не Фонвизину досталось изображать новейшие наши нравы.

ДЕННИЦА

*Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем.— М. в Универс. типогр. 1830 (LXXXIV — 256 стр. в 16-ю д. л., с гравир. заглав. листком).**

В сем альманахе встречаем имена известнейших из наших писателей, также стихотворения нескольких дам: украшение неожиданное, приятная новость в нашей литературе.

Но замечательнейшая статья сего альманаха, статья, заслуживающая более, нежели беглый взгляд рассеянного читателя, есть «Обозрение русской словесности 1829 года», сочинение г-на Киреевского. Автор принадлежит к молодой школе московских литераторов, школе, которая основалась под влиянием новейшей немецкой философии и которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гёте, и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями всего прекрасного. Несколько критических статей г. Киреевского были напечатаны в «Московском вестнике» и обратили на себя внимание малого числа истинных ценителей дарования. Вероятно, «Обзор» г. Киреевского сделает большее впечатление не потому, что мысли в нем зрелее (что, впрочем, неоспоримо, несмотря на слишком систематическое умонаправление автора), но потому только, что некоторые из его мнений выражены резко и неожиданно.

---

* Продается у А. Ф. Смирдина. Цена 10 р.

Г-н Киреевский, ставя успехи гражданственности выше славы воинских подвигов, в начале статьи своей признает издание нового Ценсурного устава «важнейшим событием для блага России в течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, важнее взятия Арзерума и той славной тени, которую бросили русские знамена на стены царьградские». Он приписывает сему уставу уже заметное движение в текущей словесности прошедшего года. «Наши журналы заимствовали более из журналов иностранных; переводы, хотя по большей части дурные, передавали нам более следов умственной жизни наших соседей, и оттого вся литература наша неприметно приближалась более к жизни общеевропейской. Самые перебранки наших журналов, их неприличные критики, их дикий тон, их странные личности, их вежливости *не городские* — всё это было похоже на нестройные движения распеленатого ребенка: движения, необходимые для развития силы, для будущей красоты и здоровья».

Сначала, рассматривая характер словесности XIX-го столетия, г. Киреевский говорит о тех писателях, кои, по его мнению, определили дух нашей литературы; но прежде посвящает красноречивую страницу памяти того, *«кто подвинул на полвека образованность* нашего народа, кто всю жизнь употребил во благо отечества», кому и сам Карамзин обязан, может быть, своею первою образованностию. «Он умер недавно (говорит г. Киреевский), почти всеми забытый, близ той Москвы, которая была свидетельницею и средоточием его блестящей деятельности. Имя его едва известно теперь большей части наших современников, и если бы Карамзин не говорил об нем, то, может быть, многие, читая эту статью, в первый раз услышали бы о делах Новикова и его товарищей, и усумнились бы в достоверности столь близких к нам событий. Память об нем почти исчезла; участники его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности; многих уже нет; но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно приносит плоды и ждет благодарности потомства».

«Новиков не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде него, по свидетельству Карамзина, были в Москве две книжные лавки, продававшие ежегодно на 10 тысяч рублей; через несколько

лет их было уже 20, и книг продавалось на 200 000. Кроме того, Новиков завел книжные лавки в других и в самых отдаленных городах России; распускал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важными; заставлял переводить книги полезные, повсюду распространял участников своей деятельности, и скоро не только вся Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя не надолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: рождения *общего мнения»*.

Признав филантропическое влияние Карамзина за характер первой эпохи литературы XIX-го столетия, идеализм Жуковского за средоточие второй, и Пушкина, поэта действительности, за представителя третьей, автор приступает к обозрению словесности прошлого года.

«XII том „Истории Российского государства", последний плод трудов великих, последний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского, кажется, еще превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога. Вообще достоинство его истории растет вместе с жизнию протекших времен. Чем ближе к настоящему, тем полнее раскрывается перед ним судьба нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совести нашего народа».

В число исторических сочинений г. Киреевский включает и поэму «Полтаву». «В самом деле,— говорит он,— из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней лица и происшествия.— Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину». Признавая в сей поэме большую зрелость таланта, он осуждает в ней недостаток единства интереса, *«единственного из всех единств, коего несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики»*. Этим изъясняет он малый успех, который имела последняя и едва ли не лучшая из поэм А. Пушкина.

«Жуковский,— продолжает автор,— напечатал в прошедшем году свое „Море", „Песнь победителей" из Шиллера и связанные отрывки из Илиады. Здесь в первый

раз увидели мы в Гомере такое качество, которого не находили в других переводах: что у других напыщенно и низко, то здесь просто и благородно; что у других бездушно и вяло, здесь сильно, мужественно и трогательно; здесь всё тепло, всё возвышенно, каждое слово от души; — может быть, это-то и ошибка, если прекрасное может быть ошибкою».— Автор имел в виду Кострова; в прошлом году мы не гордились еще «Илиадою» Гнедича.

«„Море“ Жуковского живо напоминает всю прежнюю его поэзию. Те же звуки, то же чувство, та же особенность, та же прелесть. Кажется, все струны его прежней лиры отозвались здесь в одном душевном звуке. Есть однако отличие: что-то больше задумчивое, нежели в прежней его поэзии».

Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим. Но Хомяков написал «Ермака», и сия трагедия уже заслуживает особенной критической статьи.

Глубокое чувство умиления внушило молодому критику несколько трогательных строк. Он говорит о своем друге, *о лучшем из избранных,* о покойном Веневитинове.

«Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение); кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, единство одушевлявшего их существа; кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической,— тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслию, каждая мысль согрета сердцем; которого мечта не украшается искусством, но сама собою родится прекрасная; которого лучшая песнь — есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармонической души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием. Оттого всё прекрасное было ему родное; оттого в познании самого себя находил он разрешение всех тайн искусства и в собственной душе прочел начертание высших законов и созерцал красоту создания. Оттого

природа была ему доступною для ума и для сердца, он мог

> В ее таинственную грудь,
> Как в сердце друга, заглянуть.

Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели игрою воображения. Это доказывает, что он был рожден еще более для философии, нежели для поэзии. Прозаические сочинения его, которые печатаются и скоро выйдут в свет, еще подтвердят всё сказанное нами».

Тут критик сильно и остроумно доказывает преимущественную пользу немецких философов на тех из наших писателей, которые, не отличаясь личным дарованием, тем яснее показывают достоинство чужого, ими приобретенного. «Здесь господствуют два рода литераторов; одни следуют направлению французскому, другие немецкому. Что встречаем мы в сочинениях первых? *Мыслей* мы не встречаем у них (ибо мысли собственно французские уже стары; следовательно, не мысли, а общие места: сами французы заимствуют их у немцев и англичан). Но мы находим у них *игру слов,* редко, весьма редко, и то случайно соединенную с остроумием, и *шутки,* почти всегда лишенные вкуса, часто лишенные всякого смысла. И может ли быть иначе? — Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества; а многие ли из наших писателей имеют счастие принадлежать к нему?

Напротив того, в произведениях литераторов, которые напитаны чтением немецких умствователей, почти всегда найдем что-нибудь достойное уважения, хотя тень мысли, хотя стремление к этой тени».

В князе Вяземском г. Киреевский видит доказательство, что истинный талант блестит везде, во всяком направлении, под всяким влиянием. «Однако ж,— говорит автор,— и князь Вяземский, несмотря на все свои дарования, несмотря на то, что мы можем назвать его остроумнейшим из наших писателей, еще выше там, где, как в „Унынии“, голос сердца слышнее ума».

Автор не соглашается с мнением людей, утверждающих, что французское направление господствует также и в произведениях Баратынского. Он видит в нем поэта

самобытного, *своеобразного.* «Чтобы *дослышать* все *оттенки* лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, не замеченного с первого взгляда,— верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении, многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную *щеголеватость?* Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка».

Автор справедливо ставит «Эду», одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии, выше «Бального вечера», поэмы более блестящей, но менее изящной, менее трогательной, менее вольно и глубоко вдохновенной. Определяя характер поэзии барона Дельвига, критик говорит: «Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездушно. Только подражание из любви может быть поэтическим и даже творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих себя? и не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты, соответствующие требованиям нашего духа? Вот отчего новейшие всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним; скажу более: нет ни одного истинно-изящного перевода древних классиков, где бы не легли следы такого состояния души, которого не знали наши праотцы по уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны христианству; романическая любовь, подарок арабов и варваров; уныние, дитя севера и зависимости; всякого рода фанатизм, необходимый плод борьбы вековых неустройств Европы с порывами к улучшению; наконец перевес мысленности над чувствами, и оттуда стремление к единству и сосредоточенью...» и пр.

Рассуждая о некоторых произведениях драматической музы нашей, автор с такою веселостию изображает состояние сцены, что мы, не разделяя вполне его мнения, не можем, однако ж, не выписать сего оригинального места.

«Вообще наш театр представляет странное противоречие с самим собою: почти весь репертуар наших коме-

дий состоит из подражаний французам, и, несмотря на то, именно те качества, которые отличают комедию французскую ото всех других: вкус, приличность, остроумие, чистота языка и всё, что принадлежит к необходимостям хорошего общества,— всё это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вместо того, чтобы быть зеркалом нашей жизни, служит увеличительным зеркалом для одних лакейских наших, далее которых не проникает наша комическая муза. В лакейской она — *дома,* там ее и гостиные, и кабинет, и зала, и уборная; там проводит она весь день, когда не ездит на запятках делать визиты музам соседних государств, и чтобы русскую Талию изобразить похоже, надобно представить ее в ливрее и в сапогах.

Таков общий характер наших оригинальных комедий, еще не измененный немногими, редкими исключениями. Причина этого характера заключается отчасти в том, что от Фонвизина до Грибоедова * мы не имели ни одного истинного комического таланта, а известно, что необыкновенный человек, как необыкновенная мысль, всегда дают одностороннее направление уму; что перевес силы уравновешивается только другою силою; что вред гения исправляется явлением другого, противудействующего.

Между тем можно бы заметить нашим комическим писателям, что они поступают нерасчетливо, избирая *такое* направление... За простым народом им не угнаться, и как ни низок язык их, как ни богаты неприличностями их удалые шутки, как ни грубы их фарсы, которым хохочет раек; но они никогда не достигнут до своего настоящего идеала, и все комедии их — любой извозчик убьет одним словом».

Исчисляя переводы, явившиеся в течение 1829 года, автор замечает, что шесть иностранных поэтов разделяют преимущественно любовь наших литераторов: Гёте, Шиллер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич.

Пропустив некоторые сочинения, более или менее замечательные, но не входящие в область чистой литературы, автор обращается к сочинениям в роде повествовательном. Прошлый год богат был оными: но «Иван Выжигин», бесспорно, более всех достоин был внимания по

* Кажется, автор выразился ошибочно. Не хотел ли он сказать: *кроме Фонвизина и Грибоедова?*

своему чрезвычайному успеху. Два издания разошлись менее чем в один год; третье готовится. Г-н Киреевский произносит ему строгий и резкий приговор,* не изъясняя, однако ж, удовлетворительно неимоверного успеха нравственно-сатирического романа г. Булгарина.

«Замечательно,— говорит г. Киреевский,— что в прошедшем году вышло около 100 000 экземпляров азбуки русской, около 60 000 азбуки славянской, 60 000 экз. катехизиса, около 15 000 азбуки французской, и вообще учебные книги расходились в этом году почти целою третью более, нежели в прежнем. Вот что нам нужно, чего недостает нам, чего по справедливости требует публика».

Спешим окончить сие слишком уже пространное изложение. Г-н Киреевский, вкратце упомянув о журналах, о духе их полемики, об альманахах, о переводах некоторых известных сочинений, заключает свою статью следующим печальным размышлением:

«Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к словесностям других государств, если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: „Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?“ — Что будем отвечать ему?

Мы укажем ему на Историю Российского государства; мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова, и — где еще найдем мы произведение достоинства европейского?

Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего отечества!»

Мы улыбнулись, прочитав сей меланхолический эпилог. Но заметим г-ну Киреевскому, что там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое «Обозрение словесности», там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко.

---

* См.: Денница. Обозрение русской словесности, стр. LXXIII.

КАРЕЛИЯ, ИЛИ ЗАТОЧЕНИЕ МАРФЫ ИОАННОВНЫ РОМАНОВОЙ

*Описательное стихотворение в четырех частях. Федора Глинки.— СПб., в типографии X. Гинце, 1830 (VIII — 112 стр. в 8-ю д. л.).**

Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в станцах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностию, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной,— всё дает особенную печать его произведениям. Поэма «Карелия» служит подкреплением сего мнения. В ней, как в зеркале, видны достоинства и недостатки нашего поэта. Мы верно угодим нашим читателям, выписав несколько отрывков, вместо всякого критического разбора. **

(Монах рассказывает Марфе Иоанновне о прибытии своем в Карелию.)

В страну сию пришел я летом,
Тогда был небывалый жар,
И было дымом всё одето:
В лесах свирепствовал пожар,
В Кариоландии горело!..
От блеска не было ночей,
И солнце грустно без лучей,
Как раскаленный уголь, тлело!
Огонь пылал, ходил стеной,
По ветвям бегал, развивался,
Как длинный стяг перед войной;
И страшный вид передавался

---

* Продается у издателя, книгопродавца Ив. Вас. Непейцына в д. Г. М. Балабина, под № 26-м. Цена экз. 6 р., с пересылкою 7 р.

** В № 6-м «Литературной газеты» было вкратце изложено содержание сей поэмы.— Издатель, г. Непейцын, заслуживает всякую похвалу за старательное и отлично-красивое издание оной.

Озер пустынных зеркалам...
От знойной смерти убегали
И зверь, и вод жильцы, и нам
Тогда казалось, уж настали
Кончина мира, гибель дней,
Давно на Патмосе в виденье
Предсказанные. Всё в томленье
Снедалось жадностью огней,
Порывом вихрей разнесенных;
И глыбы камней раскаленных
Трещали.— Этот блеск, сей жар
И вид дымящегося мира,—
Мне вспомянули песнь Омира:
В его стихах *лесной пожар.*

Но осень нам дала и тучи
И ток гасительных дождей;
И нивой пепел стал зыбучий
И жатвой радовал людей!..

Дика Карелия, дика!
Надутый парус челнока
Меня промчал по сим озерам;
Я проходил по сим хребтам,
Зеленым дебрям и пещерам;
Везде пустыня: здесь и там
От Саломейского пролива
К семье Сюйсарских островов,
До речки с жемчугом игривой, *
До дальних северных лесов,
Нигде ни городов, ни башен
Пловец унылый не видал,
Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал;
И мертво всё... пока Шелойник
В Онегу, с свистом, сквозь леса
И нагло к челнам, как разбойник,
И рвет на соймах паруса,
Под скрыпом набережных сосен.
Но живописна ваша осень,
Страны Карелии пустой:
С своей палитры, дивной кистью,
Неизъяснимой пестротой
Она златит, малюет листья:
Янтарь, и яхонт, и рубин
Горят на сих древесных купах,
И кудри алые рябин
Висят на мраморных уступах.
И вот, меж каменных громад,
Порой я слышу шорох стад,
Бродящих лесовой тропою,

* В речке Повенчанке находят жемчуг, иногда довольно окатистый и крупный. *(Примечание Ф. Глинки).*

И под рогатой головою
Привески звонкие брянчат...

Край этот мне казался дик:
Малы, рассеяны в нем селы;
Но сладок у лесной Карелы
Ее бесписьменный язык.
Казалось, я переселился
В края Авзонии опять:
И мне хотелось повторять
Их речь: в ней слух мой веселился
Игрою звонкой буквы Л.
Еще одним я был обманут:
Вдали, для глаз, повсюду ель
Да сосна, и под ней протянут
Нагих и серых камней ряд.
Тут, думал я, одни морозы,
Гнездо зимы. Иду... Вдруг... розы!
Всё розы весело глядят!
И Север позабыл я снова.
Как девы милые, в семье,
Обсядут старика седого,
Так розы в этой стороне,
Собравшись рощей молодою,
Живут с громадою седою.

Сии места я осмотрел
И поражен был. Тут сбывалось
Великое!.. Но кто б умел,
Кто б мог сказать, когда то сталось?..
Везде приметы и следы
И вид премены чрезвычайной
От ниспадения воды —
С каких высот? осталось тайной...
Но Север некогда питал,
За твердью некоей плотины,
Запасы вод; доколь настал
Преображенья час! — И длинный,
Кипучий, грозный, мощный вал
Сразился с древними горами;
Наземный череп растерзал,
И стали щели — озерами.
Их общий всем, продольный вид
Внушал мне это заключенье.
Но ток, сорвавшись, всё кипит,
Забыв былое заточенье,
Бежит и сыплет валуны
И стал. Из страшного набега
Явилась — зеркало страны —
Новорожденная Онега!

Здесь поздно настает весна;
Глубоких долов, меж горами,
Карела дикая полна:

Там долго снег лежит буграми,
И долго лед над озерами
Упрямо жмется к берегам.
Уж часто видят, по лугам
Цветок синеется подснежный,
И мох цветистый оживет
Над трещиной скалы прибрежной;
А серый безобразный лед
(Когда глядим на даль с высот)
Большими пятнами темнеет
И от озер студеным веет...
И жизнь молчит, и по горам
Бедна карельская береза;
И в самом мае, по утрам,
Блистает серебро мороза...
Мертвеет долго всё... Но вдруг
Проснулось здесь и там движенье;
Дохнул какой-то теплый дух
И вмиг свершилось возрожденье:
Помчались лебедей полки,
К приютам ведомым влекомых;
Снуют по соснам пауки;
И тучи, тучи насекомых
В веселом воздухе жужжат.
Взлетает жавронок высоко,
И от черемух аромат
Льется долго и далёко...
И в тайне диких сих лесов
Живут малиновки семьями:
В тиши бестенных вечеров
Луга и бор и дичь бугров
Полны кругом их голосами.
Поют... поют... поют оне
И только с утром замолкают:
Знать, в песне высказать желают,
Что в теплой видели стране,
Где часто провождали зимы;
Или, предчувствием томимы,
Что скоро, из лесов густых,
Дохнет, как смерть, неотвратимый,
От Беломорских стран пустых,
Губитель роскоши и цвета,
Он вмиг, как недуг, всё сожмет,
И часто в самой неге лета
Природа смолкнет и замрет!

По Суне плыли наши челны.
Под нами стлались небеса,
И опрокинулися в волны
Уединенные леса.
Спокойно всё на влаге светлой,
Была окрестность в тишине,
И ясно на глубоком дне
Песок виднелся разноцветный.

И, за грядою серых скал,
Прибрежных нив желтело злато,
И с сенокосов ароматом
Я в летней роскоши дышал.
Но что шумит?.. В пустыне шепот
Растет, растет, звучит, и вдруг —
Как будто конной рати топот,
Дивит и ужасает слух!
Гул, стук! — Знать, где-то строят грады;
Свист, визг! — Знать, целый лес пилят!
Кружатся, блещут звезд громады,
И вихри влажные летят
Холодной, стекловидной пыли:
«Кивач!.. Кивач!.. Ответствуй, ты ли?..»
И выслал бурю он в ответ!..
Кипя над четырьмя скалами,
Он, с незапамятных нам лет,
Могучий исполин, валами
Катит жемчуг и серебро;
Когда ж в хрустальное ребро
Пронзится, горними лучами
Чудесной радуги цветы
Его опутают, как ленты;
Его зубристые хребты
Блестят — пустыни монументы.
Таков Кивач, таков он днем!
Но под зарею летней ночи
Вдвойне любуются им очи:
Как будто хочет небо в нем
На тысячи небес дробиться,
Чтоб после снова целым слиться
Внизу, на зеркале реки...
Тут буду я! Тут жизнь теки!..
О, счастье жизни сей волнистой!
Где ты? — В чертоге ль богача,
В обетах роскоши нечистой,
Или в Карелии лесистой,
Под вечным шумом Кивача?..

Духи основали свое царство в пустынях *лесной Карелы*. Вот как поэт наш изображает их.

В тех горах
Живут селениями духи:
Точь-в-точь, как мы! В больших домах,
Лишь треугольником их кровли,
Они охотники до ловли,
И всё у них, как и у нас:
Есть чернь и титул благородных;
Суды, Расправы и Приказ.
Но нет балов, торговок модных,
Карет, визитов, суеты
И бестолкового круженья;
Нет мотовства и разоренья,

Так, стало, нет и нищеты!
Счет, вес и мера без обмана,
И у судейского кафтана
У них не делают кармана.—
Я не могу уверить вас,
Имеют ли они Парнас,
Собранья авторов и залы
Для чтения.— «А есть журналы?» —
Нет-с! — Ну, и ссоры меньше там:
Литературные нахалы
Не назовут по именам
И по отечествам, чтоб гласно,
Под видом критики, ругать:
То с здравым смыслом не согласно!
И где, кто б мог закон сыскать,
Который бы людей уволил
От уз приличия? И им,
Как будто должное, дозволил
По личным прихотям своим,
Порою ж и по ссоре личной,
Кричать, писать, ругать публично?..
Зато уж в обществе духов —
Вон там, на тех скалах огромных —
Все так приязнены! так скромны!..
От человеческих грехов
Подчас им, бедным, очень душно!
И если станет уж и скучно
Смотреть на глупости земных,
На наши шашни и проказы,
То псов с собой четвероглазых
И в лес! И вот, лесов *чесных*
Принявши образ, часто странный,
То, выше ели, великаны,
То наравне, в траве, с травой!
Проказят, резвятся, хохочут,
Зовут, обходят и морочат...
Иди к ним, с умной головой,
Начитанный теорик,— что же?
Тебе ученость не поможет:
Ты угоришь: всё глушь да мрак;
А духи шепчут: «ты дурак!
Сюда, мудрец, вот омут грязный!»...
Не так ли иногда приказный,
Раскинув практику свою,
Из справки в справку ходит, ходит,
И часто в бестолочь заводит
И толковитого судью?..

О СТАТЬЯХ КН. ВЯЗЕМСКОГО

Некоторые журналы, обвиненные в неприличности их полемики, указали на князя Вяземского, как на начинщика брани, господствующей в нашей литературе.

Указание неискреннее. Критические статьи кн. Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion) и ловкостию самого софизма. Эпиграмматические же разборы его могут казаться обидными самолюбию авторскому, но кн. Вяземский может смело сказать, что личность его противников никогда не была им оскорблена; они же всегда преступают черту литературных прений и поминутно, думая напасть на писателя, вызывают на себя негодование члена общества и даже гражданина. Но должно ли на них негодовать? Не думаем. В них более извинительного незнания приличий, чем предосудительного намерения.— Чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств. Люди светские имеют свой образ мыслей, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странною, и он чуть ли не будет прав.

Доказательством, что журналы наши никогда не думали выходить из границ благопристойности, служит их добродушное изумление при таковых обвинениях и их единогласное указание на того, чьи произведения более всего носят на себе печать ума светского и тонкого знания общежития.

О НОВЕЙШИХ БЛЮСТИТЕЛЯХ НРАВСТВЕННОСТИ

Но не смешно ли им судить о том, что принято или не принято в свете, что могут, чего не могут читать наши дамы, какое выражение принадлежит гостиной (или будуару, как говорят эти господа)? Не забавно ли видеть их опекунами высшего общества, куда, вероятно, им и некогда и вовсе не нужно являться? Не странно ли в ученых изданиях встречать важные рассуждения об отвратительной безнравственности такого-то выражения и ссылки на *паркетных дам?* Не совестно ли вчуже видеть почтенных профессоров, краснеющих от светской шутки? Почему им знать, что в лучшем обществе жеманство и напыщенность

еще нестерпимее, чем простонародность (vulgarité), и что оно-то именно и обличает незнание света? Почему им знать, что откровенные, оригинальные выражения простолюдимов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха, между тем как чопорные обиняки провинциальной вежливости возбудили бы только общую невольную улыбку? Хорошее общество может существовать и не в высшем кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные.

Эта охота выдавать себя за членов высшего общества вводила иногда наших журналистов в забавные промахи. Один из них думал, что невозможно говорить при дамах о блохах, и дал за них строгий выговор — кому же — одному из молодых блестящих царедворцев. В одном журнале сильно напали на неблагопристойность поэмы, где сказано, что молодой человек осмелился войти ночью к спящей красавице. И между тем как стыдливый рецензент разбирал ее как самую вольную сказку Бокаччио иль Касти, все петербургские дамы читали ее и знали целые отрывки наизусть. Недавно исторический роман обратил на себя внимание всеобщее и отвлек на несколько дней всех наших дам от fashionable tales и исторических записок. Что же? Газета дала заметить автору, что в его простонародных сценах находятся слова ужасные: *сукин сын*. Возможно ли? что скажут дамы, если паче чаяния взор их упадет на это неслыханное выражение? — Что б они сказали Фонвизину, который императрице Екатерине читал своего «Недоросля», где на каждой странице эта невежливая Простакова бранит Еремеевну *собачьей дочерью?* Что сказали б новейшие блюстители нравственности и о чтении «Душеньки», и об успехе сего прелестного произведения? — Что думают они о шутливых одах Державина, о прелестных сказках Дмитриева? — «Модная жена» не столь же ли безнравственна, как и «Граф Нулин»?

НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ НА 1830 ГОД,

изданный Е. Аладьиным. СПб., в типографии вдовы Плюшар, 1830 (486 стр., в 16-ю долю, и 22 стр. нот).

«Невский альманах» издается уже 6-ой год и видимо улучшается. Нынче явился он безо всяких излишних притязаний на наружную щеголеватость; издатель в сем

случае поступил благоразумно, и альманах нимало от того не потерпел. Три письма князя Меншикова, в нем помещенные, любопытны как памятники исторические. «Сказки о кладах» суть лучшее из произведений Байского, доныне известных. Стихотворную часть украшает Языков.

С самого появления своего сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог бы он постигнуть и выразить с живостию, ему свойственною. Пожалеем, что доныне почти не выходил он из пределов одного слишком тесного рода, и удивимся, что издатель журнала, отличающегося слогом неправильным до бессмыслицы, мог вообразить, что ему возможно в каких-то пародиях подделаться под слог Языкова, твердый, точный и полный смысла.

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА

*сочинение Николая Полевого. Том I.— М. в типогр. Августа Семена, 1829 (LXXXII — 368 стр., в 8-ю д. л.). В конце книги приложена таблица, содержащая в себе генеалогическую роспись русских князей с 862 по 1055 год.**

Статья I

Мы не охотники разбирать заглавия и предисловия книг, о коих обязываемся отдавать отчет публике; но перед нами первый том «Истории русского народа», соч. г. Полевым, и поневоле должны мы остановиться на первой строке посвящения: *Г-ну Нибуру, первому историку нашего века.* Спрашивается: кем и каким образом г. Полевой уполномочен назначать места писателям, заслужившим всемирную известность? должен ли г. Нибур быть благодарен г. Полевому за милостивое производство в первые историки нашего века, не в пример другим? Нет ли тут со стороны г. Полевого излишней самонадеянности? Зачем с первой страницы вооружать уже на себя читателя, всегда недоверчивого к выходкам авторского самолюбия и предубежденного против нескромности? Самое посвящение, вероятно, не помирит его с г. Полевым. В нем

* Раздается в книжном магазине А. Смирдина. Подписная цена за все 12 томов 40 руб., с пересылкой 45 рублей.

господствует единая мысль, единое слово: *Я*, еще более неловкое, чем ненавистное *Я*. Послушаем г. Полевого: «В то время, когда образованность и просвещение соединяют все народы союзом дружбы, основанной на высшем созерцании жребия человечества, когда высокие помышления, плоды философских наблюдений и великие истины Прошедшего и Настоящего составляют общее наследие различных народов и быстро разделяются между обитателями отдаленных одна от другой стран...» тогда — что б вы думали? *«я осмеливаюсь поднести вам мою Историю русского народа».*

Belle conclusion et digne de l'exorde!

Далее: «Я не поколебался писать историю России после Карамзина; утвердительно скажу, что я верно изобразил историю России; я знал подробности событий, я чувствовал их, как русский; я был беспристрастен, как гражданин мира»... Воля ваша: хвалить себя немножко можно; зачем терять хоть единый голос в собственную пользу? Но есть мера всему. Далее: «Она (картина г-на Полевого) достойна вашего взора (Нибурова). Пусть приношение мое покажет вам, что в России столько же умеют ценить и почитать вас, как и в других просвещенных странах мира». Опять! как можно самому себя выдавать за представителя всей России! За посвящением следует предисловие. Вступление в оное писано темным, изысканным слогом и своими противоречиями и многословием напоминает философическую статью об русской истории, напечатанную в «Московском телеграфе» и разобранную с такой оригинальной веселостию в «Славянине».

Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, что он поступил по крайней мере неискусно, напав на «Историю государства Российского» в то самое время, как начинал печатать «Историю русского народа». Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника. Он отдалил бы от себя нарекания, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному

невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно.

Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апоффегмами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его не удовлетворителен, там недоставало ему источников: он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял как краски, но не полагал в них никакой существенной важности. «Заметим, что сии апоффегмы,— говорит он в предисловии, столь много критикованном и столь еще мало понятом,— бывают для основательных умов или полуистинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действия и характеров». Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели. Историк, добросовестно рассказав происшествие, выводит одно заключение, вы другое, г-н Полевой никакого: *вольному воля,* как говорили наши предки.

Г-н Полевой замечает, что 5-я глава XII-го тома была еще недописана Карамзиным, а начало ее, вместе с первыми четырьмя главами, было уже переписано и готово к печати, и делает вопрос: *«Когда же думал историк?»*

На сие ответствуем:

Когда первые труды Карамзина были с жадностию принимаемы публикою, им образуемою, когда лестный успех следовал за каждым новым произведением его гармонического пера, тогда уже думал он об истории России и мысленно обнимал свое будущее создание. Вероятно, что XII том не был им еще начат, а уже историк думал о той странице, на которой смерть застала последнюю его мысль... Г-н Полевой, немного подумав, конечно, сам удивится своему легкомысленному вопросу.

Статья II

Действие В. Скотта ощутительно во всех отраслях ему современной словесности. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста. Он указал им источники совершенно новые, неподозреваемые прежде, несмотря на существование исторической драмы, созданной Шекспиром и Гёте.

Г-н Полевой сильно почувствовал достоинства Баранта и Тьерри и принял их образ мнений с неограниченным энтузиазмом молодого неофита. Пленяясь романическою живостию истины, выведенной перед нас в простодушной наготе летописи, он фанатически отвергнул существование всякой другой истории. Судим не по словам г-на Полевого, ибо из них невозможно вывести никакого положительного заключения; но основываемся на самом духе, в котором вообще писана «История русского народа», на старании г-на Полевого сохранить драгоценные краски старины и частых его заимствованиях у летописей. Но желание отличиться от Карамзина слишком явно в г-не Полевом, и как заглавие его книги есть не что иное, как пустая пародия заглавия «Истории государства Российского», так и рассказ г-на Полевого слишком часто не что иное, как пародия рассказа историографа.

«История русского народа» начинается живым географическим изображением Скандинавии и нравов диких ее обитателей (подражание Тьерри); но, переходя к описанию стран, Россиею ныне именуемых, и народов, некогда там обитавших, г-н Полевой становится столь же темен в изложении своих этнографических понятий, как в философических рассуждениях своего предисловия. Он или повторяет сбивчиво то, что было ясно изложено Карамзиным, или касается предметов, вовсе чуждых истории русского народа, и, утомляя внимание читателя, говорит поминутно: «Итак, мы видим... Из сего следует... Мы в нескольких словах означили главные черты великой картины...», между тем как мы ничего не видим, как из этого ничего не следует и как г-н Полевой в весьма многих словах означил не главные черты великой картины.

Желание противоречить Карамзину поминутно завлекает г-на Полевого в мелочные придирки, в пустые замечания, большею частию несправедливые. Он то

соглашается с Татищевым, то ссылается на Розенкампфа, то утвердительно и без доказательства повторяет некоторые скептические намеки г-на Каченовского. Признав уже достоверность похода к Царюграду, он сомневается, имел ли Олег с собою сухопутное войско. «Где могли пройти его дружины,— говорит г-н Полевой,— не чрез Булгарию по крайней мере». Почему же нет? какая тут физическая невозможность? Оспоривая у Карамзина смысл выражения: *на ключ,* он пускается в догадки, ни на чем не основанные. Быть может, и Карамзин ошибся в применении своей догадки: ключ (символ хозяйства), как котел у казаков, означал, вероятно, общее хозяйство, артель.* В древнем договоре Карамзин читает: *милым ближникам,* ссылаясь на сгоревший Троицкий список. Г-н Полевой, признавая, что в других списках поставлено ad libita librarii *милым* и *малым,* подчеркивает, однако ж, слово *сгоревший,* читает *малым* (малолетным, младшим) и переводит: *дальним* (дальним ближним!). Не говорим уже о довольно смешном противоречии; но что за мысль отдавать наследство дальним родственникам мимо ближайших?

Первый том «Истории русского народа» писан с удивительной опрометчивостию. Г-н Полевой утверждает, что дикая поэзия согревала душу скандинава, что песнопения скальда воспламеняли его, что религия усиливала в нем врожденную склонность к независимости и презрению смерти (склонность к презрению смерти!), что он гордился названием *Берсеркера,* и пр.; а чрез три страницы г-н Полевой уверяет, что не слава вела его в битвы; что он ее не знал, что недостаток пищи, одежды, жадность добычи были причинами его походов. Г-н Полевой не видит еще государства Российского в начальных княжениях скандинавских витязей, а в Ольге признает уже мудрую образовательницу системы скрепления частей в единое целое, а у Владимира стремление к единовластию. В уделах г-н Полевой видит то образ восточного самодержавия, то феодальную систему, общую тогда в Европе. Промахи, указанные в «Московском вестнике», почти невероятны.

Г-н Полевой в своем предисловии весьма искусно дает заметить, что слог в истории есть дело весьма второ-

---

* *Стряпчий с ключом* ведал хозяйственною частию Двора. В Малороссии *ключевать* значит *управлять хозяйством.*

степенное, если уже не совсем излишнее; он говорит о нем почти с презрением.

Maître renard, peut-être on vous croirait...

По крайней мере, слог есть самая слабая сторона «Истории русского народа». Невозможно отвергать у г-на Полевого ни остроумия, ни воображения, ни способности живо чувствовать; но искусство писать до такой степени чуждо ему, что в его сочинении картины, мысли, слова, всё обезображено, перепутано и затемнено.

P. S. Сказав откровенно наш образ мыслей насчет «Истории русского народа», не можем умолчать о критиках, которым она подала повод. В журнале, издаваемом ученым, известным профессором, напечатана статья,* в коей брань доведена до исступления; более чем в 30 страницах грубых насмешек и ругательства нет ни одного дельного обвинения, ни одного поучительного показания, кроме ссылки на мнение самого издателя, мнение весьма любопытное, коему доказательства с нетерпением должны ожидать любители отечественной истории. «Московский вестник»... (et tu autem, Brute!) сказал свое мнение насчет г-на Полевого еще с большим, непростительнейшим забвением своей обязанности,— непростительнейшим, ибо издатель «Московского вестника» доказал, что чувство приличия ему сродно и что, следственно, он добровольно пренебрегает оным. Ужели так трудно нашей братье критикам сохранить хладнокровие? Как не вспомнить, по крайней мере, совета старинной сказки:

То же бы ты слово
Да не так бы молвил.

ВТОРОЙ ТОМ «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА» ПОЛЕВОГО

1

Противуречия и промахи, указанные в разных журналах, доказывают, конечно, не невежество г. Полевого (ибо сих обмолвок можно было избежать, дав себе время подумать или справиться), но токмо непростительную

---

* Выписки, коими наполнена сия статья, в самом деле *пойдут в пример галиматьи;* но и самый текст почти от них не отличается.

опрометчивость и поспешность. Презрение, с каковым г-н Полевой отзывался в своих примечаниях о Карамзине, издеваясь над его трудом, оскорбляло нравственное чувство уважения нашего к великому соотечественнику. Но сия опрометчивость и необдуманность сильно повредили г. Полевому во мнении малого числа просвещенных и благоразумных читателей, ибо они поколебали, если не вовсе уничтожили, доверенность, которую обязан он был внушить им. Теперь мы читаем «Историю русского народа», не полагаясь на добросовестность труда и верность разысканий — но на каждое слово невольно требуем подтверждения постоянного, если не имеем терпения или способов справляться сами. «История русского народа» состоит из отдельных отрывков, часто не имеющих между собою связи по духу, в коем они писаны, и походит более на разные журнальные статьи, чем на книгу, обдуманную одним человеком и проникнутую единством духа.

Несмотря на сии недостатки «История русского народа» заслуживала внимания по многим остроумным замечаниям (NB. Остроумием называем мы не шуточки, столь любезные нашим веселым критикам, но способность сближать понятия и выводить из них новые и правильные заключения), по своей живости, хоть и неправильной, по взгляду и по воззрению недальному и часто неверному, но вообще новому и достойному критических исследований.

Второй том, ныне вышедший из печати, имеет, по нашему мнению, большое преимущество перед первым.

1) В нем нет сбивчивого предисловия и гораздо менее противуречий и многоречия.

2) Тон нападения на Карамзина уже гораздо благопристойнее.

3) Самый рассказ не есть уже пародия рассказа Карамзина, но нечто собственно принадлежащее г. Полевому.

II том начинается взглядом на всеобщее состояние Европы в XI столетии.

2

Г-н Полевой предчувствует присутствие истины, но не умеет ее отыскать и вьется около.

Он видит, что Россия была совершенно отделена от

Западной Европы. Он предчувствует тому и причину, но вскоре желание приноровить систему новейших историков и к России увлекает его.— Он видит опять и феодализм (называет его семейственным феодализмом) и в сем феодализме средство задушить феодализм же, полагает его необходимым для развития сил юной России. Дело в том, что Россия не окрепла и не развилась во время *княжеских драк* (как энергически назвал Карамзин удельные междоусобия), но, напротив, ослабла и сделалась легкою добычею татар; что аристократия не есть феодализм и что аристократия, а не феодализм, никогда не существовавший, ожидает русского историка. Объяснимся.

Феодализм частность.

Аристократия общность.

Феодализма в России не было. Одна фамилия, варяжская, властвовала независимо, добиваясь великого княжества.

Феодальное семейство (одно vassaux).

Бояре жили в городах при дворе княжеском,
не укрепляя своих поместий,
не сосредоточиваясь в малом семействе,
не враждуя противу королей,
не продавая своей помощи городам.
Но
они были вместе,
придворные товарищи об их правах заботились,
составили союз,
считались старшинством,
крамольничали.

Великие князья не имели нужды соединяться с народом, дабы их усмирить.

Аристократия стала могущественна. Иван Васильевич III держал ее в руках при себе. Иван IV казнил. В междуцарствие она возросла до высшей степени. Она была наследственная — отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Феодор, но Языков, т. е. меньшое дворянство уничтожило местничество и боярство, принимая сие слово не в смысле придворного чина, но в смысле аристократии.

Феодализма у нас не было, и тем хуже.

3

История древняя кончилась богочеловеком, говорит г-н Полевой. Справедливо. Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы! Зачем же г-н Полевой за несколько страниц выше повторил пристрастное мнение 18-го столетия и признал концом древней истории падение Западной Римской империи — как будто самое распадение оной на Восточную и Западную не есть уже конец Рима и ветхой системы его?

Гизо объяснил одно из событий христианской истории: *европейское просвещение.* Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие и, отклоняя всё отдаленное, всё постороннее, *случайное,* доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и, наконец, рассветающие века. Вы поняли великое достоинство французского историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Не говорите: *иначе нельзя было быть.* Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая* — мощного, мгновенного орудия провидения. Один из остроумнейших людей XVIII столетия предсказал Камеру французских депутатов и могущественное развитие России, но никто не предсказал ни Наполеона, ни Полиньяка.

АНГЛИЯ ЕСТЬ ОТЕЧЕСТВО КАРИКАТУРЫ И ПАРОДИИ...

Англия есть отечество карикатуры и пародии. Всякое замечательное происшествие подает повод к сатирической картинке; всякое сочинение, ознаменованное успехом, подпадает под пародию. Искусство подделываться под слог известных писателей доведено в Англии до совершенства. Вальтер Скотту показывали однажды стихи, будто бы им сочиненные. «Стихи, кажется, мои,— отвечал он, смеясь: — я так много и так давно пишу, что не смею отречься и от этой бессмыслицы!» — Не думаю, чтобы кто-нибудь из известных наших писателей мог узнать себя в пародиях, напечатанных недавно в одном из московских журналов. Сей род шуток требует редкой гибкости слога; хороший пародист обладает всеми слогами, а наш едва ли и одним. Впрочем, и у нас есть очень удачный опыт: г-н Полевой очень забавно пародировал Гизота и Тьерри.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАМЕТКИ ОБ «ИЛИАДЕ»

В одном из московских журналов выписывают объявление об «Илиаде», напечатанное во 2-м № «Литературной газеты», и говорят, что сие *воззвание на счет* (?) труда г-на Гнедича обнаруживает дух партии, которая в литературе не должна быть терпима. В доказательство чего дают заметить, что в «Литературной газете» сказано: «Русская Илиада должна иметь важное влияние на отечественную словесность»; а что в предисловии к своему переводу Н. И. Гнедич похвалил гекзаметры барона Дельвига.

Вот лучшее доказательство правила, слишком пренебрегаемого нашими критиками: ограничиваться замечаниями чисто литературными, не примешивая к оным догадок насчет посторонних обстоятельств, догадок большею частию столь же несправедливых, как и неблагопристойных. Объявление о переводе «Илиады» писано мною и напечатано во время отсутствия барона Дельвига. Принужденным нахожусь сказать, что нынешние отношения барона Дельвига к Н. И. Гнедичу *не суть дружеские:* но

как бы то ни было, это не может повредить их взаимному уважению. Н. И. Гнедич, по благородству чувств, ему свойственному, откровенно сказал свое мнение насчет таланта барона Дельвига, похвалив произведения музы его. Пример утешительный в нынешнюю эпоху русской литературы. *

Г-Н РАИЧ СЧЕЛ ЗА НУЖНОЕ...

Г-н Раич счел за нужное отвечать критикам, не признававшим в нем таланта. Он напечатал в 8-м № «Галатеи» нынешнего года следующее примечание:

«Чтобы вывести некоторых из заблуждения, представляю здесь *перечень* моих сочинений:

1. Грусть на пиру.
2. Прощальная песнь в кругу друзей.
3. Перекати-поле.
4. Друзьям.
5. Амела.
6. Петроний к друзьям.
7. Вечер в Одессе.

Прочие мелкие стихотворения мои — переводы. В чем же obtrectatores нашли вялость воображения, щепетильную жеманность чувства и (просим покорно найти толк в следующих словах!) недостаток воображения».

Мы принуждены признать неоспоримость сего возражения.

О ЗАПИСКАХ ВИДОКА

В одном из № «Литературной газеты» упоминали о Записках парижского палача; нравственные сочинения Видока, полицейского сыщика, суть явление не менее отвратительное, не менее любопытное.

Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан

---

* Ужели перевод «Илиады» столь незначителен, что Н. И. Гнедичу нужно покупать себе похвалы? Если же нет, то неужели критик, по предполагаемой приязни с переводчиком, должен непременно бранить труд его, чтобы показать свое беспристрастие?

он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что́ должны быть нравственные сочинения такого человека.

Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом (un bon Français), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! Он уверяет, что служил в военной службе, и как ему не только дозволено, но и предписано всячески переодеваться, то и щеголяет орденом Почетного Легиона, возбуждая в кофейнях негодование честных бедняков, состоящих на половинном жалованье (officiers à la demi-solde). Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой). Он с удивительной важностию толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях, отчасти надеясь на их презрение, отчасти по расчету: суждения Видока о Казимире де ля Вине, о Б. Констане должны быть любопытны именно по своей нелепости.

Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих *врагов* доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений: раздражительность, смешная во всяком другом писаке, но в Видоке утешительная, ибо видим из нее, что человеческая природа, в самом гнусном своем уничижении, всё еще сохраняет благоговение перед понятиями, священными для человеческого рода.

Предлагается важный вопрос:

Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч. не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?

СОБРАНИЕ НАСЕКОМЫХ

Стихотворение А. С. Пушкина

Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки.

Крылов.

Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну что за пестрая семья;
За ними где не рылся я?
Зато какая сортировка!
Вот ** божия коровка,
Вот **** злой паук,
Вот и ** российский жук,
Вот ** черная мурашка,
Вот ** мелкая букашка.
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.

Сие стихотворение, напечатанное в альманахе «Подснежник», нынешнего года, обратило на себя общее внимание. Все журналы отозвались о нем, и большею частию неблагосклонно. Оно удостоилось двух пародий, помещенных в «Вестнике Европы» и в «Московском телеграфе». Пародия *Вестника* отличается легким остроумием; пародия *Телеграфа* — полнотою смысла и строгою грамматической и логической точностию.— Здесь мы помещаем сие важное стихотворение, исправленное сочинителем. В непродолжительном времени выйдет оно особою книгой, с предисловием, примечаниями и биографическими объяснениями, с присовокуплением всех критик, коим оно подало повод, и с опровержением оных. Издание сие украшено будет искусно литохромированным изображением насекомых. Цена с пересылкою 25 руб.

ДЕТСКАЯ КНИЖКА

1.

Ветреный мальчик

Алеша был очень не глупый мальчик, но слишком ветрен и заносчив. Он ничему не хотел порядочно научиться. Когда учитель ему за это выговаривал, то он старался оправдываться разными увертками. Когда бранили его за то, что он пренебрегал французским и немецким языком, то он отвечал, что он русский и что довольно для него, если он будет понимать слегка иностранные языки. Латинский, по его мнению, вышел совсем из употребления, и одним педантам простительно было им заниматься; русской грамматике не хотел он учиться, ибо недоволен был изданною для народных училищ и ожидал новой философической. Логика казалась ему наукою прошлого века, недостойною наших просвещенных времен, и когда учитель бранил его за *вокабулы,* Алеша отвечал ему именами Шеллинга, Фихте, Кузеня, Геерена, Нибура, Шлегеля и проч.— Что же? при всем своем уме и способностях Алеша знал только первые четыре правила арифметики и читал довольно бегло по-русски,— прослыл невеждою, и все его товарищи смеялись над Алешею.

2.

Маленький лжец

Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок. Он не мог сказать трех слов, чтоб не солгать. Папенька его в его именины подарил ему деревянную лошадку. Павлуша уверял, что эта лошадка принадлежала Карлу XII и была та самая, на которой он ускакал из Полтавского сражения. Павлуша уверял, что в доме его родителей находится поваренок-астроном, форрейтор-историк и что птичник Прошка сочиняет стихи лучше Ломоносова. Сначала все товарищи ему верили, но скоро догадались, и никто не хотел ему верить даже тогда, когда случалось ему сказать и правду.

3.

Ванюша, сын приходского дьячка, был ужасный шалун. Целый день проводил он на улице с мальчишками, валяясь с ними в грязи и марая свое праздничное платье. Когда проходил мимо их порядочный человек, Ванюша показывал ему язык, бегал за ним и изо всей силы кричал: «Пьяница, урод, развратник! зубоскал, писака! безбожник, нигилист!» — и кидал в него грязью... Однажды степенный человек, им замаранный, рассердился и, поймав его за вихор, больно побил его тросточкой. Ванюша в слезах побежал жаловаться своему отцу. Старый дьячок сказал ему: поделом тебе, негодяй; дай бог здоровья тому, кто не побрезгал поучить тебя. Ванюша стал очень печален, почувствовал свою вину и исправился.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Отдавая полную справедливость благонамеренности и беспристрастию вашей газеты — признаюсь, не мог я согласиться с мнениями, которые обнаруживает она касательно критики и полемики.

Во-первых, что значат вечные толки о *вежливости?* Если бы критики наших журналов погрешали единой своею грубостию, то беда была бы еще не большая.

Вы поминутно говорите о приличии, но позвольте дать заметить, что и «Литературная газета», стараясь быть равно учтива и важна в отношении ко всем книгам, ею разбираемым, без сомнения погрешала бы противу правил приличия. В обществе вы локтем задели вашего соседа, вы извиняетесь — очень хорошо. Но, гуляя в толпе под качелями, толкнули лавочника,— вы не скажете ему mille pardons. Вы зовете извозчика — и говорите ему: пошел в Коломну, а не — *сделайте одолжение, потрудитесь свезти в Коломну*. Разница критиковать «Историю государства Российского» и например ***.

У нас вошло в обыкновение между писателями, заслужившими доверенность и уважение публики, не возражать на критики. Редко кто-нибудь из них подаст голос, и то не за себя. Обыкновение вредное для литературы. Таковые антикритики имели бы двоякую пользу: исправ-

ление ошибочных мнений и распространение здравых понятий касательно искусства. Вы скажете, что по большей части журнальная критика заключается в личностях и брани, что публика довольно равнодушна к успехам словесности.

Возразят, что иногда нападающее лицо само по себе так презрительно, что честному человеку никак нельзя войти в сношение с ним, не марая себя. В таком случае объяснитесь, извинитесь перед публикою. Видок вас обругал. Изъясните, почему вы никаким образом отвечать ему не намерены. В этом отношении мне нравится одна из статей вашего журнала как доброе дело.

АЛЬМАНАШНИК

— Господи боже мой, вот уже четвертый месяц живу в Петербурге, таскаюсь по всем передним, кланяюсь всем канцелярским начальникам, а до сих пор не могу получить места. Я весь прожился, задолжал, а я ж отставной, того и гляди в яму посодят.

— А по какой части собираешься ты служить?

— По какой части? Господи боже мой! да разве я не русский человек? Я на всё гожусь. Разумеется, хотелось бы мне местечка потеплее; но дело до петли доходит, теперь я и всякому рад.

— Неужто у тебя нет таки ни единого благодетеля?

— Благодетеля? Господи боже мой! да в каждом министерстве у меня по три благодетеля сидят. Все обо мне хлопочут, все обо мне докладывают, а я все-таки без куска хлеба.

— Служба тебе, знать, не дается. Возьмись-ка за что-нибудь другое.

— А за что прикажешь?

— Например, за литературу.

— За литературу? Господи боже мой! в сорок три года начать свое литературное поприще.

— Что за беда? а Руссо?

— Руссо, вероятно, ни к чему другому не был способен. Он не имел в виду быть винным приставом. Да к тому же он был человек ученый, а я учился в Московском университете.

— Что за беда, затевай журнал.

— Журнал? а кто же подпишется?

— Мало ли кто, Россия велика, охотников довольно.

— Нет, брат: нынче их не надуешь. Их отучили. Все говорят: деньги возьмет, а журнала не выдаст или не додаст. Кому охота судиться из 35 рублей?

— Ну, так пиши Выжигина.

— Выжигина? Господи боже мой: написать Выжигина не штука; пожалуй, я вам в четыре месяца отхватаю 4 тома, не хуже Орлова и Булгарина, но покамест успею с голоду околеть.

— Знаешь ли что? Издай Альманак.

— Как так?

— Вот как: выпроси у наших литераторов по нескольку пьес, кой-что перепечатай сам. Выдумай заглавие, закажи в долг виньетку, да и тисни с богом.

— В самом деле. Да я ни с кем из этих господ не знаком.

— Что нужды: ступай себе к ним. Скажи им, что ты юный питомец муз; впервые выступаешь на поприще славы и решился издавать Альманак, а между тем проси их воспоможения и покровительства.

— А что ты думаешь. Ей-богу, я с отчаяния готов и на Альманак.

— Советую дела не откладывать.

— Сегодня ж начну свои визиты.

— И дело: желаю тебе всякого успеха.

(Кабинет стихотворца. Всё в большом беспорядке. Посредине стол. Стихотворец и трое молодых людей играют в кости.)

Стихотворец *(гремя стаканчиком)*. Я в руке. Sept à la main... neuf... Sacredieu... neuf et sept... neuf et sept... neuf... мое... Кто держит?

Гость. Экое счастие: держу.

Стихотворец. Sept à la main... *(про себя)*. Это кто?

Входит Альманашник *(одному из гостей)*. Я давно желал иметь счастие представиться вам. Позвольте одному из усерднейших ваших почитателей... Ваши прекрасные сочинения...

Гость. Вы ошибаетесь: я, кроме векселей, ничего не сочиняю: вот хозяин...

Альманашник. Позвольте одному из усерднейших...

Стихотворец. Помилуйте... радуюсь, что имею честь с вами познакомиться... садитесь, сделайте милость...

Альманашник. Вы заняты... извините: я вам помешал.

Стихотворец. О нет... мы будем продолжать.— Sept à la main... 3 крепс.— Какое несчастие. *(Передает кости.)*

Гость. Сто рублей à prendre.

Стихотворец. Держу... *(Играют.)* Что за несчастие... *(Смотрит косо на Альманашника.)*

Альманашник. Я в первый раз выступаю на поприще славы и решился издать Альманак... я надеюсь, что вы...

Стихотворец. Пятую руку проходит! и всегда я попадусь... Вы издаете Альманак? под каким заглавием?.. прошел — я более не держу.

Альманашник. «Восточная звезда»... я надеюсь, что вы не откажетесь украсить ее драгоценными...

Стихотворец *(берет стаканчик.)* Позвольте: сто рублей à prendre... Sept à la main... крепс — так. Это удивительно; первой руки не могу пройти. *(Плюет, вертит. стул.)* Несносный альманашник; он мне принес несчастие.

Альманашник. Надеюсь, что вы не откажетесь украсить мой Альманак своими драгоценными произведениями...

Стихотворец. Ей-богу — нет у меня стихов,— все разобраны, журналистами, альманашниками... Держу всё... что? прошел опять!.. Это непостижимо. Проклятый альманашник.

Альманашник *(вставая).* Позвольте надеяться, что если будет у вас свободная пьеска...

Стихотворец *(провожая его до дверей).* Отыщу непременно и буду иметь счастие вам доставить.

Альманашник. Поверьте, что крайность, бедственное положение, жена и дети.

Стихотворец *(его выпроводив).* Насилу отвязался. Экое дьявольское ремесло!

Гость. Чье? твое или его?

Стихотворец. Уж верно мое хуже. Отдавай стихи одному дураку в Альманак, чтоб другой обругал их в журнале. Жена и дети. Черт его бы взял.. человек, кто там?

(Входит слуга.)

С т и х о т в о р е ц. Я говорил тебе, альманашников не пускать.

С л у г а. Да кто их знает, альманашник ли, нет ли.

С т и х о т в о р е ц. Дурак, это по лицу видно. Я в руке: Sept à la main...

(Играют.)

Харчевня.

(Бесстыдин, Альманашник обедают.)

— Гей, водки.

— Девятая рюмка! И я за всё плачу — а что толку!

— Увидишь, как пойдет наш Альманак: с моей стороны даю 34 стихотворения; под пятью подпишу А. П., под пятью другими Е. Б., под пятью еще К. П. В. Остальные пущу без подписи; в предисловии буду благодарить господ поэтов, приславших нам свои стихотворения. Прозы у нас вдоволь: лихое Обозрение словесности, где славно обруганы наши знаменитые писатели, наши аристократы... знаешь.

— Никак нет-с, не знаю.

— Не знаешь, о, да ты видно журнала моего не читаешь... Вот видишь ли, аристократами (разумеется, в ироническом смысле) называются те писатели, которые с нами не знаются, полагая вероятно, что наше общество не завидное. Мы было сперва того и не заметили, но уже с год как спохватились и с тех пор ругаем их наповал... Теперь понимаешь...

— Понимаю.

— Водки! Эти аристократы... (разумеется, говорю в ироническом смысле)... вообразили себе, что нас в хорошее общество не пускают. Желал бы я посмотреть, кто меня не впустит; чем я хуже другого. Ты смотришь на мое платье...

— Никак нет, ей-богу...

— Оно немного поношено; меня обманули на вшивом рынке... К тому же я не стану франтить в харчевне. Но на балах... о, на балах я великий щеголь, это моя слабость. Если б ты видел меня на балах... Я славно танцую, я танцую французскую кадриль. Ты не веришь... *(встает шатаясь, танцует)*. Каково?

— Прекрасно.

(Бесстыдин зацепляет стакан и роняет его.)

— Боже мой — стакан в дребезгах... Его поставят на счет — и еще граненый.

— Как на счет? — его склеят... вот и всё.

(Подбирает стекло и подает.)

(Расплачивается охая, выводит под руку Бесстыдина, он на ногах не стоит.)

— Так и быть, взять извозчика.

Бесстыдин. Сделай одолжение... посади меня верхом — сам садись поперек, да поедем по Невскому, люблю франтить, это моя слабость.

— И вот моя последняя опора! Господи боже мой!

— Можно видеть барина?

— Никак нет — он почивает.

— Как, в 12 часов?

— Он возвратился с балу в 6-м часу.

— Да когда же его можно застать?

— Да почти никогда.

— Когда же ваш барин сочиняет?

— Не могу знать.

— Экое несчастие!.. Доложи своему барину, что ** приходил рекомендоваться... Да скажи, не знаешь ли ты какого-нибудь сочинителя...

О КРИТИКЕ

Критика вообще. Критика наука.

Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы.

Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений.

Не говорю о беспристрастии — кто в критике руководствуется чем бы то ни было кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, рабски управляемую низкими, корыстными побуждениями.

Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знатоком в художествах? — говорит Винкельман.— Старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях.

НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ К «БОРИСУ ГОДУНОВУ»

1

Voici ma tragédie puisque vous la voulez absolument, mais avant que de la lire j'exige que vous parcouriez le dernier tome de Karamzine. Elle est remplie de bonnes plaisanteries et d'allusions fines à l'histoire de ce temps-là comme nos sous-œuvres de Kiov et de Kamenka. Il faut les comprendre *sine qua non.*

A l'exemple de Shakespeare je me suis borné à développer une époque et des personnages historiques sans rechercher les effets théâtrals, le pathétique romanesque etc... le style en est mélangé.— Il est trivial et bas là où j'ai été obligé de faire intervenir des personnages vulgaires et grossiers — quand aux grosses indécences, n'y faites pas attention: cela a été écrit au courant de la plume, et disparaîtra à la première copie. Une tragédie sans amour souriait à mon imagination. Mais outre que l'amour entrait beaucoup dans le caractère romanesque et passionné de mon aventurier, j'ai rendu Дмитрий amoureux de Marina pour mieux faire ressortir l'étrange caractère de cette dernière. Il n'est encore qu'esquissé dans Karamzine. Mais certes c'était une drôle de jolie femme. Elle n'a eu qu'une passion et ce fut l'ambition, mais à un degré d'énergie, de rage qu'on a peine à se figurer. Après avoir goûté de la royauté, voyez-la, ivre d'une chimère, se prostituer d'aventuriers en aventuriers — partager tantôt le lit dégoûtant d'un juif, tantôt la tente d'un cosaque, toujours prête à se livrer à quiconque peut lui présenter la faible espérance d'un trône qui n'existait plus. Voyez-la braver la guerre, la misère, la honte, en même temps traiter avec le roi de Pologne de couronne à couronne et finir misérablement l'existence la plus orageuse et la plus extraordinaire. Je n'ai qu'une scène pour elle, mais j'y reviendrai si Dieu me prête vie. Elle me trouble comme une passion. Elle est horriblement polonaise comme le disait la cousine de M-me Lubomirska.

Гаврила Пушкин est un de mes ancêtres, je l'ai peint tel que je l'ai trouvé dans l'histoire et dans les papiers de ma famille. Il a eu de grands talents, homme de guerre, homme de cour, homme de conspiration surtout. C'est lui et Плещеев qui ont assuré le succès du Самозванец par une audace inouïe. Après je l'ai retrouvé à Moscou l'un des 7 chefs qui la

défendaient en 1612, puis en 1616 dans la Дума siégeant à côté de Козьма Minine, puis воевода à Нижний, puis parmi les députés qui couronnèrent Romanof, puis ambassadeur. Il a été tout, même incendiaire comme le prouve une грамота que j'ai trouvée à Погорелое Городище — ville qu'il fit brûler (pour la punir de je ne sais quoi) à la mode des proconsuls de la Convention Nationale.

Je compte revenir aussi sur Шуйский. Il montre dans l'histoire un singulier mélange d'audace, de souplesse et de force de caractère. Valet de Godounof il est un des premiers boyards à passer du côté de Дмитрий. Il est le premier qui conspire et c'est lui-même, notez cela, qui se charge de retirer les marrons du feu, c'est lui-même qui vocifère, qui accuse, qui de chef devient enfant perdu. Il est prêt à perdre la tête, Дмитрий lui fait grâce déjà sur l'échafaud, il l'exile et avec cette générosité étourdie qui caractérisait cet aimable aventurier il le rappelle à sa cour, il le comble de biens et d'honneurs. Que fait Шуйский qui avait frisé de si près la hache et le billot? Il n'a rien de plus pressé que de conspirer de nouveau, de réussir, de se faire élire tsar, de tomber et de garder dans sa chûte plus de dignité et de force d'âme qu'il n'en eut pendant toute sa vie.

Il y a beaucoup du Henri IV dans Дмитрий. Il est comme lui brave, généreux et gascon, comme lui indifférent à la religion — tous deux abjurant leur foi pour cause politique, tous deux aimant les plaisirs et la guerre, tous deux se donnant dans des projets chimériques — tous deux en butte aux conspirations... Mais Henri IV n'a pas à se reprocher Ксения — il est vrai que cette horrible accusation n'est pas prouvée et quant à moi je me fais une religion de ne pas y croire.

Грибоедов a critiqué le personnage de Job; le patriarche, il est vrai, était un homme de beaucoup d'esprit, j'en ai fait un sot par distraction.

En écrivant ma Годунов j'ai réfléchi sur la tragédie, et si je me mêlais de faire une préface, je ferais du scandale. C'est peut-être le genre le plus méconnu. On a tâché d'en baser les lois sur la vraisemblance, et c'est justement elle qu'exclut la nature du drame; sans parler déjà du temps, des lieux etc. quel diable de vraisemblance y a-t-il dans une salle coupée en deux dont l'une est occupée par 2000 personnes, sensées n'être pas vues par celles qui sont sur les planches?

2) *La langue*. Par exemple le Philoctète de la Harpe dit

en bon français après avoir entendu une tirade de Pyrrhus: Hélas j'entends les doux sons de la langue grecque. Tout cela n'est-il pas d'une invraisemblance de convention? Les vrais génies de la tragédie ne se sont jamais souciés d'une autre vraisemblance que celle des caractères et des situations. Voyez comme Corneille a bravement mené le Cid: ha, vous voulez la règle de 24 heures? Soit. Et là-dessus il vous entasse des événements pour 4 mois. Rien de plus ridicule que les petits changements des règles reçues. Alfieri est profondément frappé du ridicule de l'*a parte,* il le supprime et là-dessus alonge le monologue. Quelle puérilité!

Ma lettre est bien plus longue que je ne l'avais voulu faire. Gardez-la, je vous prie, car j'en aurai besoin si le diable me tente de faire une préface.

30 jan. 1829, S.-Pb.

II

С отвращением решаюсь я выдать в свет свою трагедию и хотя я вообще всегда был довольно равнодушен к успеху иль неудаче своих сочинений, но признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтань, могу сказать о своем сочинении: C'est une œuvre de bonne foi.

Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, плод постоянного труда, трагедия сия доставила мне всё, чем писателю насладиться дозволено: живое вдохновенное занятие, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия, наконец, одобрения малого числа людей избранных.

Трагедия моя уже известна почти всем тем, коих мнениями я дорожу. В числе моих слушателей одного недоставало, того, кому обязан я мыслию моей трагедии, чей гений одушевил и поддержал меня; чье одобрение представлялось воображению моему сладчайшею наградою и единственно развлекало меня посреди уединенного труда.

III

Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не

смущаемый никаким иным влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов, Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые! Умел ли ими воспользоваться — не знаю,— по крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны.

Долго не мог я решиться напечатать свою драму. Хороший иль худой успех моих стихотворений, благосклонное или строгое решение журналов о какой-нибудь стихотворной повести доныне слабо тревожили мое самолюбие. Критики слишком лестные не ослепляли его. Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать мнение критика, понять со всевозможным хладнокровием, в чем именно состоят его обвинения. И если никогда не отвечал я на оные, то сие происходило не из презрения, но единственно из убеждения, что для нашей литературы il est indifférent, что такая-то глава «Онегина» выше или ниже другой. Но, признаюсь искренно, неуспех драмы моей огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедий Расина, и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены. («Ермак» А. С. Хомякова есть более произведение лирическое, чем драматическое. Успехом своим оно обязано прекрасным стихам, коими оно писано.)

Приступаю к некоторым частным объяснениям. Стих, употребленный мною (пятистопный ямб), принят обыкновенно англичанами и немцами. У нас первый пример оному находим мы, кажется, в «Аргивянах»; А. Жандр в отрывке своей прекрасной трагедии, писанной стихами вольными, преимущественно употребляет его. Я сохранил цезурку французского пентаметра на второй стопе — и, кажется, в том ошибся, лишив добровольно свой стих свойственного ему разнообразия. Есть шутки грубые, сцены простонародные. Хорошо, если поэт может их избежать,— поэту не должно быть площадным из доброй воли,— если же нет, то ему нет нужды стараться заменять их чем-нибудь иным.

Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия, con amore, но

безо всякой дворянской спеси. Изо всех моих подражаний Байрону дворянская спесь была самое смешное. Аристократию нашу составляет дворянство новое; древнее же пришло в упадок, права его уравнены с правами прочих состояний, великие имения давно раздроблены, уничтожены, и никто, даже самые потомки и проч. Принадлежать старой аристократии не представляет никаких преимуществ в глазах благоразумной черни, и уединенное почитание к славе предков может только навлечь нарекание в странности или бессмысленном подражании иностранцам.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА КРИТИКИ

I

Будучи русским писателем, я всегда почитал долгом следовать за текущей литературою и всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал я повод. Чистосердечно признаюсь, что похвалы трогали меня как явные и, вероятно, искренние знаки благосклонности и дружелюбия. Читая разборы самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего критика и следовать за его суждениями, не опровергая оных с самолюбивым нетерпением, но желая с ними согласиться со всевозможным авторским себяотвержением. К несчастию, замечал я, что по большей части мы друг друга не понимали. Что касается до критических статей, написанных с одною целью оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня, по крайней мере в первые минуты, и что, следственно, сочинители оных могут быть довольны, удостоверясь, что труды их не потеряны. Если в течение 16-летней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику (не говорю уж о ругательствах), то сие происходило, конечно, не из презрения.

Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы. Разборы «Вестника Европы» и приговоры «Северной пчелы» достаточны для нас. Мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах. Презирать критику потому только, что она еще находится во младенчестве, значит презирать юную литературу за то, что она еще не возмужала. Это было бы несправедливо. Но как наша словесность с гордостию

может выставить перед Европою Историю Карамзина, несколько од Державина, несколько басен Крылова, пэан 12-го года Жуковского и несколько цветов северной элегической поэзии,— так и наша критика может представить несколько отдельных статей, исполненных светлых мыслей, глубоких воззрений и важного остроумия. Но они являлись отдельно, в расстоянии одна от другой, и не получили еще веса и постоянного влияния. Время их еще не приспело.

Не отвечал я моим критикам не потому также, чтоб недоставало во мне охоты, веселости или педантства; не потому, чтоб я не полагал в сих критиках никакого влияния на читающую публику. Но, признаюсь, мне было совестно для опровержения оных повторять школьные или пошлые истины, толковать о грамматике, риторике и азбуке, а что всего затруднительнее, оправдываться там, где не было обвинений, важно говорить:

Et moi je vous soutiens que mes vers sont très bons

или от нечего делать идти судиться перед публикою и стараться насмешить ее (к чему ни малейшей не имею склонности). Например, один из моих критиков, человек, впрочем, добрый и благонамеренный, разбирая, кажется, «Полтаву», выставил несколько отрывков и вместо всякой критики уверял, что таковые стихи сами себя *дурно рекомендуют*. Что бы мог я отвечать ему на это? А так поступали почти все его товарищи. Критики наши говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. Отселе их никак не выманишь.

Еще одна причина и главная: леность. Никогда не мог я до того рассердиться на бестолковость или недобросовестность, чтоб взять перо и приняться за возражение. Нынче в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарища, вздумал я для препровождения времени писать опровержение на все критики, которые мог только припомнить, и собственные замечания на собственные же сочинения. Смею уверить моего читателя (если господь пошлет мне читателя), что глупее сего занятия отроду ничего не мог я выдумать.

«Руслана и Людмилу» вообще приняли благосклонно. Кроме одной статьи в «Вестнике Европы», в которой ее побранили весьма неосновательно, и весьма дельных

«вопросов», изобличающих слабость создания поэмы, кажется, не было об ней сказано худого слова. Никто не заметил даже, что она холодна. Обвиняли ее в безнравственности за некоторые слегка сладострастные описания, за стихи, мною выпущенные во втором издании:

О, страшный вид! волшебник хилый
Ласкает сморщенной рукой etc.

За вступление не помню которой песни:

Напрасно вы в тени таились etc.

и за пародию «Двенадцати спящих дев»; за последнее можно было меня пожурить порядком, как за недостаток эсфетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать, в угождение черни, девственное, поэтическое создание. Прочие упреки были довольно пустые. Есть ли в «Руслане» хоть одно место, которое в вольности шуток могло быть сравнено с шалостями хоть, например, Ариоста, о котором поминутно твердили мне? Да и выпущенное мною место было очень, очень смягченное подражание Ариосту (Orlando, canto V, o.VIII).

«Кавказский пленник» — первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Но зато Николай и Александр Раевские и я, мы вдоволь над ним насмеялись.

«Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство. Его, кажется, не критиковали. А. Раевский хохотал над следующими стихами:

Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю — и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет etc.

Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Всё это смешно, как мелодрама.

Не помню, кто заметил мне, что невероятно, чтоб скованные вместе разбойники могли переплыть реку. Всё это происшествие справедливо и случилось в 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле.

Наши критики долго оставляли меня в покое. Это делает им честь: я был далеко в обстоятельствах не благоприятных. По привычке полагали меня всё еще очень молодым человеком. Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатанию четвертой и пятой песни «Евгения Онегина». Разбор сих глав, напечатанный в «Атенее», удивил меня хорошим тоном, хорошим слогом и странностию привязок. Самые обыкновенные риторические фигуры и тропы останавливали критика: можно ли сказать *стакан шипит,* вместо *вино шипит в стакане? камин дышит,* вместо *пар идет из камина?* Не слишком ли смело *ревнивое подозрение? неверный лед?*

Как думаете, что бы такое значило:

мальчишки
Коньками звучно режут лед?

Критик догадывался, однако, что это значит: мальчишки бегают по льду на коньках.

Вместо:

На красных лапках гусь тяжелый
(Задумав плыть по лону вод)
Ступает бережно на лед

критик читал:

На красных лапках гусь тяжелый
Задумал плыть —

и справедливо замечал, что недалеко уплывешь на красных лапках.

Некоторые стихотворческие вольности: после отрицательной частицы *не* — винительный, а не родительный падеж; *времян* вместо *времен* (как например у Батюшкова:

То древню Русь и нравы
Владимира *времян)*

приводили критика моего в великое недоумение. Но более всего раздражил его стих:

Людскую молвь и конский топ.

«Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык?» Над этим стихом жестоко потом посмеялись и в «Вестнике Европы». *Молвь* (речь) слово коренное русское. *Топ* вместо *топот* столь же употребительно, как и *шип* вместо *шипение* * (следственно, и *хлоп* вместо *хлопание* вовсе не противно духу русского языка). На ту беду и стих-то весь не мой, а взят целиком из русской сказки:

«И вышел он за врата градские, и услышал конский топ и людскую молвь».

Бова Королевич.

Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают.

Стих:

Два века ссорить не хочу

критику показался неправильным. Что гласит грамматика? Что действительный глагол, управляемый отрицательною частицею, требует уже не винительного, а родительного падежа. Например: я *не* пишу *стихов*. Но в моем стихе глагол *ссорить* управляем не частицею *не*, а глаголом *хочу*. Ergo правило сюда нейдет. Возьмем, например, следующее предложение: Я *не* могу вам позволить начать писать... *стихи*, а уж конечно не *стихов*. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном? Не думаю.

Кстати о грамматике. Я пишу *цыганы*, а не *цыгане*, *татаре*, а не *татары*. Почему? потому что все имена существительные, кончащиеся на *анин*, *янин*, *арин* и *ярин*, имеют свой родительный во множественном на *ан*, *ян*, *ар* и *яр*, а именительный множественного на *ане*, *яне*, *аре* и *яре*. Все же существительные, кончащиеся на *ан* и *ян*,

* Он шип пустил по-змеиному.

Древние русские стихотворения.

ар и *яр,* имеют во множественном именительный на *аны, яны, ары* и *яры,* а родительный на *анов, янов, аров, яров.*

Единственное исключение: имена собственные. Потомки г-на Булгарина будут гг. Булгарины, а не Булгаре.

У нас многие (между прочими и г. Каченовский, которого, кажется, нельзя упрекнуть в незнании русского языка) спрягают: *решаю, решаешь, решает, решаем, решаете, решают* вместо *решу, решишь* и проч. *Решу* спрягается как *грешу.*

Иностранные собственные имена, кончащиеся на *е, и, о, у,* не склоняются. Кончащиеся на *а,* ъ и ь склоняются в мужеском роде, а в женском нет, и против этого многие у нас погрешают. Пишут: книга, сочиненная Гёте*м* и проч.

Как надобно писать: *турков* или *турок?* то и другое правильно. *Турок* и *турка* равно употребительны.

Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики заметили в моих стихах 5 грамматических ошибок (и справедливо):

1. остановлял взор *на отдаленные громады*
2. на *теме* гор (темени)
3. *воил* вместо *выл*
4. *был отказан,* вместо *ему отказали*
5. *игумену* вместо *игумну.*

Я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место. Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже и почти так, как пишет г. **.

Многие пишут *юпка, свтьба* вместо *юбка, свадьба.* Никогда в производных словах *т* не переменяется на *д,* ни *п* на *б,* а мы говорим *юбочница, свадебный.*

Двенадцать, а не *двѣнадцать. Две* сокращено из *двое,* как *тре* из *трое.*

Пишут: *тѣлега, телѣга.* Не правильнее ли: *телега* (от слова *телец* — телеги запряжены волами)?

Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком.

Московский выговор чрезвычайно изнежен и прихотлив. Звучные буквы *щ* и *ч* пред другими согласными в нем изменены. Мы даже говорим *женшины, ньслег* (см. Богдановича).

Шпионы подобны букве ъ. Они нужны в некоторых только случаях, но и тут можно без них обойтиться, а они привыкли всюду соваться.

Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию. Что есть строфы в «Евгении Онегине», которые я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означается место, где быть им надлежало. Лучше было бы заменять эти строфы другими или переправлять и сплавливать мною сохраненные. Но виноват, на это я слишком ленив. Смиренно сознаюсь также, что в «Дон Жуане» есть 2 выпущенные строфы.

Г-н Федоров в журнале, который начал было издавать, разбирая довольно благосклонно 4 и 5-ую главу, заметил, однако ж, мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею *Уж,* что и называл он *ужами,* а что в риторике зовется *единоначатием.* Осудил он также слово *корова* и выговаривал мне за то, что я барышень благородных и, вероятно, чиновных назвал *девчонками* (что, конечно, неучтиво), между тем как простую деревенскую девку назвал *девою:*

В избушке распевая, дева
Прядет...

Шестой песни не разбирали, даже не заметили в «Вестнике Европы» латинской опечатки. Кстати: с тех пор, как вышел из Лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка; перечитывать некогда. Замечательные книги теснятся одна за другою, а никто нынче по-латыни их не пишет. В 14 столетии, наоборот, латинский язык был необходим и справедливо почитался первым признаком образованного человека.

Критику 7-ой песни в «Северной пчеле» пробежал я в гостях и в такую минуту, как было мне не до Онегина... Я заметил только очень хорошо написанные стихи и довольно смешную шутку *об жуке*. У меня сказано:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.

Критик радовался появлению сего нового лица и ожидал от него характера, лучше выдержанного прочих. Кажется, впрочем, ни одного дельного замечания или мысли критической не было. Других критик я не читал, ибо, право, мне было не до них.

NB. Критику «Северной пчелы» напрасно приписывали г. Булгарину: 1) стихи в ней слишком хороши, 2) проза слишком слаба, 3) г. Булгарин не сказал бы, что описание Москвы взято из «Ивана Выжигина», ибо г. Булгарин не сказывает, что трагедия «Борис Годунов» взята из его романа.

Шутки наших критиков приводят иногда в изумление своею невинностию. Вот истинный анекдот: в Лицее один из младших наших товарищей, и, не тем будь помянут, добрый мальчик, но довольно простой и во всех классах последний, сочинил однажды два стишка, известные всему Лицею:

Ха ха ха, хи хи хи
Дельвиг пишет стихи.

Каково же было нам, Дельвигу и мне, в прошлом 1830 году в первой книжке важного «Вестника Европы» найти следующую шутку: Альманах «Северные цветы» разделяется на прозу и стихи — хи, хи! Вообразите себе, как обрадовались мы старой нашей знакомке! Сего не довольно. Это *хи хи* показалось видно столь затейливым, что его перепечатали с большой похвалой в «Северной пчеле»: *«хи хи,* как весьма остроумно сказано было в Вестнике Европы» etc.

Молодой Киреевский в красноречивом и полном мыслей обозрении нашей словесности, говоря о Дельвиге, употребил сие изысканное выражение: Древняя муза его покрывается иногда душегрейкою новейшего уныния. Выражение, конечно, смешное. Зачем не сказать было просто: В стихах Дельвига отзывается иногда уныние новейшей поэзии? — Журналисты наши, о которых г. Киреевский отозвался довольно непочтительно, обрадовались, подхватили эту душегрейку, разорвали на мелкие лоскутки и вот уже год, как ими щеголяют, стараясь насмешить свою публику. Положим, всё та же шутка каждый раз им и удается; но какая им от того прибыль? публике почти дела нет до литературы, а малое число любителей верит наконец не шутке, беспрестанно повторяемой, но постоянно, хотя и медленно, пробивающимся мнениям здравой критики и беспристрастия.

---

*Сам съешь.** Сим выражением в энергическом наречии нашего народа заменяется более учтивое, но столь же затейливое выражение: «обратите это на себя». То и другое употребляется нецеремонными людьми, которые пользуются удачно шутками и колкостями своих же противников. «Сам съешь» есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики.— Является колкое стихотворение, в коем сказано, что Феб, усадив было такого-то, велел его после вывести лакею, за дурной тон и заносчивость, не-

* Происхождение сего слова: остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: съешь, а догадливый противник отвечает: сам съешь. (Замечание для *будуарных* или даже для *паркетных дам,* как журналисты называют дам, им не знакомых).

стерпимую в хорошем обществе,— и тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же самое пересказано немного похуже, с надписью: «сам съешь».

Поэту вздумалось описать любопытное собрание *букашек*.— Сам ты букашка, закричали бойкие журналы, и стихи-то твои букашки, и друзья-то твои букашки. Сам съешь.

Господа чиновные журналисты вздумали было напасть на одного из своих собратиев за то, что он не дворянин. Другие литераторы позволили себе посмеяться над нетерпимостию дворян-журналистов. Осмелились спросить, кто сии феодальные бароны, сии незнакомые рыцари, гордо требующие гербов и грамот от смиренной братии нашей? Что же они в ответ? Помолчав немного, господа чиновные журналисты с жаром возразили, что в литературе дворянства нет, что чваниться своим дворянством перед своею братьею (особенно мещанам во дворянстве) уморительно смешно, что и настоящему дворянину 600-летние его грамоты не помогут в плохой прозе или посредственных стихах. Ужасное «Сам съешь»! К несчастию, в «Литературной газете» отыскали, кто были аристократические литераторы, открывшие гонение на недворянство. А публика-то что? а публика, как судия беспристрастный и благоразумный, всегда соглашается с тем, кто последний жалуется ей. Например, в сию минуту она, покамест, совершенно согласна с нашим мнением: т. е., что «сам съешь» вообще показывает или мало остроумия или большую надеянность на беспамятство читателей и что фиглярство и недобросовестность унижают почтенное звание литераторов, как сказано в Китайском анекдоте № 1.

Отчего издателя «Литературной газеты» и его сотрудников называют аристократами (разумеется, в ироническом смысле, пишут остроумно журналисты)? В чем же состоит их аристократия? В том ли, что они дворяне? — Нет; все журналы побожились уже, что над званием никто не имел и намерения смеяться. Стало быть, в дворянской спеси? Нет; в «Литературной газете» доказано, что главные сотрудники оной одни и вооружились противу сего смешного чванства и заставили чиновных литераторов уважать собратьев мещан. Может быть, в притязаниях на тон *высшего* общества? Нет; они стараются сохранить тон

хорошего общества; проповедуют сей тон и другим собратьям, но проповедуют в пустыне. Не они гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием (niaiserie). (NB: не одно просторечие). Не они поминутно находят одно выражение *бурлацким*, другое *мужицким*, третье *неприличным* для *дамских ушей*, и т. п. Не они толкуют вечно о *будуарных читательницах*, о *паркетных* (?) дамах. Не они провозгласили себя опекунами высшего общества; не они вечно пишут приторные статейки, где стараются подделаться под светский тон так же удачно, как горничные и камердинеры пересказывают разговоры своих господ. Не они comme un homme de noble race outragent et ne se battent pas. Не они разбирают дворянские грамоты и провозглашают такого-то мещанином, такого-то аристократом; не они находят 600-летнее дворянство мещанством; не они печатают свои портреты с гербами весьма сомнительными. Отчего же они аристократы (разумеется, в ироническом смысле)?

В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его (как видно из собственноручного письма Екатерины II),* отец Ганнибала, покорившего Наварин (см. памятник, воздвигнутый в Царском Селе гр. Ф. Г. Орлову), генерал-аншеф и проч.— был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался он шкиперу, коего имя всякий русский произносит с уважением и не всуе. Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев.

Возвратясь из-под Арзрума, написал я послание к князю Юсупову. В свете оно тотчас было замечено и... были

* Голиков говорит, что он был прежде камердинером у государя, но что Петр, заметя в нем дарования и проч. Голиков ошибся. У Петра I не было камердинеров, прислуживали ему денщики, между прочими Орлов и Румянцев — родоначальники исторических фамилий.

мною недовольны. Светские люди имеют в высокой степени этого рода чутье. Один журналист принял мое послание за лесть итальянского аббата — и в статейке, заимствованной у «Минервы», заставил вельможу звать меня по четвергам обедать. Так-то чувствуют они вещи и так-то описывают светские нравы.

II

О «Цыганах» одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек, и то медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. Вяземский повторил то же замечание. (Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее). Всего бы лучше сделать из него чиновника 8 класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы, ma tanto meglio.

Вероятно, трагедия моя не будет иметь никакого успеха. Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имею главной привлекательности: молодости и новизны литературного имени. К тому же главные сцены уже напечатаны или искажены в чужих *подражаниях*. Раскрыв наудачу исторический роман г. Булгарина, нашел я, что и у него о появлении Самозванца приходит объявить царю кн. В. Шуйский. У меня Борис Годунов говорит наедине с Басмановым об уничтожении местничества,— у г. Булгарина также. Всё это драматический вымысел, а не историческое сказание.

Между прочими литературными обвинениями, укоряли меня слишком дорогою ценою «Евгения Онегина» и видели в ней ужасное корыстолюбие. Это хорошо говорить тому, кто отроду сочинений своих не продавал или чьи сочинения не продавались, но как могли повторять то же милое обвинение издатели «Северной пчелы»? Цена устанавливается не писателем, а книгопродавцами. В отношении стихотворений число требователей ограничено. Оно состоит из тех же лиц, которые платят по 5 рублей за место в театре. Книгопродавцы, купив, положим, целое

издание по рублю экземпляр, все-таки продавали б по 5 рублей. Правда, в таком случае автор мог бы приступить ко второму дешевому изданию, но и книгопродавец мог бы тогда сам понизить свою цену и таким образом уронить новое издание. Эти торговые обороты нам, мещанам-писателям, очень известны. Мы знаем, что дешевизна книги не доказывает бескорыстия автора, но или большое требование оной или совершенную остановку в продаже. Спрашиваю: что выгоднее — напечатать 20 000 экземпляров одной книги и продать по 50 коп. или напечатать 200 экземпляров и продавать по 50 рублей?

Цена последнего издания басен Крылова, во всех отношениях самого народного нашего поэта (le plus national et le plus populaire), не противоречит нами сказанному. Басни (как и романы) читает и литератор, и купец, и светский человек, и дама, и горничная, и дети. Но стихотворение лирическое читают токмо любители поэзии. А много ли их?

Мы так привыкли читать ребяческие критики, что они даже нас и не смешат. Но что сказали бы мы, прочитав, например, следующий разбор Расиновой «Федры» (если б, к несчастию, написал ее русский и в наше время).

«Нет ничего отвратительнее предмета, избранного г. сочинителем. Женщина замужняя, мать семейства, влюблена в молодого олуха, побочного сына ее мужа (!!!!). Какое неприличие! Она не стыдится в глаза ему признаваться в развратной страсти своей (!!!!). Сего недовольно: сия фурия, употребляя во зло глупую легковерность супруга своего, взносит на невинного Ипполита гнусную небывальщину, которую из уважения к нашим читательницам не смеем даже объяснить!!! Злой старичишка, не входя в обстоятельства, не разобрав дела, проклинает своего собственного сына (!!) — после чего Ипполита разбивают лошади (!!!); Федра отравливается, ее гнусная наперсница утопляется и точка. И вот что пишут, не краснея, писатели, которые и проч. (тут личности и ругательства); вот до какого разврата дошла у нас литература, кровожадная, развратная ведьма с прыщиками на лице!» — Шлюсь на совесть самих критиков. Не так ли, хотя и более кудрявым слогом, разбирают они каждый день сочинения, конечно не равные достоинст-

вом произведениям Расина, но, верно, ничуть не предосудительнее оных в нравственном отношении. Спрашиваем: должно ли и можно ли серьезно отвечать на таковые критики, хотя б они были писаны и по-латыни, а приятели называли это глубокомыслием?

Если б «Недоросль», сей единственный памятник народной сатиры, «Недоросль», которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор, если б «Недоросль» явился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей и собачьей дочерью,* а себя сравнивает с *сукою* (!!). «Что скажут дамы! — воскликнул бы критик,— ведь эта комедия может попасться дамам!» — В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать! А дамы наши (бог им судья!) их и не слушают и не читают, а читают этого грубого В. Скотта, который никак не умеет заменять просторечие простомыслием.

III

«Граф Нулин» наделал мне больших хлопот. Нашли его (с позволения сказать) похабным,— разумеется, в журналах,— в свете приняли его благосклонно, и никто из журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил от нее пощечину! Какой ужас! как сметь писать такие отвратительные гадости? Автор спрашивал, что бы на месте Натальи Павловны сделали петербургские дамы: какая дерзость! Кстати о моей бедной сказке (писанной, буди сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом) — подняли противу меня всю классическую древность и всю европейскую литературу! Верю стыдливости моих критиков; верю, что «Граф Нулин» точно кажется им предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет о благопристойности? И ужели творцы шутливых повестей Ариост, Бокаччио, Лафонтен, Касти, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам? ужели, по крайней мере, не читали они Богдановича и Дмитриева? Какой несчастный педант осмелится укорить «Душеньку» в безнравственности и неблагопристойности? Какой угрюмый

дурак станет важно осуждать «Модную жену», сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа? А эротические стихотворения Державина, невинного, великого Державина? Но отстраним уже неравенство поэтического достоинства. «Граф Нулин» должен им уступить и в вольности, и в живости шуток.

Эти г. критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая — и всё, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным etc! как будто литература и существует только для 16-летних девушек! Вероятно, благоразумный наставник не дает в руки ни им, ни даже их братцам полных собраний сочинений ни единого классического поэта, особенно древнего. На то издаются хрестоматии, выбранные места и тому под. Но публика не 15-летняя девица и не 13-летний мальчик. Она, слава богу, может себе прочесть без опасения и сказки доброго Лафонтена, и эклогу доброго Виргилия, и всё, что про себя читают сами г. критики, если критики наши что-нибудь читают кроме корректурных листов своих журналов.

Все эти господа, столь щекотливые насчет благопристойности, напоминают Тартюфа, стыдливо накидывающего платок на открытую грудь Дорины, и заслуживают забавное возражение горничной:

Vous êtes donc bien tendre à la tentation
Et la chair sur vos sens fait grande impression!
Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte:
Mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte,
Et je vous verrais nu, du haut jusques en bas
Que toute votre peau ne me tenterait pas.

В «Вестнике Европы» с негодованием говорили о сравнении Нулина с котом, цапцарапствующим кошку (забавный глагол: цапцарапствую, цапцарапствуешь, цапцарапствует). Правда, во всем «Графе Нулине» этого сравнения не находится, так же как и глагола цапцарапствую; но хоть бы и было, что за беда?

Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает потрясение правил, на коих основано счастие общественное или человеческое достоинство. Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу в отвратительную Канидию. Но шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие.

Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Многое желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет, как упрек, на совести моей... По крайней мере не должен я отвечать за перепечатание грехов моего отрочества, а тем паче за чужие проказы. В альманахе, изданном г-ном Федоровым, между найденными бог знает где стихами моими, напечатана Идиллия, писанная слогом переписчика стихов г-на Панаева. Г-н Бестужев, в предисловии какого-то альманаха, благодарит какого-то г-на Ап. за доставление стихотворений, объявляя, что не все удостоились напечатания.

Сей г-н Ап. не имел никакого права располагать моими стихами, поправлять их по-своему и отсылать в альманах г. Бестужева вместе с собственными произведениями стихи, преданные мною забвению или написанные не для печати (например, «Она мила, скажу меж нами») или которые простительно мне было написать на 19 году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном (например, «Послание к Юрьеву»).

Перечитывая самые бранчивые критики, я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать; кажется, если б хотел я над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать безо всякого замечания. Однако ж я видел, что самое глупое ругательство получает вес от волшеб-

ного влияния типографии. Нам всё еще *печатный лист кажется святым.* Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!

Habent sua fata libelli. «Полтава» не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся.

Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи — и вот каким образом.

Они, во-первых, объявили мне, что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика, и что, следственно, любовь Марии к старому гетману (NB: исторически доказанная) не могла существовать.

Ну что ж, что ты Честон? Хоть знаю, да не верю.

Я не мог довольствоваться этим объяснением: любовь есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте. Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филиру, Пазифаю, Пигмалиона — и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?.. А Мирра, внушившая итальянскому поэту одну из лучших его трагедий?..

Мария (или Матрена) увлечена была, говорили мне, тщеславием, а не любовию: велика честь для дочери генерального судии быть наложницею гетмана! Далее говорили мне, что мой Мазепа *злой и глупый старичишка.* Что изобразил я Мазепу злым, в том я каюсь: добрым я его не нахожу, особливо в ту минуту, когда он хлопочет о казни отца девушки, им обольщенной. Глупость же человека оказывается или из его действий, или из его слов: Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер. Заметили мне, что Мазепа слишком у меня злопамятен, что малороссийский гетман не студент и за пощечину или за дерганье усов мстить не захочет. Опять история, опровергнутая литературной критикой,— опять *хоть*

знаю, да не верю! Мазепа, воспитанный в Европе в то время, как понятия о дворянской чести были на высшей степени силы,— Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае. В этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный. Дернуть ляха или казака за усы всё равно было, что схватить россиянина за бороду. Хмельницкий за все обиды, претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, получил в возмездие, по приговору Речи Посполитой, остриженный ус своего неприятеля (см. Летопись Кониского).

Старый гетман, предвидя неудачу, наедине с наперсником бранит в моей поэме молодого Карла и называет его, помнится, мальчишкой и сумасбродом: критики важно укоряли *меня* в неосновательном мнении о шведском короле. У меня сказано где-то, что Мазепа ни к кому не был привязан: критики ссылались на *собственные слова* гетмана, уверяющего Марию, что он любит ее *больше славы, больше власти*. Как отвечать на таковые критики?

Слова *усы, визжать, вставай, Мазепа, ого, пора* — показались критикам *низкими*, бурлацкими выражениями. Как быть!

В «Вестнике Европы» заметили, что заглавие поэмы ошибочно и что, вероятно, не назвал я ее Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо, но была тут и другая причина: эпиграф. Так и «Бахчисарайский фонтан» в рукописи назван был *Харемом*, но меланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнил меня.

Кстати о «Полтаве» критики упомянули, однако ж, о Байроновом «Мазепе»; но как они понимали его! Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII». Он поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и зато посмотрите, что он из нее сделал. Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое проявляется во всех почти произведениях Байрона, но которого (на беду одному из моих критиков) как нарочно в «Мазепе» именно и нет. Байрон и не думал о нем: он выставил ряд картин одна другой разительнее — вот и всё: но какое пламенное создание! какая широкая, быстрая кисть! Если ж бы ему под перо попалась история

обольщенной дочери и казненного отца, то, вероятно, никто бы не осмелился после него коснуться сего ужасного предмета.

Прочитав в первый раз в «Войнаровском» сии стихи:

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную их дочь,

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства.

Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною. Но в описании Мазепы пропустить столь разительную историческую черту было еще непростительнее. Однако ж какой отвратительный предмет! ни одного доброго, благосклонного чувства! ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Дельвиг дивился, как я мог заняться таковым предметом. Сильные характеры и глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. «Полтаву» написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы всё.

В одной газете официально сказано было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мещанстве. Род мой один из самых старинных дворянских. Мы происходим от прусского выходца Радши, или Рачи, человека знатного (мужа честна, говорит летописец), приехавшего в Россию во время княжества святого Александра Ярославича Невского (см. «Русский летописец» и «Историю Российского государства»). От него произошли Пушкины, Мусины-Пушкины, Бобрищевы-Пушкины, Бутурлины, Мятлевы, Поводовы и другие. Карамзин упоминает об одних Мусиных-Пушкиных (из учтивости к покойному графу Алексею Ивановичу). В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича, историограф именует и Пушкиных. В царствование Бориса Годунова Пушкины были гонимы и явным образом обижаемы в спорах местниче-

ства. Г. Г. Пушкин, тот самый, который выведен в моей трагедии, принадлежит к числу самых замечательных лиц той эпохи, столь богатой историческими характерами. Другой Пушкин во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, по словам Карамзина, один с Измайловым *сделал честно свое дело.* При избрании Романовых на царство четверо Пушкиных подписались под избирательною грамотою, а один из них, окольничий, под соборным деянием о уничтожении местничества (что мало делает ему чести). При Петре они были в оппозиции, и один из них, стольник Федор Алексеевич, был замешан в заговоре Циклера и казнен вместе с ним и Соковниным. Прадед мой был женат на меньшой дочери адмирала графа Головина, первого в России андреевского кавалера и проч. Он умер очень молод и в заточении, в припадке ревности или сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах. Единственный его сын, дед мой Лев Александрович, во время мятежа 1762 года остался верен Петру III, не хотел присягнуть Екатерине и был посажен в крепость вместе с Измайловым (странная судьба сих имен!). См. Рюлиера и Кастера. Чрез 2 года выпущен по приказанию Екатерины и всегда пользовался ее уважением. Он уже никогда не вступал в службу и жил в Москве и своих деревнях.

Если быть старинным дворянином значит подражать английскому поэту, то сие подражание весьма невольное. Но что есть общего между привязанностию лорда к своим феодальным преимуществам и бескорыстным уважением к мертвым прадедам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства? Ибо ныне знать нашу большею частию составляют роды новые, получившие существование свое уже при императорах.

Но от кого бы я ни происходил — от разночинцев, вышедших во дворяне, или от исторического боярского рода, одного из самых старинных русских родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей, образ мнений моих от этого никак бы не зависел; и хоть нигде доныне я его не обнаруживал и никому до него нужды нет, но отказываться от него я ничуть не намерен.

Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти

к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожились, как остальные упадают и исчезают, как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные, и как имя дворянина, час от часу более униженное, стало наконец в притчу и посмеяние розночинцам, вышедшим во дворяне, и даже досужим балагурам!

Образованный француз иль англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, падшего в такой-то битве или в таком-то году возвратившегося из Палестины, но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества. И это ставите вы ему в достоинство! Конечно, есть достоинства выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением.

Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами.

Примечание. Будем справедливы: г-на Полевого нельзя упрекнуть в низком подобострастии пред знатными, напротив; мы готовы обвинить его в юношеской заносчивости, не уважающей ни лет, ни звания, ни славы и оскорбляющей равно память мертвых и отношения к живым.

В другой газете объявили, что я собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко меня тронула.

Иной говорит: какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в кар-

ты, и тому под. Будущий мой биограф, коли бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться. А критику и читателю дело до моей книги и только. Суждение, кажется, поверхностное. Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц (hommes publics), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ. В сем отношении и писатели, справедливо заслуживающие презрение наше, ругатели и клеветники, приносят истинную пользу: мало-помалу образуется и уважение к личной чести гражданина и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов.

Таким образом дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности.

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ОБВИНЕНИЙ

> Сколь ни удален я моими привычками и правилами от полемики всякого роду, еще не отрекся я совершенно от права самозащищения.
>
> *Southey*

§ 1

У одного из наших известных писателей спрашивали, зачем не возражал он никогда на критики. Критики не понимают меня, отвечал он, а я не понимаю моих критиков. Если будем судиться перед публикою, вероятно, и она нас не поймет. Это напоминает старинную эпиграмму:

Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: моя им сведена корова.
Помилуй, возопил глухой тому в ответ,
Сей пустошью владел еще покойный дед.
Судья решил: Почто ж идти вам брат на брата:
Не тот и не другой, а девка виновата.

Можно *не удостоивать ответом своих критиков* (как аристократически говорит сам о себе издатель «Истории

русского народа»), когда нападения суть чисто литературные и вредят разве одной продаже разбраненной книги. Но из уважения к себе не должно по лености или добродушию оставлять без внимания оскорбительные личности и клеветы, ныне, к несчастию, слишком обыкновенные. Публика не заслуживает такого неуважения.

Если в течение 16-летней авторской жизни я никогда не отвечал ни па одну критику (не говорю уж о ругательствах), то сие происходило, конечно, не из презрения.

Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще. Если приговоры журналов наших достаточны для нас, то из сего следует, что мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах. Презирать критику значит презирать публику (чего боже сохрани). Как наша словесность с гордостию может выставить перед Европою Историю Карамзина, несколько од, несколько басен, пэан 12 года Жуковского, перевод Илиады, несколько цветов элегической поэзии,— так и наша критика может представить несколько отдельных статей, исполненных светлых мыслей и важного остроумия. Но они являлись отдельно, в расстоянии одна от другой, и не получили еще веса и постоянного влияния. Время их еще не приспело.

Не отвечал я моим критикам не потому также, чтоб недоставало во мне веселости или педантства; не потому, чтоб я не полагал в сих критиках никакого влияния на читающую публику. Я заметил, что самое неосновательное суждение получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще *печатный лист кажется святым.* Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано! Но признаюсь, мне совестно было идти судиться перед публикою и стараться насмешить ее (к чему ни малейшей не имею склонности). Мне было совестно для опровержения критик повторять школьные или пошлые истины, толковать об азбуке и риторике, оправдываться там, где не было обвинений, а, что всего затруднительнее, важно говорить:

Et moi je vous soutiens que mes vers sont très bons

Ибо критики наши говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. Отселе их никак не выманишь.

Еще причина, и главная: леность. Никогда не мог я до того рассердиться на непонятливость или недобросовестность, чтоб взять перо и приняться за возражения и доказательства. Нынче, в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарища, вздумал я для препровождения времени писать возражения не на критики (на это никак не могу решиться), но на обвинения нелитературные, которые нынче в большой моде. Смею уверить моего читателя (если господь пошлет мне читателя), что глупее сего занятия отроду ничего не мог я выдумать.

Один из великих наших сограждан сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспоривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. Всё имеет свою злую сторону — и неуважение к чести граждан и удобность клеветы суть одни из главнейших невыгод свободы тиснения. У нас, где личность ограждена цензурою, естественно нашли косвенный путь для личной сатиры, именно *обиняки*. Первым примером обязаны мы **, который в своем журнале напечатал уморительный анекдот о двух китайских журналистах, которых судия наказал бамбуковою палкою за плутни, унижающие честное звание литератора. Этот китайский анекдот так насмешил публику и так понравился журналистам, что с тех пор, коль скоро газетчик прогневался на кого-нибудь, тотчас в листках его является известие из-за границы (и большею частию из-за китайской), в коем противник расписан самыми черными красками, в лице какого-нибудь вымышленного или безыменного писателя. Большею частию сии китайские анекдоты, если не делают чести изобретательности и остроумию сочинителя, по крайней мере достигают цели своей по злости, с каковой они написаны. Не узнавать себя в пасквиле безыменном, но явно направленном, было бы малодушием. Тот, о котором напечатают, что человек такого-то звания, таких-то лет, таких-то примет крадет, например, платки из карманов,— все-таки должен отозваться и вступиться за себя, конечно не из уважения к газетчику, но из уважения к публике. Что за аристократическая гордость, дозволять всякому негодяю швырять в вас грязью.

Английский лорд равно не отказывается и от поединка на кухенрейтерских пистолетах с учтивым джентельменом и от кулачного боя с пьяным конюхом. Один из наших литераторов, бывший, говорят, в военной службе, отказывался от пистолетов, под предлогом, что на своем веку он видел более крови, чем его противник чернил. Отговорка забавная, но в таком случае, что прикажете делать с тем, который, по выражению Шатобриана, comme un homme de noble race, outrage et ne se bat pas?

Однажды (официально) напечатал кто-то, что такой-то французский стихотворец, подражатель Байрону, печатающий критические статьи в «Литературной газете», человек подлый и безнравственный, а что такой-то журналист, человек умный, *скромный,* храбрый, служил с честью сперва одному отечеству, потом другому и проч. Француз отвечал подлинно так, что скромный и храбрый журналист об двух отечествах, вероятно, долго будет его помнить.

. . . on en rit, j'en ris encor moi-même.

Недавно в Пекине случилось очень забавное происшествие. Некто из класса грамотеев, написав трагедию, долго не отдавал ее в печать — но читал ее неоднократно в порядочных пекинских обществах и даже вверял свою рукопись некоторым мандаринам. Другой грамотей (следуют китайские ругательства) или подслушал трагедию из прихожей (что, говорят, за ним важивалось), или тихонько взял рукопись из шкатулки мандарина (что в старину также с ним случалось) и склеил на скору руку из довольно нескладной трагедии чрезвычайно скучный роман. Грамотей-трагик, человек бесталанный, но смирный, поворчав немного, оставил было в покое похитителя, но грамотей-романист, человек ловкий и беспокойный, опасаясь быть обличенным, первый стал кричать изо всей мочи, что трагик Фан-Хо обокрал его бесстыдным образом. Трагик Фан-Хо, рассердясь не на шутку, позвал романиста Фан-Хи в совестный Пекинский суд и проч., и проч.

§ 4

А. Читал ты замечание в № 45 «Литературной газеты», где сравнивают наших журналистов с демократическими писателями XVIII столетия?

Б. Читал.

А. Как же ты его находишь?

Б. Довольно неуместным.

А. Конечно, иначе нельзя и думать. Как не стыдно литераторам обижать таким образом свою братью!

Б. Согласен.

А. Русские журналисты не заслуживали такого унизительного сравнения!

Б. А так извини: я с тобою не согласен.

А. Как так?

Б. Я было тебя не понял. Мне казалось, что ты находишь обиженными демократических писателей XVIII столетия, которых (как очень хорошо сказано в газете) с нашими никаким образом сравнивать нельзя,— а между тем сравнивают.

А. Да помилуй, эти французские писатели такие люди, что боже упаси! посмотри, как негодуют наши журналисты от одной мысли быть им уподобленными.

Б. Да кто же эти французские писатели, о коих упомянуто в «Литературной газете»?

А. А я почему знаю.

Б. Так я же тебе их назову: добродетельный Томас, прямодушный Дюкло, твердый Шамфор и другие столь же умные, как честные люди, не бессмертные гении, но литераторы с отличным талантом.

А. Зачем же обруганы они в «Литературной газете»?

Б. То-то я и говорю.

А. Как можно печатать такую клевету? Умные и честные литераторы станут ли кричать: повесим мы, повесим! и аристократов к фонарю.

Б. Извини, брат. Опять было тебя не понял. Этого в газете не сказано.

А. Как не сказано? постой, она на мне... *(вынимает из кармана газету).* А ты прав, ты прав. Сказано только, что эпиграммы их приуготовили крики etc. — Так неужто в самом деле эпиграммы приуготовили французскую революцию?

Б. О французской революции «Литературная газета» молчит, и хорошо делает.

А. Помилуй, да посмотри же, читай: les aristocrates à la lanterne и повесим их, повесим. Ça ira.

Б. И ты видишь тут французскую революцию?

А. А ты что тут видишь, если смею спросить?

Б. Крики бешеной черни.

А. А что же значили эти крики?

Б. Что тогдашняя чернь остервенилась противу дворянства и вообще противу всего, что не было чернь.

А. Вот, я тебя и поймал: а отчего чернь остервенилась именно на дворянство?

Б. Потому, что с некоторых пор дворянство было ей представлено сословием презренным и ненавистным.

А. Следственно, я и прав. В крике les aristocrates à la lanterne вся революция.

Б. Ты не прав. В крике les aristocrates à la lanterne один жалкий эпизод французской революции — гадкая фарса в огромной драме.

А. И честные и добрые писатели были тому причиною! Если и в самом деле, то уж конечно неумышленно!

Б. Вероятно.

А. A propos, какого ты мнения о Полиньяке?

Б. Милый мой, ты знаешь, что о политике я с тобою никогда не говорю.

А. Ну так обратимся к нашим литераторам. Читал ли ты, как отделали всю «Литературную газету», издателя и сотрудников за это замечание?

Б. Нет еще.

А. Так прочти же *(дает ему журналы)*.

Б. Что значат эти точки?

А. Ах! я спрашивал — тут были ругательства ужасные, да цензор не пропустил.

Б. *(отдавая журнал)*. Жаль, в этих ругательствах, может быть, был смысл, а в строках печатных его нет.

А. Вот тебе еще что-то *(дает другой журнал)*.

Б. *(прочитав)*. Тут и ругательства есть, а смысла все-таки не более.

А. Так ты, видно, стоишь за «Литературную газету». Давно ль ты сделался аристократом?

Б. Как аристократом? что такое аристократ?

А. Что такое аристократ? о, да ты журналов не читаешь! Вот видишь ли: издатель «Литературной газеты»

и сотрудники его, и читатели его — все аристократы (разумеется, в ироническом смысле).

Б. Воля твоя, я смысла тут никакого не вижу. Будучи сам литератором, я читаю «Литературную газету»: ибо мне любопытно знать ее мнения; мне досадно видеть в ней иногда личности и колкости, ответы, возражения, мелочную войну, которую не худо предоставить литературным башкирцам; но никогда я не видал в «Литературной газете» ни дворянской спеси, ни гонения на прочие сословия. Дворяне ли барон Дельвиг, кн. Вяземский, Пушкин, Баратынский и пр., мне до того и дела нет. Они об этом не толкуют. Заступясь за грамотное купечество в лице г-на Полевого, они сделали хорошо, заступясь ныне за просвещенное дворянство, они сделали еще лучше.

А. Воля твоя, замечание «Литературной газеты» могло повредить невинным.

Б. Что ты, шутишь или сам ты невинный — кто же сии невинные?

А. Как кто? Издатели «Северной пчелы».

Б. Так успокойся ж. Образ мнения почтенных издателей «Северной пчелы» слишком хорошо известен, и «Литературная газета» повредить им не может, а г. Полевой в их компании под их покровительством может быть безопасен.

А. Что значит avis au lecteur? к кому это относится? ты скажешь к журналистам, а я так думаю, не к цензуре ли?

Б. Да хоть бы и к цензуре, что за беда. Уж если существует у нас цензура, то не худо оградить и сословия, как ограждены частные лица от явных нападений злонамеренности. Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждого сословия. Но смеяться над сословием потому только, что оно такое-то сословие, а не другое, нехорошо и не позволительно. И на кого журналисты наши нападают? Ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и императорах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию — pas si bête. Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности. Они нападают именно на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, коему принадлежит и

большая часть наших литераторов. Издеваться над ним (и еще в официальной газете) нехорошо — и даже неблагоразумно. Положим, что эпиграммы демократических французских писателей приуготовили крики les aristocrates à la lanterne; у нас таковые же эпиграммы, хоть и не отличаются их остроумием, могут иметь последствия еще пагубнейшие... Подумай о том, что значит у нас сие дворянство вообще и в каком отношении находится оно к народу... Нужно ли тебе еще объяснений?

А. Нет, понимаю, очень хорошо понимаю. Кажется, ты прав. Но почему же некоторые журналы вступились с такою братскою горячностию за «Северную пчелу»?

Б. Потому, что свой своему поневоле брат.

А. Отчего же замечание газеты показалось сначала столь предосудительным даже людям самым благомыслящим и благородным?

Б. Потому что политические вопросы никогда не бывали у нас разбираемы. Журналы наши, ненарочно наступив на один из таковых вопросов, сами испугались движения, ими произведенного. Нет прения без двух противных сторон; ты политикой занимаешься, и это тебе понятно, не правда ли? Демократические наши журналы, напав на дворянство...

А. Опять!.. Демократические! журналы! Какой ты неблагонамеренный.

Б. Как же ты прикажешь назвать журналы, объявившие себя противу аристократии? В прямом или переносном смысле, все-таки они демократические журналы. Итак, эти журналы, нападая на дворянство, должны были найти отпор, и нашли его в газете Литературной. Всё это естественно и даже утешительно. Но повторяю, вопросы политические еще для нас новость...

А. Знаешь ли ты что? Мне хочется разговор наш передать издателю «Литературной газеты», чтоб он напечатал его себе в оправдание.

Б. И хорошо сделает. Есть обвинения, которые не должны быть оставлены без возражений, от кого б они, впрочем, ни происходили.

ОБ АЛЬФРЕДЕ МЮССЕ

Между тем как сладкозвучный, но однообразный Ламартин готовил новые благочестивые «Размышления» под заслуженным названием Harmonies réligieuses, между тем как важный Victor Hugo издавал свои блестящие, хотя и натянутые «Восточные стихотворения» (Les Orientales), между тем как бедный скептик Делорм воскресал в виде исправляющегося неофита, и строгость нравов и приличий была объявлена в приказе по всей французской литературе, вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и песен и произвел ужасный соблазн. Musset взял, кажется, на себя обязанность воспевать одни смертные грехи, убийства и прелюбодеяние. Сладострастные картины, коими наполнены его стихотворения, превосходят, может быть, своею живостию самые обнаженные писания покойного Парни. О нравственности он и не думает, над нравоучением издевается и, к несчастию, чрезвычайно мило, с важным александрийским стихом чинится как нельзя менее, ломает его и коверкает так, что ужас и жалость. Воспевает луну такими стихами, какие осмелился бы написать разве только поэт блаженного XVI века, когда не существовали еще ни Буало, ни гг. Лагарп, Гофман и Кольне. Как же приняли молодого проказника? За него страшно. Кажется, видишь негодование журналов и все ферулы, поднятые на него. Ничуть не бывало. Откровенная шалость любезного повесы так изумила, так понравилась, что критика не только его не побранила, но еще сама взялась его оправдывать, объявила, что «Испанские сказки» ничего не доказывают, что можно описывать разбойников и убийц, даже не имея целию объяснить, сколь непохвально это ремесло,— а быть между тем добрым и честным человеком; что живые картины наслаждений простительны 20-летнему поэту, что, вероятно, семейство его, читая его стихи, не станет разделять ужас газет и видеть в нем изверга, что, одним словом, поэзия — вымысел и ничего с прозаической истиной жизни общего не имеет. Слава богу! давно бы так, м. г. Не странно ли в XIX веке воскрешать чопорность и лицемерие, осмеянные некогда Молиером, и обходиться с публикой, как взрослые люди обходятся с детьми; не дозволять ей читать книги, которыми сами наслаждаетесь, и впопад и невпопад ко всякой всячине

приклеивать нравоучение. Публике это смешно, и она своим опекунам уж верно спасибо не скажет.

Итальянские и испанские сказки отличаются, как уже мы сказали, живостию необыкновенной. Из них *Porcia*, кажется, имеет более всего достоинства: сцена ночного свидания; картина ревнивца, поседевшего вдруг; разговор двух любовников на море — всё это прелесть. Драматический очерк *Les marrons du feu* обещает Франции романтического трагика. А в повести *Mardoche* Musset первый из французских поэтов умел схватить тон Байрона в его шуточных произведениях, что вовсе не шутка. Если будем понимать слова Горация, как понял их английский поэт, * то мы согласимся с его мнением: трудно прилично выражать обыкновенные предметы.

О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ «МАРФА ПОСАДНИЦА»

Между тем как эсфетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностию и обширностию, мы всё еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы всё еще повторяем, что *прекрасное* есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть *польза*. Почему же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных и медных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами? И какая польза в Тициановой Венере и в Аполлоне Бельведерском?

Правдоподобие всё еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что если докажут нам, что самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие? Читая поэму, роман, мы часто можем забыться и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но истина. В оде, в элегии можем думать, что поэт изображал свои настоящие чувствования в настоящих обстоятельствах. Но где правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями, которые согласились etc.

---

* В эпиграфе к «Дон Жуану»:

Difficile est proprié communia dicere.

Communia значит не обыкновенные предметы, но *общие всем* (дело идет о предметах трагических, всем известных, общих, в противуположность предметам вымышленным. См. *ad Pisones*). Предмет Д. Жуана принадлежит исключительно Байрону.

Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места, то и тут мы увидим, что величайшие драматические писатели не повиновались сему правилу. У Шекспира римские ликторы сохраняют обычаи лондонских алдерманов. У Кальдерона храбрый Кориолан вызывает консула на дуэль и бросает ему перчатку. У Расина полускиф Ипполит говорит языком молодого благовоспитанного маркиза. Римляне Корнеля суть или испанские рыцари, или госконские бароны, а Корнелеву Клитемнестру сопровождает швейцарская гвардия. Со всем тем Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосягаемой, и их произведения составляют вечный предмет наших изучений и восторгов...

Какого же правдоподобия требовать должны мы от драматического писателя? Для разрешения сего вопроса рассмотрим сначала, что такое драма и какая ее цель.

Драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище. Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством. Но смех скоро ослабевает, и на нем одном невозможно основать полного драматического действия. Древние трагики пренебрегали сею пружиною. Народная сатира овладела ею исключительно и приняла форму драматическую, более как пародию. Таким образом родилась комедия, со временем столь усовершенствованная. Заметим, что высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и что нередко близко подходит к трагедии.

Трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния, страдания сверхъестественные, даже физические (напр., Филоктет, Эдип, Лир). Но привычка притупляет ощущения — воображение привыкает к убийствам и казням, смотрит на них уже равнодушно, изображение же страстей и излияний души человеческой для него всегда ново, всегда занимательно, велико и поучительно. Драма стала заведовать страстями и душою человеческою.

Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя.

Драма оставила площадь и перенеслася в чертоги по требованию образованного, избранного общества. Поэты переселились ко двору. Между тем драма остается верною первоначальному своему назначению — действовать на толпу, на множество, занимать его любопытство. Но тут драма оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное, утонченное.

Отселе важная разница между трагедией народной, Шекспировой, и драмой придворной, Расиновой. Творец трагедии народной был образованнее своих зрителей, он это знал, давал им свои свободные произведения с уверенностию своей возвышенности и признанием публики, беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже своей публики. Зрители были образованнее его, по крайней мере так думали и он и они. Он не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унизить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей — отселе робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в пословицу (un héros, un roi de comédie), привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения. У Расина (например) Нерон не скажет просто: «Je serai caché dans ce cabinet», — но: «Caché près de ces lieux je vous verrai, Madame». Агамемнон будит своего наперсника, говорит ему с напыщенностию:

Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille.
Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille.

Мы к этому привыкли, нам кажется, что так и должно быть. Но надобно признаться, что если герои выражаются в трагедиях Шекспира, как конюхи, то нам это не странно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди.

Не имею целию и не смею определять выгоды и невыгоды той и другой трагедии, развивать существенные разницы систем Расина и Шекспира, Кальдерона и Гёте. Спешу обозреть историю драматического искусства в России.

Драма никогда не была у нас потребностию народною. Мистерии Ростовского, трагедии царевны Софьи Алексеевны были представлены при царском дворе и в палатах ближних бояр и были необыкновенным празднеством, а не постоянным увеселением. Первые труппы, появившиеся в России, не привлекали народа, не понимающего драматического искусства и не привыкшего к его условиям. Явился Сумароков, несчастнейший из подражателей. Трагедии его, исполненные противусмыслия, писанные варварским изнеженным языком, нравились двору Елисаветы как новость, как подражание парижским увеселениям. Сии вялые, холодные произведения не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие. Озеров это чувствовал. Он попытался дать нам трагедию народную и вообразил, что для сего довольно будет, если выберет предмет из народной истории, забыв, что поэт Франции брал все предметы для своих трагедий из римской, греческой и еврейской истории и что самые народные трагедии Шекспира заимствованы им из итальянских новелей.

После «Дмитрия Донского», после «Пожарского», произведения незрелого таланта, мы всё не имели трагедии. «Андромаха» Катенина (может быть, лучшее произведение нашей Мельпомены по силе истинных чувств, по духу истинно трагическому) не разбудила, однако ж, ото сна сцену, опустелую после Семеновой.

Идеализированный «Ермак», лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем всё чуждо нашим нравам и духу, всё, даже самая очаровательная прелесть поэзии.

Комедия была счастливее. Мы имеем две драматические сатиры.

Отчего же нет у нас народной трагедии? Не худо было бы решить, может ли она и быть. Мы видели, что народная трагедия родилась на площади, образовалась и потом уже была призвана в аристократическое общество. У нас было бы напротив. Мы захотели бы придворную, сумароковскую трагедию низвести на площадь — но какие препятствия!

Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расиновой, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек? Как ей перейти от своего разговора, размеренного, важного и благопристойного, к грубой

откровенности народных страстей, к вольности суждений площади? Как ей вдруг отстать от подобострастия, как обойтись без правил, к которым она привыкла, без насильственного приноровления всего русского ко всему европейскому, где, у кого выучиться наречию, понятному народу? Какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе созвучия,— словом, где зрители, где публика?

Вместо публики встретит она тот же малый, ограниченный круг и оскорбит надменные его привычки (dédaigneux), вместо созвучия, отголоска и рукоплесканий услышит она мелочную, привязчивую критику. Перед нею восстанут непреодолимые преграды; для того, чтоб она могла расставить свои подмостки, надобно было бы переменить и ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий...

Перед нами, однако ж, опыт народной трагедии...

Прежде чем станем судить «Марфу Посадницу», поблагодарим неизвестного автора за добросовестность его труда, поруку его истинного таланта. Он написал свою трагедию не по расчетам самолюбия, жаждущего минутного успеха, не в угождение общей массе читателей, не только не приуготовленных к романтической драме, но даже решительно ей неприятствующих. * Он писал свою трагедию вследствие сильного внутреннего убеждения, вполне предавшись независимому вдохновению, уединясь в своем труде. Без сего самоотвержения в нынешнем состоянии нашей литературы ничего нельзя произвести истинно достойного внимания.

Автор «Марфы Посадницы» имел целию развитие важного исторического происшествия: падения Новагорода, решившего вопрос о единодержавии России. Два великих лица представлены ему были историею. Первое — Иоанн, уже начертанный Карамзиным, во всем его гроз-

* Не говорим уже о журналах, коих приговоры имеют решительное влияние не только на публику, но даже на писателей, которые, хотя ими пренебрегают, но опасаются печатных насмешек и ругательства.

ном и хладном величии, второе — Новгород, коего черты надлежало угадать.

Драматический поэт, беспристрастный, как судьба, должен был изобразить столь же искренно, сколь глубокое, добросовестное исследование истины и живость воображения юного, пламенного ему послужило, отпор погибающей вольности, как глубоко обдуманный удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине. Исполнил ли сии первоначальные необходимые условия автор «Марфы Посадницы»?

Отвечаем: исполнил, и если не везде, то изменило ему не желание, не убеждение, не совесть, но природа человеческая, всегда несовершенная.

Иоанн наполняет трагедию. Мысль его приводит в движение всю махину, все страсти, все пружины. В первой сцене Новгород узнает о властолюбивых его притязаниях и о нечаянном походе. Негодование, ужас, разногласие, смятение, произведенное сим известием, дают уже понятие о его могуществе. Он еще не появлялся, но уже тут, как Марфа, мы уже чувствуем его присутствие. Поэт переносит нас в московский стан, средь недовольных князей, средь бояр и воевод. И тут мысль об Иоанне господствует и правит всеми мыслями, всеми страстями. Здесь видим могущество его владычества, укрощенную мятежность удельных князей, страх, наведенный на них Иоанном, слепую веру в его всемогущество. Князья свободно и ясно понимают его действия, предвидят и изъясняют высокие замыслы; послы новгородские ожидают его. Является Иоанн. Речь его послам не умаляет понятия, которое поэт успел внушить. Холодная, твердая решимость, обвинения сильные, притворное великодушие, хитрое изложение обид. Мы слышим точно Иоанна, мы узнаем мощный государственный его смысл, мы слышим дух его века. Новгород отвечает ему в лице своих послов. Какая сцена! Какая верность историческая! Как угадана дипломатика русского вольного города! Иоанн не заботится

о том, правы ли они или нет. Он предписывает свои последние условия, между тем готовится к решительной битве. Но не одним оружием действует осторожный Иоанн. Измена помогает силе. Сцена между Иоанном и вымышленным Борецким кажется нам невыдержанною. Поэту не хотелось совсем унизить новгородского предателя — отселе заносчивость его речей и недраматическая (т. е. неправдоподобная) снисходительность Иоанна. Скажут: он терпит, ибо ему нужен Борецкий — правда. Но пред его лицом не смел забыться бы Борецкий, и изменник не говорил бы уже вольным языком новагородца. Зато с какой полнотою, с каким спокойствием развивает Иоанн государственные свои мысли! — и заметим, откровенность — вот лучшая лесть властителя и единственно его достойная. Последняя речь Иоанна

Российские бояре,
Вожди, князья
и проч.

кажется нам не в духе властвования Иоаннова. Ему не нужно воспламенять их усердия, он не станет им изъяснять причины своих действий. «Довольно слов,— скажет им,— завтра битва, будьте готовы».

Мы расстаемся с Иоанном, узнав его намерения, его мысли, его могущую волю, и уже видим его опять, когда молча въезжает он победителем в преданный ему Новгород. Его распоряжения, переданные нам историею, сохранены и в трагедии без добавлений затейливых, без объяснений. Марфа предрекает ему семейственные несчастия и погибель его рода. Он отвечает:

Что господу угодно — да свершится!
Спокоен я, исполнив подвиг свой.

Таково изображение Иоанна, изображение, согласное с историей, почти везде выдержанное. В нем трагик не ниже своего предмета. Он его понимает ясно, верно, знает коротко и представляет нам без театрального преувеличения, без противусмыслия, без шарлатанства.

БАРАТЫНСКИЙ

Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством. Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть и поминутно столь неудачно подражаемых, Баратынский написал две повести, которые в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками. Первые, юношеские произведения Баратынского были некогда приняты с восторгом. Последние, более зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели меньший успех. Постараемся объяснить причины.

Первой должно почесть самое сие усовершенствование и зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от их и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных, затерянных в свете.

Вторая причина есть отсутствие критики и общего мнения. У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами. Публика мало ими занимается. Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, безо всяких основательных правил и сведений, а большею частию по личным расчетам. Будучи предметом их неблагосклонности, Баратынский никогда за себя не вступался, не отвечал ни на одну журнальную статью. Правда, что

довольно трудно оправдываться там, где не было обвинения, и что, с другой стороны, довольно легко презирать ребяческую злость и площадные насмешки, тем не менее их приговоры имеют решительное влияние.

Третья причина — эпиграммы Баратынского, сии мастерские, образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса. Поэт наш не только никогда не нисходил к журнальной полемике и ни разу не состязался с нашими Аристархами, несмотря на необыкновенную силу своей диалектики, но и не мог удержаться, чтоб сильно не выразить своего мнения в этих маленьких сатирах, столь забавных и язвительных. Не смеем упрекать его за них. Слишком было бы жаль, если б они не существовали. *

Сия беспечность о судьбе своих произведений, сие неизменное равнодушие к успеху и похвалам, не только в отношении к журналистам, но и в отношении публики, очень замечательны. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам свой век увлекающего гения, подбирая им оброненные колосья; он шел своею дорогой один и независим. Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды.

Перечтите его «Эду» (которую критики наши нашли *ничтожной,* ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий), перечтите сию простую восхитительную повесть; вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь. Посмотрите на Эду после первого поцелуя предприимчивого обольстителя.

---

* Эпиграмма, определенная законодателем французской пиитики:

Un bon mot de deux rimes orné,

скоро стареет и, живее действуя в первую минуту, как и всякое острое слово, теряет всю свою силу при повторении. Напротив, в эпиграмме Баратынского, менее тесной, сатирическая мысль приемлет оборот то сказочный, то драматический и развивается свободнее, сильнее. Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслажденьем перечитываем ее как произведение искусства.

Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах...

Она любит как дитя, радуется его подаркам, резвится с ним, беспечно привыкает к его ласкам. Но время идет, Эда уже не ребенок.

На камнях розовых твоих
Весна игриво засветлела,
И ярко зелен мох на них,
И птичка весело запела,
И по гранитному одру
Светло бежит ручей сребристый,
И лес прохладою душистой
С востока веет поутру;
Там за горою дол таится,
Уже цветы пестреют там;
Уже черемух фимиам
Там в чистом воздухе струится:
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай...

Какая роскошная черта, как весь отрывок исполнен неги! Эда влюблена...

НАБРОСКИ СТАТЬИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства.

Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездной поэм, романсов, ироических и любовных, простодушных и сатирических, коими наводнены европейские литературы средних веков.

Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого

духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеванием мавров. Мы бы увидели разницу между простодушною сатирою французских trouveurs и лукавой насмешливостию скоморохов, между площадною шуткою полудуховной мистерии и затеями нашей старой комидии.

Но, к сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о Полку Игореве».

Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной.

ЗАМЕТКА О «ГРАФЕ НУЛИНЕ»

В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения.

ЗАПИСКИ П. В. НАЩОКИНА,
им диктованные в Москве 1830.

Я начинаю себя помнить на большом, барском дворе, сидящим в песке (что почитается средством противу так называемой английской болезни). Около меня толпа нянек и мамушек и шестнадцать дворовых мальчишек, готовых попеременно таскать меня во весь дух в колясочке

с барского на черный двор и на деревенский базар. Помню отца моего, и вот в каких обстоятельствах. Назначен отъезд в Петербург. На дворе собирается огромный обоз. Крыльцо усеяно народом, гусарами, егерями, ливрейными лакеями, карликами, арапами, отставными майорами в старинных мундирах и проч. Отец мой между ими в зеленом плаще. Одноколка подана. Меня приносят к отцу с ним проститься. Он хочет взять меня с собою. Я плачу: жаль расстаться с нянею... Отец с досадой меня отталкивает, садится в одноколку, выезжает; за ним едет весь обоз; двор пустеет, челядь расходится, и с тех пор впечатления мои становятся слабы и неясны до 10-го года моего возраста...

Тут сцена переменяется; но сперва скажу несколько слов о моих родителях. Отец мой генерал-поручик Воин Васильевич Нащокин принадлежит к замечательнейшим лицам Екатерининского века. Он был малого роста, сильного сложения, горд и вспыльчив до крайности. Несколько анекдотов, сохранившихся по преданию, дадут о нем понятие. После похода, в котором он отличился, он вместо всякой награды выпросил себе и многим своим офицерам отпуск и уехал с ними в деревню, где и жил несколько месяцев, занимаясь охотою. Между тем начались вновь военные действия. Суворов успел отличиться, и отец мой, возвратясь в армию, застал уже его в Александровской ленте. «Так-то, батюшка Воин Васильевич,— сказал ему Суворов, указывая на свою ленту,— покамест вы травили зайцев, и я затравил красного зверя». Шутка показалась обидною моему отцу, который и так уж досадовал; в замену эпиграммы он дал Суворову пощечину. Суворов перевертелся, вышел, сел в перекладную, прискакал в Петербург, бросился в ноги государыне, жалуясь на отца моего. Вероятно, государыня уговорила Суворова оставить это дело, для избежания напрасного шума. Несколько времени спустя присылают отцу моему Георгия при рескрипте, в коем было сказано, что за обиду, учиненную храброму, храбрый лишается награды, коей он достоин, но что отец мой получает орден по личному ходатайству А. В. Суворова. Отец мой не принял ордена, говоря, что никому не хочет он быть обязану, кроме как самому себе. Вообще он никого не почитал не только высшим, но и равным себе. Князь Потемкин заметил, что он и о боге отзывался хотя и с уважением, но всё как

о низшем по чину, так что когда он был генерал-майором, то на бога смотрел как на бригадира, и сказал, когда отец мой был пожалован в генерал-поручики: Ну, теперь и бог попал у Нащокина в 4-ый класс, в порядочные люди! Будучи назначен командиром корпуса, находящегося в Киевской губернии, вскоре по своему прибытию в оный, дал он за городом обед офицерам и городским чиновникам. Киевский комендант, заметя, что попойка пошла не на шутку, тихонько уехал. Отец, заметя его отсутствие, взбесился, встал из-за стола, приказал корпусу собраться и повел его к городу. Поднялась пальба; ни одного окошка не осталось в Киеве целого. Город был взят приступом, и отец мой возвратился со славою в лагерь, ведя предателя коменданта военнопленным. По восшествии на престол государя Павла I отец мой вышел в отставку, объяснив царю на то причину: «Вы горячи, и я горяч, нам вместе не ужиться». Государь с ним согласился и подарил ему воронежскую деревню. Отец мой жил барином. Порядок его разъездов дает понятие об его жизни. Собираясь куда-нибудь в дорогу, подымался он всем домом. Впереди на рослой испанской лошади ехал поляк Куликовский с волторною. Прозван он был Куликовским по причине длинного своего носа; должность его в доме состояла в том, что в базарные дни обязан он был выезжать на верблюде и показывать мужикам lanterne-magique. В дороге же подавал он волторною сигнал привалу и походу. За ним ехала одноколка отца моего; за одноколкою двуместная карета про случай дождя; под козлами находилось место любимого его шута Ивана Степаныча. Вслед тянулись кареты, наполненные нами, нашими мадамами, учителями, няньками и проч. За ними ехала длинная решетчатая фура с дураками, арапами, карлами, всего 13 человек. Вслед за нею точно такая же фура с больными борзыми собаками. Потом следовал огромный ящик с роговою музыкою, буфет на 16-ти лошадях, наконец повозки с калмыцкими кибитками и разной мебелью (ибо отец мой останавливался всегда в поле). Посудите же, сколько при всем этом находилось народу, музыкантов, поваров, псарей и разной челяди.

В числе приближенных к отцу моему два лица достойны особенного внимания: дурак Иван Степаныч и арапка Мария. Арапка отправляла при нем должность камердинера; она была высокого роста и зла до крайнос-

ти. Частехонько диралась она с моим отцом, который никогда не сердился на нее. Иван Степаныч лицо историческое. Он был известен под именем Дурака нашей фамилии. Потемкин, не любивший шутов, слыша многое о затеях Ивана Степаныча, побился об заклад с моим отцом, что Дурак его не рассмешит. Иван Степаныч явился, Потемкин велел его привести под окошко и приказал себя смешить. Положение довольно затруднительное. Иван Степаныч стал передразнивать Суворова, угождая тайной неприязни Потемкина, который расхохотался, позвал его в свою комнату и с ним не расставался. Государь Павел Петрович очень его любил, и Иван Степаныч имел право при нем сидеть в его кабинете. Шутки его отменно нравились государю. Однажды царь спросил его, что родится от булочника? «Булки, мука, крендели, сухари и пр.»,—отвечал дурак.— «А что родится от гр. Кутайсова?» — «Бритвы, мыло, ремни, и проч.»— «А что родится от меня?» — «Милости, щедроты, чины, ленты, законы, счастие и проч.». Государю это очень полюбилось. Он вышел из кабинета и сказал окружающим его придворным: «Воздух двора заразителен; вообразите: уж и дурак мне льстит. Скажи, дурак, что от меня родится?» — «От тебя, государь,— отвечал, рассердившись, дурак,— родится: бестолковые указы, кнуты, Сибирь и проч.». Государь вспыхнул и, полагая, что дурак был подучен на таковую дерзость, хотел узнать непременно кем. Иван Степаныч наименовал всех умерших вельмож, ему знакомых. Его схватили, посадили в кибитку и повезли в Сибирь. Воротили его уже в Рыбинске. При государе Александре был он также выслан из Петербурга за какую-то дерзость. Он умер лет 6 тому назад.

Мать моя была в своем роде столь же замечательна, как и мой отец. Она была из роду Нелидовых. Отец, заблудившись на охоте, приехал в дом к Нелидову, влюбился в его дочь, и свадьба совершилась на другой же день. Она была женщина необыкновенного ума и способностей. Она знала многие языки, между прочим греческий. Английскому выучилась она 60 лет. Отец мой ее любил, но содержал в строгости. Много вытерпела она от его причуд. Например: она боялась воды. Отец мой в волновую погоду сажал ее в рыбачью лодку и катал ее по Волге. Иногда, чтоб приучить ее к военной жизни, сажал ее на пушку и палил из-под нее. До глубокой ста-

рости сохранила она вид и обхождение знатной дамы. Я не видывал старушки лучшего тону.

Сестра моя была старше меня несколькими годами. Она была красавица и считалась таковою в Москве. Я с братом воспитывался дома. У нас было множество учителей, гувернеров и дядек, из коих двое особенно для меня памятны. Один пудреный, чопорный француз, очень образованный, бывший приятель Фридерика II, с которым игрывал он дуэты на флейте, а другой, которому обязан я первым моим пьянством, эпохою в жизни моей. Вот как это случилось. Однажды, скучая продолжительностию вечернего урока, в то время, как учитель занялся с братом моим, я подкрался и задул обе свечки. Матери моей не было дома. Случилось, что во всем доме, кроме сих двух свечей, не было огня, а слуги по своему обычаю все ушли, оставя дом пустым. Учитель насилу их нашел, насилу добился огня, насилу добрался до меня и в наказание запер меня в чулан. Вышло, что в чулане спрятаны были разные съестные припасы. Я к неизъяснимому утешению тотчас отыскал тут изюм и винные ягоды и наелся вдоволь. Между тем ощупал я штоф, откупорил его, полизал горлышко, нашел его сладким, попробовал из него хлебнуть, мне это понравилось. Несколько раз повторил свое испытание и вскоре повалился без чувств. Между тем матушка приехала. Учитель рассказал ей мою проказу и с нею отправился в чулан. Будят меня, что же? Встаю, шатаясь, бледный, на полу разбитый штоф, от меня несет водкой, как от Панкратьевны «Опасного соседа». Матушка ахнула... На другой день просыпаюсь поздно, с головной болию, смутно вспоминая вчерашнее, гляжу в окно и вижу, что на повозку громоздят пожитки моего учителя. Няня моя объяснила мне, что матушка прогнала его затем-де, что он вечор запер меня в чулан.

ПИСАТЕЛИ, ИЗВЕСТНЫЕ У НАС ПОД ИМЕНЕМ АРИСТОКРАТОВ...

Писатели, известные у нас под именем аристократов, ввели обыкновение, весьма вредное литературе: не отвечать на критики. Редко кто из них отзовется и подаст голос, и то не за себя. Что же это в самом деле? Разве и впрям они гнушаются своим братом-литератором; или

они вообразили себя и в самом деле аристократами? Весьма же они ошибаются: журналы назвали их так в шутку, иронически (смотри «Северную пчелу», «Северный Меркурий» и проч.); а если они и принадлежат хорошему обществу, как благовоспитанные и порядочные люди, то это статья особая и литературы не касается.

Один аристократ (все-таки разумеем сие слово в ироническом смысле) извинялся тем, что-де с некоторыми людьми неприлично связываться человеку, уважающему себя и общее мнение; что разница-де между поединком и дракой; что, наконец, никто-де не в праве требовать, чтобы человек разговаривал, с кем не хочет разговаривать. Всё это не отговорка. Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся — какова компания, таков и разговор; если на улице шалун швырнет в тебя грязью, то смешно тебе вызывать его биться на шпагах, а не поколотить его просто. А если ты будешь молчать с человеком, который с тобой заговаривает, то это с твоей стороны обида и гордость, недостойная доброго христианина.

ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЙ

Некоторые из наших писателей видят в русских журналах представителей народного просвещения, указателей общего мнения и проч. и вследствие сего требуют для них того уважения, каким пользуются Journal des débats и Edinburgh review.

Определяйте значение слов, говорил Декарт. Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющие свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных — они знают это и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью. По причине великого конкурса невежество или посредственность не может овладеть монополией журналов, и человек без истинного дарования не выдержит l'épreuve издания. Посмотрите, кто во Франции, кто в Англии издает сии противоборствующие журналы? Здесь Шатобриан, Мартиньяк, Перонет, там Гиффорд,

Джефри, Питт. Что ж тут общего с нашими журналами и журналистами — шлюсь на собственную совесть наших литераторов? Спрашиваю, по какому праву «Северная пчела» будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь «Северный Меркурий»?

VIE, POÉSIES ET PENSÉES DE JOSEPH DELORME

(Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма).— Париж, 1829 (I т. в 16-ю д. л.).

LES CONSOLATIONS

Poésies par Sainte Beuve

(Утешения. Стихотворения Сент-Бёва).— *Париж, 1830 (I том в 18-ю д. л.).*

Года два тому назад книжка, вышедшая в свет под заглавием Vie, poésies et pensées de J. Delorme, обратила на себя в Париже внимание критиков и публики. Вместо предисловия романическим слогом описана была жизнь бедного молодого поэта, умершего, как уверяли, в нищете и неизвестности. Друзья покойника предлагали публике стихи и мысли, найденные в его бумагах, извиняя недостатки их и заблуждения самого Делорма его молодостию, болезненным состоянием души и физическими страданиями. В стихах оказывался необыкновенный талант, ярко отсвеченный странным выбором предметов. Никогда ни на каком языке голый сплин не изъяснялся с такою сухою точностию; никогда заблуждения жалкой молодости, оставленной на произвол страстей, не были высказаны с такой разочарованностию. Смотря на ручей, осененный темными ветвями дерев, Делорм думает о самоубийстве и вот каким образом:

Pour qui veut se noyer, la place est bien choisie.
On n'aurait qu'à venir, un jour de fantaisie,
A cacher ses habits au pied de ce bouleau,
Et, comme pour un bain, à descendre dans l'eau:
Non pas en furieux, la tête la première;
Mais s'asseoir, regarder; d'un rayon de lumière
Dans le feuillage et l'eau suivre le long reflet;

Puis, quand on sentirait ses esprits au complet,
Qu'on aurait froid, alors, sans plus traîner la fête,
Pour ne plus la lever, plonger avant la tête,
C'est là mon plus doux vœu, quand je pense à mourir.
J'ai toujours été seul à pleurer, à souffrir;
Sans un cœur près du mien j'ai passé sur la terre;
Ainsi que j'ai vécu, mourons avec mystère,
Sans fracas, sans clameurs, sans voisins assemblés.
L'alouette, en mourant, se cache dans les blés;
Le rossignol, qui sent défaillir son ramage,
Et la bise arriver, et tomber son plumage,
Passe invisible à tous, comme un écho du bois:
Ainsi je veux passer. Seulement, un... deux mois,
Peut-être un an après, un jour... une soirée,
Quelque pâtre inquiet d'une chèvre égarée,
Un chasseur descendu vers la source, et voyant
Son chien qui s'y lançait sortir en aboyant,
Regardera: la lune avec lui qui regarde
Eclairera ce corps d'une lueur blafarde;
Et soudain il fuira jusqu'au hameau, tout droit.
De grand matin venus, quelques gens de l'endroit
Tirant par les cheveux ce corps méconnaissable,
Cette chair en lambeaux, ces os chargés de sable,
Mêlant des quolibets à quelques sots récits,
Deviseront longtemps sur mes restes noircis,
Et les brouetteront enfin au cimetière;
Vite on clouera le tout dans quelque vieille bière
Qu'un prêtre aspergera d'eau bénite trois fois;
Et je serai laissé sans nom, sans croix de bois!

У друга его, Виктора Гюго, рождается сын; Делорм его приветствует:

Mon ami, vous voilà père d'un nouveau-né;
C'est un garçon encor: le ciel vous l'a donné
Beau, frais, souriant d'aise à cette vie amère;
A peine il a coûté quelque plainte à sa mère.
Il est nuit; je vous vois... à doux bruit, le sommeil
Sur un sein blanc qui dort a pris l'enfant vermeil,
Et vous, père, veillant contre la cheminée,
Recueilli dans vous-même, et la tête inclinée,
Vous vous tournez souvent pour revoir, ô douceur!
Le nouveau-né, la mère et le frère et la sœur
Comme un pasteur joyeux de ses toisons nouvelles,
Ou comme un maître, au soir, qui compte ses javelles.
A cette heure si grave, en ce calme profond,
Qui sait, hors vous, l'abîme où votre cœur se fond,
Ami? qui sait vos pleurs, vos muettes caresses;
Les trésors du génie épanchés en tendresses;
L'aigle plus gémissant que la colombe au nid;
Les torrents ruisselants du rocher de granit,
Et, comme sous les feux d'un été de Norvège,
Au penchant des glaciers mille fontes de neige?

Vivez, soyez heureux, et chantez-nous un jour
Ces secrets plus qu'humains d'un ineffable amour!

— Moi, pendant ce temps-là, je veille aussi, je veille,
Non près des rideaux bleus de l'enfance vermeille,
Près du lit nuptial arrosé de parfum,
Mais près d'un froid grabat, sur le corps d'un défunt.
C'est un voisin, vieillard goutteux, mort de la pierre;
Ses nièces m'on requis, je veille à leur prière.
Seul, je m'y suis assis dès neuf heures du soir.
A la tête du lit une croix en bois noir,
Avec un Christ en os, pose entre deux chandelles
Sur une chaise; auprès, le buis cher aux fidèles
Trempe dans une assiette, et je vois sous les draps
Le mort en long, pieds joints, et croisant les deux bras.
Oh! si, du moins, ce mort m'avait durant sa vie
Eté longtemps connu! s'il me prenait envie
De baiser ce front jaune une dernière fois!
En regardant toujours ces plis raides et droits,
Si je voyais enfin remuer quelque chose,
Bouger comme le pied d'un vivant qui repose,
Et la flamme bleuir! si j'entendais crier
Le bois du lit!.. ou bien si je pouvais prier!
Mais rien: nul effroi saint; pas de souvenir tendre;
Je regarde sans voir, j'écoute sans entendre,
Chaque heure sonne lente, et lorsque, par trop las
De ce calme abattant et de ces rêves plats,
Pour respirer un peu je vais à la fenêtre
(Car au ciel de minuit le croissant vient de naître),
Voilà, soudain, qu'au toit lointain d'une maison,
Non pas vers l'orient, s'embrase l'horizon,
Et j'entends résonner, pour toute mélodie,
Des aboiements de chiens hurlant dans l'incendie.

Между сими болезненными признаниями, сими мечтами печальных слабостей и безвкусными подражаниями давно осмеянной поэзии старого Ронсара, мы с изумлением находим стихотворения, исполненные свежести и чистоты. С какой меланхолической прелестию описывает он, например, свою музу!

Non, ma Muse n'est pas l'odalisque brillante
Qui danse les seins nus, à la voix sémillante,
Aux noirs cheveux luisants, aux longs yeux de houri;
Elle n'est ni la jeune et vermeille Péri,
Dont l'aile radieuse éclipserait la queue
D'un beau paon, ni la fée à l'aile blanche et bleue,
Ces deux rivales sœurs, qui, dès qu'il a dit *oui*,
Ouvrent mondes et cieux à l'enfant ébloui.
Elle n'est pas non plus, ô ma Muse adorée!
Elle n'est pas la vierge ou la veuve éplorée,
Qui d'un cloître désert, d'une tour sans vassaux,

Solitaire habitante, erre sous les arceaux,
Disant un nom; descend aux tombes féodales;
A genoux, de velours inonde au loin les dalles,
Et le front sur un marbre, épanche avec des pleurs
L'hymne mélodieux de ses nobles malheurs.
Non; — mais, quand seule au bois votre douleur chemine,
Avez-vous vu, là-bas, dans un fond, la chaumine
Sous l'arbre mort; auprès, un ravin est creusé;
Une fille en tout temps y lave un linge usé.
Peut-être à votre vue elle a baissé la tête,
Car, bien pauvre qu'elle est, sa naissance est honnête.
Elle eût pu, comme une autre, en de plus heureux jours
S'épanouir au monde et fleurir aux amours;
Voler en char; passer aux bals, aux promenades;
Respirer au balcon parfums et sérénades;
Ou, de sa harpe d'or éveillant cent rivaux,
Ne voir rien qu'un sourire entre tant de bravos.
Mais le ciel dès l'abord s'est obscurci sur elle,
Et l'arbuste en naissant fut atteint de la grêle;
Elle file, elle coud, et garde à la maison
Un père vieux, aveugle et privé de raison.

Правда, что сию прелестную картину оканчивает он медицинским описанием чахотки; муза его харкает кровью:

. . . . une toux déchirante
La prend dans sa chanson, pousse en sifflant un cri,
Et lance les glaviers de son poumon meurtri.

Совершеннейшим стихотворением изо всего собрания, по нашему мнению, можно почесть следующую элегию, достойную стать наряду с лучшими произведениями Андрэя Шенье.

Toujours je la connus pensive et sérieuse;
Enfant, dans les ébats de l'enfance joyeuse
Elle se mêlait peu, parlait déjà raison;
Et quand ses jeunes sœurs couraient sur le gazon,
Elle était la première à leur rappeler l'heure,
A dire qu'il fallait regagner la demeure;
Qu'elle avait de la cloche entendu le signal;
Qu'il était défendu d'approcher du canal,
De troubler dans le bois la biche familière,
De passer en jouant trop près de la volière:
Et ses sœurs l'écoutaient. Bientôt elle eut quinze ans,
Et sa raison brilla d'attraits plus séduisants:
Sein voilé, front serein où le calme repose,
Sous de beaux cheveux bruns une figure rose,
Une bouche discrète au sourire prudent,
Un parler sobre et froid, et qui plaît cependant;
Une voix douce et ferme, et qui jamais ne tremble,
Et deux longs sourcils noirs qui se fondent ensemble,

Le devoir l'animait d'une grande ferveur;
Elle avait l'air posé, réfléchi, non rêveur:
Elle ne rêvait pas comme la jeune fille,
Qui de ses doigts distraits laisse tomber l'aiguille,
Et du bal de la veille au bal du lendemain
Pense au bel inconnu qui lui pressa la main.
Le coude à la fenêtre, oubliant son ouvrage,
Jamais on ne la vit suivre à travers l'ombrage
Le vol interrompu des nuages du soir,
Puis cacher tout d'un coup son front dans son mouchoir.
Mais elle se disait qu'un avenir prospère
Avait changé soudain par la mort de son père;
Qu'elle était fille aînée, et que c'était raison
De prendre part active aux soins de la maison.
Ce cœur jeune et sévère ignorait la puissance
Des ennuis dont soupire et s'émeut l'innocence.
Il réprima toujours les attendrissements
Qui naissent sans savoir, et les troubles charmants,
Et les désirs obscurs, et ces vagues délices,
De l'amour dans les cœurs naturelles complices.
Maîtresse d'elle-même aux instants les plus doux,
En embrassant sa mère elle lui disait *vous*,
Les galantes fadeurs, les propos pleins de zèle
Des jeunes gens oisifs étaient perdus chez elle;
Mais qu'un cœur éprouvé lui contât un chagrin,
A l'instant se voilait son visage serein:
Elle savait parler de maux, de vie amère,
Et donnait des conseils comme une jeune mère.
Aujourd'hui la voilà mère, épouse à son tour;
Mais c'est chez elle encor raison plutôt qu'amour.
Son paisible bonheur de respect se tempère;
Son époux déjà mûr serait pour elle un père;
Elle n'a pas connu l'oubli du premier mois,
Et la lune de miel qui ne luit qu'une fois,
Et son front et ses yeux ont gardé le mystère
De ces chastes secrets qu'une femme doit taire.
Heureuse comme avant, à son nouveau devoir
Elle a réglé sa vie... Il est beau de la voir,
Libre de son ménage, un soir de la semaine,
Sans toilette, en été, qui sort et se promène
Et s'asseoit à l'abri du soleil étouffant,
Vers six heures, sur l'herbe, avec sa belle enfant.
Ainsi passent ses jours depuis le premier âge,
Comme des flots sans nom sous un ciel sans orage,
D'un cours lent, uniforme et pourtant solennel;
Car ils savent, qu'ils vont au rivage éternel.
Et moi qui vois couler cette humble destinée
Au penchant du devoir doucement entraînée,
Ces jours purs, transparents, calmes, silencieux,
Qui consolent du bruit et reposent les yeux,
Sans le vouloir, hélas! je retombe en tristesse;
Je songe à mes longs jours passés avec vitesse.
Turbulents, sans bonheur, perdus pour le devoir,
Et je pense, ô mon Dieu! qu'il sera bientôt soir!

Публика и критики горевали о преждевременной кончине таланта, столь много обещавшего, как вдруг узнали, что покойник жив и, слава богу, здоров. Сент-Бёв, известный уже «Историей французской словесности в XVI столетии» и ученым изданием Ронсара, вздумал под вымышленным именем И. Делорма напечатать первые свои поэтические опыты, вероятно опасаясь нареканий и строгости нравственной цензуры. Мистификация, столь печальная, своею веселою развязкою должна была повредить успеху его стихотворений; однако ж новая школа с восторгом признала и присвоила себе нового собрата.

В «Мыслях» И. Делорма изложены его мнения касательно французского стихосложения. Критики хвалили верность, ученость и новизну сих замечаний. Нам показалось, что Делорм слишком много придает важности нововведениям так называемой *романтической* школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Всё это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества. Нет сомнения, что стихосложение французское самое своенравное и, смею сказать, неосновательное. Чем, например, оправдаете вы исключения *гиатуса* (hiatus), который французским ушам так нестерпим в соединении двух слов (как: *a été*, *où aller*) и которого они же ищут для гармонии собственных имен: Z*aï*re, Agl*aë*, El*éo*nore. Заметим мимоходом, что законом о *гиатусе* одолжены французы латинскому *элизиуму*. По свойству латинского стихосложения слово, кончащееся на гласную, теряет ее перед другою гласною.

Буало заменил сие правило законом об гиатусе:

Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée.
Ne soit en son chemin par une autre heurtée.

Во-вторых: как можно вечно рифмовать для глаза, а не для слуха? Почему рифмы должны согласоваться в числе (единственном или множественном), когда произношение в том и в другом одинаково? Однако ж нововводители всего этого еще не коснулись; покушения же их едва ли счастливы.

В прошлом году Сент-Бёв выдал еще том стихотворений, под заглавием «Les Consolations». В них Делорм является исправленным советами приятелей, людей

степенных и нравственных. Уже он не отвергает отчаянно утешений религии, но только тихо сомневается; уже он не ходит к Розе, но признается иногда в порочных вожделениях. Слог его также перебесился. Словом сказать, и вкус и нравственность должны быть им довольны. Можно даже надеяться, что в третьем своем томе Делорм явится набожным, как Ламартин, и совершенно порядочным человеком.

К несчастию должны мы признаться, что, радуясь перемене человека, мы сожалеем о поэте. Бедный Делорм обладал свойством чрезвычайно важным, не достающим почти всем французским поэтам новейшего поколения, свойством, без которого нет истинной поэзии, т. е. *искренностию вдохновения*. Ныне французский поэт систематически сказал себе: *soyons rẽligieux*, *soyons politiques*, а иной даже: *soyons extravagants*, и холод предначертания, натяжка, принужденность отзываются во всяком его творении, где никогда не видим движения минутного, вольного чувства, словом: где нет истинного вдохновения. Сохрани нас боже быть поборниками безнравственности в поэзии (разумеем слово сие не в детском смысле, в коем употребляют его у нас некоторые журналисты)! Поэзия, которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный, воспалительный состав. Но описывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность, так, как анатомия не есть убийство; и мы не видим безнравственности в элегиях несчастного Делорма, в признаниях, раздирающих сердце, в стесненном описании его страстей и безверия, в его жалобах на судьбу, на самого себя.

ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ, ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ АЛЕКСАНДР АНФИМОВИЧ ОРЛОВ

In arenam cum aequalibus descendi
Cic.

Посреди полемики, раздирающей бедную нашу словесность, Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин более десяти лет подают утешительный пример согласия, основанного на

взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных. Сей назидательный союз ознаменован почтенными памятниками. Фаддей Венедиктович скромно признал себя учеником Николая Ивановича; Н. И. поспешно провозгласил Фаддея Венедиктовича *ловким своим товарищем.* Ф. В. посвятил Николаю Ивановичу своего «Димитрия Самозванца»; Н. И. посвятил Фаддею Венедиктовичу свою «Поездку в Германию». Ф. В. написал для «Грамматики» Николая Ивановича хвалебное предисловие; * Н. И. в «Северной пчеле» (издаваемой гг. Гречем и Булгариным) напечатал хвалебное объявление об «Иване Выжигине». Единодушие истинно трогательное!— Ныне Николай Иванович, почитая Фаддея Венедиктовича оскорбленным в статье, напечатанной в № 9 «Телескопа», заступился за своего товарища со свойственным ему прямодушием и горячностию. Он напечатал в «Сыне отечества» (№ 27) статью, которая, конечно, заставит молчать дерзких противников Фаддея Венедиктовича; ибо Николай Иванович доказал неоспоримо:

1) Что М. И. Голенищев-Кутузов возведен в княжеское достоинство в июне 1812 г. (стр. 64).

2) Что не сражение, а план сражения составляет тайну главнокомандующего (стр. 65).

3) Что священник выходит навстречу подступающему неприятелю с крестом и святою водою (стр. 65).

4) Что секретарь выходит из дому в статском изношенном мундире, в треугольной шляпе, со шпагою, в белом изношенном исподнем платье (стр. 65).

5) Что пословица: vox populi—vox dei есть пословица латинская, и что оная есть истинная причина французской революции (стр. 65).

6) Что Иван Выжигин не есть произведение образцовое, но, *относительно,* явление приятное и полезное (стр. 62).

7) Что Фаддей Венедиктович живет в своей деревне близ Дерпта и просил его (Николая Ивановича) не посылать к нему вздоров (стр. 68).

И что следственно: *Ф. В. Булгарин своими талантами*

---

* Смотри «Грамматику» Греча, напечатанную в типографии *Греча.*

и трудами приносит честь своим согражданам: что и доказать надлежало.

Против этого нечего и говорить; мы первые громко одобряем Николая Ивановича за его откровенное и победоносное возражение, приносящее столько же чести его логике, как и горячности чувствований.

Но дружба (сие священное чувство) слишком далеко увлекла пламенную душу Николая Ивановича, и с его пера сорвались нижеследующие строки:

— «*Там* (в № 9 «Телескопа») *взяли две глупейшие вышедшие в Москве (да, в Москве) книжонки, сочиненные каким-то А. Орловым»*.

О Николай Иванович, Николай Иванович! какой пример подаете вы молодым литераторам? какие выражения употребляете вы в статье, начинающейся сими строгими словами: *«У нас издавна, и по справедливости, жалуются на цинизм, невежество и недобросовестность рецензентов»?* Куда девалась ваша умеренность, знание приличия, ваша известная добросовестность? Перечтите, Николай Иванович, перечтите сии немногие строки — и вы сами, с прискорбием, сознаетесь в своей необдуманности!

— *«Две глупейшие книжонки!.. какой-то А. Орлов!..»* Шлюсь на всю почтенную публику: какой критик, какой журналист решился бы употребить сии неприятные выражения, говоря о произведениях живого автора? ибо, слава богу: почтенный мой друг Александр Анфимович Орлов — жив! Он жив, несмотря на зависть и злобу журналистов; он жив, к радости книгопродавцев, к утешению многочисленных его читателей!

— *«Две глупейшие книжонки!..»* Произведения Александра Анфимовича, разделяющего с Фаддеем Венедиктовичем любовь российской публики, названы *глупейшими книжонками!* — Дерзость неслыханная, удивительная, оскорбительная не для моего друга — (ибо и он живет в своей деревне, близ Сокольников; и он просил меня не посылать к нему всякого вздору); но оскорбительная для всей читающей публики. *

— *«Глупейшие книжонки!»* Но чем докажете вы сию глупость? Знаете ли вы, Николай Иванович, что более 5000 экземпляров сих *глупейших книжонок* разошлись и находятся в руках читающей публики, что «Выжигины»

---

* См. разбор «Денницы» в «Сыне отечества».

г. Орлова пользуются благосклонностию публики наравне с «Выжигиными» г. Булгарина; а что образованный класс читателей, которые гнушаются теми и другими, не может и не должен судить о книгах, которых не читает?

Скрепя сердце, продолжаю свой разбор.

— *«Две глупейшие* (глупейшие!), *вышедшие в Москве (да, в Москве) книжонки»*...

В Москве, да, в Москве!.. Что же тут предосудительного? К чему такая выходка противу первопрестольного града?.. Не в первый раз заметили мы сию странную ненависть к Москве в издателях «Сына отечества» и «Северной пчелы». Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной, о Москве, пострадавшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от всякого сброду.

Москва доныне центр нашего просвещения: в Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих *ubi bene, ibi patria*, для коих всё равно: бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить всё русское — были бы только сыты.

Чем возгордилась петербургская литература?.. Г-ном Булгариным?.. Согласен, что сей великий писатель, равно почтенный и дарованиями и характером, заслужил бессмертную себе славу; но произведения г. Орлова ставят московского романиста если не выше, то, по крайней мере, наравне с петербургским его соперником. Несмотря на несогласие, царствующее между Фаддеем Венедиктовичем и Александром Анфимовичем, несмотря на справедливое негодование, возбужденное во мне неосторожными строками «Сына отечества», постараемся сравнить между собою сии два блистательные солнца нашей словесности.

Фаддей Венедиктович превышает Александра Анфимовича пленительною щеголеватостию выражений; Александр Анфимович берет преимущество над Фаддеем Венедиктовичем живостию и остротою рассказа.

Романы Фаддея Венедиктовича более обдуманы, доказывают большее терпение * в авторе (и требуют еще большего терпения в читателе); повести Александра Ан-

---

* «Гений есть *терпение* в высочайшей степени»,— сказал известный Бюфон.

фимовича более кратки, но более замысловаты и заманчивы.

Фаддей Венедиктович более философ; Александр Анфимович более поэт.

Фаддей Венедиктович гений; ибо изобрел имя *Выжигина* и сим смелым нововведением оживил пошлые подражания «Совестдралу» и «Английскому милорду»; Александр Анфимович искусно воспользовался изобретением г. Булгарина и извлек из оного бесконечно разнообразные эффекты!

Фаддей Венедиктович, кажется нам, немного однообразен; ибо все его произведения не что иное, как «Выжигин» в различных изменениях: «Иван Выжигин», «Петр Выжигин», «Димитрий Самозванец, или Выжигин XVII столетия», собственные записки и нравственные статейки — всё сбивается на тот же самый предмет. Александр Анфимович удивительно разнообразен! сверх несметного числа «Выжигиных», сколько цветов рассыпал он на поле словесности! «Встреча Чумы с Холерою», «Сокол был бы сокол, да курица его съела, или Бежавшая жена»; «Живые обмороки», «Погребение купца» и проч. и проч.

Однако же беспристрастие требует, чтоб мы указали сторону, с коей Фаддей Венедиктович берет неоспоримое преимущество над своим счастливым соперником: разумею нравственную цель его сочинений. В самом деле, любезные слушатели, что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него Ножевым, взяточник — Взяткиным, дурак — Глаздуриным и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова Хлопоухиным, Димитрия Самозванца Каторжниковым, а Марину Мнишек княжною Шлюхиной; зато и лица сии представлены несколько бледно.

В сем отношении г. Орлов решительно уступает г. Булгарину. Впрочем, самые пламенные почитатели Фаддея Венедиктовича признают в нем некоторую скуку, искупленную назидательностию; а самые ревностные поклонники Александра Анфимовича осуждают в нем иногда необдуманность, извиняемую, однако ж, порывами гения.

Со всем тем Александр Анфимович пользуется гораздо

меньшею славою, нежели Фаддей Венедиктович. Что же причиною сему видимому неравенству?

Оборотливость, любезные читатели, оборотливость Фаддея Венедиктовича, ловкого товарища Николая Ивановича! «Иван Выжигин» существовал еще только в воображении почтенного автора, а уже в «Северном архиве», «Северной пчеле» и «Сыне отечества» отзывались об нем с величайшею похвалою. Г-н Ансело в своем путешествии, возбудившем в Париже общее внимание, провозгласил сего еще не существовавшего «Ивана Выжигина» лучшим из русских романов. Наконец «Иван Выжигин» явился; и «Сын отечества», «Северный архив» и «Северная пчела» превознесли его до небес. Все кинулись его читать; многие прочли до конца; а между тем похвалы ему не умолкали в каждом номере «Северного архива», «Сына отечества» и «Северной пчелы». Сии усердные журналы ласково приглашали покупателей; ободряли, подстрекали ленивых читателей; угрожали местью недоброжелателям, не дочитавшим «Ивана Выжигина» из единой низкой зависти.

Между тем какие вспомогательные средства употреблял Александр Анфимович Орлов?

Никаких, любезные читатели!

Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках.

Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых.

Он не заманивал унизительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей.

Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии.

Он не отвечал ни на одну критику; он не называл своих противников дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и тому под.

Но — обезоружил ли тем он многочисленных врагов? Нимало. Вот как отзывались о нем его собратья:

«Автор вышеисчисленных творений сильно штурмует нашу бедную русскую литературу и хочет разрушить русский Парнас не бомбами, но каркасами, при помощи услужливых издателей, которые щедро платят за каждый манускрипт знаменитого сего творца по двадцати рублей ходячею монетою, как уверяли нас знающие дело книго-

продавцы. Автор есть муж — *из ученых,* как видно по латинским фразам, которыми испещрены его творения, а сущность их доказывает, что он, как сказано в „Недоросле“, „убоясь бездны премудрости, вспять обратился“. Знаменитое лубочное произведение: „Мыши кота хоронят, или Небылицы в лицах“, есть Илиада в сравнении с творениями г. Орлова, а „Бова Королевич“ — герой, до которого не возвысился еще почтенный автор... Державин есть у нас *Альфа,* а г. Орлов *Омега* в литературе, то есть последнее звено в цепи литературных существ, и потому *заслуживает внимание, как всё необыкновенное...* * Язык его, изложение и завязка могут сравняться только с отвратительными картинами, которыми наполнены сии чада безвкусия, и с смелостью автора. Никогда в Петербурге подобные творения не увидели бы света, и ни один из петербургских уличных разносчиков книг (не говорим о книгопродавцах) не взялся бы их издавать. По какому праву г. Орлов вздумал наречь своих холопей: хлыновских степняков, Игната и Сидора, детьми Ивана Выжигина, и еще в то самое время, когда автор Выжигина издает другой роман под тем же названием?.. Никогда такие омерзительные картины не появлялись на русском языке. Да здравствует московское книгопечатание!» («Сев. пч.», 1831, № 46).

Какая злонамеренная и несправедливая критика! Мы заметили уже неприличие нападений на Москву; но в чем упрекают здесь почтенного Александра Анфимовича?.. В том, что за каждое его сочинение книгопродавцы платят ему по 20 рублей? что же? бескорыстному сердцу моего друга приятно думать, что, получив 20 рублей, доставил он другому 2000 выгоды; ** между тем как некоторый петербургский литератор, взяв за свою рукопись 30 000, заставил охать погорячившегося книгопродавца!!!

Ставят ему в грех, что он знает латинский язык. Конечно: доказано, что Фаддей Венедиктович (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает по-латыни; но ужели сему незнанию обязан он своею бессмертною славою?

Уверяют, что г. Орлов *из ученых.* Конечно: доказано,

---

* Важное сознание! прошу прислушать!
** Историческая истина!

что г. Булгарин вовсе не учен, но опять повторяю: разве невежество есть достоинство столь завидное?

Этого недовольно: грозно требуют ответа от моего друга: как дерзнул он присвоить своим лицам имя, освященное самим Фаддеем Венедиктовичем? — Но разве А. С. Пушкин не дерзнул вывести в своем «Борисе Годунове» все лица романа г. Булгарина и даже воспользоваться многими местами в своей трагедии (писанной, говорят, пять лет прежде и известной публике еще в рукописи)?

Смело ссылаюсь на совесть самих издателей «Северной пчелы»: справедливы ли сии критики? виноват ли Александр Анфимович Орлов?

Но еще смелее ссылаюсь на почтенного Николая Ивановича: не чувствует ли он глубокого раскаяния, оскорбив напрасно человека с столь отличным дарованием, *не состоящего с ним ни в каких сношениях, вовсе его не знающего и не писавшего о нем ничего дурного?* *

Феофилакт Косичкин.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИЗИНЦЕ г. БУЛГАРИНА И О ПРОЧЕМ

Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно, как *Пролаз с Высоносом,* говоря в похвальбу себе и в утешение:

Ведь, кажется, у нас по полной оплеухе.

Нет: рассердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного. Для поддержания же себя в сем суровом расположении духа перечитываю я тщательно мною переписанные в особую тетрадь статьи, подавшие мне повод к таковому ожесточению. Таким образом, пересматривая на днях антикритику, подавшую мне случай заступиться за почтенного друга моего А. А. Орлова, напал я на следующее место:

* «Сын отечества», № 27, стр. 60.

— *«Я решился на сие* (на оправдание г. Булгарина) — *не для того, чтоб оправдать и защищать Булгарина, который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов»* (см. № 27 «Сына отечества», издаваемого гг. Гречем и Булгариным).

Изумился я, каким образом мог я пропустить без внимания сии красноречивые, но необдуманные строки! Я стал по пальцам пересчитывать всевозможных рецензентов, у коих менее ума в голове, нежели у г. Булгарина в *мизинце,* и теперь догадываюсь, кому Николай Иванович думал погрозить мизинчиком Фаддея Венедиктовича.

В самом деле, к кому может отнестись это затейливое выражение? Кто наши записные рецензенты?

Вы, г. издатель «Телескопа»? Вероятно, мстительный *мизинчик* указует и на вас: предоставляю вам самим вступиться за свою голову. * Но кто же другие?

Г-н Полевой? Но несмотря на прежние раздоры, на письма Бригадирши, на насмешки славного Грипусье, на недавнее прозвище Верхогляда и проч. и проч., *всей Европе известно,* что «Телеграф» состоит в добром согласии с «Северной пчелой» и «Сыном отечества»: *мизинчик* касается не его.

Г-н Воейков? Но сей замечательный литератор рецензиями мало занимается, а известен более изданием Хамелеонистики, остроумного сбора статей, в коих выводятся, так сказать, на чистую воду некоторые, так сказать, литературные плутни. Ловкие издатели «Северной пчелы» уж верно не станут, как говорится, класть ему пальца в рот, хотя бы сей палец был и знаменитый, вышеупомянутый *мизинчик.*

Г-н Сомов? Но, кажется, «Литературная газета», совершив свой единственный подвиг — совершенное уничтожение (литературной) славы г. Булгарина,— почиет на своих лаврах, и г. Греч, вероятно, не станет тревожить сего счастливого усыпления, щекотя газету проказливым *мизинчиком.*

Кого же оцарапал сей мизинец? Кто сии рецензенты, у коих — и так далее? Просвещенный читатель уже догадался, что дело идет обо мне, о Феофилакте Косичкине.

Всему свету известно, что никто постояннее моего не

* До мизинцев ли мне? — *Изд.*

следовал за исполинским ходом нашего века. Скольких глубоких и блистательных творений по части политики, точных наук и чистой литературы вышло у нас из печати в течение последнего десятилетия (шагнувшего так далеко вперед) и обратило на себя справедливое внимание завидующей нам Европы! Ни одного из таковых явлений не пропустил я из виду; обо всяком, как известно, написал я по одной статье, отличающейся ученостию, глубокомыслием и остроумием. Если долг беспристрастия требовал, чтоб я указывал иногда на недостатки разбираемого мною сочинения, то может ли кто-нибудь из гг. русских авторов жаловаться на заносчивость или невежество Феофилакта Косичкина? Может быть, по примеру г. Полевого я слишком лестно отзываюсь о самом себе; я мог бы говорить в третьем лице и попросить моего друга подписать имя свое под сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковыми уловками, и гг. русские журналисты, вероятно, не укорят меня в шарлатанстве.

И что ж! Г-н Греч в журнале, с жадностию читаемом во всей просвещенной Европе, дает понимать, будто бы в мизинце его товарища более ума и таланта, чем в голове моей! Отзыв слишком для меня оскорбительный! Полагаю себя в праве объявить *во услышание всей Европы,* что я ничьих мизинцев не убоюсь; ибо, не входя в рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои (каждый особо и все пять в совокупности) готовы воздать сторицею кому бы то ни было. Dixi!

Взявшись за перо, я не имел, однако ж, целию объявить о сем почтеннейшей публике; подобно нашим писателям-аристократам (разумею слово сие в его ироническом смысле), я никогда не отвечал на журнальные критики: дружба, оскорбленная дружба призывает опять меня на помощь угнетенного дарования.

Признаюсь: после статьи, в которой так торжественно оправдал и защитил я А. А. Орлова (статьи, принятой московскою и петербургскою публикою с отличной благосклонностию), не ожидал я, чтоб «Северная пчела» возобновила свои нападения на благородного друга моего и на первопрестольную столицу. Правда, сии нападения уже гораздо слабее прежних, но я не умолкну, доколе не принужу к совершенному безмолвию ожесточенных гонителей моего друга и непочтительного «Сына отечества», издевающегося над нашей древнею Москвою.

«Северная пчела» (№ 201), объявляя о выходе нового «Выжигина», говорит: «Заглавие сего романа заставило нас подумать, что это одно из многочисленных подражаний произведениям нашего *блаженного г. А. Орлова,* знаменитого автора... Притом же всякое произведение московской литературы, носящее на себе печать изделия книгопродавцев *пятнадцатого класса*... приводит нас в невольный трепет».— *«Блаженный г. Орлов»*... Что значит *блаженный Орлов?* О! конечно: если блаженство состоит в спокойствии духа, не возмущаемого ни завистью, ни корыстолюбием; в чистой совести, не запятнанной ни плутнями, ни лживыми доносами; в честном и благородном труде, в смиренном развитии дарования, данного от бога,— то добрый и небогатый Орлов блажен и не станет завидовать ни богатству плута, ни чинам негодяя, ни известности шарлатана!!! Если же слово *блаженный* употреблено в смысле, коего здесь изъяснять не стану, то удивляюсь охоте некоторых людей, старающихся представить смешными вещи, вовсе не смешные, и которые даже не могут извинять неприличия мысли остроумием или веселостию оборота.

Насмешки над книгопродавцами пятнадцатого класса обличают аристократию чиновных издателей, некогда осмеянную так называемыми аристократическими нашими писателями. Повторим истину, столь же неоспоримую, как и нравственные размышления г. Булгарина: «чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному мараке. Фильдинг и Лабрюер не были ни статскими советниками, ни даже коллежскими асессорами. Разночинцы, вышедшие в дворянство, могут быть почтенными писателями, если только они люди с дарованием, образованностию и добросовестностию, а не фигляры и не наглецы».

Надеюсь, что сей умеренный мой отзыв будет последним и что почтенные издатели «Северной пчелы», «Сына отечества» и «Северного архива» не вызовут меня снова на поприще, на котором являюсь редко, но не без успеха, как изволите видеть. Я человек миролюбивый, но всегда готов заступиться за моего друга; я не похожу на того китайского журналиста, который, потакая своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо всякому: «Этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми

порядочными людьми, марает меня своим товариществом; но что делать? он человек деловой и расторопный!»

Между тем полагаю себя в праве объявить о существовании романа, коего заглавие прилагаю здесь. Он поступит в печать или останется в рукописи, *смотря по обстоятельствам.*

НАСТОЯЩИЙ ВЫЖИГИН

Историко-нравственно-сатирический роман XIX века

Содержание

Глава I. Рождение Выжигина в кудлашкиной конуре. Воспитание ради Христа. Глава II. Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон. Глава III. Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Глава IV. Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. Глава V. Ubi bene, ibi patria. Глава VI. Московский пожар. Выжигин грабит Москву. Глава VII. Выжигин перебегает. Глава VIII. Выжигин без куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш. Глава IX. Выжигин игрок. Выжигин и отставной квартальный. Глава X. Встреча Выжигина с Высухиным. Глава XI. Веселая компания. Курьезный куплет и письмо-аноним к знатной особе. Глава XII. Танта. Выжигин попадается в дураки. Глава XIII. Свадьба Выжигина. Бедный племянничек! Ай да дядюшка! Глава XIV. Господин и госпожа Выжигины покупают на трудовые денежки деревню и с благодарностию объявляют о том почтенной публике. Глава XV. Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы. Глава XVI. Видок, или Маску долой! Глава XVII. Выжигин раскаивается и делается порядочным человеком. Глава XVIII и последняя. Мышь в сыре.

Ф. Косичкин.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ К РУССКОМУ ИНВАЛИДУ»

Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая

поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на *неприличие* его выражений, на *дурной тон* и проч. Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и всё это слогом камердинера профессора Тредьяковского.

«ПУТЕШЕСТВИЕ К СВ. МЕСТАМ» А. Н. МУРАВЬЕВА

В 1829 году внимание Европы было обращено на Адрианополь, где решалась судьба Греции, целые 8 лет занимавшей помышления всего просвещенного мира. Греция оживала, могущественная помочь Севера возвращала ей независимость и самобытность.

Во время переговоров, среди торжествующего нашего стана, в виду смятенного Константинополя, один молодой поэт думал о ключах св. храма, о Иерусалиме, ныне забытом христианскою Европою для суетных развалин Парфенона и Ликея. Ему представилась возможность исполнить давнее желание сердца, любимую мечту отрочества. Г-н Муравьев через генерала Дибича получил дозволение посетить св. места — и к ним отправился через Константинополь и Александрию. Ныне издал он свои путевые записки.

С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г. Муравьева. «Здесь, у подошвы Сиона,— говорит другой русский путешественник,— всяк христианин, всяк верующий, кто только сохранил жар в сердце и любовь к великому». Но молодой наш соотечественник привлечен туда

не суетным желанием обрести краски для поэтического романа, не беспокойным любопытством найти насильственные впечатления для сердца усталого, притупленного. Он посетил св. места как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя.— Он traverse Грецию, préoccupé одною великой мыслию, он не старается, как Шатобриан, воспользоваться противуположною мифологией Библии и Одиссеи. Он не останавливается, он спешит, он беседует с странным преобразователем Египта, проникает в глубину пирамид, пускается в пустыню, оживленную черными шатрами бедуинов и верблюдами караванов, вступает в обетованную землю, наконец с высоты вдруг видит Иерусалим...

О САЛЬЕРИ

В первое представление «Дон Жуана», в то время когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист — все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, снедаемый завистию.

Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта.

Завистник, который мог освистать «Дон Жуана», мог отравить его творца.

НАЧАЛО СТАТЬИ О В. ГЮГО

Всем известно, что французы народ самый антипоэтический. Лучшие писатели их, славнейшие представители сего остроумного и положительного народа, Montaigne, Voltaire, Montesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, сколь чувство изящного было для них чуждо и непонятно.

Если обратим внимание на критические результаты, обращающиеся в народе и принятые за литературные аксиомы, то мы изумимся их ничтожности или несправедливости. Корнель и Вольтер, как трагики, почитаются

у них равными Расину; Ж.-Б. Руссо доныне сохранил прозвище *великого*. Первым их лирическим поэтом почитается теперь несносный Беранже, слагатель натянутых и манерных песенок, не имеющих ничего страстного, вдохновенного, а в веселости и остроумии далеко отставших от прелестных шалостей Коле. Не знаю, признались ли наконец они в тощем и вялом однообразии своего Ламартина, но тому лет 10 они без церемонии ставили его наравне с Байроном и Шекспиром. «Cinq Mars», посредственный роман графа де Виньи, равняют с великими созданиями Вальтера Скотта. Разумеется, что их гонения столь же несправедливы, как и любовь. Между молодыми талантами нынешнего времени Сент-Бёв менее всех известен, а между тем он чуть ли не самый замечательный.

Стихотворения его, конечно, очень оригинальны и, что важнее, исполнены искреннего вдохновения. В «Литературной газете» упомянули о них с похвалою, которая показалась преувеличена. Ныне V. Hugo, поэт и человек с истинным дарованием, взялся оправдать мнения петербургского журнала: он издал под заглавием «Les Feuilles d'automne» том стихотворений, очевидно писанных в подражание книге Сент-Бёва «Les Consolations».

СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ В СТИХАХ ПАВЛА КАТЕНИНА

На днях вышли в свет «Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина».

Издатель (г. Бахтин) в начале предисловия, весьма замечательного, упомянул о том, что П. А. Катенин, почти при вступлении на поприще словесности, был встречен самыми несправедливыми и самыми неумеренными критиками.

Нам кажется, что г. Катенин (так, как и все наши писатели вообще) скорее мог бы жаловаться на безмолвие критики, чем на ее строгость или пристрастную привязчивость. Критики, по-настоящему, еще у нас не существует: несправедливо было бы нам и требовать оной. У нас и литература едва ли существует; а на нет суда нет, говорит неоспоримая пословица. Если публика может довольствоваться тем, что называют у нас критикою, то это

доказывает только, что мы еще не имеем нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах.

Что же касается до несправедливой холодности, оказываемой публикою сочинениям г. Катенина, то во всех отношениях она делает ему честь: во-первых, она доказывает отвращение поэта от мелочных способов добывать успехи, а во-вторых, и его самостоятельность. Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике, напротив: шел всегда своим путем, творя для самого себя, что и как ему было угодно. Он даже до того простер сию гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как скоро становилась она модною, и удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастие толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающего за собою других. Таким образом, быв один из первых апостолов романтизма и первый введши в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные, он первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования.

Первым замечательным произведением г-на Катенина был перевод славной Биргеровой «Леноры». Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского, который сделал из нее то же, что Байрон в своем «Манфреде» сделал из «Фауста»: ослабил дух и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам «Ленору» в энергической красоте ее первобытного создания; он написал «Ольгу». Но сия простота и даже грубость выражений, сия *сволочь,* заменившая *воздушную цепь теней*, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым. После «Ольги» явился «Убийца», лучшая, может быть, из баллад Катенина. Впечатление, им произведенное, было и того хуже: убийца, в припадке сумасшествия, бранил месяц, свидетеля его злодеяния, *плешивым!* Читатели, воспитанные на Флориане и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики.

Таковы были первые неудачи Катенина; они имели влияние и на следующие его произведения. На театре имел он решительные успехи. От времени до времени в журналах и альманахах появлялись его стихотворения, коим

наконец начали отдавать справедливость, и то скупо и неохотно. Между ими отличаются «Мстислав Мстиславич», стихотворение, исполненное огня и движения, и «Старая быль», где столько простодушия и истинной поэзии.

В книге, ныне изданной, просвещенные читатели заметят *идиллию,* где с такою прелестною верностию постигнута буколическая природа, не геснеровская, чопорная и манерная, но древняя, простая, широкая, свободная; меланхолическую *элегию,* мастерской перевод трех песен из Inferno и собрание романсов о Сиде, сию простонародную хронику, столь любопытную и поэтическую. Знатоки отдадут справедливость ученой отделке и звучности гекзаметра и вообще механизму стиха г-на Катенина, слишком пренебрегаемому лучшими нашими стихотворцами.

14 марта 1833.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ

Шоссе

Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы.

Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге. Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Мои приятели смеялись над моей изнеженностию, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство и, по зимнему пути возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал.

Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились. Например: дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть? Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам. Возьмите первого мужика, хотя крошечку смышленого, и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно.

Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: правительство открывает дорогу, частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться.

Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно.

Собравшись в дорогу, вместо пирогов и холодной телятины, я хотел запастися книгою, понадеясь довольно легкомысленно на трактиры и боясь разговоров с почтовыми товарищами. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клоба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, пе-

речитываете места, вами пропущенные без внимания etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об книгах ученых, но и об книгах, писанных с целию просто литературною. Многие читатели согласятся со мною, что «Клариса» очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство.

Вот на что хороши путешествия.

Итак, собравшись в дорогу, зашел я к старому моему приятелю **, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении. Приятель мой хотел было мне дать нравственно-сатирический роман, утверждая, что скучнее ничего быть не может, а что книга очень любопытна в отношении участи ее в публике; но я его благодарил, зная уже по опыту непреодолимость нравственно-сатирических романов. «Постой,— сказал мне **,— есть у меня для тебя книжка». С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михайла Хераскова книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. «Прошу беречь ее,— сказал он таинственным голосом.— Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность». Я раскрыл ее и прочел заглавие. «Путешествие из Петербурга в Москву». С. П. Б. 1790 году.

С эпиграфом:

> Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.
>
> *Тилемахида.* Кн. XVIII, ст. 514.

Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика.

Я искренно благодарил ** и взял с собою «Путешествие». Содержание его всем известно. Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка. В Черной Грязи, пока переменяли лошадей,

я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы в Петербург.

Москва

Москва! Москва!..— восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной. Вот уж Всесвятское... Он прощается с утомленным читателем; он просит своего сопутника подождать его у околицы; на возвратном пути он примется опять за свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания... Теперь ему некогда: он скачет успокоиться в семье родных, позабыться в вихре московских забав. До свидания, читатель! Ямщик, погоняй! Москва! Москва!..

Многое переменилось со времен Радищева: ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня; голова моя заранее кружится...

Fuit Troja, fuimus Trojani. Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало. Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками; московские обеды (так оригинально описанные князем Долгоруким) вошли в пословицу. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными

мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы. Третий на запятки четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники — всё исчезло: остались одни невесты, к которым нельзя, по крайней мере, применить грубую пословицу «vieilles comme les rues»: московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц, всё еще *цветущих розами!* Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона — и то слава богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейстеров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет. Во флигеле живет немец управитель и хлопочет о проволочном заводе. Обеды даются уже не хлебосолами старинного покроя, в день хозяйских именин или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, удалившегося от двора, но обществом игроков, задумавших обобрать наверное юношу, вышедшего из-под опеки, или саратовского откупщика. Московские балы... Увы! Посмотрите на эти домашние прически, на эти белые башмачки, искусно забеленные мелом... Кавалеры набраны кое-где — и что за кавалеры! «Горе от ума» есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который *всякому, ты знаешь, рад* —

и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая

Балы́ дает нельзя богаче
От Рожества и до поста,
А летом праздники на даче.

Хлестова — в могиле; Репетилов — в деревне. Бедная Москва!..

Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальном берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая наша аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II-го снова утвердила за Петербургом его недавние права.

Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее *частию* от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, *частию* от других причин, о которых успеем еще потолковать.

Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова.

Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский.

Московская критика с честию отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с луч-

шими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; о музыке, как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, по большею частию неосновательно и поверхностно.

Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!

Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости.

Ломоносов

В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе *росского Пиндара*. Достойно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властию, на которую напал с такой безумной дерзостию. Он более тридцати страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, ритору и грамматику, чтоб в конце своего слова поместить следующие мятежные строки:

Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский недостоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова, для того, что *не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопее, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей.*

Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем университете профессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чиновник, и не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславенская, полулатинская, сделалась было необходимостию: к счастию, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокоторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об *этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает!..* Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении! Смотрите письма его к Шувалову, к Воронцову и пр.

Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове, как следующий рапорт, поданный им Шувалову, о своих упражнениях с 1751 года по 1757:

По ордеру вашего сиятельства велено всем академическим профессорам и адъюнктам, чтобы рапортовали вашему сиятельству о своих трудах и упражнениях в науках с 1751 года поныне. В силу оного рапортую, что с того времени до нынешнего числа по моей профессии и в других науках я учинил погодно.

В 1751 году.

В *химии.* 1) Произведены многие опыты химические, по большей части огнем, для исследования натуры цветов, что значит того ж году журнал лаборатории на 12 листах и другие записки. 2) Говорил сочиненную свою речь о пользе химии на российском

языке. 3) Вымыслил некоторые новые инструменты для физической химии.

В *физике.* 1) Делал опыты в большие морозы для изыскания: какою пропорциею воздух сжимается и расширяется по всем градусам термометра. 2) Летом деланы опыты зажигательным стеклом и термометром, коль высоко втекает ртуть в разных расстояниях от зажигательной точки. 3) Сделаны опыты, как разделять олово от свинца одним плавлением, без всяких посторонних материй простою механикою, что изрядный успех имеет и весьма дешево становится.

В *истории.* Читал книги для собрания материй к сочинению российской истории: Нестора, законы Ярославли, Большой летописец, Татищева первый том, Кромера, Вейселя, Гелмолда, Арнолда и другие, из которых брал нужные эксцерпты или выписки и примечания, всех числом 653 статьи, на 15 листах.

В *словесных науках.* 1) Сочинил трагедию, «Демофонт» называемую. 2) Сочинял стихи на иллюминации. 3) Собранные прежде сего материи к сочинению грамматики зачал приводить в порядок. Давал приватные лекции студентам в российском стихотворстве; а особливо Поповскому, который ныне профессором. 4) Диктовал студентам сочиненное мною начало третьей книги красноречия — о стихотворстве вообще.

В 1752 году.

В *химии.* 1) Деланы многие химические опыты для теории цветов, о чем явствует в журнале сего года на 25 листах. 2) Показывал студентам химические опыты тем курсом, как сам учился у Генкеля. 3) Для ясного понятия и краткого познания всей химии диктовал студентам и толковал сочиненные мною в физической химии пролегомены на латинском языке, которые содержатся на 13 листах в 150 параграфах, со многими фигурами на шести полулистах. 4) Изыскал способы и практикою доказал, как составлять мусию. 5) По канцелярскому указу обучал составлению разноцветных стекол присланного из канцелярии строений ученика Дружинина для здешних стеклянных заводов.

В *физике.* 1) Чинил электрические воздушные наблюдения с немалою опасностию. 2) Зимою повторял опыты о разном протяжении воздуха по градусам термометра.

В *истории.* Для собрания материалов к российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, Иорнанда, Прокопия, Павла дьякона, Зонара, Феофана Исповедника, Леона Грамматика и иных эксцерптов нужных на 5 листах в 161 статье.

В словесных науках. 1) Сочинил оду на восшествие на престол ее императорского величества. 2) Письмо о пользе стекла. 3) Изобретал иллюминации и сочинял к ним стихи: на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября. 4) Оратории второй части красноречия сочинил 10 листов.

В 1753 году.

В *химии.* 1) Продолжались опыты для исследования натуры цветов, что показывает журнал того же году на 56 листах. 2) По окончании лекций делал новые химико-физические опыты, дабы

привести химию сколько можно к философскому познанию и сделать частью основательной физики: из оных многочисленных опытов, где мера, вес и их пропорция показаны, сочинены многие цифирные таблицы, на 24 полулистовых страницах, где каждая строка целый опыт содержит.

В *физике*. 1) С покойным профессором Рихманом делал химико-физические опыты в лаборатории для исследования градуса теплоты, который на себя вода принимает от погашенных в ней минералов, прежде раскаленных. 2) Чинил наблюдения электрической силы на воздухе с великою опасностию. 3) Говорил в публичном собрании речь о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих, с истолкованием многих других свойств натуры. 4) Делал опыты, коими оказалось, что цветы, а особливо красный, на морозе ярчее, нежели в теплоте.

В *истории*. 1) Записки из упомянутых прежде авторов приводил под статьи числами. 2) Читал Российские академические летописцы без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских.

В *словесных науках*. 1) Для российской грамматики привел глаголы в порядок. 2) Пять проектов со стихами на иллюминации и фейерверки: на 1 января, на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября и на 18 декабря.

В 1754 году.

В *химии*. 1) Сделаны разные опыты химические, которые содержатся в журнале сего года на 46 листах. 2) Повторением поверены физико-химические таблицы, прошлого года сочиненные.

В *физике*. 1) Изобретены некоторые способы к сысканию долготы и ширины на море при мрачном небе. В практике исследовать сего без адмиралтейства невозможно. 2) Деланы опыты метеорологические над водою, из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза она замерзнуть может. Притом были разные химические растворы морожены для сравнения. 3) Деланы опыты при пильной мельнице в деревне, как текущая по наклонению вода течение свое ускоряет и какою силою бьет. 4) Делал опыт машины, которая бы, подымаясь кверху сама, могла поднять с собою маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, которая хотя слишком на два золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена.

В *истории*. Сочинен опыт истории славянского народа до Рурика: Дедикация, вступление; глава 1, о старобытных жителях в России; глава 2, о величестве и поколениях славянского народа; глава 3, о древности славянского народа, всего 8 листов.

В *словесных науках*. 1) Сочинил оду на рождение государя великого князя Павла Петровича. 2) Изобрел фейерверк, который был представлен на новый 1754 год, и стихи сделал. Также делал проекты на иллюминацию и фейерверки: к 25 апреля, к 5 сентября, к 25 ноября.

В 1755 году.

В *химии*. Деланы разные физико-химические опыты, что явствует в журнале того ж года на 14 листах.

В *физике*. 1) Сочинил диссертацию о должности журналистов, в которой опровергнуты все критики, учиненные в Германии

против моих диссертаций, в комментариях напечатанных, а особливо против новых теорий о теплоте и стуже, о химических растворах и упругости воздуха. Оная диссертация переведена господином Формеем на французский язык и в журнале, называемом: «Немецкая библиотека» (Bibliothèque germanique), на оном языке напечатана. 2) Сочинил письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном.

В *истории*. Сделан опыт описанием владения первых великих князей российских Рурика, Олега, Игоря.

В *словесных науках*. 1) Сочинил и говорил в публичном собрании слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому. 2) Сочинив большую часть грамматики, привел к концу, которая в нынешнем году печатью к концу приходит. 3) Сочинил письмо о сходстве и переменах языков.

В 1756 году.

В *химии*. 1) Между разными химическими опытами, которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере. 2) Учинены опыты химические со вспоможением воздушного насоса, где в сосудах химических, из которых был воздух вытянут, показывали на огне минералы такие феномены, какие химикам еще не известны. 3) Ныне лаборатор Клементьев под моим смотрением изыскивает по моему указанию, как бы сделать для фейерверков верховые зеленые звездки.

В *физике*. 1) Изобретен мною новый оптический инструмент, который я назвал никтоптическою трубою (tubus nycticus); оный должен служить к тому, чтобы ночью видеть можно было. Первый опыт показывает на сумерках ясно те вещи, которые простым глазам не видны, и весьма надеяться можно, что старанием искусных мастеров может простереться до такого совершенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы от малого начала. 2) Сделал четыре новоизобретенные мною пендула, из которых один медный, длиною в сажень, однако служит чрез механические стрелки против такого, который бы был вышиною с четвертью на версту. Употребляется к тому, чтобы узнать, всегда ли с земли центр, притягающий к себе тяжкие тела, стоит неподвижно или переменяет место. 3) Говорил в публичном собрании сочиненную мною речь о цветах.

В *истории*. Собранные мною в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей библиотеки, пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдения сходств в деяниях российских.

В *словесных науках*. 1) Сочиняю героическую поэму, именуемую: «Петр Великий». 2) Сделал проект со стихами для фейерверка к 18 декабря сего года.

Сверх сего в разные годы зачаты делать диссертации: 1) О лучшем и ученом мореплавании. 2) О твердом термометре. 3) О трясении земли. 4) О первоначальных частицах, тела со-

ставляющих. 5) О градусах теплоты и стужи, как их определить основательно со мнением о умеренности растворения воздуха на планетах. К совершению привесть отчасти препятствуют другие дела, отчасти протяжным печатанием комментариев охота отнимается.

Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть. Не многим известна стихотворная перепалка его с Дмитрием Сеченовым по случаю «Гимна бороде», не напечатанного ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости поэта, как и о нетерпимости проповедника. Со всем тем Ломоносов был добродушен. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана! В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредьяковский, Василий Кирилович — вот этот был почтенный и порядочный человек». Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. В «Тилемахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью (см. собрание сочинений А. Радищева). Дельвиг приводил часто следующий стих в пример прекрасного гекзаметра:

Корабль Одиссеев,
Бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся.

Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредьяковского,— *habent sua fata libelli.*

Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною хвалою; он без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем; он в какой-то придворной идиллии воспевает графа К. Разумовского под именем Полидора; он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии; он пишет: *Его сиятельство граф М. Л. Воронцов, по своей высокой ко мне милости, изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ее величеству.*— Ныне всё это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, *предстателю мус, высокому своему патрону,* который вздумал было над ним пошутить. «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже́ у господа моего бога дураком быть не хочу».*

В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» — «Нет,— возразил гордо Ломоносов,— разве Академию от меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идиллий!

Patronage (покровительство) до сей поры сохраняется в обычаях английской литературы. Почтенный Кребб, умерший в прошлом году, поднес все свои прекрасные поэмы to his Grace the Duke etc. В своих смиренных посвящениях он почтительно упоминает о милостях и высоком покровительстве, коих он удостоился etc. В России вы не встретите ничего подобного. У нас, как заметила

---

* См. его письмо к графу Шувалову.

M-me de Staël, словесностию занимались большею частию дворяне (En Russie quelques gentilshommes se sont occupés de littérature). Это дало особенную физиономию нашей литературе; у нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу, в надежде получить от него 500 рублей или перстень, украшенный драгоценными каменьями. Что же из этого следует? что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувствовал Ломоносов и Костров? Позвольте в том усумниться.

Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупщиков. Ныне последний из писак, готовый на всякую приватную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете.

К тому ж с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат; Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN все-таки презрительны — несмотря на то, что в своих книжках они проповедуют независимость и что они свои сочинения посвящают не доброму и умному вельможе, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им.

Браки

Радищев в главе «Черная Грязь» говорит о браках поневоле и горько порицает самовластие господ и потворство *градодержателей* (городничих?). Вообще несчастие жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание — или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный. Спрашивали однажды у старой крестьянки,

по страсти ли вышла она замуж? «По страсти,— отвечала старуха,— я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь».— Таковые страсти обыкновенны. Неволя браков давнее зло. Недавно правительство обратило внимание на лета вступающих в супружество: это уже шаг к улучшению. Осмелюсь заметить одно: возраст, назначенный законным сроком для вступления в брак, мог бы для женского пола быть уменьшен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем климате уже *на выдании,* а крестьянские семейства нуждаются в работницах.

Русская изба

В *Пешках* (на станции, ныне уничтоженной) Радищев съел кусок говядины и выпил чашку кофию. Он пользуется сим случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Всё это было тогдашним модным краснословием. Но замечательно описание русской избы:

Четыре стены, до половины покрытые так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастию, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода.

Наружный вид русской избы мало переменился со времен Мейерберга. Посмотрите на рисунки, присовокупленные к его «Путешествию». Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор — даже эта елка, это печальное тавро северной природы — ничто, кажется, не изменилось. Однако произошли улучшения по крайней мере на больших дорогах: труба в каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства, того, что англичане называют comfort. Очевидно, что Ра-

дищев начертал карикатуру; но он упоминает о бане и о квасе, как о необходимостях русского быта. Это уже признак довольства. Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: *и начала сажать хлебы в печь.*

Фонвизин, лет за пятнадцать пред тем путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю. Вспомним описание Лабриера; * слова госпожи Севинье еще сильнее тем, что она говорит без негодования и горечи, а просто рассказывает, что видит и к чему привыкла. Судьба французского крестьянина не улучшилась в царствование Людовика XV и его преемника...

Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что всё это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев).

* «L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible; ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet il sont des hommes, ils se retirent la nuit dans des tannières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines; ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé». *Les Caractères.*

Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет чем вздумает и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу... Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны.

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют un *badaud*; никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего *собственного жилища*. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет *свою* избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день... Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения... Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...

Слепой

Слепой старик поет *стих об Алексее, божием человеке*. Крестьяне плачут; Радищев *рыдает вслед за ямским собранием... О природа! колико ты властительна!* Крестьяне дают старику милостыню. Радищев *дрожащею рукою* дает ему рубль. Старик отказывается от него, потому что Радищев дворянин. Он рассказывает, что в молодости лишился он глаз на войне в наказание за свою жестокость. Между тем баба подносит ему пирог. Старик принимает его *с восторгом*. *Вот истинная благостыня,*

восклицает он. Радищев, наконец, дарит ему шейный платок и извещает нас, что старик умер несколько дней после и похоронен с этим платком на шее.— Имя Вертера, встречаемое в начале главы, поясняет загадку.

Вместо всего этого пустословия, лучше было бы, если Радищев, кстати о старом и всем известном «Стихе», поговорил нам о наших народных легендах, которые до сих пор еще не напечатаны и которые заключают в себе столь много истинной поэзии. Н. М. Языков и П. В. Киреевский собрали их несколько etc., etc.

Рекрутство

Городня.— Въезжая в сию деревню,— пишет Радищев,— не стихотворческим пением слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.

Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлися отправляемые на отдачу рекруты.

В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила: «Любезное мое дитятко, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травою, мохом наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Да всё то не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери — сырой земле? Кто придет воспомянуть меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той».

Подле старухи стояла девка, уже взрослая. Она тоже вопила: «Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют мне подруги мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя бы бесчеловечные наши старосты, хоть дали бы нам обвенчатися; хотя бы ты, мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помиловал и дал бы мне паренька на утешение».

Парень им говорил: «Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце. Зовет нас государь на службу. На меня пал жеребей. Воля божия. Кому не умирать, тот жив будет. Авось-либо я с полком к вам приду. Авось-либо дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку».— Рекрута сего отдавали из экономического селения.

Совсем другого рода слова внял слух мой в близ стоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет тридцати, посредствен-

ного роста, стоящего бодро и весело на окрест стоящих взирающего.

«Услышал господь молитву мою,— вещал он.— Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не буду!»

Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем он ответствовал: «Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река, и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой, избрал бы броситься в реку в надежде, что, преплыв на другой брег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шеею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертию, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян».

Самая необходимая и тягчайшая из повинностей народных есть рекрутский набор. Образ набора везде различествует и везде влечет за собою великие неудобства. Английский *пресс* подвергается ежегодно горьким выходкам оппозиции и со всем тем существует во всей своей силе. Прусское *Landwehr*, система сильная и искусно приноровленная к государству, еще не оправданная опытом, возбуждает уже ропот в терпеливых пруссаках. Наполеоновская конскрипция производилась при громких рыданиях и проклятиях всей Франции.

Чудовище, склонясь на колыбель детей,
Считало годы их кровавыми перстами,
Сыны в дому отцов минутными гостями
Являлись etc.

Рекрутство наше тяжело; лицемерить нечего. Довольно упомянуть о законах противу крестьян, изувечивающихся во избежание солдатства. Сколько труда стоило Петру Великому, чтобы приучить народ к рекрутству! Но может ли государство обойтиться без постоянного войска? Полумеры ни к чему доброму не ведут. Конскрип-

ция по кратковременности службы, в течение 15 лет, делает изо всего народа одних солдат. В случае народных мятежей мещане бьются, как солдаты; солдаты плачут и толкуют, как мещане. Обе стороны одна с другой тесно связаны. Русский солдат, на 24 года отторженный от среды своих сограждан, делается чужд всему, кроме своему долгу. Он возвращается на родину уже в старости. Самое его возвращение уже есть порука за его добрую нравственность; ибо отставка дается только за беспорочную службу. Он жаждет одного спокойствия. На родине находит он только несколько знакомых стариков. Новое поколение его не знает и с ним не братается.

Очередь, к которой придерживаются некоторые помещики-филантропы, не должна существовать, пока существуют наши дворянские права. Лучше употребить сии права в пользу наших крестьян и, удаляя от среды их вредных негодяев, людей, заслуживших тяжкое наказание и проч., делать из них полезных членов обществу. Безрассудно жертвовать полезным крестьянином, трудолюбивым, добрым отцом семейства, а щадить вора и пьяницу обнищалого — из уважения к какому-то правилу, самовольно нами признанному. И что значит эта жалкая пародия законности!

Радищев сильно нападает на продажу рекрут и другие злоупотребления. Продажа рекрут была в то время уже запрещена, но производилась еще под рукою. *Простодум* в комедии Княжнина говорит, что

Три тысячи скопил он дома лет в десяток
Не хлебом, не скотом, не выводом теляток,
Но кстати в рекруты торгуючи людьми.

Но запрещение сие имело свою невыгодную сторону: богатый крестьянин лишался возможности избавиться рекрутства, а судьба бедняков, коими торговал безжалостный помещик, вряд ли чрез то улучшилась.

Русское стихосложение

Тверь.— Стихотворство у нас, говорил товарищ мой трактирного обеда, в разных смыслах как оно приемлется, далеко еще отстоит величия. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень.

Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду велико-

го примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию, случилося, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи.

Хотя оба сии стихотворца преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов преложил Иова или псалмопевца дактилями, или если бы Сумароков «Семиру» или «Димитрия» написал хореями, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами, опричь ямбов, и более бы славы в осьмилетнем своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпопее стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Виргилия надет ломоносовским покроем; но желал бы я, чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, эксаметрах, и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением.

Но не одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый возовик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Телемахидою». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекеспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы, в «Телемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.

Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо к краесловию. Слышав долгое время единогласное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении. Чувства наши, как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, по произволению. Сверх же того в стихотворении так, как и во всех вещах, может господствовать мода, и если она хотя несколько имеет в себе естественного, то принята будет без прекословия. Но всё модное мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Вольтер, Шекеспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.

Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах, российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль или анапест, всяк знает, если немного кто разумеет правила стихосложения. Но то бы было не излишнее, если бы я мог дать примеры, в разных родах достаточные. Но силы мои и разумение коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское стихотворство, да и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, если бы перевод «Генриады» не был в ямбах, а ямбы некраесловные хуже прозы.

Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. Его изучения «Тилемахиды» замечательны. Он первый у нас писал древними лирическими размерами. Стихи его лучше его прозы. Прочитайте его «Осьмнадцатое столетие», «Сафические строфы», басню или, вернее, элегию «Журавли» — всё это имеет достоинство. В главе, из которой выписал я приведенный отрывок, помещена его известная ода. В ней много сильных стихов.

Обращаюсь к русскому стихосложению. Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. *Пламень* неминуемо тащит за собою *камень*. Из-за *чувства* выглядывает непременно *искусство*. Кому не надоели *любовь* и *кровь, трудный* и *чудный, верный* и *лицемерный,* и проч.

Много говорили о настоящем русском стихе. А. X. Востоков определил его с большою ученостию и сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным.

Медное (Рабство)

Медное.— «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой, люли, люли, люли, люли...» Хоровод молодых баб и девок — пляшут — подойдем поближе, говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля.— Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О мой друг! где бы ты ни был, внемли и суди.

Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется.— Публикуется: «Сего... дня пополуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городового магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №... и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».

Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле...

О цензуре

Расположась обедать в славном трактире Пожарского, я прочел статью под заглавием «Торжок». В ней дело идет о свободе книгопечатанья; любопытно видеть о сем предмете рассуждение человека, вполне разрешившего сам себе сию свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит изо всех пределов.

Один из французских публицистов остроумным софизмом захотел доказать безрассудность цензуры. Если, говорит он, способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительства не замедлили б установить цензуру и на язык: издали бы известные правила, и два человека, чтоб поговорить между собою о погоде, должны были бы получить предварительное на то позволение.

Конечно: если бы *слово* не было общей принадлежностию всего человеческого рода, а только миллионной части оного,— то правительства необходимо должны были бы ограничить законами права мощного сословия людей говорящих. Но *грамота* не есть естественная способность, дарованная богом всему человечеству, как язык или зрение. Человек *безграмотный* не есть урод и не находится вне вечных законов природы. И между грамотеями не все равно обладают *возможностью* и самою *способностию* писать книги или журнальные статьи. Печатный лист обходится около 35 рублей; бумага также чего-нибудь да стоит. Следственно, печать доступна не всякому. (Не говорю уже о таланте etc.). Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, что аристокрация самая мощная, самая опасная — есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристокрация породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.

Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: *в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом.*

«Мы в том и не спорим,— говорят противники цензуры.— Но книги, как и граждане, ответствуют за себя. Есть законы для тех и для других. К чему же предварительная цензура? Пускай книга сначала выйдет из типографии, и тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хватать и казнить, а сочинителя или издателя присудить к заключению и к положенному штрафу».

Но мысль уже стала гражданином, уже ответствует за себя, как скоро она родилась и выразилась. Разве *речь* и *рукопись* не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона. Действие человека мгновенно и одно (isolé); действие книги множественно и повсеместно. Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона; не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое.

Этикет

Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу.

Истина неоспоримая, коею Радищев заключает начертание о уничтожении придворных чинов, исполненное мыслей, большею частию ложных, хотя и пошлых.

Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость. Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет. Мы всякий день подписываемся *покорнейшими слугами,* и, кажется, никто из этого еще не заключал, чтобы мы просились в камердинеры.

Придворные обычаи, соблюдаемые некогда при дворе наших царей, уничтожены у нас Петром Великим при всеобщем перевороте. Екатерина II занялась и сим уложе-

нием и установила новый этикет. Он имел перед этикетом, наблюдаемым в других державах, то преимущество, что был основан на правилах здравого смысла и вежливости общепонятной, а не на забытых преданиях и обыкновениях, давно изменившихся. Покойный государь любил простоту и непринужденность. Он ослабил снова этикет, который, во всяком случае, не худо возобновить. Конечно, государи не имеют нужды в обрядах, часто для них утомительных; но этикет есть также закон; к тому же он при дворе необходим, ибо всякому, имеющему честь приближаться к царским особам, необходимо знать свою обязанность и границы службы. Где нет этикета, там придворные в поминутном опасении сделать что-нибудь неприличное. Нехорошо прослыть невежею; неприятно казаться и подслужливым выскочкою.

Шлюзы

В Вышнем Волочке Радищев любуется шлюзами, благословляет память того, кто, уподобясь природе в ее благодеяниях, сделал реку *рукодельною* и все концы единой области привел в сообщение. С наслаждением смотрит он на канал, наполненный нагруженными барками; он видит тут истинное земли изобилие, избытки земледелателя и во всем его блеске мощного пробудителя человеческих деяний, *корыстолюбие*. Но вскоре мысли его принимают обыкновенное свое направление. Мрачными красками рисует состояние русского земледельца и рассказывает следующее:

Некто, не нашед в службе, как то по просторечию называют, счастия или не желая оного в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял к сохе, но вознамерился наидейственнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая оные к обработыванию земли. Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своих орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудою, устремляющимся на бою грудою, а в единственности ничего не значащим. Для достижения своея цели он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду,

то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян пировали вместе на господском дворе, употребляя для соблюдения желудка в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на святой неделе.

Таковым урядникам производилася также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда бирал себе, платя за них цену по своей воле.

При таковом заведении не удивительно, что земледелие в деревне г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам-четверт; когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам-десят и более. В недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и, поступая с сими равно как и с первыми, год от году умножал свое имение, усугубляя число стенящих на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец.

Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад. Молодой мой образ мыслей и пылкость тогдашних чувствований отвратили меня от него и помешали мне изучить один из самых замечательных характеров, которые удалось мне встретить. Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целию, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Сделавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными слабым и беспечным своим предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в три года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности, он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему от господина,— словом, статья Радищева кажется картиною хозяйства моего помещика. Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их

обогатить, возвратить им собственность, даровать им права! Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара.

О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ

Если русская словесность представляет мало произведений, достойных наблюдения критики литературной, то она сама по себе (как и всякое другое явление в истории человечества) должна обратить на себя внимание добросовестных исследователей истины.

Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...*

Духовенство, пощаженное удивительной сметливостию татар, одно — в течение двух мрачных столетий — питало бледные искры византийской образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Но внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась. Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Свержение ига, споры великокняжества с уделами, единовластия с вольностями городов, самодержавия с боярством и завоевания с народной самобытностью не благоприятствовали свободному развитию просвещения. Европа наводнена была неимоверным мно-

* А не Польшею, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна.

жеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч., но старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют почти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности.

Но и в эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с Европою. Отселе сношения Ивана Васильевича с Англией, переписка Годунова с Данией, условия, поднесенные польскому королевичу аристократией XVII столетия, посольства Алексея Михайловича... Наконец, явился Петр.

Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.

Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, не взлюбил Татищева за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике *вечного труженика* Тредьяковского. Семена были посеяны. Сын молдавского господаря воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища: новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться.

В начале 18-го столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние. Прежде всего надлежит нам ее исследовать.

Рассмотря бесчисленное множество мелких стихотворений, баллад, рондо, вирле, сонетов и поэм аллегорических, сатирических, рыцарских романов, сказок, фаблио, мистерий etc., коими наводнена была Франция в начале 17-го столетия, нельзя не сознаться в бесплодной ничтожности сего мнимого изобилия. Трудность, искусно побежденная, счастливо подобранное повторение, легкость

оборота, простодушная шутка, искреннее изречение — редко вознаграждают усталого изыскателя.

Романтическая поэзия пышно и величественно расцветала по всей Европе, Германия давно имела свои Нибелунги, Италия — свою тройственную поэму, Португалия — Лузиаду, Испания — Лопе де Вега, Кальдерона и Сервантеса, Англия — Шекспира, а у французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитался первым народным поэтом! Наследник его Марот, живший в одно время с Ариостом и Камоенсом,

Rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела решительный перевес. Скептик Монтань и циник Рабле были современники Тассу.

Люди, одаренные талантом, будучи поражены ничтожностию и, должно сказать, *подлостью* французского стихотворства, вздумали, что скудность языка была тому виною, и стали стараться пересоздать его по образцу древнего греческого. Образовалась новая школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших славяно-руссов, между коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара, Жоделя и Дюбелле остались тщетными. Язык отказался от направления ему чуждого и пошел опять своей дорогою.

Наконец, пришел Малгерб, с такой яркой точностию, с такою строгой справедливостию оцененный великим критиком.

Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir
Et réduisit la Muse aux règles du devoir.
Par ce sage écrivain la langue réparée
N'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée.
Les stances avec grâce apprirent à tomber
Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber.

Но Малгерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, истощившие силы свои в борении с механизмом и усовершенствовании стиха... Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!

Каким чудом посреди сего жалкого ничтожества, недостатка истинной критики и шаткости мнений, посреди общего падения вкуса вдруг явилась толпа истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века? Политическая ли щедрость кардинала Ришелье, тщеславное ли покровительство Людовика XIV были причиною такого феномена? или каждому народу судьбою предназначена эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, блестит и исчезает?.. Как бы то ни было, вслед за толпою бездарных, посредственных или несчастных стихотворцев, заключающих период старинной французской поэзии, тотчас выступают Корнель, Буало, Расин, Мольер и Лафонтен, Паскаль, Боссюэт и Фенелон. И владычество их над умственной жизнью просвещенного мира гораздо легче объясняется, нежели их неожиданное пришествие.

У других европейских народов поэзия существовала прежде появления бессмертных гениев, одаривших человечество своими великими созданиями. Сии гении шли по дороге уже проложенной. Но у французов возвышенные умы 17-го столетия застали народную поэзию в пеленках, презрели ее бессилие и обратились к образцам классической древности. Буало, поэт, одаренный мощным талантом и резким умом, обнародовал свое уложение, и словесность ему покорилась. Старый Корнель один остался представителем романтической трагедии, которую так славно вывел он на французскую сцену.

Несмотря на ее видимую ничтожность, Ришелье чувствовал важность литературы. Великий человек, унизивший во Франции феодализм, захотел также связать и литературу. Писатели (во Франции класс бедный, дерзкий и насмешливый) были призваны ко двору и задарены пенсиями, как и дворяне. Людовик XIV следовал системе кардинала. Вскоре словесность сосредоточилась около его трона. Все писатели получили свою должность. Корнель, Расин тешили короля заказными трагедиями, историограф Буало воспевал его победы и назначал ему писателей, достойных его внимания, камердинер Мольер при дворе смеялся над придворными. Академия первым правилом своего устава положила: хвалу великого короля. Были исключения: бедный дворянин (несмотря на господствующую набожность) печатал в Голландии свои веселые сказки о монахинях, а сладкоречивый епископ

в книге, исполненной смелой философии, помещал язвительную сатиру на прославленное царствование... Зато Лафонтен умер без пенсии, а Фенелон в своей епархии, отдаленный от двора за мистическую ересь.

Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая, немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворов Европы, ибо высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, составляет во всей Европе одно семейство.

Между тем великий век миновался. Людовик XIV умер, пережив свою славу и поколение своих современников. Новые мысли, новое направление отзывались в умах, алкавших новизны. Дух исследования и порицания начинал проявляться во Франции. Умы, пренебрегая цветы словесности и благородные игры воображения, готовились к роковому предназначению XVIII века...

Ничто не могло быть противуположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная. Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами, как важной отраслию умственной деятельности человека. Он написал эпопею, с намерением очернить кафолицизм. Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он свои лица кстати и некстати выражать правила своей философии. Он наводнил Париж прелестными безделками, в которых философия говорила общепонятным и шутливым языком, одною рифмою и метром отличавшимся от прозы, и эта легкость казалась верхом поэзии; наконец и он, однажды в своей жизни, становится поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов обругана...

Влияние Вольтера было неимоверно. Следы великого века (как называли французы век Людовика XIV) исчезают. Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия; роман делается скучною проповедью или галереей соблазнительных картин.

Все возвышенные умы следуют за Вольтером. Задумчивый Руссо провозглашает себя его учеником; пылкий Дидрот есть самый ревностный из его апостолов. Англия в лице Юма, Гиббона и Вальполя приветствует Энциклопедию. Европа едет в Ферней на поклонение. Екатерина вступает с ним в дружескую переписку. Фридрих с ним ссорится и мирится. Общество ему покорно. Наконец Вольтер умирает в Париже, благословляя внука Франклина и приветствуя Новый Свет словами, дотоле неслыханными!..

Смерть Вольтера не останавливает потока. Министры Людовика XVI нисходят в арену с писателями. Бомарше влечет на сцену, раздевает донага и терзает всё, что еще почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет.

Старое общество созрело для великого разрушения. Всё еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...

Европа, оглушенная, очарованная славою французских писателей, преклоняет к ним подобострастное внимание. Германские профессоры с высоты кафедры провозглашают правила французской критики. Англия следует за Франциею на поприще философии, Ричардсон, Фильдинг и Стерн поддерживают славу прозаического романа. Поэзия в отечестве Шекспира и Мильтона становится суха и ничтожна, как и во Франции; Италия отрекается от гения Dante, Метастазио подражает Расину.

Обратимся к России.

. . . .

ДЕЛЬВИГ

Дельвиг родился в Москве (1798 году, 6 августа). Отец его, умерший генерал-майором в 1828 году, был женат на девице Рахмановой.

Дельвиг первоначальное образование получил в частном пансионе; в конце 1811 года вступил он в Царскосельский лицей. Способности его развивались медленно. Память у него была тупа, понятия ленивы. На 14-м году он не знал никакого иностранного языка и не оказывал

склонности ни к какой науке. В нем заметна была только живость воображения. Однажды вздумалось ему рассказать нескольким из своих товарищей поход 1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошел до нашего директора А. Ф. Малиновского, который захотел услышать от самого Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг постыдился признаться во лжи столь же невинной, как и замысловатой, и решился ее поддержать, что и сделал с удивительным успехом, так что никто из нас не сомневался в истине его рассказов, покамест он сам не признался в своем вымысле. Будучи еще пяти лет отроду, вздумал он рассказывать о каком-то чудесном видении и смутил им всю свою семью. В детях, одаренных игривостию ума, склонность ко лжи не мешает искренности и прямодушию. Дельвиг, расказывающий о таинственных своих видениях и о мнимых опасностях, которым будто бы подвергался в обозе отца своего, никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания.

Любовь к поэзии пробудилась в нем рано. Он знал почти наизусть Собрание русских стихотворений, изданное Жуковским. С Державиным он не расставался. Клопштока, Шиллера и Гельти прочел он с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием; Горация изучил в классе, под руководством профессора Кошанского. Дельвиг никогда не вмешивался в игры, требовавшие проворства и силы; он предпочитал прогулки по аллеям Царского Села и разговоры с товарищами, коих умственные склонности сходствовали с его собственными. Первыми его опытами в стихотворстве были подражания Горацию. Оды «К Диону», «К Лилете», «Дориде» писаны им на пятнадцатом году и напечатаны в собрании его сочинений безо всякой перемены. В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял. В то время (1814 году) покойный Влад. Измайлов был издателем «Вестника Европы». Дельвиг послал ему свои первые опыты; они были напечатаны без име-

ни его и привлекли внимание одного знатока, который, видя произведения нового, неизвестного пера, уже носящие на себе печать опыта и зрелости, ломал себе голову, стараясь угадать тайну анонима. Впрочем, никто не обратил тогда внимания на ранние опресноки столь прекрасного таланта! Никто не приветствовал вдохновенного юношу, между тем как стихи одного из его товарищей, стихи посредственные, заметные только по некоторой легкости и чистоте мелочной отделки, в то же время были расхвалены и прославлены, как некоторое чудо! Но такова участь Дельвига: он не был оценен при раннем появлении на кратком своем поприще; он еще не оценен и теперь, когда покоится в своей безвременной могиле!

БАЙРОН

Род Байронов, один из самых старинных в английской аристократии, младшей между европейскими, произошел от нормандца Ральфа де Бюрон (или Бирона), одного из сподвижников Вильгельма Завоевателя. Имя Байронов с честию упоминается в английских летописях. Лордство дано их фамилии в 1643 году. Говорят, что Байрон своею родословною дорожил более, чем своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта: напротив того, слава, им самим приобретенная, нанесла ему и мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного барона, предавая имя его на произвол молве.

Капитан Байрон, сын знаменитого адмирала и отец великого поэта, навлек на себя соблазнительную славу. Он увез супругу лорда Carmarthen и женился на ней тотчас после ее развода. Вскоре потом она умерла в 1784 году, оставя ему одну дочь. На другой год расчетливый вдовец для поправления своего расстроенного состояния женился на мисс Gordon, единственной дочери и наследнице Георгия Гордона, владельца гайфского. Брак сей был несчастлив; 23 500 f. st. (587 500 руб.) были расточены в два года; и mistriss Байрон осталась при 150 f. st. годового дохода. В 1786 году муж и жена отправились во Францию и возвратились в Лондон в конце 1787.

В следующем году 22 января леди Байрон родила единственного своего сына Георгия Гордона Байрона. (Вследствие распоряжений фамильных наследница гайфская должна была сыну своему передать имя Гордона.) При его рождении повредили ему ноги, и лорд Байрон полагал тому причиною стыдливость или упрямство своей матери. Новорожденного крестили герцог Гордон и полковник Доф.

В 1790 леди Байрон удалилась в Абердин, и муж ее за нею последовал. Несколько времени жили они вместе. Но характеры были слишком несовместны — вскоре потом они разошлись. Муж уехал во Францию, выманив прежде у бедной жены своей деньги, нужные ему на дорогу. Он умер в Валенсьене в следующем 1791 году.

Во время краткого пребывания своего в Абердине он однажды взял к себе маленького сына, который у него и ночевал; но на другой же день он отослал неугомонного ребенка к его матери и с тех пор уже его не приглашал.

Мистрис Байрон была проста, вспыльчива и во многих отношениях безрассудна. Но твердость, с которой умела она перенести бедность, делает честь ее правилам. Она держала одну только служанку, и когда в 1798 году повезла она молодого Байрона вступить во владение Ньюстида, долги ее не превышали 60 f. st.

Достойно замечания и то, что Байрон никогда не упоминал о домашних обстоятельствах своего детства, находя их унизительными.

Маленький Байрон выучился читать и писать в Абердинской школе. В классах он был из последних учеников — и более отличался в играх. По свидетельству его товарищей, он был резвый, вспыльчивый и злопамятный мальчик, всегда готовый подраться и отплатить старую обиду.

Некто Патерсон, строгий пресвитерианец, но тихий и ученый мыслитель, был потом его наставником, и Байрон сохранил о нем благодарное воспоминание.

В 1796 году леди Байрон повезла его *в горы* для поправления его здоровья после скарлатины. Они поселились близ Баллатера.

Суровые красоты шотландской природы глубоко впечатлелись в воображение отрока.

Около того же времени осьмилетний Байрон влюбился

в Марию Доф. 17 лет после того. в одном из своих журналов, он описал свою раннюю любовь:

«J'ai beaucoup pensé dernièrement à Marie Duff. Comme il est étrange que j'aie été si complètement dévoué, et si profondément attaché à cette jeune fille, à un âge où je ne pouvais ni sentir la passion, ni même comprendre la signification de ce mot. Et pourtant c'était bien la chose! Ma mère avait coutume de me railler sur cet amour enfantin; et plusieurs années après, je pouvais avoir seize ans, elle me dit un jour: «Oh! Byron, j'ai reçu une lettre d'Edimbourg, de miss Abercromby; votre ancienne passion, Marie Duff, a épousé un M. C.». Et quelle fut ma réponse? Je ne puis réellement expliquer ni concevoir mes sensations à ce moment. Mais je tombai presque en convulsions; ma mère fut si fort alarmée qu'après que je fus remis, elle évitait toujours ce sujet avec *moi,* et se contentait d'en parler à toutes ses connaissances. A présent je me demande ce que pouvait-ce être? je ne l'avais pas revue depuis que, par suite d'un faux pas de sa mère à Aberdeen, elle était allée demeurer chez sa grand-mère à Banff; nous étions tous deux des enfants. J'avais et j'ai aimé cinquante fois depuis cette époque; et cependant je me rappelle tout ce que nous nous disions, nos caresses, ses traits, mon agitation, l'absence de sommeil et la façon dont je tourmentai la femme de chambre de ma mère pour obtenir qu'elle écrivît à Marie en mon nom; ce qu'elle fit à la fin pour me tranquilliser. La pauvre fille me croyait fou, et comme je ne savais pas encore bien écrire, elle devint mon secrétaire. Je me rappelle aussi nos promenades, et le bonheur d'être assis près de Marie, dans la chambre des enfants, dans la maison où elle logeait près de Plainstones à Aberdeen, tandis que sa plus petite sœur jouait à la poupée et que nous nous faisions gravement la cour, à notre manière.

Comment diable tout cela a-t-il pu arriver si tôt? quelle en était l'origine et la cause? Je n'avais certainement aucune idée des sexes, même plusieurs années après; et cependant mes chagrins, mon amour pour cette petite fille étaient si violents que je doute quelquefois que j'aie jamais véritablement aimé depuis. Quoi qu'il en soit, la nouvelle de son mariage me frappa comme un coup de foudre; je fus près d'en étouffer, à la grarde terreur de ma mère et à l'incrédulité de presque tout le monde. Et c'est un phénomène dans mon existence (car je n'avais pas huit ans) qui m'a donné à penser, et dont la solution me tourmentera jusqu'à ma dernière heure. Depuis peu, je ne sais pourquoi, le *souvenir (non* l'attachement) m'est revenu avec autant de force que jamais. Je m'étonne si *elle* en a gardé mémoire, ainsi que de moi? et si elle se souvient d'avoir plaint sa petite sœur Hélène de ce qu'elle n'avait pas aussi un adorateur? Que son image m'est réstée charmante dans la tête! ses cheveux chatains, ses yeux d'un brun clair et doux; jusqu'a son costume! Je serais tout-à-fait malheureux de *la voir à présent.* La réalité, quelque belle qu'elle fût, détruirait ou du moins troublerait ses traits de la ravissante Péri qui existait alors en elle, et qui survit encore en moi, après plus de seize ans; j'en maintenant vingt-cinq et quelques mois...».

В 1798 году умер в Ньюстиде старый лорд Вильгельм Байрон. Четыре года пред сим родной внук его скон-

чался в Корсике, и маленький Георгий Байрон остался единственным наследником имений и титула своего рода. Как несовершеннолетний, он отдан был в опеку лорду Карлилю — дальному его родственнику, и восхищенная mrs. Байрон осенью того же года оставила Абердин и отправилась в древний Ньюстид с одиннадцатилетним сыном и верной служанкой Мери Гре.

Лорд Вильгельм, брат адмирала Байрона, родного деда его, был человек странный и несчастный. Некогда на поединке заколол он своего родственника и соседа г. Чаворта. Они дрались без свидетелей, в трактире при свечке. Дело это произвело много шуму, и Палата пэров признала убийцу виновным. Он был, однако ж, освобожден от наказания и с тех пор жил в Ньюстиде, где его причуды, скупость и мрачный характер делали его предметом сплетен и клеветы. Носились самые нелепые слухи о причине развода его с женою. Уверяли, что он однажды покусился ее утопить в ньюстидском пруду.

Он старался разорить свои владения из ненависти к своим наследникам. Единственные собеседники его были старый слуга и ключница, занимавшая при нем и другое место. Сверх того дом был полон сверчками, которых лорд Вильгельм кормил и воспитывал. Несмотря на свою скупость, старый лорд имел часто нужду в деньгах и доставал их способами, иногда весьма предосудительными для его наследников. Но такой человек не мог об них и заботиться. Таким образом продал он Рочдаль, владение родовое, безо всякого на то права (что знали и покупщики; но они надеялись выручить себе выгоды, прежде нежели наследники успеют уничтожить незаконную куплю).

Лорд Вильгельм никогда не входил в сношение с молодым своим наследником, которого звал не иначе как *мальчик, что живет в Абердине*.

Первые годы, проведенные лордом Байроном в состоянии бедном, не соответствовавшем его рождению, под надзором пылкой матери, столь же безрассудной в своих ласках, как и в порывах гнева, имели сильное продолжительное влияние на всю его жизнь. Уязвленное самолюбие, поминутно потрясенная чувствительность оставили в сердце его эту горечь, эту раздражительность, которые потом сделались главными признаками его характера.

Странности лорда Байрона были частию врожденные,

частью им заимствованы. Мур справедливо замечает, что в характере Байрона ярко отразились и достоинства и пороки многих из его предков: с одной стороны, смелая предприимчивость, великодушие, благородство чувств, с другой — необузданные страсти, причуды и дерзкое презрение к общему мнению. Сомнения нет, что память, оставленная за собою лордом Вильгельмом, сильно подействовала на воображение его наследника — многое перенял он у своего странного деда в его обычаях, и нельзя не согласиться в том, что Манфред и Лара напоминают уединенного ньюстидского барона.

Обстоятельство, по-видимому, маловажное имело столь же сильное влияние на его душу. В самую минуту его рождения нога его была повреждена — и Байрон остался хром на всю свою жизнь. Физический сей недостаток оскорблял его самолюбие. Ничто не могло сравниться с его бешенством, когда однажды мистрис Байрон выбранила его *хромым мальчишкою*. Он, будучи собою красавец, воображал себя уродом и дичился общества людей, мало ему знакомых, опасаясь их насмешливого взгляда. Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличиться во всех упражнениях, требующих силы физической и проворства.

«ТРИ ПОВЕСТИ» Н. ПАВЛОВА

Три повести г. Павлова очень замечательны и имели успех вполне заслуженный. Они рассказаны с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты.

Повесть «Именины», несмотря на свою занимательность, представляет некоторые несообразности. *Идеализированное лакейство* имеет в себе что-то неестественное, неприятное для здравого вкуса. Может быть, то же самое происшествие представляло в разительной простоте своей сильнейшие краски и положения более драматические, но требовало и кисти более смелой и более глубины в знании человеческого сердца. «Аукцион» есть очень милая шутка, легкая картинка, в которой оригинально вмещены три или четыре лица.— *А я на аукцион — а я с аукциона* — черта истинно комическая.

Об «Атагане» скажем то же, что и об «Именинах». Занимательность этой повести не извиняет несообразно-

сти. Развязка несбыточна или по крайней мере есть анахронизм. Зато все лица живы и действуют и говорят каждый, как ему свойственно говорить и действовать. В слоге г. Павлова, чистом и свободном, *изредка* отзывается *манерность;* в описаниях — близорукая мелочность нынешних французских романистов. Г-на Павлова так расхвалили в «Московском наблюдателе», что мы в сих строках хотели ограничить наши замечания одними порицаниями, но в заключение должны сказать, что г. Павлов первый у нас написал истинно занимательные рассказы. Книга его принадлежит к числу тех, от которых, по выражению одной дамы, забываешь идти обедать.

Талант г-на Павлова выше его произведений. В доказательство привожу одно место, где чувство истины увлекло автора даже противу его воли.— В «Именинах», несмотря на то, что выслуживший офицер видимо герой и любимец его воображения, автор дал ему черты, обнаруживающие холопа:

«Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть — это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачом?»

ЗАПИСКИ ЧУХИНА, СОЧИНЕНИЕ ФАДДЕЯ БУЛГАРИНА

Г-н Булгарин в предисловии к одному из своих романов уведомляет публику, что есть люди, не признающие в нем никакого таланта. Это, по-видимому, очень его удивляет. Он даже выразил свое удивление и знаком препинания (!).

С нашей стороны, мы знаем людей, которые признают талант в г. Булгарине, но и тут не удивляемся.

Новый роман г-на Булгарина нимало не уступает его прежним.

КОМЕДИЯ ЗАГОСКИНА «НЕДОВОЛЬНЫЕ»

Московские журналы произнесли строгий приговор над новой комедией г-на Загоскина. Они находят ее пошлой и скучной. «Недовольные» в самом деле скучная, тяже-

лая пиеса, писанная довольно легкими стихами. Лица, выведенные на сцену, не смешны и не естественны. Нет ни одного комического положения, а разговор пошлый и натянутый не заставляет забывать отсутствие действия.

Г-н Загоскин заслужил благосклонность публики своими романами. В них есть и живость воображения, и занимательность, и даже веселость, это бесценное качество, едва ли не самый редкий из даров. Мы наскоро здесь упомянули о неудаче автора «Рославлева», дабы уж более не возвращаться к предмету, для нас неприятному.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕОРГИЯ КОНИСКОГО, АРХИЕПИСКОПА БЕЛОРУССКОГО,

изд. протоиереем Иоанном Григоровичем. СПб., 1835.

Георгий Кониский известен у нас краткой речью, которую произнес он в Мстиславле императрице Екатерине во время ее путешествия в 1787 году: «Оставим астрономам...» и проч. Речь сия, прославленная во всех наших реториках, не что иное, как остроумное приветствие, и заключает в себе игру выражений, может быть, слишком затейливую: по нашему мнению, приветствие, коим высокопреосвященный Филарет встретил государя императора, приехавшего в Москву в конце 1830 года, в своей умилительной простоте заключает гораздо более истинного красноречия. Впрочем, различие обстоятельств изъясняет и различие чувств, выражаемых обоими ораторами. Императрица путешествовала, окруженная всею пышностию двора своего, встречаемая всюду торжествами и празднествами; государь посетил Москву, опустошаемую заразой, пораженную скорбью и ужасом.

Но Георгий есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадлежит истории. Он вступил в управление своею епархией, когда Белоруссия находилась еще под игом Польши. Православие было гонимо католическим фанатизмом. Церкви наши стояли пусты или отданы были униатам. Миссионеры насильно гнали народ в униатские костёлы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отымали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам

нашей церкви, ругались над могилами православных. Георгий искал защиты у русского правительства; он доносил об всем св. синоду и жаловался нашему посланнику, находившемуся в Варшаве. Ревность его пуще озлобила гонителей. Доминиканец Овлачинский, прославившийся ненавистию к нашей церкви, замыслил принести Георгия в жертву своему изуверству. В 1759 году Георгий, презирая опасности, ему угрожающие, поехал обозревать сетующую свою епархию. Овлачинский и миссионеры возмутили в Орше шляхту и жолнеров. Они разогнали народ, вышедший с хоругвями навстречу своему архипастырю, остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где Георгий священнодействовал. Преосвященный едва успел спастись от их сабель в стенах Кутеенского монастыря, откуда тайно вывезли его в телеге, прикрыв навозом. Другой изувер, свирепый Зенович, предводительствуя езуитскими воспитанниками, ночью в Могилеве напал на архиерейский дом. Буйные молодые люди вломились в ворота, перебили окна, ранили несколько монахов, семинаристов и слуг; но, к счастию, не нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома.

Дерзость гонителей час от часу усиливалась. Польское правительство им потворствовало. Миссионеры своевольничали, поносили православную церковь, лестью и угрозами преклоняли к унии не только простой народ, но и священников. Георгий снова жаловался России. Императрица Елисавета Петровна, перед самой своей кончиною, и государь Петр III, при своем восшествии на престол, требовали от польского двора, чтоб гонения над нашими единоверцами были прекращены; но избавление православия предоставлено было Екатерине II.

Георгий предстал перед нею в 1762 году в Москве, когда она короновалась, и вслед за русским духовенством принес ей вместе с поздравлениями тихие сетования народа, издревле нам родного, но отчужденного от России жребиями войны. Екатерина с глубоким вниманием выслушала печальную речь представителя будущих ее подданных, и когда, несколько времени спустя, св. синод думал вызвать Георгия и поручить в его управление Псковскую епархию, императрица на то не согласилась и сказала: «Георгий нужен в Польше».

В 1765 Георгий явился в Варшаве и пред троном Станислава с жаром заступился за тех, которые именова-

лись еще подданными Польши. Король поражен был его словами. Он обещал свое покровительство диссидентам и в следующем году действительно повелел «униатским архиереям, из среды своей избрав одного епископа, прислать в Варшаву, для изыскания и постановления надлежащих мер ко взаимному успокоению враждующих». Но гордые польские магнаты, презрев посредничество России и Пруссии, отвергли справедливые требования диссидентов. Вследствие сего Екатерина повелела своим войскам двинуться к Варшаве. Там, за оградою русских штыков, созван был сейм, учреждена согласительная комиссия и диссидентам возвращены их прежние права.

Георгий, один из первых членов Слуцкой конфедерации, определен был в члены сей комиссии. Он опять отправился в Варшаву и деятельно занялся объяснением древних грамот, на коих основаны были права диссидентов. Он умел приобрести уважение своих противников и даже их доверенность. «Мы за вами еще живем,— сказал однажды ему униатский епископ Шептицкий,— а когда католики вас догрызут, то примутся и за нас». Униаты втайне готовы были отложиться от папы и снова соединиться с грекороссийскою церковью. Между тем Барская конфедерация, поддерживаемая политикою Шуазёля, воспламенила новую войну. Следствием оной был первый раздел Польши. Семь областей, древнее достояние нашего отечества, были ему возвращены — и в 1773 году Георгий явился пред Екатериною уже как подданный, радостно приветствуя избавительницу и законную владычицу Белоруссии.

С тех пор Георгий мог спокойно посвятить себя на управление своею епархиею. Просвещение духовенства, ему подвластного, было главною его заботою. Он учреждал училища, беспрестанно поучал свою паству, а часы досуга посвящал ученым занятиям. Он умер в 1795 году, будучи 77 лет отроду.

Ныне протоиерей И. Григорович издал собрание сочинений Георгия Кониского, присовокупив к книге своей любопытное и прекрасно изложенное жизнеописание Георгия Кониского.

Проповеди Георгия просты, и даже несколько грубы, как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна. Политические речи его имеют большое достоинство. Лучшая из них произнесена им Екатерине, по

совершении ее коронования. Помещаем здесь несколько из его отдельных мыслей:

Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья.

*

Когда грешник, не хотящий покаяться в беззакониях своих, молится богородице и вопиет ей: *радуйся!* то приветствие сие столько же оскорбляет ее, как и то иудейское *радуйся,* когда распинатели Христовы, ударяя в ланиту божественного сына ее, приглашали: *радуйся, Царю Иудейский!* * Ибо нераскаянный грешник есть новый распинатель Христов. ** Да ищем убо заступления и покрова ее, но оставим наперед грехи свои: ибо с грехами и из-под ризы своея изринет нас.

*

Душа бессмертная, от бренного тела, как птица из растерзанной сети, весело излетевши, воспаряет в рай богонасажденный, где вечно цветет древо жизни, где жилище самому Христу и избранным его.

*

Телеса наши, в гробах согнившие и в прах рассыпавшиеся, возникнут от земли, как трава весною, и по соединении с душами восстанут, и укажутся всему небу, пред очами ангелов и человеков, пред очами предков наших и потомков, одни яко пшеница, другие же яко плевелы, ожидая серпов ангельских, и того места, которое назначено, особо для пшеницы, и особо для плевел.

*

Вниди в клеть твою и помолися. *** Такая уединенная молитва и в соборе может иметь место, если молящийся уединился от всех забот и попечений и пребывает безмолвен среди молвы, его окружающей; если он, отрясши от чувств своих все страсти и вожделения, един с единым богом беседует. Авраам, ведя сына своего Исаака на заклание, говорит сопровождающим его рабам: *седите зде со ослятем, аз же и детищ пойдем до онде, и поклонившеся возвратимся к вам.* **** Так истинно молящийся страстям своим, аки рабам, повелевает оставить его и ожидать, пока он молитву свою богу, аки Исаака, в жертву принесет. О! сколь отличны от сего молитвы наши! Мы и в уединении целое торжище вкруг себя собираем. Молясь, и покупаем, и продаем, и хозяйством управляем, и о лихоимстве заботимся, и друзьям ласкательствуем, и на врагов вооружаемся, и о сластях помышляем, и о сундуках своих трепещем. Подлинно, се ли молитва, и не паче ли торжище, молвы преисполненное? Где тут ум, разумеющий глаго-

---

* Матф. 27, 29.
** Евр. 6, 6.
*** Матф. 6, 6.
**** Быт. 22, 5.

лы свои? Где сердце, долженствующее прилепиться к богу? Одни уста трубят, и язык, как кимвал, звяцает; а мысли — как птицы в воздухе, по всем странам носятся; а сердце — хладно, как бездушный труп, зарытый вместе с сокровищем нашим.

*

Иосиф, проданный братиями своими во Египет, соделавшись правителем царства, дал им в удел самую богатую землю, Гесем именуемую. * Сын божий, по безмерной благости своей, соединившийся с нашею природою и таким образом соделавшийся братом нашим, дает нам не часть некую области небесной, но всё царство свое нераздельно. Небо отверсто для нас; престолы уготованы; объятия божественного брата нашего ждут нас. Пойдем, полетим к нему: но прежде должны мы сбросить с себя всю тяготу мирскую, влекущую нас к земле.

*

Неверующему чудесам мы смело можем сказать с блаженным Августином: «Больше из всех чудес чудо есть то, что два-на-десять человек, бескнижных, безоружных, нищих, проповедовавших крест, победили не только владык и сильных земли, но и самих богов языческих, и целый свет Христу покорили». Ты возразишь мне на сие, что сии победители мира сами были умерщвлены, и ни один почти из них не кончил жизни без мучений, без креста, меча и огня. Но вот мой краткий ответ: на то и посланы были сии победители своим воеводою: *Се аз посылаю вас яко овцы посреде волков: предадят вы на сонмы, и на соборищах их биют вас.* ** Особое убо чудо миру и печать истины евангельской есть страдальческая смерть посланников-победителей. Но посмотри, что с сими убиенными последовало? Цари персть их почитают и, отложив порфиру и венец, благоговейно преклоняют колена пред гробами их.

*

Нигде не читаем, чтобы язычники страдали так за своих идолов, как мученики христианские за веру Христову. Да и в нынешних богоборных сонмищах атеистов и натуралистов, в главных гнездах их, во Франции и Англии, нашелся ли хотя один такой ревнитель, который был за безбожие свое или натурализм произвольно на муки дерзнул? У нас в России, за несколько пред сим лет, известный болярин, уличенный в безбожии, одним показанием кнута отрекся того.

*

Говорят многие: почему молитвы наши ни чудес не творят, ни лучшей перемены в нас не производят. Ах, стыдно и воспоминать молитвы наши! Об них можно то же сказать, что сказал

* Быт. 47; 6, 11.
** Матф. 10; 16, 17.

кормчий одному бывшему на корабле беззаконнику. Когда, во время сильной и опасной бури, все плаватели обратились к молитве и вместе с ними и оный беззаконник нечто промолвил, то кормчий остановил его сими словами: «Ты, пожалуй, помолчи: не знает-де бог, что и ты с нами, и потому еще между отчаянием и надеждою находимся; а как-де услышит твою святую молитву, так мы и погибли».— Достойна ли молитва имени своего, когда она в одних устах обращается, а ум не помнит и не знает того, что болтает язык? Читаем: *глаголы моя внуши, господи, разумей звание мое,** а сами ни глаголов не внушаем, ни звания нашего не разумеем. Такая молитва переменит ли нас, окаянных и грешных, в добрых и богоугодных? Грешными в церковь приходим, грешнейшими выходим.

*

Радость плотская ограничивается наслаждением: по мере, как затихает веселый гудок, затихает и веселость. Но радость духовная есть радость вечная; она не умаляется в бедах, не кончается при смерти, но переходит и по ту сторону гроба.

*

Важны ли добрые дела наши в деле спасения? Я объясню тебе вопрос сей подобием. Возьми небольшой кусок меди и понеси его на торжище; там за него ты ничего не купишь; всякий с насмешкою скажет тебе известную пословицу: «Приложи копейку, то купишь калач». Но ежели тот самый металл будет иметь изображение государя твоего или другой знак его монеты, то купишь за него что тебе надобно. Так точно и дела наши. Ежели ты не имеешь веры и упования на Христа спасителя, не сомневайся признать, что они суетны. Но те самые дела совокупи с верою и упованием на него, тогда они будут важны; и если потребно тебе откупиться от грехов, или купить небесные вечные утехи, купишь ими несомненно.

*

Мы познаем разумом души; а телесные очи суть как бы очки, чрез кои душевные очи смотрят.

*

Чужой грех на мне не лежит. Но если чужой грех содевается моим советом, согласием или неосторожным примером, тогда он не только лежит на мне, но как жернов, тяготит душу мою. *Горе человеку тому,* говорит сам спаситель, *имже соблазн приходит!*** Действительно, грех соблазна прежде меня, прежде моей смерти, предшествует на суд божий, и уже по кончине моей следует туда же за мною. Скажу то же иными словами. Все соблазненные примером моим и прежде меня позванные на суд

* Псал. 5, 2.
** Матф. 18, 7.

божий, уже понесли туда грехи мои. Убо уже готовы для меня муки. Но тут еще не всё. Я умер и перестал грешить; но все, соблазненные мною, и притом все, от соблазненных мною вновь соблазняемые, оставаясь еще в сей жизни, посылают, вслед за мною, бесчисленные беззакония, от единого примера моего, яко от единого блата, истекающие. Убо готовы для меня новые, сугубые мучения! Вот как ужасен грех соблазна, ужаснее многоглавой лернейской гидры!

Кониский написал также несколько стихотворений русских, польских и латинских. В художественном отношении они имеют мало достоинства, хотя в них и виден дух мыслящий. Следующая элегия показалась нам достопримечательна:

Серпа ожидают созрелые класы;
А нам вестники смерти — седые власы.
О! смертный, беспечный, посмотри в зерцало:
Ты сед, как пятьдесят лет тебе миновало,
Как же ты собрался в смертную дорогу?
С чем ты предстанешь правосудному богу?
Путь смертный безвестен и полон разбоя:
Искусного, храброго требует конвоя.
Кто ж тебя поведет и за тебя сразится?
Друг, проводив тебя к гробу, в дом возвратится.
Изнеможешь, пеший тащa грехов ношу!
Ах! тут-то нужно иметь подмогу хорошу.
Подмогу, какая дана Сикеоту:
Но — та дана слезам, кровавому поту.
А ты много ли плакал за грехи? Считайся.
Не весь ли век твой есть цепь грехов? Признайся.
Ах! вижу, ты нагиш, как родила мати:
Ни лоскутка на душе твоей не сыскати!
Поверь же, не внидешь в небесны чертоги:
В ад тебя низринут, связав руки, ноги.
Без масла дел благих гаснет свеча веры;
Затворятся брачные буим девам двери.
Может быть, при смерти, «помяни мя» скажешь
И тем уста свои навсегда завяжешь.
И так, доколе древа топор не коснется,
Плод добрых дел тебе принесть остается.

Но главное произведение Кониского остается до сих пор неизданным: «История Малороссии» известна только в рукописи. Георгий написал ее с целию государственною. Когда императрица Екатерина учредила Комиссию о составлении нового уложения, тогда депутат малороссийского шляхетства, Андрей Григорьевич Полетика, обратился к Георгию, как к человеку, сведущему в старинных правах и постановлениях сего края. Кониский, спра-

ведливо полагая, что одна только история народа может объяснить истинные требования оного, принялся за свой важный труд и совершил его с удивительным успехом. Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории. Не говорю здесь о некоторых этнографических и этимологических объяснениях, помещенных им в начале его книги, которые перенес он в историю из хроники, не видя в них никакой существенной важности и не находя нужным противоречить общепринятым в то время понятиям. Под словом *критики* я разумею глубокое изучение достоверных событий и ясное, остроумное изложение их истинных причин и последствий.

Смелый и добросовестный в своих показаниях, Кониский не чужд некоторого невольного пристрастия. Ненависть к изуверству католическому и угнетениям, коим он сам так деятельно противился, отзывается в красноречивых его повествованиях. Любовь к родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости. Должно заметить, что чем ближе подходит он к настоящему времени, тем искреннее, небрежнее и сильнее становится его рассказ. Он любит говорить о подробностях войны и описывает битвы с удивительною точностию. Видно, что сердце дворянина еще бьется в нем под иноческою рясою. (Кониский происходил от старинного шляхетского роду и этим вовсе не пренебрегал, как видно даже из эпитафии, вырезанной над его гробом и сочиненной им самим.) Множество мест в «Истории Малороссии» суть картины, начертанные кистию великого живописца. Дабы дать о нем некоторое понятие тем, которые еще не читали его, помещаем здесь два отрывка из его рукописи.

Введение унии

«По истреблении гетмана Наливайки таким неслыханным варварством вышел от сейму или от вельмож, им управлявших, таков же варварский приговор и на весь народ русский. В нем объявлен он отступным, вероломным и бунтливым и осужден в рабство, преследование и всемерное гонение. Следствием сего нероновского приговора было отлучение навсегда депутатов русских от сейма национального и всего рыцарства от выборов, и должностей правительственных и судебных, отбор староств, деревень и других ранговых имений от всех чиновников и урядников русских, и самих их уничтожение. Рыцарство русское названо хло-

пами, а народ, отвергавший унию, схизматиками. Во все правительственные и судебные уряды малороссийские посланы поляки с многочисленными штатами; города заняты польскими гарнизонами, а другие селения их же войсками; им дана власть всё то делать народу русскому, что сами захотят и придумают, а они исполняли сей наказ с лихвою, и что только замыслить может своевольное, надменное и пьяное человечество, делали то над несчастным народом русским без угрызения совести; грабительства, насилие женщин и самых детей, побои, мучительства и убийства превзошли меру самых непросвещенных варваров. Они, почитая и называя народ невольниками, или ясыром польским, всё его имение признавали своим. Собиравшихся вместе нескольких человек для обыкновенных хозяйских работ или празднеств тотчас с побоями разгоняли, на разговорах их пытками истязывали, запрещая навсегда собираться и разговаривать вместе. Церкви русские силою и гвалтом обращали на унию. Духовенство римское, разъезжавшее с триумфом по малой России для надсмотра и понуждения к униатству, вожено было от церкви до церкви людьми, запряженными в их длинные повозки по двенадцати человек и более. На прислуги сему духовенству выбираемы были поляками самые красивейшие из девиц. Русские церкви несогласовавшихся на унию прихожан отданы жидам в аренду, и получена за всякую в них отправку денежная плата от одного до пяти талеров, а за крещение младенцев и похороны мертвых от одного до четырех талеров. Жиды, яко непримиримые враги христианства, сии вселенские бродяги и притча в человечестве, с восхищением принялись за такое надежное для них сквернoприбытчество и тотчас ключи церковные и веревки колокольные отобрали к себе в корчмы. При всякой требе христианской повинен ктитор идти к жиду торжиться с ним и, по важности отправы, платить за нее и выпросить ключи; а жид при том, насмеявшись довольно богослужению христианскому и прехуливши всё, христианами чинимое, называя его языческим или по их гойским, приказывал ктитору возвращать ему ключи, с клятвою, что ничего в запись не отказано.

Страдание и отчаяние народа увеличилось новым приключением, сделавшим еще замечательную в сей земле эпоху. Чиновное шляхетство малороссийское, бывшее в воинских и земских должностях, не стерпя гонений от поляков и не могши перенесть лишения мест своих, а паче потеряния ранговых и нажитых имений, отложилось от народа своего и разными происками, посулами и дарами закупило знатнейших урядников римских, сладило и задружило с ними, и мало-помало согласилось первее на унию, потом обратилось совсем в католичество римское. Впоследствии сие шляхетство, соединяясь с польским шляхетством свойством, сродством и другими обязанностями, отреклось и от самой породы русской, и всемерно старалось изуродовать природные названия свои, приискать и придумать к ним польское произношение и назвать себя природными поляками. Почему и доднесь между ними видны фамилии совсем русского названия, каковых у поляков не бывало, и в их наречии быть не могло, например: Проскура, Чернецкий, Кисель, Волович, Сокирка, Комар, Жупан и премногие другие, а с прежнего Чаплины названия Чаплинский, с Ходуна Ходневский, с Бурки Бурковский и так далее. Следст-

вием переворота сего было то, что имения сему шляхетству и должности их возвращены, а ранговые утверждены им в вечность и во всем сравнены с польским шляхетством. В благодарность за то приняли и они в рассуждении народа русского всю систему политики польской и, подражая им, гнали преизлиха сей несчастный народ. Главное политическое намерение состояло в том, чтобы ослабить войска малороссийские и разрушить их полки, состоящие из реестровых казаков: в сем они и успели. Полки сии, претерпев в последнюю войну не малую убыль, не были дополнены другими от скарбу и жилищ казаков. Запрещено чинить всякое в полки вспоможение. Главные чиновники воинские, перевернувшись в поляки, сделали в полках великие ваканции. Дисциплина военная и весь порядок опущены, и казаки реестровые стали нечто пресмыкающееся без пастырей и вождей. Самые курени казацкие, бывшие ближе к границам польским, то от гонения, то от ласкательств польских, последуя знатной шляхте своей, обратились в поляки и в их веру и составили известные и поныне околицы шляхетские. Недостаточные реестровые казаки, а паче холостые и мало привязанные к своим жительствам, а с ними и все почти охочекомонные, перешли в Сечь Запорожскую и тем ее знатно увеличили и усилили, сделав с тех пор, так сказать, сборным местом для всех казаков, в отечестве гонимых; а напротив того знатнейшие запорожские казаки перешли в полки малороссийские и стали у них чиновниками, но без дисциплины и регулы: отчего в полках их видимая сделалась перемена».

Казнь Остраницы

«На место замученного Павлюги, выбран в 1638 году гетманом полковник нежинский Стефан Остраница, а к нему придан в советники из старого и заслуженного товариства Леон Гуня, коего благоразумие в войске отменно уважаемо было. Коронный гетман Лянцкоронский с войсками своими польскими не преставал нападать на города и селения малороссийские и на войска, их защищавшие, и нападения его сопровождаемы были грабежом, контрибуциями, убийствами и всех родов бесчинствами и насилиями. Гетману Остранице великого искусства надобно было собрать свои войска, везде рассеянные и всегда преследуемые поляками и их шпионами; наконец собрались они скрытыми путями и по ночам к городу Переяславлю, и первое предприятие их было очистить от войск польских приднепровские города, на обоих берегах сея реки имеющиесь, и восстановить безопасное сообщение жителей и войск обеих сторон. Успех соответствовал предприятию весьма удачно. Войска польские, при городах и внутри их бывшие, не ожидая никак предприятий казацких, по причине наведенных им страхов последнею зрадою и лютостию, над Павлюгою и другими чинами произведенною, ликовали в совершенной беспечности, и потому они везде были разбиты; а упорно защищавшиесь истреблены до последнего. Амуниция их и артиллерия достались казакам, и они, собравшись в одно место, вооруженные наилучшим образом, пошли искать гетмана Лянцкоронского, который с главным войском польским собрался и укрепился в стане при реке Старице. Гетман Остраница тут его застал и ата-

ковал своим войском. Нападение и отпор были жестокие и превосходящие всякое воображение. Лянцкоронский знал, какому он подвержен мщению от казаков за злодейство, его вероломством и зрадою произведенное над гетманом их Павлюгою и старшинами, и для того защищался до отчаяния; а казаки, имея всегда в памяти недавно виденные ими на позорище в городах отрубленные головы их собратий, злобились на Лянцкоронского и поляков до остервенения, и потому вели атаку свою с жестокостию, похожею на нечто чудовищное; и наконец, сделавши залп со всех ружей и пушек и произведши дым почти непроницаемый, пошли и поползли на польские укрепления с удивительною отвагою и опрометчивостию и, вломясь в них, ударили на копья и сабли с слепым размахом. Крик и стон народный, треск и звук оружия уподоблялись грозной туче, всё повергающей. Поражение поляков было повсеместно и самое губительное. Они оборонялись одними саблями, не успевая заряжать ружьев и пистолетов, и шли задом до реки Старицы, а тут, повергаясь в нее в беспамятстве, перетопились и загрязли целыми толпами. Гетман их Лянцкоронский, с лучшею немногою конницею, завременно бросился в реку и, переправившись через нее, пустился в бег, не осматриваясь и куда лошади несли. Стан польский, наполненный мертвецами, достался казакам с превеликою добычею, состоящею в артиллерии и всякого рода оружии и запасах. Казаки по сей славной победе, воздевши руки к небесам, благодарили за нее бога, побороающего за невинных и неправедно гонимых. Потом, отдавая долг человечеству, погребли тела убиенных и сочли польских мертвецов 11 317, а своих 4727 человек, и в том числе советника Гуню. Управившись с похоронами и корыстьми, погнались за гетманом Лянцкоронским и, настигнув его в местечке Полонном ожидающего помощи из Польши, тут атаковали его, запершегось в замке. Он, не допустив казаков штурмовать замка, выслал против них навстречу церковную процессию с крестами, хоругвями и духовенством русским, кои, предлагая мир от гетмана и от всея Польши, молили и заклинали богом гетмана Остраницу и его войска, чтобы преклонились они на мирные предложения. По долгом совещании и учиненных с обеих сторон клятвах собрались в церковь высланные от обоих гетманов чиновники и, написавши тут трактат вечного мира и полной амнистии, предающей забвению всё прошедшее, подписали его с присягою на Евангелии о вечном хранении написанных артикулов и всех прав и привилегий казацких и общенародных. За сим разошлись войска восвояси.

Гетман Остраница, разослав свои войска, иные по городам в гарнизоны, а другие в их жилища, сам, и со старшинами генеральными и со многими полковниками и сотниками, заехал в город Канев для принесения богу благодарственных молений в монастыре тамошнем. Поляки, отличавшиеся всегда в условиях и клятвах непостоянными и вероломными, держали трактат с присягою, в Полонном заключенный, наравне со всеми прежними условиями и трактатами, у казаков с ними бывшими, то есть, в одном вероломстве и презорстве; а духовенство их, присвоив себе непонятную власть на дела божеские и человеческие, определяло хранение клятв между одними только католиками своими, а с другими народами бывшие у них клятвы и условия всегда им разрешало и отметало, яко схизматицкие и суду божию не подле-

жащие. По сим странным правилам, подлым коварством сопровождаемым, сведавши поляки чрез шпионов своих жидов о поездке гетмана Остраницы с штатом своим без нарочитой стражи в Канев, тут его в монастыре окружили многолюдною толпою войск своих, прошедших по ночам и байракам до самого монастыря Каневского, который стоял вне города. Гетман не прежде узнал о сем предательстве, как уже монастырь наполнен был войсками польскими, и потому сдался им без сопротивления. Они, перевязав весь штат гетманский и самого гетмана, всего тридцать семь человек, положили их на простые телеги, а монастырь и церковь тамошние разграбили допоследка, зажгли со всех сторон и сами с узниками скоропостижно убрались и прошли в Польшу скрытыми дорогами, боясь погони и нападения от городов. Приближаясь к Варшаве, построили они узников своих пешо по два, вместе связанных, а каждому из них накинули на шею веревку с петлею, за которую ведены они конницею по городу с триумфом и барабанным боем, проповедуя в народе, что схизматики сии пойманы на сражении, над ними одержанном; а потом заперты они в подземные тюрьмы и в оковы. Жены многих захваченных в неволю чиновников, забравши с собою малолетных детей своих, отправились в Варшаву, надеясь умилостивить и подвигнуть на жалость знатность тамошнюю трогательным предстательством детей их за своих отцов. Но они сим пищу только кровожадным тиранам умножили и отнюдь им не помогли; и чиновники сии, по нескольких днях своего заключения, повлечены на казнь без всяких разбирательств и ответов.

Казнь оная была еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в человечестве по лютости своей и коварству, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому дикому и самому свирепому японцу не придет в голову ее изобретение; а произведение в действо устрашило бы самых зверей и чудовищ.

Зрелище оное открывала процессия римская со множеством ксендзов их, которые уговаривали ведомых на жертву малороссиян, чтобы они приняли закон их на избавление свое в чистцу; но сии, ничего им не отвечая, молились богу по своей вере. Место казни наполнено было народом, войском и палачами с их орудиями. Гетман Остраница, обозный генеральный Сурмила и полковники Недригайло, Боюн и Риндич были колесованы и им переломали поминутно руки и ноги, тянули с них по колесу жилы, пока они скончались; полковники Гайдаревский, Бутрим, Запалей и обозные Кизим и Сучевский пробиты железными спицами насквозь и подняты живые на сваи; есаулы полковые: Постылич, Гарун, Сутяга, Подобай, Харчевич, Чудан, Чурай и сотники: Чуприна, Околович, Сокальский, Мирович и Ворожбит прибиты гвоздями стоячие к доскам, облитым смолою, и сожжены медленно огнем; хорунжие Могилянский, Загреба, Скребило, Ахтырка, Потурай, Бурлей и Загнибеда растерзаны железными когтями, похожими на медвежью лапу; старшины: Ментяй, Дунаевский, Скубрей, Глянский, Завезун, Косырь, Гуртовый, Тумарь и Тугай четвертованы по частям. Жены и дети страдальцев оных, увидя первоначальную казнь, наполняли воздух воплями своими и рыданием, но скоро замолкли... оставшихся же по матерям детей, бродивших и ползавших около их трупов, пережгли всех в виду своих

отцов на железных решетках, под кои подкидывали уголья и раздували шапками и метлами.

Главные члены человеческие, отрубленные у означенных чиновников малороссийских, как-то: головы, руки и ноги развезены по всей Малороссии и развешаны на сваях по городам. Разъезжавшие при том войска польские, наполнившие всю Малороссию, делали всё то над малороссиянами, что только хотели и придумать могли: всех родов бесчинства, насилия, грабежи и тиранства, превосходящие всякое понятие и описание. Они между прочим несколько раз повторяли произведенные в Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сожигали на угольях детей их в виду родителей, предавая самых отцов лютейшим казням. Наконец, ограбив все церкви благочестивые русские, отдали их в аренду жидам, и утварь церковную, как-то: потиры, дискосы, ризы, стихари и все другие вещи распродали и пропили тем же жидам, кои из серебра церковного поделали себе посуду и убранство, а ризы и стихари перешили на платье жидовкам; а сии тем перед христианами хвастались, показывая нагрудники, на коих видны знаки нашитых крестов, ими сорванных. И таким образом Малороссия доведена была поляками до последнего разорения и изнеможения, и всё в ней подобилось тогда некоему хаосу или смешению, грозящему последним разрушением. Никто из жителей не знал и не был обнадежен, кому принадлежит имение его, семейство и самое бытие их, и долго ли оно продлится? Всякий с потерянием имущества своего искал покровительства то у попов римских и униатских, то у жидов, их единомышленников, а своих непримиримых врагов, и не мог придумать за что схватиться».

Как историк Георгий Кониский еще не оценен по достоинству, ибо счастливый мадригал приносит иногда более славы, нежели создание истинно высокое, редко понятное для записных ценителей ума человеческого и мало доступное для большего числа читателей.

Протоиерей И. Григорович, издав сочинение великого архиепископа Белоруссии, оказал обществу важную услугу. Будем надеяться, что и великий историк Малороссии найдет себе наконец столь же достойного издателя.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ДОЛИНЕ АЖИТУГАЙ»

Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке; любопытно видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший

вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным, как русский офицер помнит чувства ненависти к России, волновавшие его отроческое сердце; как, наконец, магометанин с глубокой думою смотрит на крест, *эту хоругвь Европы и просвещения.*

Издатель.

ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ

Повесть в стихах, сочинение Виланда, издал А. Пушкин. С.-П-бург, в тип. Д. Внешн. торг., 1836, в 8, стр. 96.

В одном из наших журналов дано было почувствовать, что издатель «Вастолы» хотел присвоить себе чужое произведение, выставя свое имя на книге, им изданной. Обвинение несправедливое: печатать чужие произведения, с согласия или по просьбе автора, до сих пор никому не воспрещалось. Это называется *издавать;* слово ясно; по крайней мере до сих пор другого не придумано.

В том же журнале сказано было, что «Вастола переведена каким-то бедным литератором, что А. С. П. только дал ему на прокат свое имя, и что лучше бы сделал, дав ему из своего кармана тысячу рублей».

Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и литератор заслуженный, почтенный отец семейства, не мог ожидать нападения столь жестокого. Он человек небогатый, но честный и благородный. Он мог поручить другому приятный труд издать свою поэму, но конечно бы не принял милостыни от кого бы то ни было.

После такового объяснения не можем решиться здесь наименовать настоящего переводчика. Жалеем, что искреннее желание ему услужить могло подать повод к намекам, столь оскорбительным.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Издание второе. Две части, в 8 д. л., XIV, 203 и X, 233, в тип. Департамента Внешн. торговли.

Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед за тем явился «Миргород», где с жадностию все прочли и «Старосветских помещиков», эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтер Скотта. Г-н Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале.*

О ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ

Вольтер в своем «Siècle de Louis XIV» (в 1760) первый сказал несколько слов о Железной Маске. «Несколько времени после смерти кардинала Мазарини,— пишет он,— случилось происшествие беспримерное и, что еще удивительнее, неизвестное ни одному историку. Некто, высокого росту, молодых лет, благородной и прекрасной наружности, с величайшей тайною послан был в заточение на остров св. Маргариты. Дорогою невольник носил маску, коей нижняя часть была на пружинах, так что он

---

* На днях будет представлена на здешнем Театре его комедия «Ревизор».

мог есть, не сымая ее с лица. Приказано было в случае, если б он открылся, его убить. Он оставался на острове до 1690 году, когда Сен-Марс, губернатор Пиньрольской крепости, быв назначен губернатором в Бастилью, приехал за ним и препроводил его в Бастилью, всё так же маскированного. Перед сим маркиз де Лувоа посетил его на сем острове и говорил с ним стоя, с видом уважения. Неизвестный посажен был в Бастилью, где всевозможные удобности были ему доставляемы. Ему ни в чем не отказывали. Он любил самое тонкое белье и кружева. Он играл на гитаре. Стол его был самый отличный. Губернатор редко садился перед ним. Старый лекарь, часто его лечивший в различных болезнях, сказывал, что никогда не видывал его лица, хотя и осматривал его язык и другие части тела. По словам лекаря, он был прекрасно сложен; цветом довольно смугл. Голос его был трогателен; он никогда не жаловался и не намекал о своем состоянии.

Неизвестный умер в 1703 году и был похоронен ночью, в приходе св. Павла. Удивительно и то, что в то время, когда привезен он был на остров св. Маргариты, никого из важных особ в Европе не исчезло. Невольник сей, безо всякого сомнения, был особа важная. Доказательством тому служит происшествие, случившееся в первые дни его заточения на острове. Сам губернатор приносил ему кушание на стол, запирал дверь и удалялся. Однажды невольник начертал что-то ножом на серебряной тарелке и бросил ее из окошка. Рыбак поднял тарелку на берегу моря и принес ее губернатору. Сей изумился. „Читал ли ты, что тут написано,— спросил он у рыбака,— и видел ли кто у тебя эту тарелку?“ „Я не умею читать,— отвечал рыбак,— я сейчас ее нашел, никто ее не видал“. Рыбака задержали, пока не удостоверились, что он в самом деле был безграмотный и что тарелки никто не видал. Губернатор отпустил его, сказав: „Ступай, счастлив ты, что не умеешь читать“. Г. де Шамильяр был последний из министров, знавших эту странную тайну. Зять его, маршал де ла Фельяд, сказывал мне, что при смерти своего тестя он на коленах умолял его открыть, кто таков был человек в железной маске. Шамильяр ответствовал, что это государственная тайна и что он клялся ее не открывать. Многие из моих современников подтвердят истину моих слов. Я не знаю ничего ни удивительнее, ни достовернее».

Сии строки произвели большое впечатление. Любопытство было сильно возбуждено. Стали разыскивать, разгадывать, предполагать. Иные думали, что Железная Маска был граф de Vermandois, осужденный на вечное заключение будто бы за пощечину, им данную дельфину (Людовику XIV). Другие видели в нем герцога де Бофор, сего феодального демагога, мятежного любимца черни парижской, пропавшего без вести во время осады Кандии в 1669 г.; третьи утверждали, что он был не кто иной, как герцог Монмуф, и проч. и проч. Сам Вольтер, опровергнув все сии мнения с ясностью критики, ему свойственной, романически думал или выдумал, что славный невольник был старший брат Людовика XIV, жертва честолюбия и политики жестокосердой. Доказательства Вольтера были слабы. Загадка оставалась неразрешенною. Взятие Бастилии в 1789 году и обнародование ее архива ничего не могли открыть касательно таинственного затворника.

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ

Il ne faut pas qu'un honnête homme
mérite d'être pendu.

Слова Карамзина в 1819 году

В конце первого десятилетия царствования Екатерины II несколько молодых людей, едва вышедших из отрочества, отправлены были, по ее повелению, в Лейпцигский университет, под надзором одного наставника и в сопровождении духовника. Учение пошло им не в прок. Надзиратель думал только о своих выгодах; духовник, монах добродушный, но необразованный, не имел никакого влияния на их ум и нравственность. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали. Они возвратились в Россию, где служба и заботы семейственные заменили для них лекции Геллерта и студенческие шалости. Большая часть из них исчезла, не оставя по себе следов; двое сделались известны: один на чреде заметной обнаружил совершенное бессилие и несчастную посредственность; другой прославился совсем иначе.

Александр Радищев родился около 1750-го года. Он обучался сперва в Пажеском корпусе и обратил на себя

внимание начальства, как молодой человек, подающий о себе великие надежды. Университетская жизнь принесла ему мало пользы. Он не взял даже на себя труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы по крайней мере быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его. Он был кроток и задумчив. Тесная связь с молодым Ушаковым имела на всю его жизнь влияние решительное и глубокое. Ушаков был немногим старше Радищева, но имел опытность светского человека. Он уже служил секретарем при тайном советнике Теплове, и его честолюбию открыто было блестящее поприще, как оставил он службу из любви к познаниям и вместе с молодыми студентами отправился в Лейпциг. Сходство умов и занятий сблизили с ним Радищева. Им попался в руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его пошлой и бесплодной метафизики. Гримм, странствующий агент французской философии, в Лейпциге застал русских студентов за книгою «О Разуме» и привез Гельвецию известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии. Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями. Нам уже слишком известна французская философия 18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон и оценена. То, что некогда слыло скрытным учением гиерофантов, было потом обнародовано, проповедано на площадях и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими.

Радищев написал «Житие Ф. В. Ушакова». Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21-м году своего возраста от следствий невоздержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врача-

ми на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. * Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений.

Возвратясь в Петербург, Радищев вступил в гражданскую службу, не преставая между тем заниматься и словесностию. Он женился. Состояние его было для него достаточно. В обществе он был уважаем как *сочинитель*. Граф Воронцов ему покровительствовал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему иное.

В то время существовали в России люди, известные под именем *мартинистов*. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды. Императрица, долго смотревшая на усилия французских философов как на игры искусных бойцов и сама их ободрявшая своим царским рукоплесканием, с беспокойством видела их торжество и с подозрением обратила внимание на русских мартинистов, которых считала проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов. Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франмасонских ужинах. Радищев попал в их общество. Таинственность их бесед воспламенила его воображение. Он написал свое «Путешествие из Петербурга в Москву», сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу.

---

* А. М. Кутузова, которому Радищев и посвятил «Житие Ф. В. Ушакова».

Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего правительства, наши законы, не изменившиеся со времен Петра I, их строгость, в то время еще не смягченную двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца, умевшего уважать человечество; если подумаем, какие суровые люди окружали еще престол Екатерины,— то преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за всё, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию.

Но, может быть, сам Радищев не понял всей важности своих безумных заблуждений. Как иначе объяснить его беспечность и странную мысль разослать свою книгу ко всем своим знакомым, между прочими к Державину, которого поставил он в затруднительное положение? Как бы то ни было, книга его, сначала не замеченная, вероятно потому, что первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государыни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. «Он мартинист,— говорила она Храповицкому (см. его записки),— он хуже Пугачева; он хвалит Франклина».— Слово глубоко замечательное: монархиня, стремившаяся к соединению воедино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение ко-

лоний от владычества Англии. Радищев предан был суду. Сенат осудил его на смерть (см. Полное Собрание Законов). Государыня смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в Сибирь.

В Илимске Радищев предался мирным литературным занятиям. Здесь написал он большую часть своих сочинений; многие из них относятся к статистике Сибири, к китайской торговле и пр. Сохранилась его переписка с одним из тогдашних вельмож, который, может быть, не вовсе был чужд изданию «Путешествия». Радищев был тогда вдовцом. К нему поехала его свояченица, дабы разделить с изгнанником грустное его уединение. Он в одном из своих стихотворений упоминает о сем трогательном обстоятельстве.

Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы,
Был блажен, и где оставил
Души нежной половину.

Бова, вступление

Император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Он во всё время царствования императора Павла I не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удаленный от дел и занимаясь воспитанием своих детей. Смиренный опытностию и годами, он даже переменил образ мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость. Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему и помирился искренно со славной памятию великой царицы.

Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Ради-

щев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время *Ужаса?* мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра.

Император Александр, вступив на престол, вспомнил о Радищеве и, извиняя в нем то, что можно было приписать пылкости молодых лет и заблуждениям века, увидел в сочинителе «Путешествия» отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды. Он определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф Завадовский удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и... отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напророчил!

Сочинения Радищева в стихах и прозе (кроме «Путешествия») изданы были в 1807 году. Самое пространное из его сочинений есть философическое рассуждение «О Человеке, о его смертности и бессмертии». Умствования оного пошлы и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем всё еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма. Между статьями литературными замечательно его суждение о Тилемахиде и о Тредьяковском, которого он любил по тому же самому чувству, которое заставило его бранить Ломоносова: из отвращения от общепринятых мнений. В стихах лучшее произведение его есть «Осьмнадцатый век», лирическое стихотворение, писанное древним элегическим размером, где находятся следующие стихи, столь замечательные под его пером.

Урна времян часы изливает каплям подобно,
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли,
И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны
Вечности в море, а там нет ни предел, ни брегов.
Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит;
Веки в него протекли, в нем исчезает их след,
Но знаменито во веки своею кровавой струею
С звуками грома течет наше столетье туда,
И сокрушен наконец корабль, надежды несущий,
Пристани близок уже, в водоворот поглощен.
Счастие и добродетель и вольность пожрал омут ярый,
Зри, восплывают еще страшны обломки в струе.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято во век, в век удивлением всех,
Кровь в твоей колыбели, припевные громы сражений.
Ах, омочен в крови век, ты ниспадаешь во гроб.
Но зри, две вознеслися скалы во среде струй кровавых.
Екатерина и Петр, вечности чада! и росс.

Первая песнь «Бовы» имеет также достоинство. Характер Бовы обрисован оригинально, и разговор его с Каргою забавен. Жаль, что в «Бове», как и в «Алеше Поповиче», другой его поэме, не включенной, не знаем почему, в собрание его сочинений, нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно комунибудь да подражал. Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою. В ней не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык.

«Путешествие в Москву», причина его несчастия и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного.

В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но всё в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные

сведения, наобум приноровленные ко всему,— вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но всё это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы — чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.

3 апр. 1836 г. СПб.

Прибавления

I.

От императрицы, главнокомандовавшему в Санкт-Петербурге генерал-аншефу Брюсу

Граф Яков Александрович!

Недавно издана здесь книга под названием: «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвесть в народе негодование противу начальников и начальства, наконец, оскорбительными изражениями противу сана и власти царской. Сочинителем сей книги оказался коллежский советник Александр Радищев, который сам учинил в том признание, присовокупив к сему, что после ценсуры Управы Благочиния взнес он многие листы в помянутую книгу, в собственной его типографии напечатанную, и потому взят под стражу. Таковое его преступление повелеваем рассмотреть и судить узаконенным порядком в Палате Уголовного Суда Санкт-Петербургской губернии, где, заключа приговор, взнесть оный в Сенат наш.

Пребываем вам благосклонны.

Екатерина.

II.

26-го июня. Говорили (государыня) о книге «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Тут рассеяние заразы французской: автор мартинист. Я прочла тридцать страниц». Посылала за Рылеевым (обер-полицмейстером). Открывается подозрение на Радищева.

2 июля. Продолжают писать примечания на книгу Радищева. А он, сказывают, препоручен Шешковскому и сидит в крепости.

7 июля. «Примечания на книгу Радищева послать к Шешковскому». Сказать изволили, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Франклина и себя таким же представляет. Говорили с жаром и чувствительностию.

11 августа. Доклад о Радищеве с приметною чувствительностию приказано рассмотреть в совете, «чтоб не быть пристрастною, и объявить, чтоб не уважали до меня касающееся, понеже я презираю».

(Записки Храповицкого)

III.

Клин

Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь... Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем божиим человеком, был слепой старик, седящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей.

Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия в лице его зримого заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взрощенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего Ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом, изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. О! природа, возопил я паки...

Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоящие давали старику, как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно; но всегда сопровождая благодарность свою поклоном, крестяся и говоря к подающему: «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку, толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, вещал я сам себе, подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу! — Не пятак ли? — сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово.— Нет, дедушка, рублевик,— сказал близ стоящий его мальчик.— Почто такая милостыня? — сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалося, мысленно вообразити себе то, что в горсти его лежало.— Почто она не могущему ею пользоваться. Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль ал-

чущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку не много прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора.— О истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну.— Возьми его назад, мне, право, он ненадобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей, в силе своей, пушечным ядром. О! вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество.— Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.

— Прими свой праздничный пирог, дедушка,— говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти.— С каким восторгом он принял его обеими руками.— Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять, он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика и его избавил от побой, может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господу; за ним никогда ничто не пропадает.

— Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок,— сказал я ему,— и одно мое отвергнешь подаяние? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца.— Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию,— говорил старец; — не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло — платчишка не было чем повязать шеи — бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старенького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминовение нищего.— Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Возвращаясь чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев, перед смертию на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.

Вот каким слогом написана вся книга!

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

18-го января нынешнего года Российская Академия была удостоена присутствия его светлости принца Петра Ольденбургского, избранного ею в почетные члены. Непременный секретарь Д. И. Языков открыл заседание чтением краткой истории Академии.

Екатерина II основала Российскую Академию в 1783 году и повелела княгине Дашковой быть председателем оной.

Екатерина, стремившаяся во всем установить закон и незыблемый порядок, хотела дать уложение и русскому языку. Академия, повинуясь ее наказу, тотчас приступила к составлению словаря. Императрица приняла в нем участие не только словом, но и делом. Часто осведомлялась она об успехе начатого труда и, несколько раз слыша, что словарь доведен до буквы *Н*, сказала однажды с видом некоторого нетерпения: всё *Наш да Наш!* когда же вы мне скажете: *Ваш?* Академия удвоила старание. Через несколько времени на вопрос императрицын: что словарь? отвечали ей, что Академия дошла до буквы *П*. Императрица улыбнулась и заметила, что Академии пора было бы *Покой* оставить.

Несмотря на сии шутки, Академия должна была изумить государыню поспешным исполнением высочайшей ее воли: словарь окончен был в течение шести лет. * Карамзин справедливо удивляется таковому подвигу.

---

* Французская Академия, основанная в 1634 году и с тех пор беспрерывно занимавшаяся составлением своего словаря, издала оный не прежде, как в 1694 году. «Словарь обветшал, пока еще над ним трудились,— говорит Вильмен.— Стали его переделывать. Прошло несколько лет, и всё еще Академия пересматривала букву А. Деятельный Кольбер, удивлявшийся таковой медленности, приехал однажды в собрание Академии. Разбирали слово Ami. Но были такие споры о точном определении оного; рассуждали с

«Полный Словарь, изданный Академиею,— говорит он,— принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев: наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея Словаря: мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно *классического* (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академии Флорентийской и Парижской».

Многие из членов Академии участвовали в издании «Собеседника Любителей Российского Слова». Следующее происшествие, говорит г. Языков, достойно быть сохранено в памяти: Фонвизин доставил в Собеседник статью под названием «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание». Вопросы явились в Собеседнике с весьма остроумными ответами. Приведем здесь некоторые.

В. Отчего все в долгах?

О. Оттого, что проживают более, нежели дохода имеют.

В. Отчего не только в Петербурге, но и в самой Москве перевелись общества между благородными?

О. От размножившихся клубов.

В. Отчего главное старание большей части дворян состоит не в том, чтобы поскорее сделать детей своих людьми, а в том, чтобы поскорее сделать их гвардии унтер-офицерами?

О. Оттого, что одно легче другого.

В. Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?

О. Оттого, что сие не есть дело всякого.

В. Отчего у нас не стыдно не делать ничего?

О. Сие не ясно: стыдно делать дурное, а в обществе жить не есть не делать ничего.

В. Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостию, потом оставляются, а нередко и совсем забываются?

О. По той же причине, по которой человек стареется.

В. В чем состоит наш национальный характер?

О. В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корне всех добродетелей, от творца человеку данных.

В. Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?

такой утонченностию о том, что в слове ami предполагается ли светская обязанность, или сердечное отношение, чувство разделенное или одно наружное изъявление, или усердие без вознаграждения, что министр, у коего при дворе так много было друзей, признался, что он более уж не удивляется медленности и затруднениям Академии».

О. Предки наши не все грамоте умели.

№3. Сей вопрос родился от *свободоязычия,* которого предки наши не имели.

Сии ответы писаны самой императрицей.

Под председательством А. А. Нартова (1802—1813) Академия издала:

1) Грамматику Российскую.
2) Сочинения и переводы Академии.
3) Словарь, расположенный по азбучному порядку.
4) Перевод Летописи Тацитовой.
5) Перевод Путешествия Младшего Анахарсиса.

В 1813 году, по смерти Нартова, А. С. Шишков, бывший в то время за границей с государем императором, назначен председателем Российской Академии. Под его руководством Академия издала следующие книги:

1) Известия Академии, 11 книжек (1815—1823).
2) Повременное издание, 4 части (1829—1832).
3) Краткие записки, 3 книжки (1834—1836).
4) Квинтилиановы Критические Наставления (1834).
5) Собрание сочинений и переводов А. С. Шишкова, 16 частей.

Ныне Академия приготовляет третье издание своего Словаря, коего распространение час от часу становится необходимее. Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого. В журналах наших еще менее правописания, нежели здравого смысла...

Вслед за непременным секретарем преосвященный Филарет представил отрывок из рукописи 1073 года, писанной для великого князя Святослава и хранящейся ныне в Московской Синодальной библиотеке.

«Рукопись называется *Изборник,* т. е. извлечение избранных мест из разных писателей.

Она содержит наиболее предметы, относящиеся до христианского учения, но частию и метафизические по разуму того века, например *о естестве, о собстве, о лици, о различии, о случании, о супротивных, о оглаголемыих.*

На обороте листа 237 начинается 175 статья книги, которая говорит о тропах и фигурах. Вот ее начало.

„Георьгия Хоуровьска о образѣх. Творьчьстии образи суть 27 (кз):

1. Иносло́віе.
2. Прѣводъ (metaphora).

3. Напотребиіе.
4. Приятиіс.
5. Прѣходьноіе.
6. Възвратъ.
7. Съприятиіе.
8. Сънятиіс.
9. Именотвориіе (onomatopeia).
10. Сътворениіе.
11. Въименомѣстьство.
12. Отъимениіе (metonymia).
13. Въспятословиіе.
14. Окроугословиіе.
15. Нестатъкъ.
16. Издрядиіе.
17. Лихорѣчьіе.
18. Притъча.
19. Прикладъ.
20. Отъданиіе.
21. Лицетворьіе (олицетворение).
22. Сълогъ.
23. Пороуганиіе (ironia).
24. Видъ.
25. Послѣдословиіе.

Инословиіе оубо іесть ино нѣчто глаголюшти а инъ разоумъ оуказаіюшти якоже іеже іе речено отъ бога къ змии проклята ты и отъ всѣхъ звѣрий слово бо акы змии іесть на диявола же инорѣчьнѣ змьіемъ нарицаіема разумѣваіемъ".

Далее следуют подобные сему определения и прочих вышеисчисленных наименований, но не довольно понятные для читателя, может быть, и потому, что не довольно понимаемы были предметы составителем или переводчиком, издателями русской энциклопедии XI века».

Непременный секретарь прочел главу II из устава Академии о должностях и обязанностях Академии и следующий отрывок из всеподданейшего доклада президента Академии, при поднесении на высочайшее усмотрение проекта устава:

«Академия есть страж языка; и потому должно ей со всевозможною к общей пользе ревностию вооружаться против всего несвойственного, чуждого, невразумительного, темного, *неправственного* в языке. Но сие вооружение ее долженствует быть на единой пользе словесности основанное, кроткое, правдивое, без лицеприятия, без нападений и потворства, непохожее на те предосудительные сочинения, в которых, под мнимым разбором, пристрастное невежество или злость расточают недостойные похвалы или язвительные хулы без всякой истины и доказательств, в коих одних заключается достоинство и польза сего рода писаний».

За сим действительный член М. Е. Лобанов занял собрание чтением мнения своего «О духе словесности, как

иностранной, так и отечественной». Мнение сие заслуживает особенного разбора как по своей сущности, так и по важности места, где оное было произнесено.

В. А. Поленов прочел «Краткое жизнеописание И. И. Лепехина», первого непременного секретаря Российской Академии: статью дельную, полную, прекрасно изложенную, словом, истинно академическую.

После сего действительные члены: М. Е. Лобанов, князь П. А. Ширинский-Шихматов и Б. М. Федоров читали, один после другого, сочинения своего стихи.

Наконец князь Ширинский-Шихматов прочел написанную г. президентом краткую статью под заглавием «Нечто о Карамзине».

Невозможно было без особенного чувства слышать искренние, простые похвалы, воздаваемые почтенным старцем великому писателю, бывшему некогда предметом жесткой его критики, если не всегда справедливой, то всегда добросовестной. При сем случае А. С. Шишков упомянул о пребывании Карамзина в Твери в 1811 году при дворе блаженной памяти государыни великой княгини Екатерины Павловны, матери его светлости принца Петра Ольденбургского. Известно, что Карамзин читал тогда в присутствии покойного государя и августейшей сестры его некоторые главы «Истории государства Российского». «Вы слушали,— пишет историограф в своем посвящении государю,— с восхитительным для меня вниманием; сравнивали давно минувшее с настоящим и не завидовали славным опасностям Димитрия, ибо предвидели для себя еще славнейшие».

Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его славной памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли *о древней и новой России*, со всею искренностию прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел, и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя и благородство патриота...

Заседание 18 января 1836 года будет памятно в летописях Российской Академии.

ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ

Скриб в Академии. Он занял кресла Арно, умершего в прошлом году.

Арно сочинил несколько трагедий, которые в свое время имели большой успех, а ныне совсем забыты. Такова участь поэтов, которые пишут для публики, угождая ее мнениям, применяясь к ее вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к своему искусству! Две или три басни, остроумные или грациозные, дают покойнику Арно более права на титло поэта, нежели все его драматические творения. Всем известен его «Листок»:

De ta tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas tu?—Je n'en sais rien, etc.

Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своею смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык; у нас его перевели Жуковский и Давыдов,

Наш боец чернокудрявый
С белым локоном на лбу.

Может быть, и сам Давыдов не знает стихов, которые написал ему Арно, услыша о его переводе. Он поместил их в примечаниях к своим сочинениям. *

При вступлении своем в Академию Скриб произнес блестящую речь, на которую столь же блистательно отвечал Вильмен, а J. Janin в своем фельетоне осмеял того и другого. В сем случае все три представителя французского остроумия были на сцене.

Речь г. Скриба

Мм. гг.

Когда Генуэзская республика, как вам известно, дерзнула сопротивляться Людовику XIV, тогда дож ее принужден был явиться в Версаль, чтоб испросить прощение у великого короля.

* La *Feuille* a obtenu dans plus d'une langue les honneurs de la traduction. Celle qui en a été faite en russe par le général Davouidoff, est, dit-on, remarquable par son élégance et sa fidélité. M. Davouidoff est un des hommes qui, nés avec le don de la poésie, ne s'y livrent que par caprice et pour se délasser de la guerre et des

В то время, как удивлялся он версальским садам, где каждый шаг представляет победу искусства над природою, их шумным водопадам, апельсинным рощам и висячим террасам, его спросили: что находит он всего необыкновеннее в Версале? Дож отвечал: «Мое присутствие!»

Так я я, мм. гг., видя вокруг себя все знаменитости Франции, окруженный славными воспоминаниями литературного величия, я должен бы удивляться всего более моему здесь присутствию, если б только одна мысль не успокоивала и не ободряла меня:

Академия, эта представительная палата литературы, желала, чтобы все роды произведений, получившие право гражданства по силе Буаловой хартии и законов вкуса, имели в недрах ее своих уполномоченных, ею утверждаемых: подобно нашим законодательным собраниям, где избранный небольшою деревнею сидит рядом с депутатом большого города, она предоставила мне вход в свое собрание и возвысила тем незначительный род сочинения, которого я представитель; я бы гордился этим позволением, если б автор водевилей имел право гордиться.

Да, мм. гг., я не ошибаюсь в истинной причине моего сюда назначения! Если довольно долго испытывал я свои силы на второстепенной сцене и старался изобразить Талию в миниатюре, если иногда на театре, более возвышенном, я старался начертать несколько картин большего размера, такие усилия не дают еще мне права почитать себя здесь одним из представителей комедии. Вы же, мм. гг., и не нуждаетесь в новых: вы имеете блистательных авторов «Домашнего тирана», «Адвоката», «Двух зятей», «Школы стариков»; вам хотелось только, чтобы кресла Ложона не оставались надолго праздными!

В его имени вы дали *Песни* грамоту на дворянство; вы захотели передать ее мне, и я только этому обстоятельству обязан честью занимать место между вами.

Может быть, этот род сочинения, по-видимому столь незначительный, которого название странно слышать под классическими сводами этой залы, может быть, он достоин вашего внимания, и мне должно было бы по всей справедливости, или по крайней мере из благодарности к своему протектору, защищать его; мне бы должно рассказать вам историю водевиля (Vat de vire) от его колыбели до наших дней; но обязанность более важная и торжественная занимает мои мысли и останавливает на устах веселые напевы.

Много уже времени прошло с тех пор, как я в первый раз был в этой зале. Я учился тогда в Наполеоновском лицее, и на этом самом месте, где всё осталось по-прежнему, нам раздавали награды. Товарищи, соперники, друзья были здесь, как и теперь! Там родные, сестры, матери!.. Счастлив, кто имеет мать свидетельницею своего торжества! Я тогда был счастлив! На этой стороне

---

plaisirs. Instruit de l'honneur qu'il en avait reçu, l'auteur de ces fables lui en adressa un exemplaire avec cet envoi:

A vous, poète, à vous, guerrier,
Qui sablant le champagne au bord de l'Hippocrène
Avez d'une feuille de chêne
Fait une feuille de laurier.

сидели наши учители, начальники, знаменитые литераторы и государственные люди: пальмы, назначенные в награду слабым достоинствам, раздавались тогда, как и теперь, великими талантами. Я спросил у моего соседа, как зовут президента? Он отвечал: это г. Фонтан (C'est le grand Maître M. de Fontanes). А возле него кто это с таким важным и прекрасным видом? Главный секретарь университета, г. Арно, автор «Мария в Минтурне», трагедии, которой прелестные стихи мы знали наизусть... Автор «Мария в Минтурне»! Я привстал, чтоб посмотреть на него: думал ли я тогда, что ученик займет место своего учителя — и что приду в это святилище я — положить кипарисную ветвь на гроб раздававшего венки!

Зачем, по крайней мере, голос сильнее и выразительнее моего не призван говорить похвальное слово этому добродетельному человеку и поэту, о котором вы сожалеете? По какому последнему для него несчастию трудная честь оценить произведения трагической его музы досталась в удел питомцу песни?

Увлеченный с юных лет непреодолимою наклонностию к поэзии, г. Арно был еще очень молод, когда издал «Мария в Минтурне», первое свое произведение; это было смелое предприятие для молодого человека 24-х лет: возбудить участие к отвратительному Марию, человеку, наполнившему Италию кровию и кознями, человеку, который обесславил себя хищением и грабительством, не имел подобно Силле ни довольно величия души, чтоб остановиться вóвремя, ни довольно смелости, чтоб оставить свое поприще; но г. Арно понял, что в глазах толпы несчастием искупаются преступления. Он избрал героем не Мария гонителя, а Мария изгнанника, победителя кимвров, скитающегося беглеца; он чувствовал, что бывает на свете великое и благородное зрелище: слава в борьбе с несчастием, неудача, переносимая с мужеством — и он отгадал! Не подражая авторам, до него изображавшим этот предмет, не призывая на помощь ни посторонних интриг, ни женщин, ни трагической любви, он приступил к своему предмету с строгою простотою древности — и создал историческую картину, над которой возвышается везде великий образ Мария. И помните ли вы, мм. гг., какое впечатление производил этот раб, этот кимвр, когда он, испуганный при виде консульского чела, покрытого сорокалетнею славою, бросал кинжал и убегал, повторяя:

«Я никогда не буду в состоянии умертвить Мария!»

Эта трагедия была посвящена его светлости графу Прованскому, будущему Людовику XVIII. Арно был привязан к дому его потому, что принц любил литературу и покровительство его могло быть полезно молодому поэту: в те времена оно было необходимо даже и для литературного успеха; времена изменились, и слава богу, теперь писатель не имеет надобности просить вельмож удостоить его покровительством! В своем труде находит он славу — и еще более, если возможно — свою независимость.

В начале революции граф Прованский удалился в чужие края; а Арно, подвергаясь от того многим опасностям, поспешил переехать в Англию. Странная была его участь! Покровитель, им избранный, тогдашний принц, а впоследствии король, был причиною двукратного удаления Арно из Франции: в 92 году своим отъездом, в 1815 своим прибытием.

Арно старался снова возвратиться на родину. Захваченный как эмигрант в Дункирхене, он был брошен в тюрьму и освобожден из нее по приказу Комитета общественного спокойствия (Comité de salut public), который постановил, и на этот раз справедливо, что закон об эмигрантах не распространяется на литераторов, а следовательно, и на автора «Мария в Минтурне», поэтически предполагая, что вселенная принадлежит поэту и что его отечество повсюду.

Наступили лучшие дни для Франции: республика еще существовала, но без кровавых топоров децемвиров, даже без строгостей Рима и Спарты. По невоздержному вкусу к роскоши и удовольствиям, по забвению прошедшего и беспечности о будущем можно было б назвать республику Афинскою, если б у кого только достало смелости сравнить Барраса с Периклом! Мы были тогда под правлением Директории, правлением слабым, веселым, роскошным, правлением, так сказать, регентства революции.

Обратившись к литературным трудам, Арно издал сперва трагедию «Оскар», где так мило выражены тихие чувства любви и дружбы; потом трагедию «Венецианцы», коих пятый акт есть лучший акт драмы новейших времен. Впрочем, для исторической верности мы должны сказать, что Арно не один сочинил этот пятый акт. Сперва он дал счастливую развязку своей пьесе. Montcassin, герой ее, не умирал, а был спасен своим соперником от казни; эта развязка не понравилась одному члену Института, которого Арно знал в Италии и которому читал свою трагедию. Этот член Института был генерал Бонапарт, которого мнения в литературе были столь же тверды и решительны, как и в политике; он терпеть не мог Вольтера, имел несчастие не любить Расина, но Корнеля готов был сделать первым министром.* Бонапарт любил развязки разительные и хотел, чтоб даже и на театре все препятствия уничтожались штыком.

Конец пятого акта «Венецианцев» был для этого человека неестествен: он находил, что счастие любовников портило развязку. Если б несчастие было неисправимо, говорил он г-ну Арно, то минутное ощущение, которое оно произвело во мне, осталось бы у меня до вечера, до завтра!.. Нужно, чтоб герой умер, надо непременно убить его! Убейте его! и Montcassin был казнен, по повелению Наполеона, к великому удовольствию публики, утвердившей приговор рукоплесканиями. Бесполезно упоминать, что трагедия «Венецианцы» была посвящена генералу Бонапарту: это и справедливо.

Бонапарт любил Арно, и эта дружба никогда не изменялась; Арно, как надежному человеку, Бонапарт поручал образование Ионийских островов; Бонапарт принимает Арно в своем доме, в улице Шантерень, позволяя ему участвовать в домашних разговорах, которые тогда были историею; после на адмиральском корабле, который вез в Египет кесаря и его фортуну, Бонапарт и Арно толкуют об Оссиане и Гомере; потом Бонапарт-император дает ему одно из первых мест в университете. Наполеон постоянно уважал Арно, хотя не раз мог бы жаловаться на его сатирические выходки и резкую откровенность. Тот, кто одним взглядом

---

* См. Mémorial de Las-cazes.

умел отгадать, оценить достоинство, в первый день своего прибытия в Италию, рукою победителя написал на своих памятных табличках имя Арно: и двадцать три года спустя после того, рукою умирающего, писал он это же имя в своем завещании, с утесов св. Елены.

Что могу я прибавить к этому свидетельству?

После стодневного переворота Арно был изгнан, а что и того удивительнее, лишен места, которое он занимал между вами и на которое он вами был призван. Касательно стихов и поэзии Мольер сказал:

Hors qu'un commandement exprès du roi ne vienne...

Повеление пришло и исключило Арно из Института.

Во время своего изгнания, которое Арно перенес с благородством и твердостию, он сочинил последнее отделение Басен, лучшее, по моему мнению, литературное его произведение: ибо здесь он создал новый род, который останется образцом, тем более что автор не старался подражать ни Лафонтену, ни Флориану; здесь нет веселой простоты первого, нет изящной и грациозной чувствительности второго: здесь эпиграмма, здесь сатира, здесь Ювенал, сделавшийся баснописцем — может быть, по одинаковой причине.

Не был ли Арно увлечен сам своею гиперболою? Не представлялось ли ему общество слишком порочным, а люди слишком злыми? Справедливо упрекали Флориана за излишнее множество овечек, рассыпанных в его сочинениях. Кажется, в баснях Арно не слишком ли много волков?..

В отсутствие Арно трагедия его «Германик» игралась в Париже и была принята с успехом в первый день, а на другой изгнана из театра подобно автору ее, изгнанному из Франции. Наконец, когда после пятилетней ссылки настал для него день правосудия, он возвратился в отечество и опять занял свое место между вами... Тут неожиданный случай снова и уже навсегда похитил его у вашей дружбы! Младший из его сыновей испытал жестокую потерю; отец спешил утешить сына и предпринял роковое для себя путешествие. Арно имел привычку долго прогуливаться пешком; на ходу сочинил он все свои творения. Однажды утром, по сильному жару, он проходил и просочинял более обыкновенного; усталый он воротился домой; лег на кровать и сказал дочери: поиграй на фортепиано; дочь повиновалась; отец, будто отдыхая, всё более и более поникал головою; он уже был мертв, а она еще играла.

Он скончался без страдания, без предсмертных мучений, с улыбкою на устах, думая о своих утренних трудах, о детях, о друзьях, может быть, о вас, мм. гг.!

Он умер, оставив нам троих сыновей, свою и нашу надежду! троих сыновей, которые на поприщах литературном, военном и судебном достойно поддерживают честь отцовского имени. Один из них, автор «Регула», доказал, что принадлежит к одной из тех фамилий, которых слава наследственна, доказал, что аристократическое право дворянства, доставаемое авторством, подобно купленному оружием, может учреждать майоратство.

Хотя ничто не подавало повода думать о скорой кончине Арно, но с некоторого времени здоровье его видимо слабело. Сильные

удары, безжалостно направленные на человека и писателя, поколебали его крепкую, но чувствительную и раздражительную организацию.

В наши времена существует ядовитый род критики, которая достигает до сердца; ею не поскупились для Арно: и несмотря на свои седины, на прежние триумфы, он не мог, подобно Марию в Минтурне, обезоружить кимвра.

Надобно сказать и то, весьма часто ошибались в характере Арно. В душе этого человека глубоко напечатлевались все воспоминания и добра и зла. Если он никогда не забывал нанесенного ему зла, то вечно зато носил в сердце благодеяние. Призна́емся также, что по живому и острому расположению ума своего Арно не мог удержаться от острого слова, и если прибавим к этому недостатку необыкновенную откровенность Арно, то нам будет понятно, отчего он имел столько врагов. Между тем не было человека добрее его. Не раз доказывал он это; не раз, занимая важную должность при университете, он подавал руку помощи отвергнутому таланту или скромному достоинству. Арно принял в свою канцелярию нашего поэта Беранже, которого он один тогда разгадал. Разговор Арно был исполнен выражений смелых и живописных, носил на себе отпечаток той насмешливости, которая встречается в его баснях, разных стихотворениях и даже в песнях, оригинально веселых... да, мм. гг., в песнях Арно, в песнях трагического писателя! Я так горжусь этим обстоятельством, что спешу заговорить о нем: это для меня важный авторитет, это новое доказательство в пользу рода сочинения, которому я осмеливаюсь, может быть дерзко, доставить между вами право гражданства.

Для этого, мм. гг., мне бы должно развернуть перед вами то, что я назову героическими временами песни, когда она сопутствовала в сражениях Роланду и храбрым рыцарям Карла Великого, или когда с труверами и менестрелями с арфою в руках она приходила к дверям дворца и садилась за стол с владетелем замка; показать вам потом, как она отправилась в крестовые походы и возвращалась с первыми христианскими баронами; как она, сидя у готического очага, веселым напевом о султане Саладине забавляла досуги благородных дам. Потом я бы должен был представить вам ее, когда, нежная и воинственная, с Агнесою Сорель, она научала Карла VII, каким образом возвращают королевства; как она, насмешливая и щеголеватая, писала с Франциском I веселые куплеты на стеклах Шамбора, потом вдруг, фанатическая и возмутительная, с крестом Лиги или под знаменем Фронды, нападала на королей, низвергала министров, переменяла парламенты; и, может быть, желая изобразить историю песни, я бы неожиданно рассказал вам всю историю Франции.

В знаменитой речи, исполненной тонких и остроумных мыслей, один из первых наших драматических авторов доказывал здесь, что если бы какой-нибудь ужасный переворот истребил с лица земли все исторические документы, оставив невредимым лишь собрание наших комедий, то это собрание заменило бы все летописи. Литературная свобода Академии позволит ли мне не вполне разделять это мнение? Я не думаю, чтоб комический автор был историком: это не его назначение; не думаю, чтобы в самом Мольере можно было найти историю нашей страны. Комедия

Мольера говорит ли нам что-нибудь о великих происшествиях века Людовика XIV? Есть ли в ней хотя слово о заблуждениях, слабостях и ошибках великого короля! Говорит ли она об уничтожении Нантского эдикта? Нет, мм. гг., точно так же как комедия времен Людовика XV молчит о Parc-au-cerf, комедии времен империи — о страсти к завоеваниям! Если прибавим к этому новую невероятность (меня так часто упрекали в этом недостатке, что мне позволено будет прибавить еще тысячу первую в пользу истины) и если в свою очередь предположим, что, подобно тому наместнику Магомета, который сжег всю библиотеку александрийскую и сохранил только книгу пророка, найдется в наши времена какой-нибудь победитель калмыцкий или татарский, любитель веселостей, пристрастный к песням, как Омар к Алкорану, сожжет все исторические книги, а пощадит только собрание наших песен разного рода и водевилей, напечатанных доныне, посмотрим, нельзя ли будет с пособием одних этих документов восстановить главнейшие факты нашей истории? Быть может, я заблуждаюсь; быть может, это один только парадокс, но мне кажется, что с помощию этого веселого архива, этих поющих летописей, легко было бы отыскать имена, числа, происшествия, забытые комедиею, или исторические лица, пощаженные ею.

Подобная верность невозможна для комической музы, я знаю; я это говорю ей не в укоризну, а рассказываю просто, как есть дело; я уверен, что ни Людовик XIV, ни Людовик XV, ни Наполеон не потерпели бы на театре великих поучений истории и не позволили бы вывести на сцену то, что бы до них близко касалось. Нынешний комический автор в сем отношении не имеет больше преимущества перед своими предшественниками. У нас раздражительность партий заступила место раздражительности правительства; в наш век свободы мы не вольны изображать на сцене всё смешное: всякая партия защищает своих и позволяет занимать смешное лишь у соседа; самое книгопечатание, эта неограниченная власть свободных правлений, книгопечатание хочет говорить правду всему свету, но не любит, чтоб говорили ему истину. Я здесь, повторяю, не хочу укорять комедию, но, напротив, оправдать ее и доказать, что от нее требовали невозможного, требовали, чтоб она заступила место истории.

По крайней мере, комедия нам описывает нравы?.. Справедливо! Согласен, что она ближе к точности и истине нравоописательной, нежели к исторической; но со всем тем, исключая некоторые, весьма редкие произведения (как, например, «Туркарет», образец точности), мы находим театр, по какой-то довольно странной судьбе, почти всегда в прямом противоречии с обществом. Например, мм. гг., касательно нравов? Разберем эпоху регентства! Если комедия выражает постоянно общество, то комедия тех времен должна бы нам представить странные вольности и веселые сатурналии. Совсем нет; она холодна, точна, взыскательна и благопристойна. Такова комедия Детуша, она не смеется или смеется очень мало, комедия Лашоссе плачет. Под скиптром Людовика XV, или лучше под скиптром Вольтера, в ту минуту, когда разрешались эти великие вопросы, изменившие все общественные мысли и в быстром движении увлекавшие осьмнадцатое столетие, столь полное настоящим и будущим, мы видим на театре Дора, Мариво, Де Лану, т. е. остроумие, романизм и пустоту.

Во время самых жестоких периодов революции, когда трагедия, как говорили, рыскала по улицам, что представлял театр? Сцены человеколюбивые и чувствительные, как например: «Женщины», «Сыновняя Любовь», а в январе 93 года, во время суда над Людовиком XVI, давали «Прекрасную Мызницу», комедию пастушескую и чувствительную. Во время империи, в царство славы и побед, комедия не была победительницею и воинственною! При восстановлении Бурбонов, правлении мирном, лавры, военные мундиры завладели сценою; Талия надела эполеты! А в наши времена? В эту самую минуту, в которую я говорю с вами, вообразите иностранца, нового Анахарсиса, упавшего с неба посреди нашей образованности и отправляющегося в театр, чтоб узнать точное и положительное состояние парижских нравов в 1835-м году? Как бы испугался этот почтенный иностранец! Он не посмел бы показаться в улицах Парижа невооруженный, не посмел бы сделать шага, чтоб не встретить убийства, прелюбодеяния, кровосмешения; а всё от того, что его уверили, будто театр есть выражение общества.

И если б потом кто-нибудь взял этого иностранца за руку и ввел в наши гостиные, в наш семейный круг, с каким бы удивлением увидел он, что ни в одну эпоху, может быть, нравственность наша не была так хороша, как теперь; что кроме некоторых исключений, о которых говорят только по их редкости, никогда еще под домашнею кровлею не жило столько добродетелей. Если б ему сказать, что прежде высшие классы подавали пример порока, что часто сам двор ничтожил народную нравственность; если сказать ему, что теперь добродетель нисходит к нам свыше и отражается от престола на обществе,— то, помирившись с этим обществом, которое он обвинял по незнанию, иностранец с радостию сказал бы: меня обманули; слава богу, театр не всегда служит выражением современных нравов!

Каким же образом растолковать, мм. гг., это постоянное противоречие между театром и обществом? Случай ли этому причиною или скорее современный вкус и наклонности, отгаданные и разработанные авторами? Вы идете в театр не за нравоучением или исправлением, а для развлечения и удовольствия. Вас увеселяет более вымысел, нежели истина! Представляя то, что вы имеете ежедневно перед глазами, нельзя вам понравиться; но то, чего не видите вы в обыкновенной жизни, всё чрезвычайное, романическое, вот что вас очаровывает,— теперь это и представляют вам.

Так, во дни ужаса революции, именно потому, что вашим глазам больно было смотреть на кровавые сцены и грабительства, вы были счастливы, находя в театре человеколюбие и благотворительность, которые тогда были вымыслами...

Точно так и во времена восстановления Бурбонов вам напоминали те дни, когда вы давали Европе законы — и прошедшее утешало вас в настоящем.

Следственно, театр весьма редко бывает выражением современного общества: по крайней мере, как мы видели, он часто выражает противоположное, так что должно искать происшествия в том именно, о чем театр молчит. Комедия изображает страсти всех времен, как изображали их Мольер, Данкур и Пикар, с такою веселостию, как Колен д'Арлевиль, с такою прелестью, как Андриё; она описывает редкие исключения и минутные странности; она

едва приподнимает завесу и показывает нам только уголок общества; но нравы целого народа, целые эпохи, изящные или грубые, развратные или набожные, кровавые или героические, кто их нам откроет? Хороши они были или дурны, их вы найдете, мм. гг., в тех летописях, о которых я вам сейчас говорил:

Ces peintures naïves,
Des malices du siècle immortelles archives.

Песня! она не имела никакой выгоды скрывать истину, а появлялась, напротив, именно для того, чтоб высказать ее! Итак, мм. гг.,— пробежим снова те эпохи, о которых мы говорили, начнем с регентства, так мало сохраненного комическими авторами того времени, и прибегнем к песенникам: не будут ли они более верными живописцами общества? Колле, например:

Chansonniers, mes confrères,
Le cœur, l'amour sont des chimères.
Dans vos chansons légères
Traitez de vieux abus
Ces vertus
Qu'on n'a plus.

Не бойтесь, мм. гг., я вам прочту только один куплет и то отрывками:

L'amour est mort en France,
C'est un
Défunt
Mort de trop d'aisance!
. . . .
Et tous ces nigauds
Qui font des madrigaux
Supposent à nos dames
Des cœurs.
Des mœurs,
Des vertus, des âmes!
Et remplissent de flammes
Nos amants presque éteints,
Ces pantins
Libertins!

Не видите ли вы, мм. гг., всего регентства в этих стихах? А что было бы, если б я прочитал всю песню до конца!

Хотите ли узнать общество осьмнадцатого столетия? Это общество щегольское и остроумное, рассудительное и скептическое, которое верило не в бога, а в наслаждения? Хотите ли иметь понятие о его правах, философии и маленьких ужимках? Не спрашивайте комедию — она вам ничего не скажет! Прочтите песни Вуазенона, Буфлера и кардинала Берни.

Пойдемте далее, к тем временам, когда испуганной песне приходилось изломать свирель свою: она и тут не молчит, не перестает описывать нравов своего времени; она неотлучна, как верное эхо, при всякой громкой эпохе принимает звуки и передает их нам. Так, в нашу революцию, разделяющуюся на две различные половины, период ужасов изображен в безбожных песнях

93 года, период геройства и славы в воинственных гимнах, которые повели наших воинов на завоевание Европы.

Я не говорю вам о славе империи — она имела историографами всех песенников той эпохи, начиная с Дезожье, первого песенника всех времен, который производил песни, как Лафонтен басни!

Что касается до времен восстановления Бурбонов, то не спрашивайте о них наши театры, не ищите их в столбцах Монитёра: для этого у нас есть песни Беранже.

В конце речи своей остроумный оратор представляет песню во всегдашнем борении с господствующею силою: он припоминает, как она воевала во времена Лиги и Фронды, как осаждала палаты кардиналов Ришелье и Мазарина, как дерзала порицать важного Людовика XIV, как осмеивала его престарелую любовницу, бесталанных министров и несчастных генералов; как при умном и безнравственном регенте и при слабом и холодном Людовике XV нападения ее не прекратились; как, наконец, в безмолвное время грозного Наполеона она одна возвысила свой голос, и приводит в пример известную песню Le roi d'Yvetot.

Il était un Roi d'Yvetot,
Peu connu dans l'histoire,
Se levant tard, se couchant tôt,
Passant le jour à boire,
Et couronné par Jeanneton
D'un simple bonnet de coton etc.

Признаюсь: вряд ли кому могло войти в голову, чтоб эта песня была сатира на Наполеона. Она очень мила (и чуть ли не лучшая изо всех песен хваленого Béranger), но уж конечно в ней нет и тени оппозиции.

Ответ г. Вильмена,
непременного секретаря Академии

М. г.!

Ваша речь имела успех такой же, как и ваши комедии; здесь встречают вас те же рукоплескания, которые раздаются при вашем имени на всех театрах Франции и почти всей Европы. Академия это предвидела: она была уверена, что избрать вас было делом справедливости и народности. Во всех родах литературы всякая прочная слава дает право на академическое звание; никому не может быть дозволено в продолжение 20 лет безнаказанно морить со смеху публику.

Напрасно, м. г., следуя законам официальной скромности, вы бы стали унижать пред нами постоянные ваши успехи, опираясь на легкую форму ваших сочинений; всё дело в произведении вкуса не в предмете и не в форме, но в таланте. Есть песни, которые гораздо лучше эпической поэмы. Знаменитый академик, которого

вы теперь занимаете место и которого вы так удачно характеризовали, после великих трагических произведений отличился особенно своею оригинальностию в эпиграммах, названных им баснею. Этот человек с умом и талантом умел бы оценить всю творческую силу, которая видна в бесчисленных и разнообразных ваших комических произведениях. Он бы не упрекнул вас ни за многих ваших сотрудников, ни за многие прелестные ваши произведения, которые принадлежат не вам одному, но которые без вас никогда бы не существовали. Арно знал, что вкус, который умеет выбирать и совершенствовать, есть важная часть изобретения, что мысль вполовину принадлежит тому, кто умеет придать ей настоящую цену. Он с радостию бы принял предложенного вами ему сотрудника — Наполеона, которого краткую и страшную пиитику вы так удачно изобразили.

Только пятый акт «Венецианцев» они создали вместе. Если это сообщество не было деятельнее, то виною тому не генерал Бонапарт, который в первом жару молодости и славы, между победой над Италией, управлением Францией, завоеванием Египта, занимался всем, думал обо всем вдруг, и не знал, куда деваться с своими мыслями и изобретениями в ожидании императорского престола. Арно привязался к нему с похода в Италию, со времени трагедии «Оскар», которую послал он героическому обожателю Оссиана. Вскоре потом он принял участие в египетской экспедиции и последовал за кесарем в Александрию. Во время переезда на адмиральском корабле «Восток», который нес в себе столько ученых и военных знаменитостей, Арно беспрестанно беседовал с генералом. Говорили о войне, об искусствах, о свободе, о завоевании всего света, о литературе, о трагедии. Бонапарт часто возвращался к этому последнему предмету, для которого он составил себе целую теорию. Политика, общественная польза — вот что, по его мнению, могло быть единственными предметами трагедии; где дело шло о любви, о сердечных борениях, не исключая и «Заиры», всё это он причислял к комедии. Арно противился этим нововведениям и однажды после долгого спора, когда генерал сказал ему: «Как бы то ни было, но мне хочется сочинить с вами вместе трагедию».— «Охотно,— отвечал Арно,— тогда, когда мы сочиним вместе план сражения!»

Несмотря на эту короткость в обращении, которой бы многие позавидовали, несмотря на доверчивость счастливой звезде завоевателя, Арно не окончил путешествия. Долг дружбы задержал его в Мальте при начале завоевания. Но он был из первых между теми, которые призывали героя из Египта и приготовляли к тому общее мнение.

18 брюмера Арно находился при Бонапарте одним из ревностных участников военного переворота, который основал империю, и находился при нем без всяких личных расчетов. Литератор в полном смысле слова, несколько беспечный и гордый, Арно не заботился более ни о своей будущности, ни о благосклонности своего покровителя. Сперва остался он в Мальте, а после вдали от политики и императорского двора принял на себя скромную и важную должность, где его влияние было всегда правосудно и благодетельно.

Свободные часы его были все посвящаемы литературе. Трагический автор школы Дюсиса в произведениях своих, он прибавил

к древним формам новую степень ужаса, а иногда и простоты. Страстный обожатель Наполеона, он не воспевал его царствования. Великие властители, потрясающие сильно воображение народов, пробуждают его у поэтов уже долго после своей кончины. Одаренный умом колким и насмешливым, способным более к коварным намекам басни, нежели к панегирику, Арно выхвалял Наполеона лишь после его падения, и то важным языком истории. Его пристрастие было благоговение к гению и к несчастию; оно вдохнуло ему много красноречивых страниц: он заплатил изгнанием за право написать их. Писатель мирный, враг всех общественных переворотов, он был увлечен бурей, сокрушившей династию.

По этому случаю, в продолжение некоторого времени, он мог не принадлежать более этой Академии, где он имел столько прав на свое место и куда всё его призывало. Он даже возвратился к нам при том правлении, которое так несправедливо изгнало его. Во второй раз услышал он здесь похвалы трудам, прославившим жизнь его, и таланту, которому никакая революция не могла дать отставки. Ему прочли те стихи, которыми означен был первый день его изгнания; и он нашел в рукоплесканиях и в живом соучастии публики сладкую награду своему благородному характеру.

Этот характер вместе с его славою дал ему право на место, требовавшее доверенности, которое опустело между нами после умного и почтенного *Андриё,*— место, которое требует бескорыстной любви к словесности, призывает иногда к защите ее достоинства и должно быть нераздельно соединено с теми благородными чувствами, которые она внушает душе человека.

Как должны мы сожалеть, что внезапная смерть прекратила эту жизнь в полной ее силе и похитила Арно посреди недоконченных трудов его! Записки, писанные им с таким остроумием и беспечностию, составляют любопытный памятник его старости и могут выдержать эту неблагодарную и грубую критику, которая всегда ожидает последних произведений художника и поэта. Арно, как умный и нечестолюбивый зритель, замешанный в движения века, не умел ими пользоваться, но видел много вещей и всегда умел оценять их с тою сильною прямотою совести, от которой яснеет самый расчет разума. Ни собственная выгода, ни политические связи не имели влияния на верность его воспоминаний, на его нравственный инстинкт. Некоторые несчастия прежней королевской династии, может быть, нигде не были описаны с таким живым участием, как в книге Арно, изгнанного из Франции в 1815 году.

Это происходило от того, что чувства справедливости были у него врожденными; и его строки хотя носят иногда печать современных страстей, но дышат всегда откровенностию, которой нельзя не уважать.

Вы поняли и достойно оценили талант вашего предшественника; но ваше поприще, м. г., счастливое и легкое, не может сравняться с его поприщем. Вы, я знаю, уважаете музу науки, ученые труды, успехи, дорого купленные и добываемые с боя. Вы всё это знаете по слухам; для вас литература с молодости была ряд наслаждений славою, богатством. Это весьма редкая участь, пример опасный, быть может; но его оправдывают ваш талант и характер.

Не бойтесь, м. г., я не буду долго останавливаться на этой счастливой участи; но позвольте мне найти причину ее в вопросе более общем, который вы сейчас предложили себе и разрешили умно и удачно, но, может быть, не совсем справедливо. Тайна ваших постоянных успехов заключается, я думаю, в том, что вы счастливо разгадали дух нашего века; вы создали род комедии, с которою он хорошо сроднился, которая походит на него, комедию живую, развязную, быструю; не обширную изящную картину, которую изучить нам недостает времени, а ряд портретов выразительных, которые блеснут, исчезнут, но не забываются. Итак, не разделяя мнения, которое вы поддерживаете, не думая, подобно вам, что театр по существу своему должен быть в противоречии с нравами, противоположным полюсом общества, что он не должен походить на публику, чтобы нравиться публике, я, признаюсь вам, придерживаюсь второго мнения и могу опровергнуть ваши доказательства вашими же комедиями.

Без сомнения, одна комедия не составляет полной истории народа; но она объясняет, пополняет эту историю. Она ничего не говорит о политических происшествиях, по крайней мере со времен Аристофана (или, если хотите, со времен «Бертрана и Ратона»), но она свидетельница духа и нравов народа, у которого родились эти происшествия. Не называя никого по имени, она пишет летопись каждого. Узнали ли б вы совершенно век Людовика XIV без Мольера? Знали ли бы вы, что́ был тогда двор, город и особенно Тартюф? Нет ни одной пьесы Мольера, не исключая и фантастической драмы «Дон Жуана», которая бы не показала вам какой-нибудь любопытной стороны народного духа в XVII столетии, не дала бы вам понятия о движении в нравах и не открыла б вам брожения мнений при мнимой тишине этой величественной эпохи?

Впоследствии, м. г., эта мелочная, жеманная драма Дората, Лану и даже Мариво, которого вы уже слишком смешиваете с ними, уверены ли вы, что она в сильной противоположности с своим временем? XVIII-е столетие, столь полное настоящим и будущим, выражаясь вашими словами, XVIII-е столетие не походило ли в праздности высших классов, в злоупотреблениях ума, в утонченном разврате нравов на натянутую драму, которой оно рукоплескало? И даже не найдем ли мы и в других комедиях того времени, еще более слабых, верного изображения нравов и, может быть, достойного наблюдений историков? Что же касается до хороших комедий той же эпохи, то они говорят много, и даже слишком много; например, «Свадьба Фигаро» есть бесценное сведение для истории.

Я боюсь, м. г., следуя за вами далее, броситься ради комедии в летописи нашей революции: но и в эту эпоху, этот сантиментальный набор слов, это идолопоклонство *старости, добродетели, детству,* выводимое на театре во время политических ужасов, не было ли также чертою нравов? Тот же самый наглый обман не повторялся ли в речах трибуны и в программах народных праздников, где священные слова человечества смешивались с гнусными преступлениями; — это были проповеди и гимны новой *Лиги.*

Мне кажется, м. г., что театр, хорош ли он или дурен, естествен ли он или натянут, всегда, как прежде говорили и доказывали, театр есть драгоценный свидетель для истории нравов и мнений.

В нравах народа заключены его предрассудки, его воспоминания, его сожаления; для этого он иногда ходит в театр искать того, что не выражает настоящего его положения, но говорит ему о том, чего он желает или что им потеряно. И потому я скажу, м. г., пользуясь вашим же примером: если в мирные времена *восстановления* ваши отставные полковники, ваши заслуженные храбрые солдаты были в такой милости у публики, то не от того, что эта картина противоречила духу времени, но, напротив, потому, что льстила ему, лаская обиженное народное самолюбие; проницательный политик мог бы открыть в этих представлениях, принимаемых толпою с восторгом, страсть, не потушенную в течение 15 лет и вдруг вспыхнувшую.

Да, м. г.! в ваших же произведениях можно найти эту современную точность, которую вы, отняв у комедии, присвоили одной песне, и сделать вас историком против вашей воли. Впрочем, в этом деле вы приняли все возможные предосторожности: вы соединили песню с комедией, и что ни говори о вашей литературной теории,— со всех сторон вас ожидают рукоплескания.

Я признаюсь, что эта теория делается весьма правдоподобною в последних примерах, вами приведенных. В наших глазах, почти в то самое мгновение, когда я говорю, исчезло было это соотношение, это сходство театра с публикою, или, лучше сказать, казалось, что один из них хотел быть развратителем другого. Но в этом отзыве общественному перевороту, в этом бесплодном брожении возмутительных голов, нет ли чего такого, чем бы можно было изъяснить эту потребность сильных потрясений, столь противоположную нашим семейственным нравам, эту потребность, редко удовлетворенную на театре и которая бы уничтожилась сама собой, скукою публики, даже без пособия цензуры? Вы сами, милостивый государь, можете судить лучше других об этом, вы не заражены эпидемиею преувеличения, этой страстью к ложному, вы умеете на свободе соединять остроумие с здравым смыслом и не нуждаетесь в неблагопристойных сценах для драматического эффекта.

Долгие успехи научили вас этому трудному искусству, от которого вы редко отступали, несмотря на огромное количество пьес, писанных наскоро. Аристократ Буало говорил:

Il faut, même en chanson, du bon sens et de l'art.

Этот совет, хотя, кажется, может быть ненужным и лишним в наше время, но тем не менее может быть применен с точностию ко всем родам песни на наших театрах. Ни легкость предмета, ни свобода формы, ни шалость ума никогда не могут избавить автора от этих двух старинных условий, требуемых Буало: *здравого смысла* и *изящества;* и если бы даже они перестали быть принадлежностию больших произведений, то всё бы надобно было требовать их соблюдения от водевиля и комической оперы.

Так в прошедшем столетии человек с необработанным талантом, Седен, с помощию здравого смысла и искусства нашел новое место на наших театрах и оставил незабытые произведения. Вам, м. г., приготовленному с ранних дней изучением литературы, вам предстояло менее усилий и затруднений. К той оригинальности, без которой ни один писатель не может занять сильно пуб-

лики, вы присоединили изучение хороших образцов: ваши первые произведения, по-видимому, импровизированные посреди юной, беспечной веселости, всегда носили на себе отпечаток искусства и были написаны с такою же быстротою, как и со тщанием.

Вы ограничивали ваш талант тесною и легкою рамкою. Оригинальные характеры, свежие, девственные представления нравов — уже были похищены у вас прежними мастерами. Бросая наблюдательный взгляд на наше общество, вы не нашли в нем уже тех резких образов, той борьбы между состояниями, того особенного характера разных классов, столь удобных для высшей комедии; и, несмотря на счастливые примеры, вы не решились испытать свою силу в этой изящной сфере искусства. Вас прельщал успех более легкий и скорый. Вместо того, чтоб сосредоточить вашу комическую силу на каком-нибудь предмете, требующем долгого размышления, вы раздробили ее на тысячу мелких блистательных очерков, возобновили ту изобретательную плодовитость испанских поэтов, которых произведения и успехи считались сотнями. Посреди общества, подведенного под один и тот же уровень, но общества деятельного, беспокойного, вы переносили на сцену его мнения, моды, причуды по мере того, как они появлялись пред вами.

Когда трудно было прямо ухватиться за минутную истину, вы часто искусно добирались до ней со стороны; для этого брали, вместо главной черты, мелочные оттенки и умели заставлять публику рукоплескать даже и тому, о чем вы молчали. Многие мелкие пьесы Мольера ценятся знатоками наравне с его большими произведениями. Вы умели быть оригинальным, подражая этим небольшим пьескам; и часто воспоминание или противоположная сторона какой-либо мысли великого поэта подавали вам средство написать целую новую пьесу.

Но особенно в наше время под парижским горизонтом, в его шумной жизни, в его делах и удовольствиях, на бирже, в литературе, вокруг себя, в происшествиях вчерашнего вечера, вы умели схватить предметы и освятить их вдохновением. Ваш театр приблизился к тем *Пословицам* гостиных, где общество обрисовывает само себя и говорит своим ежедневным языком. Но, пока вы писали под диктовку публики, возвращая ей, что она вам давала, сколько удачных и остроумных картин, сколько быстрых и живых разговоров обличали ваше участие в этой общей работе!

Вот причина, м. г., почему ваши пьесы забавляют всю Францию, переходят за границу и там, переведенные, переделанные, сокращенные, увеличенные, по вкусу разных народов, поддерживают все театры от юга до севера. Везде хохотали, везде с жадностию хватались за ваши произведения. Это служит доказательством, что не костюм и минутные намеки составляют главное в этих совершенно парижских пьесах,— но что в них много истины и много веселости общечеловеческой.

Мне помнится, один знаменитый немецкий критик, слишком строгий к нашим классическим поэтам, может быть, умом и знанием завлеченный в невольный парадокс, предпочитал в полном смысле «Просителя» «Мизантропу». Я уверен, что вы сами не согласны с этим мнением; но заблуждение, в которое вы ввели такого критика своею остроумною комедиею, служит новым доказательством в вашу пользу; такое заблуждение было бы невозможно,

если бы не было много ума и много жизни в этих легких сценах, которые не только играют, но на которые пишут комментарии за границей. Не повторяя слов критика, я не могу, однако же не обратить внимания на особенное искусство, с которым ведены ваши важнейшие пьесы, на быстрое и свободное движение вашей драмы, на верность производимых ею впечатлений (хотя разговор и бывает иногда слишком украшен или слишком мелочен), на вашу тайну обрисовывать предмет во всех возможных видах, на ваш разговорный слог, то грациозный, то простой, то трогательный и всегда остроумный.

Какое расстояние от «Дипломата» до «Валерии», от «L'intérieur d'un Bureau» до «Michel et Christine»! Какое разнообразие, иногда какое остроумное нравоучение, в многочисленных пьесах, на предмет, профанированный старинным театром: на брак! Одна из них, «Женитьба по расчету» (Le Mariage d'argent), есть настоящая комедия в пяти актах, без куплетов, без *сотрудников,* поддерживаемая драматическою целостью, единством характеров, истиною разговора, силою оставляемого ею в душе впечатления. Проза не вредит этому творению, так же как и прекрасным комедиям Лесажа и Пикара.

Не надобно спрашивать, м. г., зачем вы не пытались чаще возобновлять эту высшую комедию, которая так удалася вам; у вас не было недостатка ни в таланте, ни в источниках смешного. Даже это поприще расширилось при действии наших общественных переворотов, и вам было возможно испытать свои силы над политическою комедиею, этою крайнею вольностию театрального искусства. Между большим числом ваших успехов замечательны «Bertrand et Raton», сколько по новости предмета, столько и по истине подробностей. Эта пьеса сама собою имела достоинство случайное, оцененное публикою, для которой потребность порядка была чувством народным. Она осмеивала мятеж и живо изображала, какое искусственное волнение и какие мелочные причины могут иногда возмущать спокойствие государства.

Впрочем, м. г., это поприще политической комедии, на котором вы сделали несколько шагов, скоро закрылось, и вы об этом не сожалеете. Вашему таланту, остроумному и разнообразному, не нужно отыскивать смешное в раздорах партий; вы и без этого средства умеете возбудить внимание и покупать победу. Вы еще молоды: публика ожидает от вас многого. Обратится ли ваш талант к успехам более редким или возобновит прежние, академия во всяком случае не будет сожалеть о своем выборе. Ибо честь и жизнь литературного общества тогда только возможны, когда оно привлекает к себе все роды знаменитостей, узаконенных публикою. Это различные формы, в которых является состояние искусства в какой-либо нации. Не все приходят вдруг и не всякий принимает в этом деле одинакое с другим участие; строгому вкусу, глубокой учености должно быть место возле смелого таланта; возле людей, посвятивших себя словесности для самой словесности, должны быть люди, для которых она лишь средство действия на трибуне, в суде и в театре. Все эти различные роды соприкасаются один к другому и соединяются; сие-то самое смешение и составляет характер академии. Каждая наша потеря, как и всякий наш выбор, более и более утверждают нас в этой мысли. Некогда из среды нас был похищен оратор, которого важное,

возвышенное слово, громко прозвучав в национальных собраниях, тихо раздавалось в наших мирных беседах, муж доблестный и красноречивый, сохранивший всеобщее уважение и в отдалении от дел, и даже при кормиле правления. Кто возвратит нам Лене? *

По крайней мере да огласятся эти стены нашим сетованием и да простят нам, что мы поспешили воспользоваться этим случаем, чтобы гласно принести дань нашего благоговения на его смиренную и еще свежую могилу.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗАПИСКАМ Н. А. ДУРОВОЙ

Modo vir, modo foemina.
Ov.

В 1808 году молодой мальчик, по имени Александров, вступил рядовым в Конно-Польский Уланский полк, отличился, получил за храбрость солдатский георгиевский крест и в том же году произведен был в офицеры в Мариупольский Гусарский полк. Впоследствии перешел он в Литовский Уланский и продолжал свою службу столь же ревностно, как и начал.

По-видимому всё это в порядке вещей и довольно обыкновенно; однако ж это самое наделало много шуму, породило много толков и произвело сильное впечатление от одного нечаянно открывшегося обстоятельства: корнет Александров был девица Надежда Дурова.

Какие причины заставили молодую девушку, хорошей дворянской фамилии, оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тайные, семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная, неукротимая склонность? Любовь?.. Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время сильно занимали общество.

Ныне Н. А. Дурова сама разрешает свою тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем издателями ее любопытных записок. С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумле-

* Французская академия на место умершего Лене выбрала г. Дюпати мимо представлявшихся кандидатами Балланша, Виктора Гюго и Моле. Академия имела на то, вероятно ей известные, причины. Мы же не знаем, что такое г. Дюпати.

нием увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным. Надежда Андреевна позволила нам украсить страницы «Современника» отрывками из журнала, веденного ею в 1812—13 году. С глубочайшей благодарностию спешим воспользоваться ее позволением.

Издатель.

«ИСТОРИЯ ПОЭЗИИ» С. П. ШЕВЫРЕВА

«История поэзии» явление утешительное, книга важная!

Россия по своему положению, географическому, политическому etc. есть судилище, приказ Европы. Nous sommes les grands jugeurs. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны — примеры тому.

Критика литературная у нас ничтожна: почему? Потому, что в ней требуется не одного здравого смысла, но и любви и науки. Взгляд на нашу критику — Мерзляков — Шишков — Дашков — etc.

Шевырев при самом вступлении своем обещает не следовать ни эмпирической системе французской критики, ни отвлеченной философии немцев (стр. 6—11). Он избирает способ изложения исторический — и поделом: таким образом придает он науке заманчивость рассказа.

Критик приступает к истории западных словесностей.

В Италии видит он чувственность римскую, побежденную христианством, обретающую покровительство религии, воскресшую в художествах, покорившую своему роскошному влиянию строгий кафолицизм и снова овладевшую своей отчизною.

В Испании признает он то же начало, но встречает мавров и видит в ней магометанское направление (?).

Оставляя роскошный юг, Шевырев переходит к северным народам, рабам нужды, пасынкам природы.

В туманной Англии видит он Нужду, развивающую Богатство, промышленность, труд, изучение, литературу без преданий etc., вещественность.

В германских священных лесах открывает он уже то стремление к отвлеченности, к уединению, к феодальному

разъединению, которые и доныне господствуют и в политическом составе Германии, и в системах ее мыслителей, и при дворах ее князьков, и на кафедрах ее профессоров.

Франция, *средоточие Европы,* представительница жизни общественной, жизни всё вместе эгоистической и народной. В ней наука и поэзия — не цели, а средства. Народ (der Herr Omnis) властвует со всей отвратительной властию демократии. В нем все признаки невежества — презрение к чужому, une morgue pétulante et tranchante etc.

Девиз России: *Suum cuique.*

МНЕНИЕ М. Е. ЛОБАНОВА О ДУХЕ СЛОВЕСНОСТИ, КАК ИНОСТРАННОЙ, ТАК И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

(Читано им 18 января 1836 г. в Императорской Российской академии)

Г-н Лобанов заблагорассудил дать своему мнению форму неопределенную, вовсе не академическую: это краткая статья, вроде *журнальных отметок,* помещаемых в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“». Может статься, то, что хорошо в журнале, покажется слишком легковесным, если будет произнесено в присутствии всей академии и торжественно потом обнародовано. Как бы то ни было, мнение г. Лобанова заслуживает и даже требует самого внимательного рассмотрения.

«Любовь к чтению и желание образования (так начинается статья г. Лобанова) сильно увеличились в нашем отечестве в последние годы. Умножились типографии, умножилось число книг; журналы расходятся в большем количестве; книжная торговля распространяется».

Находя событие сие *приятным для наблюдателя успехов в нашем отечестве,* г. Лобанов изрекает неожиданное обвинение.

«Беспристрастные наблюдатели,— говорит он,— носящие в сердцах своих любовь ко всему, что клонится к благу отечества, преходя в памяти своей всё, в последние времена ими читанное, не без содрогания могут сказать: есть и в нашей новейшей словесности некоторый отголосок безнравия и нелепостей, порожденных иностранными писателями».

Г-н Лобанов, не входя в объяснение того, что разумеет он под словами *безнравие* и *нелепость*, продолжает:

«Народ заимствует у народа, и заимствовать полезное, подражать изящному предписывает благоразумие. Но что ж заимствовать ныне (говорю о чистой словесности) у новейших писателей иностранных?

Они часто обнажают такие нелепые, гнусные и чудовищные явления, распространяют такие пагубные и разрушительные мысли, о которых читатель до тех пор не имел ни малейшего понятия, и которые насильственно влагают в душу его зародыш безнравия, безверия и, следовательно, будущих заблуждений или преступлений.

Ужели жизнь и кровавые дела разбойников, палачей и им подобных, наводняющих ныне словесность в повестях, романах, в стихах и прозе, и питающих одно только любопытство, представляются в образец для подражания? Ужели отвратительнейшие зрелища, внушающие не назидательный ужас, а омерзение, возмущающее душу, служат в пользу человечеству? Ужели истощилось необъятное поприще благородного, назидательного, доброго и возвышенного, что обратились к нелепому, *отвратному* (?), омерзительному и даже ненавистному?»

В подтверждение сих обвинений г. Лобанов приводит известное мнение эдимбургских журналистов о *нынешнем состоянии французской словесности*. При сем случае своды Академии огласились собственными именами Жюль Жанена, Евгения Сю и прочих; имена сии снабжены были странными прилагательными... Но что́, если (паче всякого чаяния) статья г. Лобанова будет переведена и сии господа увидят имена свои, напечатанные в отчете Императорской Российской академии? Не пропадет ли втуне всё красноречие нашего оратора? Не в праве ли будут они гордиться такой честию неожиданной, неслыханной в летописях европейских академий, где доселе произносились имена только тех из живых людей, которые воздвигнули себе вековечные памятники своими талантами, заслугами и трудами? (Академии безмолвствовали о других.) Критическая статья английского аристарха напечатана была в журнале; там она заняла ей приличное место и произвела свое действие. У нас *Библиотека* перевела ее, и хорошо сделала. Но тут и надлежало остановиться. Есть высоты, с которых не должны падать сатирические укоризны; есть звания, которые налагают на вас обязанность умеренности и благоприличия, независимо от надзора цензуры, *sponte sua*, *sine lege*.

«Для Франции,— пишет г. Лобанов,— для народов, отуманенных гибельною для человечества новейшею философиею, огрубелых в кровавых явлениях революций и упавших в омут душевного и умственного разврата, самые отвратительнейшие зрелища, например: гнуснейшая из драм, омерзительнейший хаос ненавистного бесстыдства и кровосмешения, „Лукреция Борджиа", не кажутся им таковыми; самые разрушительнейшие мысли для них не столь заразительны; ибо они давно ознакомились и, так сказать, срослись с ними в ужасах революций».

Спрашиваю: можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему? Народ, который произвел Фенелона, Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескьё, — который и ныне гордится Шатобрианом и Балланшем; народ, который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галламу противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Гизо; народ, который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия,— ужели весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большею частию молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей? Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображениям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине, о собственном убеждении. Но нравственное чувство, как и талант, дается не всякому. Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на *преступные* и на *не подлежащие никакой ответственности.* Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном; закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтоб он описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача, выхвалял счастие супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого. Вопреки мнению г. Лобанова, мы не думаем, чтоб нынешние

писатели *представляли разбойников и палачей в образец для подражания.* Лесаж, написав «Жилблаза» и «Гусмана д'Альфараш», конечно, не имел намерения преподавать уроки в воровстве и в плутнях. Шиллер сочинил своих «Разбойников», вероятно, не с тою целию, чтоб молодых людей вызвать из университетов на большие дороги. Зачем же и в нынешних писателях предполагать преступные замыслы, когда их произведения просто изъясняются желанием занять и поразить воображение читателя? Приключения ловких плутов, страшные истории о разбойниках, о мертвецах и пр. всегда занимали любопытство не только детей, но и взрослых ребят; а рассказчики и стихотворцы исстари пользовались этой наклонностию души нашей.

Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, *опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений.* * В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время революции литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого Восстановления (Restauration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствовав своенравным уставам, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону и забвение всяких правил стала почитать законною свободой. Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы *польза* есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть *идеал,* а не *нравоучение.* Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целию поэзии, т. е. идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели и наказание порока были непременным условием всякого их вымысла: нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие.

* Современник, № 1: «О движении журнальной литературы».

Таковой поверхностный взгляд на природу человеческую обличает, конечно, мелкомыслие и вскоре так же будет смешон и приторен, как чопорность и торжественность романов Арно и г-жи Котен. Покамест он еще нов, и публика, т. е. большинство читателей, с непривычки, видит в нынешних романистах глубочайших знатоков природы человеческой. Но уже «словесность отчаяния» (как назвал ее Гёте), «словесность сатаническая» (как говорит Соувей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр.,— эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики.

Французская словесность, со времен Кантемира имевшая всегда прямое или косвенное влияние на рождающуюся нашу литературу, должна была отозваться и в нашу эпоху. Но ныне влияние ее было слабо. Оно ограничилось только переводами и кой-какими подражаниями, не имевшими большого успеха. Журналы наши, которые, как и везде, правильно и неправильно управляют общим мнением, вообще оказались противниками новой романической школы. Оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к роду нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер Скотт служили им образцами, а не Бальзак и не Жюль Жанен. Поэзия осталась чужда влиянию французскому; она более и более дружится с поэзиею германскою и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики.

«Останавливаясь на духе и направлении нашей словесности,— продолжает г. Лобанов,— всякий просвещенный человек, всякий благомыслящий русский видит: в теориях наук — сбивчивость, непроницаемую тьму и хаос несвязных мыслей; в приговорах литературных — совершенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже буйство. Приличие, уважение, здравый ум отвергнуты, забыты, уничтожены. Романтизм, слово до сих пор неопределенное, но слово магическое, сделался для многих эгидою совершенной безотчетливости и литературного сумасбродства. Критика, сия кроткая наставница и добросовестная подруга словесности, ныне обратилась в площадное гаерство, в литературное пиратство, в способ добывать себе поживу из кармана слабоумия дерзкими и буйными выходками, нередко даже против мужей государственных, знаменитых и гражданскими и литературными заслугами. Ни сан, ни ум, ни талант, ни лета, ничто не уважается. Ломоносов слывет педантом. Величайший гений, оставивший в достояние России высокую песнь богу, песнь, которой нет равной ни на одном языке народов вселенной, как бы не существует для нашей словесности: он, как бы *бесталанный* (г. Лобанов,

вероятно, хотел сказать *бесталантный),* оставлен без внимания. Имя Карамзина, мудреца глубокого, писателя добросовестного, мужа чистого сердцем, предано глумлению...»

Конечно, критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Она редко сохраняет важность и приличие, ей свойственные; может быть, ее решения часто внушены расчетами, а не убеждением. Неуважение к именам, освященным славою (первый признак невежества и слабомыслия), к несчастию, почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удальством. Но и тут г. Лобанов сделал несправедливые указания: у Ломоносова оспоривали (весьма неосновательно) титло поэта, но никто, нигде, сколько я помню, не называл его *педантом:* напротив, ныне вошло в обыкновение хвалить в нем мужа ученого, унижая стихотворца. Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного. Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности.

Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века; но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно.

«Не стану говорить ни о господствующем вкусе, ни о понятиях и учениях об изящном. Первый явно везде и во всем обнаруживается и всякому известен; а последние так сбивчивы и превратны, в новейших эфемерных и разрушающих одна другую системах, или так спутаны в суесловных мудрованиях, что они непроницаемы для здравого разума. Ныне едва ли верят, что изящное, при некоторых только изменениях форм, было и есть одно и то же для всех веков и народов; что Гомеры, Данты, Софоклы, Шекспиры, Шиллеры, Расины, Державины, несмотря на различие их форм, рода, веры и нравов, все созидали изящное и для всех веков; что писатели, романтики ли они или классики, должны удовлетворять ум, воображение и сердце образованных и просвещенных людей, а не одной толпы несмысленной, пле-

щущей без разбора и гаерам подкачельным. Нет, ныне проповедуют, что ум человеческий далеко ушел вперед, что он может оставить в покое древних и даже новейших знаменитых писателей, что ему не нужны руководители и образцы, что ныне всякий пишущий есть самобытный гений,— и под знаменем сего ложного учения, поражая великих писателей древности именем тяжелых и приторных классиков (которые, однако ж, за тысячи лет пленяли своих сограждан и всегда будут давать много возвышенных наслаждений своему читателю), под знаменем сего ложного учения новейшие писатели безотчетно омрачают разум неопытной юности и ведут к совершенному упадку и нравственность и словесность».

Оставляя без возражения сию филиппику, не могу не остановиться на заключении, выведенном г. Лобановым изо всего им сказанного:

«По множеству сочиняемых ныне безнравственных книг, цензуре предстоит непреодолимый труд проникнуть все ухищрения пишущих. Не легко разрушить превратность мнений в словесности и обуздать дерзость языка, если он, движимый злонамеренностию, будет провозглашать нелепое и даже вредное. Кто ж должен содействовать в сем трудном подвиге? Каждый добросовестный русский писатель, каждый просвещенный отец семейства, а всего более Академия, для сего самого учрежденная. Она, движимая любовию к государю и отечеству, имеет право, на ней лежит долг неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло, где бы оно ни встретилось на поприще словесности. *Академия* (сказано в ее Уставе, гл. III, § 2, и во всеподданнейшем докладе § III), *яко сословие, учрежденное для наблюдения нравственности, целомудрия и чистоты языка, разбор книг, или критические суждения, долженствует почитать одною из главнейших своих обязанностей.* Итак, милостивые государи, каждый из почтенных сочленов моих да представляет для рассмотрения и напечатания в собрания сей Академии, согласно с ее Уставом, разборы сочинений и суждения о книгах и журналах новейшей нашей словесности и, тем содействуя общей пользе, да исполняет истинное назначение сего высочайше утвержденного сословия».

Но где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие, злонамеренные писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, на коих основано благоденствие общества? И можно ли укорять у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Мы знаем противное. Вопреки мнению г. Лобанова, цензура не должна *проникать все ухищрения* пишущих. «Цензура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора, *и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную*

сторону» (Устав о ценсуре, § 6). Такова была высочайшая воля, даровавшая нам литературную собственность и законную свободу мысли! Если с первого взгляда сие основное правило нашей ценсуры и может показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону. *Нелепое,* если оно просто нелепо, а не заключает в себе ничего противного вере, правительству, нравственности и чести личной, не подлежит уничтожению ценсуры. Нелепость, как и глупость, подлежит осмеянию общества и не вызывает на себя действия закона. Просвещенный отец семейства не даст в руки своим детям многих книг, дозволенных ценсурою: книги пишутся не для всех возрастов одинаково. Некоторые моралисты утверждают, что и восьмнадцатилетней девушке нельзя позволить чтение романов; из того еще не следует, чтоб ценсура должна была запрещать все романы. Ценсура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного, а не докучливая нянька, следующая по пятам шалливых ребят.

Заключим искренним желанием, чтобы Российская академия, уже принесшая истинную пользу нашему прекрасному языку и совершившая столь много знаменитых подвигов, ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных — наказывая одним ей приличным оружием: невниманием.

ВОЛЬТЕР

(*Correspondance inédite de Voltaire avec le président de Brosses, etc. Paris, 1836).*

Недавно издана в Париже переписка Вольтера с президентом де Броссом. Она касается покупки земли, совершенной Вольтером в 1758 году.

Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке

платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Но, кажется, одному Вольтеру предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую вас смеяться, и передать сделкам и купчиям всю заманчивость остроумного памфлета. Судьба на столь забавного покупщика послала продавца не менее забавного. Президент де Бросс есть один из замечательнейших писателей прошедшего столетия. Он известен многими учеными сочинениями,* но лучшим из его произведений мы почитаем письма, им написанные из Италии в 1739—1740 и недавно вновь изданные под заглавием «L'Italie il y a cent ans». В этих дружеских письмах де Бросс обнаружил необыкновенный талант. Ученость истинная, но никогда не отягощенная педантизмом, глубокомыслие, шутливая острота, картины, набросанные с небрежением, но живо и смело, ставят его книгу выше всего, что писано было в том же роде.

Вольтер, изгнанный из Парижа, принужденный бежать из Берлина, искал убежища на берегу Женевского озера. Слава не спасала его от беспокойств. Личная свобода его была не безопасна; он дрожал за свои капиталы, розданные им в разные руки. Покровительство маленькой мещанской республики не слишком его ободряло. Он хотел на всякий случай помириться с своим отечеством и желал (пишет он сам) иметь одну ногу в монархии, другую в республике — дабы перешагать туда и сюда, смотря по обстоятельствам. Местечко Турне (Tournoy) принадлежавшее президенту де Бросс, обратило на себя его внимание. Он знал президента за человека беспечного, расточительного, вечно имеющего нужду в деньгах, и вступил с ним в переговоры следующим письмом:

«Я прочел с величайшим удовольствием то, что вы пишете об Австралии; но позвольте сделать вам предложение, касающееся твердой земли. Вы не такой человек, чтоб Турне могло приносить вам доход. Шуэ, ваш арендатор, думает уничтожить свой контракт. Хотите ли продать мне землю вашу пожизненно? Я стар и хвор. Я знаю, что дело это для меня невыгодно; но

* Histoire des navigations aux terres australes; Traité de la formation mécanique des langues; Histoire du VII siècle de la République Romaine; Traité du culte des dieux fétiches, и проч.

вам оно будет полезно, а мне приятно — и вот условия, которые вздумалось мне повергнуть вашему благоусмотрению.

Обязуюсь из материалов вашего прегадкого замка выстроить хорошенький домик. Думаю на то употребить 25 000 ливров. Другие 25 000 ливров заплачу вам чистыми деньгами.

Всё, чем украшу землю, весь скот, все земледельческие орудия, коими снабжу хозяйство, будут вам принадлежать. Если умру, не успев выстроить дом, то у вас останутся в руках 25 000 ливров, и вы достроите его, коли вам будет угодно. Но я постараюсь прожить еще два года, и тогда вы будете даром иметь очень порядочный домик.

Сверх сего обязуюсь прожить не более четырех или пяти лет.

Взамен сих честных предложений, требую вступить в полное владение вашим движимым и недвижимым имением, правами, лесом, скотом и даже каноником, до самого того времени, как он меня похоронит. Если этот забавный торг покажется вам выгодным, то вы одним словом можете утвердить его не на шутку. Жизнь слишком коротка: дела не должны длиться.

Прибавлю еще слово. Я украсил мою норку, прозванную les Délices; я украсил дом в Лозанне; то и другое теперь сто́ит вдвое противу прежней их цены: то же сделаю и с вашей землею. В теперешнем ее положении вы никогда ее с рук не сбудете.

Во всяком случае прошу вас сохранить всё это в тайне, и честь имею» и проч.

Де Бросс не замедлил своим ответом. Письмо его, как и Вольтерово, исполнено ума и веселости.

«Если бы я был в вашем соседстве (пишет он) в то время, как вы поселились так близко к городу,* то, восхищаясь вместе с вами физическою красотою берегов вашего озера, я бы имел честь шепнуть вам на ухо, что нравственный характер жителей требовал, чтобы вы поселились во Франции, по двум важным причинам: во-первых, потому что надобно жить у себя дома, во-вторых, потому что не надобно жить у чужих. Вы не можете вообразить, до какой степени эта республика заставляет меня любить монархии... Я бы вам и тогда предложил свой замок, если б он был вас достоин; но замок мой не имеет даже чести быть древностию; это просто *ветошь*. Вы вздумали возвратить ему юность, как Мемнону: я очень одобряю ваше предположение. Вы не знаете, может быть, что г. д'Аржанталь имел для вас то же намерение.— Приступим к делу».

Тут де Бросс разбирает одно за другим все условия, предлагаемые Вольтером; с иными соглашается, другим противоречит, обнаруживая сметливость и тонкость, которых Вольтер от президента, кажется, не ожидал. Это подстрекнуло его самолюбие, он начал хитрить; перепис-

---

* Вольтер в 1755 году купил *les Délices sur St. Jean* близ самой Женевы.

ка завязалась живее. Наконец 15 декабря купчая была совершена.

Эти письма, заключающие в себе переговоры торгующихся, и несколько других, писанных по заключении торга, составляют лучшую часть переписки Вольтера с де Броссом. Оба друг перед другом кокетничают; оба поминутно оставляют деловые запросы для шуток самых неожиданных, для суждений самых искренних о людях и происшествиях современных. В этих письмах Вольтер является Вольтером, т. е. любезнейшим из собеседников; де Бросс — тем острым писателем, который так оригинально описал Италию в ее правлении и привычках, в ее жизни художественной и сладострастной.

Но вскоре согласие между новым хозяином земли и прежним ее владельцем было прервано. Война, как и многие другие войны, началась от причин маловажных. Срубленные деревья осердили нетерпеливого Вольтера; он поссорился с президентом, не менее его раздражительным. Надобно видеть, что такое гнев Вольтера! Он уже смотрит на де Бросса, как на врага, как на Фрерона, как на великого инквизитора. Он собирается его погубить: «qu'il tremble! — восклицает он в бешенстве,— il ne s'agit pas de le rendre ridicule: il s'agit de le déshonorer!» Он жалуется, он плачет, он скрежещет... а всё дело в двухстах франках. Де Бросс с своей стороны не хочет уступить вспыльчивому философу; в ответ на его жалобы он пишет знаменитому старцу надменное письмо, укоряет его в природной дерзости, советует ему в минуты сумасшествия воздерживаться от пера, дабы не краснеть, опомнившись потом, и оканчивает письмо желанием Ювенала:

Mens sana in corpore sano.

Посторонние вмешиваются в распрю соседей. Общий их приятель, г. Рюфе, старается усовестить Вольтера и пишет к нему едкое письмо (которое, вероятно, диктовано самим де Броссом):

«Вы боитесь быть обманутым,— говорит г. Рюфе,— но из двух ролей это лучшая... Вы не имели никогда тяжеб: они разорительны, даже когда их и выигрываем... Вспомните устрицу Лафонтена и пятую сцену второго действия в „Скапиновых обманах“.* Сверх адвокатов, вы должны еще опасаться и литературной черни, которая рада будет на вас броситься...»

* Сцену, в которой Леандр заставляет Скапина на коленях признаваться во всех своих плутнях.

Вольтер первый утомился и уступил. Он долго дулся на упрямого президента и был причиною тому, что де Бросс не попал в Академию (что в то время много значило). Сверх того Вольтер имел удовольствие его пережить: де Бросс, младший из двух пятнадцатью годами, умер в 1777 году, годом прежде Вольтера.

Несмотря на множество материалов, собранных для истории Вольтера (их целая библиотека), как человек деловой, капиталист и владелец, он еще весьма мало известен. Ныне изданная переписка открывает многое.

«Надобно видеть,— пишет издатель в своем предисловии,— как баловень Европы, собеседник Екатерины Великой и Фридерика II, занимается последними мелочами для поддержания своей местной важности; надобно видеть, как он в праздничном кафтане въезжает в свое графство, сопровождаемый своими обеими племянницами *(которые все в бриллиантах);* как выслушивает он речь своего священника и как новые подданные приветствуют его пальбой из пушек, взятых на прокат у Женевской республики. Он в вечной распре со всем местным духовенством. *Габель* (налог на соль) находит в нем тонкого и деятельного противника. Он хочет быть банкиром своей провинции. Вот он пускается в спекуляции на соль. У него свои дворяне: он шлет их посланниками в Швейцарию. И всё это его ворочает; он искренно тревожится обо всем с этой раздражительностию страстей, исключительно ему свойственной. Он расточает то искусные рассуждения адвоката, то прицепки прокурора, то хитрости купца, то гиперболы стихотворца, то порывы истинного красноречия. Письмо его к президенту о драке в кабаке, право, напоминает его заступление за семейство Каласа».

В одном из этих писем встретили мы неизвестные стихи Вольтера. На них легкая печать его неподражаемого таланта. Они писаны соседу, который прислал ему розаны.

Vos rosiers sont dans mes jardins,
Et leurs fleurs vont bientôt paraître.
Doux asile où je suis mon maître!
Je renonce aux lauriers si vains,
Qu'à Paris j'aimais trop peut-être.
Je me suis trop piqué les mains
Aux épines qu'ils ont fait naître.

Признаемся в *rococo* нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах мы находим более *слога,* более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольте-

ра — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие — площадным цинизмом или вялой меланхолией.

Вообще переписка Вольтера с де Броссом представляет нам творца «Меропы» и «Кандида» с его милой стороны. Его притязания, его слабости, его детская раздражительность — всё это не вредит ему в нашем воображении. Мы охотно извиняем его и готовы следовать за всеми движениями пылкой его души и беспокойной чувствительности. Но не такое чувство рождается при чтении писем, приложенных издателем к концу книги, нами разбираемой. Эти новые письма найдены в бумагах г. де ла Туша, бывшего французским посланником при дворе Фридерика II (в 1752 г.).

В это время Вольтер не ладил с *Северным Соломоном,* * своим прежним учеником. Мопертюи, президент Берлинской академии, поссорился с профессором Кёнигом. Король взял сторону своего президента; Вольтер заступился за профессора. Явилось сочинение без имени автора, под заглавием: «Письмо к публике». В нем осуждали Кёнига и задевали Вольтера. Вольтер возразил и напечатал свой колкий ответ в немецких журналах. Спустя несколько времени «Письмо к публике» было перепечатано в Берлине с изображением короны, скипетра и прусского орла на заглавном листе. Вольтер только тогда догадался, с кем имел он неосторожность состязаться, и стал помышлять о благоразумном отступлении. Он видел в поступках короля явное к нему охлаждение и предчувствовал опалу. «Я стараюсь тому не верить,— писал он в Париж к д'Аржанталю,— но боюсь быть подобну рогатым мужьям, которые силятся уверить себя в верности своих жен. Бедняжки втайне чувствуют свое горе!» Несмотря на свое уныние, он, однако ж, не мог удержаться, чтоб еще раз не задеть своих противников. Он написал самую язвительную из своих сатир (la Diatribe du Dr. Akakia) и напечатал ее, выманив обманом позволение на то от самого короля.

Следствия известны. Сатира, по повелению Фридерика, сожжена была рукою палача. Вольтер уехал из Берлина, задержан был во Франкфурте прусскими приставами,

---

* Так называл Вольтер Фридерика II в хвалебных своих посланиях.

несколько дней находился под арестом и принужден был выдать стихотворения Фридерика, напечатанные для немногих и между коими находилась сатирическая поэма против Людовика XV и его двора.

Вся эта жалкая история мало приносит чести философии. Вольтер, во всё течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. В его молодости заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли привлечь на его особу сострадания и сочувствия, в которых почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей. Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на своенравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?..

К чести Фридерика II скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление.

До сих пор полагали, что Вольтер сам от себя, в порыве благородного огорчения, отослал Фридерику камергерский ключ и прусский орден, знаки непостоянных его милостей; но теперь открывается, что король сам их потребовал обратно. Роль переменена: Фридерик негодует и грозит, Вольтер плачет и умоляет...

Что из этого заключить? что̀ гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы.

ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ *

Стихотворения Виктора Теплякова, 1836.

В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольным сочувствием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять? Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения,— или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь.

Нет сомнения, что фантастическая тень Чильд-Гарольда сопровождала г. Теплякова на корабле, принесшем его к фракийским берегам. Звуки прощальных строф

Adieu, adieu, my native land!

отзываются в самом начале его песен:

Плывем!.. бледнеет день; бегут брега родные,
Златой струится блеск по синему пути;
Прости, земля! прости, Россия;
Прости, о родина, прости!

Но уже с первых стихов поэт обнаруживает самобытный талант:

Безумец! что за грусть? в минуту разлученья
Чьи слезы ты лобзал на берегу родном?
Чьи слышал ты благословенья?
Одно минувшее мудреным, тяжким сном
В тот миг душе твоей мелькало,
И юности твоей избитый бурей челн,
И бездны, перед ней отверстые, казало! —
Пусть так! но грустно мне! Как плеск угрюмых волн
Печально в сердце раздается!
Как быстро мой корабль в чужую даль несется!
О, лютня странника, святой от грусти щит,
Приди, подруга дум заветных!
Пусть в каждом звуке струн приветных
К тебе душа моя, о родина, летит!

* Отпечатаны и на днях поступят в продажу.

I

Пускай на юность ты мою
Венец терновый наложила —
О мать! душа не позабыла
Любовь старинную твою!
Теперь — сны сердца, прочь летите!
К отчизне душу не маните!
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

II

Как жадно вольной грудью я
Пью беспредельности дыханье!
Лазурный мир! в твоем сиянье
Сгорает, тонет мысль моя!
Шумите, парусы, шумите!
Мечты о родине, молчите:
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

III

Увижу я страну богов;
Красноречивый прах открою:
И зашумит передо мною
Рой незапамятных веков!
Гуляйте ж, ветры, не молчите!
Утесы родины, простите!
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

Тут есть гармония, лирическое движение, истина чувств!

Вскоре поэт плывет мимо берегов, прославленных изгнанием Овидия; они мелькают перед ним на краю волн,

Как пояс желтый и струистый.

Поэт приветствует незримую гробницу Овидия, стихами слишком небрежными:

Святая тишина Назоновой гробницы
Громка, как дальний шум победной колесницы!
О, кто средь мертвых сих песков
Мне славный гроб его укажет?
Кто повесть мук его расскажет —
Степной ли ветр, иль плеск валов,

Иль в шуме бури глас веков?..
Но тише... тише... что за звуки?
Чья тень над бездною седой
Меня манит, подъемля руки,
Качая тихо головой?
У ног лежит венец терновый (!),
В лучах сияет голова,
Белее волн хитон *перловый*,
Святей их ропота слова.
И под эфирными перстами
О древних людях, с их бедами,
Златая лира говорит.
Печально струн ее бряцанье:
В нем сердцу слышится изгнанье;
В нем стон о родине звучит,
Как плач души без упованья.

Тишина гробницы, громкая, как дальний шум колесницы; стон, звучащий, как плач души; слова, которые святее ропота волн... всё это не точно, фальшиво или просто ничего не значит.

Грессет в одном из своих посланий пишет:

Je cesse d'estimer Ovide,
Quand il vient sur de faibles tons
Me chanter, pleureur insipide,
De longues lamentations.

Книга Tristium не заслуживала такого строгого осуждения. Она выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидиевых (кроме «Превращений»). Героиды, элегии любовные и самая поэма «Ars amandi», мнимая причина его изгнания, уступают «Элегиям понтийским». В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли! Сколько живости в подробностях! И какая грусть о Риме! Какие трогательные жалобы! Благодарим г. Теплякова за то, что он не ищет блистать душевной твердостию на счет бедного изгнанника, а с живостию заступается за него.

И ты ль тюремный вопль, о странник! назовешь
Ласкательством души уничиженной? —
Нет, сам терновою стезею ты идешь,
Слепой судьбы проклятьем пораженный!..
Подобно мне (Овидию), ты сир и одинок меж всех,
И знаешь сам хлад жизни без отрады;
Огнь сердца без тепла, и без веселья смех,
И плач без слез, и слезы без услады!

Песнь, которую поэт влагает в уста Назоновой тени, имела бы более достоинства, если бы г. Тепляков более соображался с характером Овидия, так искренно обнаруженным в его *плаче*. Он не сказал бы, что при набегах гетов и бессов поэт

Радостно на смертный мчался бой.

Овидий добродушно признается, что он и смолоду не был охотник до войны, что тяжело ему под старость покрывать седину свою шлемом и трепетной рукою хвататься за меч при первой вести о набеге (см. Trist. Lib. IV. El. 1).

Элегия «Томис» оканчивается прекрасными стихами:

«Не буря ль это, кормчий мой?
Уж через мачты море хлещет,
И пред чудовищной волной,
Как пред тираном раб немой,
Корабль твой гнется и трепещет!»
. . . .
. . . .
. . . .
«Вели стрелять! быть может, нас
Какой-нибудь в сей страшный час
Корабль услышит отдаленный!» —
И грянул знак... и всё молчит,
Лишь море бьется и кипит,
Как тигр бросаясь разъяренный;
Лишь ветра свист, лишь бури вой,
Лишь с неба голос громовой
Толпе ответствуют смятенной.
«Мой кормчий, как твой бледен лик!»
— Не ты ль дерзнул бы в этот миг,
О странник! буре улыбаться? —
«Ты отгадал!..» Я сердцем с ней
Желал бы каждый миг сливаться;
Желал бы в бой стихий вмешаться!..
Но нет,— и громче, и сильней
Святой призыв с другого света,
Слова погибшего поэта
Теперь звучат в душе моей!

Вскоре из глаз поэта исчезают берега, с которых низвергаются в море воды семиустного Дуная.

Как стар сей шумный Истр! *чела его морщины*
Седых веков скрывают рой:
Во мгле их Дария мелькает челн немой,
Мелькают и орлы Трояновой дружины.
Скажи, сафирный бог, над брегом ли твоим,

По дебрям и горам, сквозь бор необозримый,
Средь тучи варваров, на этот вечный Рим
Летел Сатурн неотразимый? —
Не ты ль спирал свой быстрый бег
Народов с бурными волнами,
И твой ли в их крови *не растопился брег*,
Племен бесчисленных усеянный костями?

Хотите ль знать, зачем, куда
И из какой глуши далекой
Неслась их бурная чреда,
Как лавы огненной потоки?
— Спросите вы, зачем к садам,
К богатым нивам и лугам
По ветру саван свой летучий
Мчат саранчи голодной тучи: —
Спросите молнию, куда она летит,
Откуда ураган крушительный бежит,
Зачем кочует вал ревучий!

Следует идиллическая, немного бледная картина народа кочующего; размышления при виде развалин Венецианского замка имеют ту невыгоду, что напоминают некоторые строфы из четвертой песни «Чильд-Гарольда», строфы, слишком сильно врезанные в наше воображение. Но вскоре поэт снова одушевляется.

Улегся ветер; вод стекло
Ясней небес лазурных блещет;
Повисший парус наш, как лебедя крыло,
Свинцом охотника пронзенное, трепещет.
Но что за гул?.. как гром глухой,
Над тихим морем он раздался:
То грохот пушки заревой,
Из русской Варны он примчался!
О радость! завтра мы узрим
Страну поклонников пророка;
Под небом вечно голубым
Упьемся воздухом твоим,
Земля роскошного Востока!
И в темных миртовых садах,
Фонтанов мраморных при медленном журчанье
При соблазнительных луны твоей лучах,
В твоем, о юная невольница, лобзанье
Цветов родной твоей страны,
Живых восточных роз отведаем дыханье
И жар, и свежесть их весны!..

Элегия «Гебеджинские развалины», по мнению нашему, лучшая изо всех. В ней обнаруживается необыкновенное искусство в описаниях, яркость в выражениях и сила в мыслях. Пользуясь нам данным позволением, выписываем бо́льшую часть этой элегии.

Столбов, поникнувших седыми головами,
Столбов у Тленности угрюмой на часах,
Стоящих пасмурно над падшими столбами —
Повсюду сумрачный Дедал в моих очах!
. . . .
. . . .
. . . .
Дружины мертвецов гранитных!
Не вы ли стражи тех столбов,
На коих чудеса веков,
Искусств и знаний первобытных
Рукою Сифовых начертаны сынов?..
Как знать, и здесь былой порою,
Творенья, может быть, весною,
Род человеческий без умолку жужжал —
В те времена, как наших башен
Главою отрок достигал,
И мамонта, могуч и страшен,
На битву равную охотник вызывал!
Быть может, некогда и в этом запустенье
Гигантской роскоши лилось обвороженье:
Вздымались портики близ кедровых палат,
Кругом висячие сады благоухали,
Теснились медные чудовища у врат,
И мрамор золотом расписанных аркад
Слоны гранитные хребтами подпирали!
И здесь огромных башен лес,
До вековых переворотов,
Пронзал, быть может, свод небес,
И пена горных струй, средь пальмовых древес,
Из пасти бронзовых сверкала бегемотов!
И здесь на жертвенную кровь,
Быть может, мирными венчанные цветами,
Колоссы яшмовых богов
Глядели весело алмазными очами...
Так, так! подлунного величия звездой
И сей Ничтожества был озарен объедок,—
Парил умов надменных рой,
Цвела любовь... и напоследок —
Повсюду смерть, повсюду прах
В печальных странника очах!

Лишь ты, Армида красотою,
Над сей могилой вековою,
Природа-мать, лишь ты одна
Души магической полна!
Какою роскошью чудесной
Сей град развалин неизвестный
Повсюду богатит она!
Взгляните: этот столб, Гигант окаменелый,
Как в поле колос переспелый,
К земле он древнею склонился головой;
Но с ним, недвинутый годами,
Сосед, увенчанный цветами,

Гирляндой связан молодой;
Но с головы его маститой
Кудрей зеленых вьется рой,
И плащ из листьев шелковитый
Колышет ветр на нем лесной!
Вот столб другой: на дерн кудрявый,
Как труп он рухнулся безглавый;
По по зияющим развалины рубцам
Играет свежий плющ и вьется мирт душистый,
И великана корень мшистый
Корзиной вешним стал цветам!
И вместо рухнувшей громады
Уж юный тополь нежит взгляды,
И тихо всё... лишь соловей,
Как сердце, полное — то безнадежной муки,
То чудной радости — с густых его ветвей
Свои льет пламенные звуки...
Лишь посреди седых столбов,
Хаоса диких трав, обломков и цветов,
Вечерним золотом облитых,
Семейство ящериц от странника бежит,
И в камнях, зелени узорами обвитых,
Кустами дальними шумит!..

Иероглифы вековые,
Былого мира мавзолей!
Меж вами и душой моей,
Скажите, что за симпатия? —
Нет! вы не мертвая Ничтожества строка:
Ваш прах — урок судьбы тщеславию потомков;
Живей ли гордый лавр сих дребезгов цветка?..
О дайте ж, дайте для венка
Мне листьев с мертвых сих обломков!

Остатки Древности святой,
Когда безмолвно я над вами
Парю крылатою мечтой —
Векá сменяются веками,
Как волны моря, предо мной!
И с великанами былыми
Тогда я будто как с родными,
И неземного бытия
Призыв блаженный слышу я!..

Но день погас, а я душою
К сим камням будто пригвожден,
И вот уж яхонтовой мглою
Оделся вечный небосклон.
По морю синего эфира,
Как челн мистического мира,
Царица ночи поплыла,
И на чудесные громады
Свои опаловые взгляды,
Сквозь тень лесную, навела.
Рубины звезд над нею блещут

И меж столбов седых трепещут;
И, будто движа их, встают
Из-под земли былого дети,
И мертвый град свой узнают,
Паря во мгле тысячелетий...

Зверей и птиц ночных приют,
Давно минувшего зерцало,
Ничтожных дребезгов твоих
Для градов наших бы достало!
К обломкам гордых зданий сих,
О, Альнаскары! приступите,
Свои им грезы расскажите,
Откройте им: богов земных
О чем тщеславие хлопочет?
Чего докучливый от них
Народов муравейник хочет?..
Ты прав, божественный певец:
Вéка веков лишь повторенье!
Сперва — свободы обольщенье,
Гремушки славы наконец;
За славой — роскоши потоки,
Богатства с золотым ярмом,
Потóм — изящные пороки,
Глухое варварство потóм!..

Это прекрасно! Энергия последних стихов удивительна!

Остальные элегии (между коими шестая весьма замечательна) заключают в себе недостатки и красоты, уже нами указанные: силу выражения, переходящую часто в надутость, яркость описания, затемненную иногда неточностию.— Вообще главные достоинства «Фракийских элегий»: блеск и энергия; главные недостатки: напыщенность и однообразие.

К «Фракийским элегиям» присовокуплены разные мелкие стихотворения, имеющие неоспоримое достоинство: везде гармония, везде мысли, изредка истина чувств. Если бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме элегии «Одиночество» и станса «Любовь и Ненависть», то и тут занял бы он почетное место между нашими поэтами. Заключим разбор, выписав стихотворение, которым заключается и книга г. Теплякова.

Одиночество

I

В лесу осенний ветр и стонет и дрожит;
По морю темному ревучий вал кочует;
Уныло крупный дождь в окно мое стучит; —
Раздумье тяжкое мечты мои волнует.

II

Мне грустно! догорел камин трескучий мой:
Последний красный блеск над угольями вьется;
Мне грустно! тусклый день уж гаснет надо мной;
Уж с неба темного туманный вечер льется.

III

Как сладко он для двух супругов пролетит,
В кругу, где бабушка *внучáт* своих ласкает;
У кресел дедовских красавица сидит —
И былям старины, работая, внимает!

IV

Мечта докучная! зачем перед тобой
Супругов долгие лобзанья пламенеют?
Что в том, как их сердцá, под ризою ночной,
Средь ненасытных ласк, в палящей неге млеют!

V

Меж тем как он кипит, мой одинокий ум!
Как сердце сирое, облившись кровью, рвется,
Когда душа моя, средь вихря горьких дум,
Над их мучительно завидной долей вьется!

VI

Но если для меня безвестный уголок
Не создан, темными *дубáми* осененный,
Подруга милая и яркий камелёк,
В часы осенних бурь друзьями окруженный,—

VII

О жар святых молитв, зажгись в душе моей!
Луч веры пламенной, блесни в ее пустыне;
Пролейся в грудь мою, целительный елей:
Пусть сны вчерашние не мучат сердца ныне!

VIII

Пусть, упоенная надеждой неземной,
С душой всемирною моя соединится;
Пускай сей мрачный дол исчезнет предо мной;
Осенний в окна ветр, бушуя, не стучится.

IX

О, пусть превыше звезд мой вознесется дух,
Туда, где взор творца их сонмы зажигает!

В мирах надсолнечных пускай мой жадный слух
Органам ангелов, восторженный, внимает...

X

Пусть я увижу их, в безмолвии святом,
Пред троном вечного, коленопреклоненных;
Прочту символы тайн, пылающих на нем,
И юным первенцам творенья откровенных...

XI

Пусть Соломоновой премудрости звезда
Блеснет душе моей в безоблачном эфире;
Поправ земную грусть, быть может, я тогда
Не буду тосковать о друге в здешнем мире!..

ПРИМЕЧАНИЕ О ПАМЯТНИКЕ КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ И ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ

Надпись *Гражданину Минину*, конечно, не удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма Минин по прозванию Сухорукий, или думный дворянин Косма Минич Сухорукий, или, наконец, *Кузьма Минин, выбранный человек от всего Московского государства*, как назван он в грамоте о избрании Михаила Федоровича Романова. Всё это не худо было бы знать, так же как имя и отчество князя Пожарского. Кстати: недавно в одной исторической статье сказано было, что *Минину дали дворянство и боярство*, но что спесивые вельможи не допустили его в думу и принудили в 1617 году удалиться в Нижний Новгород — сколько несообразностей! Минин никогда не бывал боярином; он в думе заседал, как *думный дворянин;* в 1616 их было всего два: он и Гаврило Пушкин. Они получали по 300 р. окладу. О годе его смерти нет нигде никакого известия; *полагают*, что Минин умер в Нижнем Новегороде, потому что он там похоронен, и что в последний раз упомянуто о нем в списке дворцовым чинам в 1616.

Издатель.

ПУТЕШЕСТВИЕ В. Л. П.

Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия. В трех частях. Москва, тип. Платона Бекетова. 1808, in. 16°. Картинка представляет В. Л. Пушкина и Тальма.

Эта книжка никогда не была в продаже. Несколько экземпляров розданы были приятелям автора, от которого имел я счастие получить и свой (чуть ли не последний). Я храню его как памятник благосклонности, для меня драгоценной...

«Путешествие» есть веселая, незлобная шутка над одним из приятелей автора; покойный В. Л. Пушкин отправлялся в Париж, и его младенческий восторг подал повод к сочинению маленькой поэмы, в которой с удивительной точностью изображен весь Василий Львович. Это образец игривой легкости и шутки живой и незлобной.

Для тех, которые любят Катулла, Грессета и Вольтера, для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы и эпопеи, но и в игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных ясной веселостию, искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа...

Благоговею пред созданием «Фауста», но люблю и эпиграммы.

Виноват: я бы отдал всё, что было писано у нас в подражание лорду Байрону, за следующие незадумчивые и невосторженные стихи, в которых поэт заставляет героя своего восклицать к друзьям:

Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать! etc.

Есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выспренной; есть люди, которые находят и Горация прозаическим (спокойным, умным, рассудительным? так ли?). Пусть так. Но жаль было бы, если б не существовали прелестные оды, которым подражал и наш Державин.

ДЖОН ТЕННЕР

С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

Отношения Штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие американского Конгресса осуждены с негодованием; так или иначе, чрез меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский.

Нравы северо-американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индийцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. «Дикари, выставленные в романах,— пишет Вашингтон Ирвинг,— так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных». Это самое подозревали и читатели; и недоверчивость к словам заманчивых повествователей уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями.

В Нью-Йорке недавно изданы «Записки Джона Теннера», проведшего тридцать лет в пустынях Северной Америки, между дикими ее обитателями. Эти «Записки» драгоценны во всех отношениях. Они самый полный и, вероятно, последний документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека: показания простодушные и бесстрастные, они наконец будут свидетельствовать перед светом о средствах, которые Американские Штаты употребляли в XIX столетии к распространению своего владычества и христианской цивилизации. Достоверность сих «Записок» не подлежит никакому сомнению. Джон Теннер еще жив; многие особы (между прочими Токвиль, автор славной книги: «De la démocratie en Amérique») видели его и купили от него самого его книгу. По их мнению, подлога тут быть не может. Да и стоит прочитать несколько страниц, чтобы в том удостовериться: отсутствие всякого искусства и смиренная простота повествования ручаются за истину.

Отец Джона Теннера, выходец из Виргинии, был священником. По смерти жены своей он поселился в одном месте, называемом Эльк-Горн, в недальнем расстоянии от Цинциннати.

Эльк-Горн был подвержен нападениям индийцев. Дядя Джона Теннера однажды ночью, сговорясь с своими соседями, приблизился к стану индийцев и застрелил одного из них. Прочие бросились в реку и уплыли...

Отец Теннера, отправляясь однажды утром в дальнее селение, приказал своим обеим дочерям отослать маленького Джона в школу. Они вспомнили о том уже после обеда. Но шел дождь, и Джон остался дома. Вечером отец возвратился и, узнав, что он в школу не ходил,

послал его самого за тростником и больно его высек. С той поры отеческий дом опостылел маленькому Теннеру; он часто думал и говаривал: «Мне бы хотелось уйти к диким!»

«Отец мой,— пишет Теннер,— оставил Эльк-Горн и отправился к устью Биг-Миами, где он должен был завести новое поселение. Там на берегу нашли мы обработанную землю и несколько хижин, покинутых поселенцами из опасения диких. Отец мой исправил хижины и окружил их забором. Это было весною. Он занялся хлебопашеством. Дней десять спустя по своем прибытии на место он сказал нам, что лошади его беспокоятся, чуя близость индийцев, которые, вероятно, рыщут по лесу. ,,Джон,— прибавил он, обращаясь ко мне,— ты сегодня сиди дома‘‘. Потом пошел он засевать поле с своими неграми и старшим моим братом.

Нас осталось дома четверо детей. Мачеха, чтоб вернее меня удержать, поручила мне смотреть за младшим, которому не было еще году. Я скоро соскучился и стал щипать его, чтоб заставить кричать. Мачеха велела мне взять его на руки и с ним гулять по комнатам. Я послушался, но не перестал его щипать. Наконец она стала его кормить грудью; а я побежал проворно на двор и ускользнул в калитку, оттуда в поле. Не в далеком расстоянии от дома и близ самого поля стояло ореховое дерево, под которым бегал я собирать прошлогодние орехи. Я осторожно до него добрался, чтоб не быть замечену ни отцом, ни его работниками... Как теперь вижу отца моего, стоящего с ружьем на страже посреди поля. Я спрятался за дерево и думал про себя: ,,Мне бы очень хотелось увидеть индийцев!‘‘

Уж моя соломенная шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох. Я оглянулся: индийцы! Старик и молодой человек схватили меня и потащили. Один из них выбросил из моей шляпы орехи и надел мне ее на голову. После того ничего не помню. Вероятно, я упал в обморок, потому что не закричал. Наконец я очнулся под высоким деревом. Старика не было. Я находился между молодым человеком и другим индийцем, широкоплечим и малорослым. Вероятно, я его чем-нибудь да рассердил, потому что он потащил меня в сторону, схватил свой *томагаук* (дубину) и знаками велел мне глядеть вверх. Я понял, что он мне приказывал в последний раз взглянуть на небо, потому что готовился меня убить. Я повиновался; но молодой индиец, похитивший меня, удержал удар, взнесенный над моей головою. Оба заспорили с живостию. Покровитель мой закричал. Несколько голосов ему отвечало. Старик и четыре другие индийца прибежали поспешно. Старый начальник, казалось, строго говорил тому, кто угрожал мне смертию. Потом он и молодой человек взяли меня, каждый за руку, и потащили опять. Между тем ужасный индиец шел за нами. Я замедлял их отступление, и заметно было, что они боялись быть настигнуты.

В расстоянии одной мили от нашего дома, у берега реки, в кустах, спрятан был ими челнок из древесной коры. Они сели в него все семеро, взяли меня с собою и переправились на другой берег, у самого устья Биг-Миами. Челнок остановили. В лесу спрятаны были одеяла (кожаные) и запасы; они предложили мне

дичины и медвежьего жиру. Но я не мог есть. Наш дом отселе был еще виден; они смотрели на него и потом обращались ко мне со смехом. Не знаю, что́ они говорили.

Отобедав, они пошли вверх по берегу, таща меня с собою по-прежнему, и сняли с меня башмаки, полагая, что они мешали бежать. Я не терял еще надежды от них избавиться, несмотря на надзор, и замечал все предметы, дабы по ним направить свой обратный побег; упирался также ногами о высокую траву и о мягкую землю, дабы оставить следы. Я надеялся убежать во время их сна. Настала ночь; старик и молодой индиец легли со мною под одно одеяло и крепко прижали меня. Я так устал, что тотчас заснул. На другой день я проснулся на заре. Индийцы уже встали и готовы были в путь. Таким образом шли мы четыре дня. Меня кормили скудно; я всё надеялся убежать, но при наступлении ночи сон каждый раз мною овладевал совершенно. Ноги мои распухли и были все в ранах и в занозах. Старик мне помог кое-как и дал пару *мокасинов* (род кожаных лаптей), которые облегчили меня немного.

Я шел обыкновенно между стариком и молодым индийцем. Часто заставляли они меня бегать до упаду. Несколько дней я почти ничего не ел. Мы встретили широкую реку, впадающую (думаю) в Миами. Она была так глубока, что мне нельзя было ее перейти. Старик взял меня к себе на плечи и перенес на другой берег. Вода доходила ему под мышки; я увидел, что одному мне перейти эту реку было невозможно, и потерял всю надежду на скорое избавление. Я проворно вскарабкался на берег, стал бегать по лесу и спугнул с гнезда дикую птицу. Гнездо полно было яиц; я взял их в платок и воротился к реке. Индийцы стали смеяться, увидев меня с моею добычею, разложили огонь и стали варить яйца в маленьком котле. Я был очень голоден и жадно смотрел на эти приготовления. Вдруг прибежал старик, схватил котел и вылил воду на огонь вместе с яйцами. Он наскоро что-то шепнул молодому человеку. Индийцы поспешно подобрали яйца и рассеялись по лесам. Двое из них умчали меня со всевозможною быстротою. Я думал, что за нами гнались, и впоследствии узнал, что не ошибся. Вероятно, меня искали на том берегу реки...

Два или три дня после того встретили мы отряд индийцев, состоявший из двадцати или тридцати человек. Они шли в европейские селения. Старик долго с ними разговаривал. Узнав (как после мне сказали), что белые люди за нами гнались, они пошли им навстречу. Произошло жаркое сражение, и с обеих сторон легло много мертвых.

Поход наш сквозь леса был труден и скучен. Через десять дней пришли мы на берег Мауми. Индийцы рассыпались по́ лесу и стали осматривать деревья, перекликаясь между собою. Выбрали одно ореховое дерево (hickory), срубили его, сняли кору и сшили из нее челнок, в котором мы все поместились; поплыли по течению реки и вышли на берег у большой индийской деревни, выстроенной близ устья другой какой-то реки. Жители выбежали к нам навстречу. Молодая женщина с криком кинулась на меня и била по голове. Казалось, многие из жителей хотели меня убить; однако старик и молодой человек уговорили их меня оставить. По-видимому, я часто бывал предметом разговоров, но не понимал их языка. Старик знал несколько английских слов. Он иногда

приказывал мне сходить за водою, разложить огонь и тому подобное, начиная таким образом требовать от меня различных услуг.

Мы отправились далее. В некотором расстоянии от индийской деревни находилась американская контора. Тут несколько куппов со мною долго разговаривали. Они хотели меня выкупить; но старик на то не согласился. Они объяснили мне, что я у старика заступлю место его сына, умершего недавно; обошлись со мною ласково и хорошо меня кормили во всё время нашего пребывания. Когда мы расстались, я стал кричать — в первый раз после моего похищения из дому родительского. Купцы утешили меня, обещав через десять дней выкупить из неволи».

Наконец челнок причалил к месту, где обитали похитители бедного Джона. Старуха вышла из деревянного шалаша и побежала к ним навстречу. Старик сказал ей несколько слов; она закричала, обняла, прижала к сердцу своему маленького пленника и потащила в шалаш.

Похититель Джона Теннера назывался Манито-о-гезик. Младший из его сыновей умер незадолго перед происшествием, здесь описанным. Жена его объявила, что не будет жива, если ей не отыщут ее сына. То есть, она требовала молодого невольника, с тем чтоб его усыновить. Старый Манито-о-гезик с сыном своим Кишкау-ко и с двумя единоплеменниками, жителями Гуронского озера, тотчас отправились в путь, чтоб только удовлетворить желание старухи. Трое молодых людей, родственники старика, присоединились к нему. Все семеро пришли к селениям, расположенным на берегах Оио. Накануне похищения индийцы переправились через реку и спрятались близ Теннерова дома. Молодые люди с нетерпением ожидали появления ребенка и несколько раз готовы были выстрелить по работникам. Старик насилу мог их удержать.

Возвратясь благополучно домой с своею добычею, старый Манито-о-гезик на другой же день созвал своих родных и знакомых, и Джон Теннер был торжественно усыновлен на самой могиле маленького дикаря.

Была весна. Индийцы оставили свои селения и все отправились на ловлю зверей. Выбрав себе удобное место, они стали ограждать его забором из зеленых ветвей и молодых дерев, из-за которых должны были стрелять. Джону поручили обламывать сухие веточки и обрывать листья с той стороны, где скрывались охотники. Маленький пленник, утомленный зноем и трудом, всегда голодный и грустный, лениво исполнял свою должность. Старый Ма-

нито-о-гезик, застав однажды его спящим, ударил мальчика по голове своим *томагауком* и бросил замертво в кусты. Возвратясь в табор, старик сказал жене своей: «Старуха! мальчик, которого я тебе привел, ни к чему не годен; я его убил. Ты найдешь его там-то». Старуха с дочерью прибежали, нашли Теннера еще живого и привели его в чувства.

Жизнь маленького приемыша была самая горестная. Его заставляли работать сверх сил; старик и сыновья его били бедного мальчика поминутно. Есть ему почти ничего не давали; ночью он спал обыкновенно между дверью и очагом, и всякий, входя и выходя, непременно давал ему ногою толчок. Старик возненавидел его и обходился с ним с удивительной жестокостию. Теннер никогда не мог забыть следующего происшествия.

Однажды Манито-о-гезик, вышед из своей хижины, вдруг возвратился, схватил мальчика за волосы, потащил за дверь и уткнул, *как кошку,* лицом в навозную кучу. «Подобно всем индийцам,— говорит американский издатель его записок,— Теннер имеет привычку скрывать свои ощущения. Но когда рассказывал он мне сие приключение, блеск его взгляда и судорожный трепет верхней губы доказывали, что жажда мщения — отличительное свойство людей, с которыми провел он свою жизнь,— не была чужда и ему. Тридцать лет спустя желал он еще омыть обиду, претерпенную им на двенадцатом году!»

Зимою начались военные приготовления. Манито-о-гезик, отправляясь в поход, сказал Теннеру: «Иду убить твоего отца, братьев и всех родственников»... Через несколько дней он возвратился и показал Джону белую, старую шляпу, которую он тотчас узнал: она принадлежала брату его. Старик уверил его, что сдержал свое слово и что никто из его родных уже более не существует.

Время шло, и Джон Теннер начал привыкать к судьбе своей. Хотя Манито-о-гезик всё обходился с ним сурово, но старуха его любила искренно и старалась облегчать его участь. Через два года произошла важная перемена. Начальница племени Отавуавов, Нет-но-куа, родственница старого индийца, похитителя Джона Теннера, купила его, чтоб заменить себе потерю сына. Джон Теннер был выменен на бочонок водки и на несколько фунтов табаку.

Вторично усыновленный, Теннер нашел в новой ма-

тери своей ласковую и добрую покровительницу. Он искренно к ней привязался; вскоре отвык от привычек своей детской образованности и сделался совершенным индийцем,— и теперь, когда судьба привела его снова в общество, от коего был он отторгнут в младенчестве, Джон Теннер сохранил вид, характер и предрассудки дикарей, его усыновивших.

«Записки» Теннера представляют живую и грустную картину. В них есть какое-то однообразие, какая-то сонная бессвязность и отсутствие мысли, дающие некоторое понятие о жизни американских дикарей. Это длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о голодных, дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности.

Американские дикари все вообще звероловы. Цивилизация европейская, вытеснив их из наследственных пустынь, подарила им порох и свинец: тем и ограничилось ее благодетельное влияние. Искусный стрелок почитается между ими за великого человека. Теннер рассказывает первый свой опыт на поприще, на котором потом прославился.

«Я отроду еще не стрелял. Мать моя (Нет-но-куа) только что купила бочонок пороху. Ободренный ее снисходительностию, я попросил у ней пистолет, чтоб идти в лес стрелять голубей. Мать моя согласилась, говоря: „Пора тебе быть охотником“. Мне дали заряженный пистолет и сказали, что если удастся застрелить птицу, то дадут ружье и станут учить охоте.

С того времени я возмужал и несколько раз находился в затруднительном положении; но никогда жажда успеха не была во мне столь пламенна. Едва вышел я из табора, как увидел голубей в близком расстоянии. Я взвел курок и поднял пистолет почти к самому носу; прицелился и выстрелил. В то же время мне послышалось жужжание, подобное свисту брошенного камня; пистолет полетел через мою голову, а голубь лежал под деревом, на котором сидел.

Не заботясь о моем израненном лице, я побежал в табор с застреленным голубем. Раны мои осмотрели; мне дали ружье, порох и дробь и позволили стрелять по птицам. С той поры стали со мною обходиться с уважением».

Вскоре после того молодой охотник отличился новым подвигом.

«Дичь становилась редка; толпа наша (отряд охотников с женами и детьми) голодала. Предводитель наш советовал перенести табор на другое место. Накануне назначенного дня для

походу мать моя долго говорила о наших неудачах и об ужасной скудости, нас постигшей. Я лег спать; но ее песни и молитвы разбудили меня. Старуха громко молилась большую часть ночи.

На другой день, рано утром, она разбудила нас; велела обуваться и быть готовым в поход. Потом призвала своего сына, Уа-ме-гон-е-бью, и сказала ему: ,,Сын мой, в нынешнюю ночь я молилась великому духу. Он явился мне в образе человеческом и сказал: Нет-но-куа! завтра будет вам медведь для обеда. Вы встретите на пути вашем (по такому-то направлению) круглую долину и на долине тропинку: медведь находится на той тропинке''.

Но молодой человек, не всегда уважавший слова своей матери, вышел из хижины и рассказал сон ее другим индийцам. „Старуха уверяет,— сказал он смеясь,— что мы сегодня будем есть медведя; но не знаю, кто-то его убьет“.— Нет-но-куа его за то побранила, но не могла уговорить идти на медведя.

Мы пошли в поход. Мужчины шли вперед и несли наши пожитки. Пришед на место, они отправились на ловлю, а дети остались стеречь поклажу до прибытия женщин. Я был тут же; ружье было при мне. Я всё думал о том, что говорила старуха, и решился идти отыскивать долину, приснившуюся ей; зарядил ружье пулею и, не говоря никому ни слова, воротился назад.

Я прибыл к одному месту, где, вероятно, некогда находился пруд, и увидел круглое, малое пространство посреди леса. Вот,— подумал я,— долина, назначенная старухою. Вскоре нашел род тропинки, вероятно русло иссохшего ручейка. Всё покрыто было глубоким снегом.

Мать сказывала также, что во сне видела она дым на том месте, где находился медведь. Я был уверен, что нашел долину, ею описанную, и долго ждал появления дыма. Однако ж дым не показывался. Наскуча напрасным ожиданием, сделал я несколько шагов там, где, казалось, шла тропинка, и вдруг увяз по пояс в снегу.

Выкарабкавшись проворно, прошел я еще несколько шагов, как вспомнил вдруг рассказы индийцев о медведях, и мне пришло в голову, что, может быть, место, куда я провалился, была медвежья берлога. Я воротился и во глубине впадины увидел голову медведя; приставил ему дуло ружья между глазами и выстрелил. Коль скоро дым разошелся, я взял палку, и несколько раз воткнул ее конец в глаза и рану; потом, удостоверясь, что медведь убит, стал его тащить из берлоги, но не смог и возвратился в табор по своим следам.

Вошел в шалаш моей матери. Старуха сказала мне: ,,Сын мой, вынь из котла кусок бобрового мяса, который мне дали сегодня; да оставь половину брату, который с охоты еще не воротился и сегодня ничего не ел...“Я съел свой кусок и, видя, что старуха одна, подошел к ней и сказал ей на ухо: ,,Мать! я убил медведя!''— Что ты говоришь? — „Я убил медведя!“ — Точно ли он убит? —„Точно''.— Она несколько времени глядела на меня неподвижно; потом обняла меня с нежностию и долго ласкала. Пошли за убитым медведем; и как это был еще первый, то, по обычаю индийцев, его изжарили цельного и все охотники приглашены были съесть его вместе с нами».

Описание различных охот и приключений во время преследования зверей занимает много места в «Записках» Джона Теннера. Истории об одних убитых медведях составляют целый роман. То, что он говорит о *музе*, американском олене (cervus alces), достойно исследования натуралистов.

«Индийцы уверены, что муз между прочим одарен способностию долго оставаться под водою. Двое из моих знакомых, люди не лживые, возвратились однажды вечером с охоты и рассказали нам, что молодой муз, загнанный ими в маленький пруд, нырнул в средину. Они до вечера стерегли его на берегу, куря табак; во всё время не видали они ни малейшего движения воды, ни другой какой-либо приметы скрывшегося муза и, потеряв надежду на успех, наконец возвратились.

Несколько минут по их прибытии явился одинокий охотник с свежею добычею. Он рассказал, что звериный след привел его к берегам пруда, где нашел он следы двух человек, по-видимому, прибывших туда с музом почти в одно время. Он заключил, что муз был ими убит; сел на берег и вскоре увидел муза, привставшего тихо над неглубокою водою, и застрелил его в пруду.

Индийцы полагают, что муз животное самое осторожное и что достать его весьма трудно. Он бдительнее, нежели дикий буйвол (bison, bos americanus) и канадский олень (karibou), и имеет более острое чутье. Он быстрее лося, осторожнее и хитрее дикой козы (l'antilope). В самую страшную бурю, когда ветер и гром сливают свой продолжительный рев с беспрестанным шумом проливного дождя, если сухой прутик хрустнет в лесу под ногой или рукою человеческой, муз уже слышит. Он не всегда убегает, но перестает есть и вслушивается во все звуки. Если в течение целого часа человек не произведет никакого шума, то муз начинает есть опять, но уж не забывает звука, им услышанного, и на несколько часов осторожность его остается деятельнее».

Легкость и неутомимость индийцев в преследовании зверей почти неимоверны. Вот как Теннер описывает охоту за лосями.

«Холодная погода только что начиналась. Снег был еще не глубже одного фута; а мы уже чувствовали голод. Нам встретилась толпа лосей, и мы убили четырех в один день.

Вот как индийцы травят лосей. Спугнув с места, они преследуют их ровным шагом в течение нескольких часов. Испуганные звери сгоряча опережают их на несколько миль; но индийцы, следуя за ними всё тем же шагом, наконец настигают их; толпа лосей, завидя их, бежит с новым усилием и исчезает опять на час или на два. Охотники начинают открывать их скорее и скорее, и лоси всё долее и долее остаются в их виду; наконец охотники уж ни на минуту не теряют их из глаз. Усталые лоси бегут тихой рысью; вскоре идут шагом. Тогда и

охотники находятся почти в совершенном изнеможении. Однако ж они обыкновенно могут еще дать залп из ружей по стаду лосей; но выстрелы придают зверям новую силу; а охотники, ежели снег не глубок, редко имеют дух и возможность выстрелить более одного или двух раз. В продолжительном бегстве лось не легко высвобождает копыто свое; в глубоких снегах его достигнуть легко. Есть индийцы, которые могут преследовать лосей по степи и бесснежной, но таких мало».

Препятствия, нужды, встречаемые индийцами в сих предприятиях, превосходят всё, что можно себе вообразить. Находясь в беспрестанном движении, они не едят по целым суткам и принуждены иногда, после такого насильственного поста, довольствоваться вареной кожаной обувью. Проваливаясь в пропасти, покрытые снегом, переправляясь через бурные реки на легкой древесной коре, они находятся в ежеминутной опасности потерять или жизнь, или средства к ее поддержанию. Подмочив гнилое дерево, из коего добывают себе огонь, часто охотники замерзают в снеговой степи. Сам Теннер несколько раз чувствовал приближение ледяной смерти.

«Однажды рано утром,— говорит он,— я погнал лося и преследовал его до ночи; уже готов был его достигнуть, но вдруг лишился и сил и надежды. Одежда моя, вопреки морозу, была вся мокра. Вскоре она оледенела. Мои суконные *митассы* (порты) изорвались в клочки во время бега сквозь кустарники. Я почувствовал, что замерзаю... Около полуночи достиг места, где стояла наша хижина; ее уже там не было: старуха перенесла ее на другое место... Я пошел по следам моей семьи, и вскоре холод стал нечувствителен: мною овладело усыпление, обыкновенный признак, предшествующий смерти. Я удвоил усилия; и хотя был в совершенной памяти и понимал очень хорошо опасность своего положения, но с трудом мог удержать желание прилечь на землю. Наконец совершенно забылся, не знаю надолго ли, и, очнувшись как ото сна, увидел, что кружился на одном месте.

Я стал искать своих следов и вдруг вдали увидел огонь; но снова потерял чувства. Если бы я упал, то уж никогда бы не встал. Я стал опять кружиться на одном месте; наконец достиг нашей хижины. Вошед в нее я упал, однако ж не лишился чувств. Как теперь вижу огонь, освещающий ярко нашу хижину, и лед, ее покрывающий; как теперь слышу слова старухи: она говорила, что ждала меня задолго перед наступлением ночи, не полагая, чтоб я так долго остался на охоте... Целый месяц я не мог выйти: лицо, руки и ляжки были у меня сильно отморожены...»

Подвергаясь таковым трудам и опасностям, индийцы имеют целию заготовление бобровых мехов, буйволовых кож и прочего, дабы продать и выменять их купцам

американским. Но редко получают они выгоду в торговых своих оборотах: купцы обыкновенно пользуются их простотою и склонностию к крепким напиткам. Выменяв часть товаров на ром и водку, бедные индийцы отдают и остальные за бесценок; за продолжительным пьянством следует голод и нищета, и несчастные дикари принуждены вскоре опять обратиться к скудной и бедственной своей промышленности. Джон Теннер следующим образом описывает одну из этих оргий.

«Торг наш кончился. Старуха подарила купцу десять прекрасных бобровых мехов. В замену подарка обыкновенно получала она одно платье, серебряные украшения, знаки ее владычества, и бочку рома. Когда купец послал за нею, чтоб вручить свой подарок, она так была пьяна, что не могла держаться на ногах. Я явился вместо ее и был немножко навеселе; нарядился в ее платье, надел на себя и серебряные украшения; потом, взвалив бочку на плечи, принес ее в хижину. Тут я поставил бочку наземь и прошиб дно обухом. „Я не из тех начальников,— сказал я,— которые тянут ром из дырочки: пей кто хочет и сколько хочет!" Старуха прибежала с тремя котлами,— и в пять минут всё было выпито. Я пьянствовал с индийцами во второй раз отроду; у меня спрятан был ром; тайно ходил я пить и был пьян два дня сряду. Остатки пошел допивать с племянником старухи... Он не был еще пьян; но жена его лежала перед огнем в совершенном бесчувствии...

Мы сели пить. В это время индиец, из племени Ожибуай, вошел шатаясь и повалился перед огнем. Уж было поздно; но весь табор шумел и пьянствовал. Я с товарищем вышел, чтобы попировать с теми, которые захотят нас пригласить; не будучи еще очень пьяны, мы спрятали котел с остальною водкою. Погуляв несколько времени, мы воротились. Жена товарища моего всё еще лежала перед огнем; но на ней уже не было ее серебряных украшений. Мы кинулись к нашему котлу: котел исчез; индиец, оставленный нами перед огнем, скрылся; и по многим причинам мы подозревали его в этом воровстве. Дошло до меня, что он сказывал, будто бы я его поил. На другой день пошел я в его хижину и потребовал котла. Он велел своей жене принести его. Таким образом вор сыскался, и брат мой получил обратно серебряные украшения!!..»

Оставляем читателю судить, какое улучшение в нравах дикарей приносит соприкосновение цивилизации!

Легкомысленность, невоздержность, лукавство и жестокость — главные пороки диких американцев. Убийство между ими не почитается преступлением; но родственники и друзья убитого обыкновенно мстят за его смерть. Джон Теннер навлек на себя ненависть одного индийца и несколько раз подвергался его удару. «Ты давно

мог бы меня убить,— сказал ему однажды Теннер,— но ты не мужчина, у тебя нет даже сердца женского, ни смелости собачьей. Никогда не прощу тебе, что ты на меня замахнулся ножом и не имел духа поразить».— Храбрость почитается между индийцами главною человеческою добродетелью: трус презираем у них наравне с ленивым или слабым охотником. Иногда, если убийство произошло в пьянстве или ненарочно, родственники торжественно прощают душегубца. Теннер рассказывает любопытный случай.

«Молодой человек, из племени Оттовауа, живший у меня во время моей болезни, отлучился в табор новоприбывших индийцев, которые в то время пьянствовали. В полночь его привели к нам пьяного. Один из проводников втолкнул его в хижину, сказав: ,,Смотрите за ним: молодой человек напроказил''.

Мы разложили огонь и увидели молодого человека, стоящего с ножом в руке, всего окровавленного. Его не могли уложить; я приказал ему лечь, и он повиновался. Я запретил делать разыскания и упоминать ему об окровавленном ноже.

Утром, встав от глубокого сна, он ничего не помнил. Молодой человек сказал нам, что накануне, кажется, он напился пьян, что очень голоден и хочет готовить себе обед. Он изумился, когда я сказал ему, что он убил человека. Он знал только, что во время пьянства кричал, вспомня об отце своем, убитом некогда на том самом месте белыми людьми. Он очень опечалился и тотчас побежал взглянуть на того, кого зарезал. Несчастный был еще жив. Мы узнали, что, когда был он поражен, тогда лежал пьяный без памяти и что сам убийца, вероятно, не знал, кто была его жертва. Родственники не говорили ничего; но переводчик (американского губернатора) сильно его упрекал.

Ясно было, что раненый не мог жить и что последний час его был уже близок. Убийца возвратился к нам. Мы приготовили значительные подарки: кто дал одеяло, кто кусок сукна, кто то, кто другое. Он унес их тотчас и положил перед раненым. Потом, обратясь к родственникам, сказал им: ,,Друзья мои, вы видите, что я убил вашего брата; но я сам не знал, что́ делал. Я не имел злого намерения: недавно приходил он в наш табор, и я с ним виделся дружелюбно; но в пьянстве я обезумел, и жизнь моя вам принадлежит. Я беден и живу у чужих; но они готовы отвести меня к моему семейству и прислали вам эти подарки. Жизнь моя в ваших руках; подарки перед вами: выбирайте, что́ хотите. Друзья мои жаловаться не станут''.

При сих словах он сел, наклонив голову и закрыв глаза руками в ожидании смертельного удара. Но старая мать убитого вышла вперед и сказала ему: ,,Ни я, ни дети мои смерти твоей не хотят. Не отвечаю за моего мужа: его здесь нет; однако ж подарки твои принимаю и буду стараться отвратить от тебя мщение мужа. Это несчастие случилось не нарочно. За что же твоя мать будет плакать, как я?''

На другой день молодой человек умер, и многие из нас помогли убийце вырыть могилу. Когда всё было готово, губернатор подарил мертвецу богатые одеяла, платья и прочее (что, по обычаю индийцев, должно было быть схоронено вместе с телом). Эти подарки положены были в кучу на краю могилы. Но старуха, вместо того, чтоб их закопать, предложила молодым людям разыграть их между собою.

Разные игры следовали одна за другою: стреляли в цель, прыгали, боролись и пр. Но лучший кусок сукна был назначен наградою победителю за бег взапуски. Сам убийца его выиграл. Старуха подозвала его и сказала: ,,Молодой человек! Сын мой был очень мне дорог; боюсь, долго и часто буду его оплакивать; я была бы счастлива, если бы ты заступил его место и любил и охранял меня подобно ему. Боюсь только моего мужа".— Молодой человек, благодарный за ее заступление, принял тотчас предложение. Он был усыновлен, и родственники убитого всегда обходились с ним ласково и дружелюбно».

Не все ссоры и убийства кончаются так миролюбиво. Джон Теннер описал одну ссору, где ужасное и смешное странным образом перемешаны между собою.

«Брат мой Уа-ме-гон-е-бью вошел в шалаш, где молодой человек бил одну старуху. Брат удержал его за руку. В это самое время пьяный старик, по имени Та-бу-шиш, вошел туда же и, вероятно, не разобрав порядочно в чем дело, схватил брата за волосы и откусил ему нос. Народ сбежался; произошло смятение. Многих изранили. Бег-уа-из, один из старых начальников, бывший всегда к нам благосклонен, прибежал на шум и почел своею обязанностию вмешаться в дело. Между тем брат мой, заметя свою потерю, поднял руки, не подымая глаз, вцепился в волоса первой попавшейся ему головы и разом откусил ей нос. Это был нос нашего друга, старого Бег-уа-иза! Утолив немного свое бешенство, Уа-ме-гон-е-бью узнал его и закричал: ,,Дядя! это ты!"— Бег-уа-из был человек добрый и смирный; он знал, что брат откусил ему нос совсем неумышленно. Он нимало не осердился и сказал: ,,Я стар: не долго будут смеяться над потерею моего носа".

С своей стороны я был в сильном негодовании на старика, обезобразившего брата моего. Я вошел в хижину к Уа-ме-гон-е-бью и сел подле него. Он весь был окровавлен; несколько времени молчал, и когда заговорил, я увидел, что он был в полном своем рассудке. ,,Завтра,— сказал он,— я буду плакать с моими детьми; послезавтра пойду к Та-бу-шишу (врагу своему), и мы оба умрем: я не хочу жить, чтоб быть вечно посмешищем". Я обещался ему помочь в его предприятии и приготовился к делу. Но, проспавшись и проплакав целый день с своими детьми, он оставил свои злобные намерения и решился как-нибудь обойтися без носу, так же как и Бег-уа-из.

Несколько дней спустя Та-бу-шиш опасно занемог горячкою. Он ужасно похудел и, казалось, умирал. Наконец прислал он к Уа-ме-гон-е-бью два котла и другие значительные подарки и велел ему сказать: ,,Друг мой, я тебя обезобразил, а ты наслал на

меня болезнь. Я много страдал, а коли умру, то дети мои будут страдать еще более. Посылаю тебе подарки, дабы ты оставил мне жизнь...". Уа-ме-гон-е-бью отвечал ему через посланного: „Не я наслал на тебя болезнь; вылечить тебя не могу, подарков твоих не хочу". Та-бу-шиш томился около месяца; волоса у него вылезли; потом он начал выздоравливать, и мы все пошли в степи по разным направлениям, удаляясь один от другого как можно более...

Однажды мы расположились табором близ деревушки, в которую переселился Та-бу-шиш, и готовы были уже снова выступить, как вдруг увидели его. Он был весь голый, расписан и украшен как для битвы и держал в руках оружие. Он медленно к нам приближался и казался глубоко раздраженным. Но никто из нас не понял его намерения до самой той минуты, как он уставил дуло своего ружья в спину моему брату. „Друг мой,— сказал он ему,— мы довольно пожили; мы довольно друг друга помучили. Тебя просили от моего имени довольствоваться тем, что́ уже я вытерпел; ты не согласился; через тебя я всё еще страдаю; жизнь мне несносна: нам должно вместе умереть".— Два молодые индийца, видя его намерение, тотчас натянули свои луки и прицелились в него стрелами; но Та-бу-шиш не обратил на них никакого внимания. Уа-ме-гон-е-бью испугался и не смел приподнять голову. Та-бу-шиш готов был биться с ним насмерть; но он не принял вызова. С той поры я вовсе перестал его уважать: последний индиец был храбрее и великодушнее его».

Если частные распри индийцев жестоки и кровопролитны, то войны их, зато, вовсе не губительны и ограничиваются по большей части утомительными походами. Начальники не пользуются никакой властию, а дикари не знают, что́ такое повиновение воинское. Они, наскуча походом, оставляют войско один за другим и возвращаются каждый в свою хижину, не успев увидеть неприятеля. Старшины упрямятся несколько времени; но, оставшись одни без воинов, следуют общему примеру, и война кончается безо всякого последствия.

Джон Теннер рассказывает с видимым удовольствием один из своих военных подвигов, который немного походит на воровство, но тем не менее доказывает его предприимчивость и неустрашимость. Какие-то индийцы похитили у него лошадь. Он отправился с намерением или отыскать ее, или заменить. Посещая индийские селения, в одном из них не встретил он никакого гостеприимства. Это его оскорбило, и, заметив добрую лошадь, принадлежавшую старшине, он из мести решился присвоить ее себе.

«У меня под одеялом,— говорит он,— спрятан был аркан. Я искусно набросил его на шею лошади — и не поскакал, а

полетел. Когда лошадь начала задыхаться, я остановился, чтоб оглянуться: хижины негостеприимной деревни были едва видны и казались маленькими точками на далекой долине...

Тут я подумал, что нехорошо поступаю, похищая любимую лошадь человека, не сделавшего мне никакого зла, хотя и отказавшего мне в должном гостеприимстве. Я соскочил с лошади и пустил ее на волю. Но в ту же минуту увидел толпу индийцев, скачущих из-за возвышения. Я едва успел убежать в ближний орешник. Они искали меня несколько времени по разным направлениям, а я между тем спрятался с большей осторожностию. Они рассеялись. Многие прошли близехонько от меня; но я был так хорошо спрятан, что мог безопасно наблюдать за всеми их движениями. Один молодой человек разделся донага как для сражения, запел свою боевую песнь, бросил ружье и с простою дубиною в руках пошел прямо к месту, где я был спрятан. Он уже был от меня шагах в двадцати. Курок у ружья моего был взведен, и я целил в сердце... Но он воротился. Он, конечно, не видал меня; но мысль находиться под надзором невидимого врага, вооруженного ружьем, вероятно поколебала его. Меня искали до ночи, и тогда лошадь уведена была обратно.

Я тотчас пустился в обратный путь, радуясь, что избавился от такой опасности; шел день и ночь и на третьи сутки прибыл к реке Мауз. Купцы тамошней конторы пеняли, что я упустил из рук похищенную мною лошадь, и сказали, что дали бы за нее хорошую цену.

В двадцати милях от этой конторы жил один из моих друзей, по имени Бе-на. Я просил его осведомиться о моей лошади и об ее похитителе. Бе-на впустил меня в шалаш, где жили две старухи, и сквозь щелку указал на ту хижину, где жил Багис-кун-нунг с четырьмя своими сыновьями. Лошади их паслись около хижины. Бе-на указал на прекрасного черного коня, вымененного ими на мою лошадь... Я тотчас отправился к Ба-гис-кун-нунгу и сказал ему: „Мне нужна лошадь“.— У меня нет лишней лошади.—„Так я ж одну уведу“.— А я тебя убью.— Мы расстались. Я приготовился к утру отправиться в путь. Бе-на дал мне буйволовую кожу вместо седла; а старуха продала мне ремень в замену аркана, мною оставленного на шее лошади индийского старшины. Рано утром вошел я в хижину Бе-на, еще спавшего, и покрыл его тихонько совершенно новым одеялом, мне принадлежавшим. Потом пошел далее.

Приближаясь к хижине Ба-гис-кун-нунга, увидел я старшего его сына, сидящего на пороге... Заметив меня, он закричал изо всей мочи... Вся деревня пришла в смятение... Народ собрался около меня... Никто, казалось, не хотел мешаться в это дело. Одно семейство моего обидчика изъявило явную неприязнь...

Я так был взволнован, что не чувствовал под собою земли; кажется, однако, я не был испуган. Набросив петлю на черную лошадь, я всё еще не садился верхом, потому что это движение лишило бы меня на минуту возможности защищаться,— и можно было бы напасть на меня с тыла. Подумав однако, что вид малейшей нерешительности был бы для меня чрезвычайно невыгодным, я хотел вскочить на лошадь; но сделал слишком большое усилие, перепрыгнул через лошадь и растянулся на той стороне, с ружьем в одной руке, с луком и стрелами в другой.

Я встал поспешно, оглядываясь кругом, дабы надзирать над движениями моих неприятелей. Все хохотали во всё горло, кроме семьи Ба-гис-кун-нунга. Это ободрило меня, и я сел верхом с большей решимостию. Я видел, что ежели бы в самом деле хотели на меня напасть, то воспользовались бы минутою моего падения. К тому же веселый хохот индийцев доказывал, что предприятие мое вовсе их не оскорбляло».

Джон Теннер отбился от погони и остался спокойным владетелем геройски похищенного коня.

Он иногда выдает себя за человека, не доступного предрассудкам; но поминутно обличает свое индийское суеверие. Теннер верит снам и предсказаниям старух: те и другие для него всегда сбываются. Когда голоден, ему снятся жирные медведи, вкусные рыбы, и через несколько времени в самом деле удается ему застрелить дикую козу или поймать осетра. В затруднительных обстоятельствах ему всегда является во сне какой-то молодой человек, который дает добрый совет или ободряет его. Теннер поэтически описывает одно видение, которое имел он в пустыне на берегу Малого Сас-Кау.

«На берегу этой реки есть место, нарочно созданое для индийского табора: прекрасная пристань, маленькая долина, густой лес, прислоненный к холму... Но это место напоминает ужасное происшествие: здесь совершилось братоубийство, злодеяние столь неслыханное, что самое место почитается проклятым. Ни один индиец не причалит челнока своего к долине „Двух убитых"; никто не осмелится там ночевать. Предание гласит, что некогда в индийском таборе, здесь остановившемся, два брата (имевшие сокола своим *тотемом* *) поссорились между собою, и один из них убил другого. Свидетели так были поражены сим ужасным злодейством, что тут же умертвили братоубийцу. Оба брата похоронены вместе.

Приближаясь к сему месту, я много думал о двух братьях, имевших один со мною *тотем*, и которых почитал я родственниками матери моей (Нет-но-куа). Я слыхал, что когда располагались на их могиле (что несколько раз и случалось), они выходили из-под земли и возобновляли ссору и убийство. По крайней мере достоверно, что они беспокоили посетителей и мешали им спать. Любопытство мое было встревожено. Мне хотелось рассказать индийцам не только, что я останавливался в этом страшном месте, но что еще там и ночевал.

Солнце садилось, когда я туда прибыл. Я вытащил свой челнок на берег, разложил огонь и, отужинав, заснул.

Прошло несколько минут, и я увидел обоих мертвецов, встающих из могилы. Они пришли и сели у огня прямо передо мною. Глаза их были неподвижно устремлены на меня. Они не

---

* Род герба. *Сокол* был также *тотемом* и Д. Теннера.

улыбнулись и не сказали ни слова. Я проснулся. Ночь была темная и бурная. Я никого не видел, не услышал ни одного звука, кроме шума шатающихся дерев. Вероятно, я заснул опять, ибо мертвецы опять явились. Они, кажется, стояли внизу, на берегу реки, потому что головы их были наравне с землею, на которой разложил я огонь. Глаза их всё были устремлены на меня. Вскоре они встали опять один за другим и сели снова против меня. Но тут уже они смеялись, били меня тросточками и мучили различным образом. Я хотел им сказать слово, но не стало голосу; пробовал бежать: ноги не двигались. Целую ночь я волновался и был в беспрестанном страхе. Один из них сказал мне между прочим, чтоб я взглянул на подошву ближнего холма. Я увидел связанную лошадь, глядевшую на меня. ,,Вот тебе, брат,— сказал мне жеби, * — лошадь на завтрашний путь. Когда ты поедешь домой, тебе можно будет взять ее снова, а с нами провести еще одну ночь".

Наконец рассвело, и я с большим удовольствием заметил, что эти страшные привидения исчезли с ночным мраком. Но, пробыв долго между индийцами и зная множество примеров тому, что сны часто сбываются, я стал не на шутку помышлять о лошади, данной мне мертвецом; пошел к холму и увидел конские следы и другие приметы, а в некотором расстоянии нашел и лошадь, которую тотчас узнал: она принадлежала купцу, с которым имел я дело. Дорога сухим путем была несколькими милями короче пути водяного. Я бросил челнок, навьючил лошадь и отправился к конторе, куда на другой день и прибыл. В последствии времени я всегда старался миновать могилу обоих братьев; а рассказ о моем видении и страданиях ночных увеличил в индийцах суеверный их ужас».

Джон Теннер был дважды женат. Описание первой его любви имеет в его «Записках» какую-то дикую прелесть. Красавица его носила имя, имевшее очень поэтическое значение, но которое с трудом поместилось бы в элегии: она звалась Мис-куа-бун-о-куа, что по-индийски значит Заря.

«Однажды вечером,— говорит Теннер,— сидя перед нашей хижиной, увидел я молодую девушку. Она, гуляя, курила табак и изредка на меня посматривала; наконец подошла ко мне и предложила мне курить из своей трубки. Я отвечал, что не курю. „Ты оттого,— сказала она,— отказываешься, что не хочешь коснуться моей трубки". Я взял трубку из ее рук и покурил немного — в самом деле в первый раз отроду. Она со мною разговорилась и понравилась мне. С той поры мы часто видались, и я к ней привязался.

Вхожу в эти подробности, потому что у индийцев таким образом не знакомятся. У них обыкновенно молодой человек женится на девушке, вовсе ему незнакомой. Они видались; может

---

* Мертвец.

быть, взглянули друг на друга; но, вероятно, никогда между собою не говорили; свадьба решена стариками, и редко молодая чета противится воле родительской. Оба знают, что если союз сей будет неприятен одному из двух или обоим вместе, то легко будет его расторгнуть.

Разговоры мои с Мис-куа-бун-о-куа вскоре наделали много шуму в нашем селении. Однажды старый Очук-ку-кон вошел ко мне в хижину, держа за руку одну из многочисленных своих внучек. Он, судя по слухам, полагал, что я хотел жениться. „Вот тебе,— сказал он моей матери,— самая добрая и самая прекрасная из моих внучек; я отдаю ее твоему сыну". С этим словом он ушел, оставя ее у нас в хижине...

Мать моя всегда любила молодую девушку, которая считалась красавицей. Однако ж старуха смутилась и сказала мне наедине: „Сын, девушка прекрасна и добра; но не бери ее за себя: она больна и через год умрет. Тебе нужна жена сильная и здоровая, итак предложим ей хороший подарок и отошлем ее к родителям". Девушка возвратилась с богатыми подарками, а через год предсказание старухи сбылось.

С каждым днем любовь наша усиливалась. Мать моя, вероятно, не осуждала нашей склонности. Я ничего ей не говорил; но она знала всё, и вскоре я в том удостоверился. Однажды, проведши в первый раз большую часть ночи с моей любовницей, я воротился поздно и заснул. На заре старуха разбудила меня, ударив прутом по голым ногам.

„Вставай,— сказала она,— вставай, молодой жених, ступай на охоту. Жена твоя будет тебя более почитать, когда рано воротишься к ней с добычей, нежели когда станешь величаться, гуляя по селению в отсутствие ловцов". Я молча взял ружье и вышел. В полдень воротился, неся на плечах жирного муза, мною застреленного, и сбросил его к ногам матери, сказав ей грубым голосом: „Вот тебе, старуха, что ты сегодня утром от меня требовала". Она была очень довольна и похвалила меня. Из того я заключил, что связь моя с молодой девушкой не была ей противна, и очень был тому рад. Многие из индийцев чуждаются своих старых родителей; но хотя Нет-но-куа была уже дряхла и немощна, я сохранял к ней прежнее безусловное почтение.

Я с жаром предавался охоте и почти всегда возвращался рано, или по крайней мере засветло, обремененный добычею. Я тщательно наряжался и разгуливал по селению, играя на индийской свирели, называемой пи-бе-гвун. В течение некоторого времени Мис-куа-бун-о-куа притворно отвергала меня. Я стал охладевать; тогда она забыла всё притворство... С моей стороны желание привести жену к нам в хижину уменьшилось. Я хотел прервать с нею всякие сношения. Увидя явное равнодушие, она хотела тронуть мне сердце то слезами, то упреками; но я ничего не говорил об ней старухе, и с каждым днем охлаждение мое становилось сильнее.

Около того времени мне понадобилось побывать на Красной Реке, и я отправился с одним индийцем, у которого была сильная и легкая лошадь. Нам предстояла дорога на семьдесят миль. Мы по очереди ехали верхом, а пеший между тем бежал, держа лошадь за хвост. Мы были в дороге одни сутки. На возвратном

пути я был один и шел пешком. Темнота ночи и усталость заставили меня ночевать в десяти милях от нашей хижины.

Пришед домой на другой день, я увидел Мис-куа-бун-о-куа сидящую на моем месте. Я остановился у дверей в недоумении. Она потупила голову. Старуха сказала мне с видом сердитым: „Что же? разве оборотишься ты спиною к нашей хижине и обесчестишь эту бедную девушку, которой ты не сто́ишь? Всё, что случилось между вами, сделалось по твоей же воле, не с моего и не с ее согласия. Ты сам за нею бегал повсюду; а теперь неужто прогонишь ее, как будто она на тебя навязалась?“... Укоризны матери казались мне не совсем несправедливы. Я вошел и сел подле девушки... Таким образом мы стали муж и жена».

Джон Теннер оставил свою жену и взял другую, от которой имел троих детей. Вопреки своей долговременной привычке и страстной любви к жизни охотничьей, жизни трудов, опасностей и восхищений непонятных и неизъяснимых, одичалый американец всегда помышлял о возвращени в недра семейства, от которого так долго был насильственно отторгнут. Наконец решился исполнить давнишнее свое намерение и отправился к берегам Биг-Миами, к месту пребывания прежнего своего семейства.

Пришед в одно из тамошних поселений, встретил он старого индийца и узнал в нем молодого дикаря, некогда его похитившего. Они дружески обнялись. Теннер узнал от него о смерти старика, так страшно с ним познакомившегося. Индиец рассказал ему подробности его похищения, о которых Теннер имел только смутное понятие. На вопрос его, правда ли, что старый Теннер и всё его семейство учинились жертвою индийцев, как некогда Манито-о-гезик уверял маленького своего пленника,— индиец отвечал, что старик солгал, и рассказал ему следующее:

«Год спустя после похищения Джона Теннера, Манито-о-гезик воротился к тому месту, где совершил первое свое предприятие. Тут с утра до полудня он подстерегал старого Теннера и его работников. Они все вместе вошли в дом; в поле остался только старший сын, пахавший землю сохою, запряженною лошадьми. Индийцы на него бросились; лошади дернули; брат Джона Теннера запутался в веревках, упал и был схвачен. Лошадей убили стрелами. Индийцы утащили молодого Теннера в леса, переправясь до ночи через Оио. Пленника привязали к дереву веревками; но он успел перегрызть узел, высвободил руку, вынул ножичек из кармана, перерезал свои узы, тотчас побежал к реке и бросился вплавь. Индийцы, услышав шум, проснулись, погнались было за ним; но ночь была темна, и он успел убежать, оставя им на память свою шляпу».

Отец Теннера умер тому лет десять, оставя имение свое старшему сыну и не позабыв в своей духовной того, чья участь была ему неизвестна.

Наконец Джон Теннер увидел свою семью, которая приняла его с великою радостию. Брат его обнял с восторгом, обрезал ему волосы и употребил всевозможные старания, дабы удержать его у себя дома. Одичалый американец, с своей стороны, звал его к себе, к Лесному озеру, выхваляя ему через переводчика дикую жизнь и раздолье степей. Братья его были женаты; сестра Люси имела десять человек детей. Наконец просьбы родных на него подействовали: он решился оставить индийцев и с своими детьми переселиться в общество, которому принадлежал по праву рождения.

Но приключения Теннера тем еще не кончились. Судьба назначала ему еще новые испытания. Возвратясь к диким своим знакомцам и объявив им о своем намерении, он возбудил сильное негодование. Индийцы не соглашались выдать ему детей. Жена отказывалась следовать за ним к людям чуждым и ненавистным. Власти американские принуждены были вмешаться в семейственные дела Джона Теннера. Угрозой и ласкою уговорили индийцев отпустить его домой со всем семейством. Он еще в последний раз отправился с родными к Красной Реке на охоту за буйволами, прощаясь навсегда с дикой жизнию, имевшей для него столько прелести. Возвратясь, он стал готовиться в дорогу.

Индийцы простились с ним дружелюбно. Сын его не захотел за ним следовать и остался вольным дикарем. Теннер отправился с двумя дочерьми и с их матерью, которая не хотела с ними расстаться. Послушаем, как Теннер описывает свое последнее путешествие.

«В обратном пути я предпочел ехать по Недоброй Реке, что должно было сократить дорогу на несколько миль. Близ устья реки Осетра в то время стоял табор или деревня из шести или семи хижин. Тут находился молодой человек, по имени Ом-чу-гвут-он. Он был высечен по приказанию американского начальства за настоящую или мнимую вину и глубоко за то злобствовал. Узнав о моем проезде, он приехал ко мне на своем челночке.

Довольно странным образом стал он искать разговора со мною и вздумал уверять, что между нами существовали сношения семейственные; ночевал с нами вместе, и утром мы с ним отправились в одно время. Причаля к берегу, я приметил, что он искал случая встретиться в лесу с одной из моих дочерей, которая тотчас воротилась, немного встревоженная. Мать ее так же несколько

раз в течение дня имела с нею тайные разговоры; но девочка всё была печальна и несколько раз вскрикивала.

К ночи, когда расположились мы ночевать, молодой человек тотчас удалился. Я притворно занимался своими распоряжениями, а между тем не выпускал его из виду; вдруг приближился к нему и увидел его посреди всего снаряда охотничьего. Он обматывал около пули оленью жилу длиною около пяти вершков. Я сказал ему: „Брат мой (так называл он меня сам), если у тебя недостает пороху, пуль или кремней, то возьми у меня, сколько тебе понадобится". Он отвечал, что ни в чем не нуждается, а я воротился к себе на ночлег.

Несколько времени я его не видал. Вдруг явился он в наряде и украшениях воина, идущего в сражение. В первую половину ночи он надзирал за всеми моими движениями с удивительным вниманием; подозрения мои, уже и без того сильно возбужденные, увеличились еще более. Однако ж он продолжал со мною разговаривать много и дружелюбно и попросил у меня ножик, чтобы нарезать табаку; но вместо того, чтоб возвратить его, сунул себе за пояс. Я полагал, что он отдаст мне его поутру.

Я лег в обыкновенный час, не желая показать ему свои подозрения. Палатки у меня не было, и я лежал под крашеной холстиной. Растянувшись на земле, я выбрал такое положение, что мог видеть каждое его движение. Настала гроза. Он, казалось, стал еще более беспокоен и нетерпелив. При первых дождевых каплях я предложил ему разделить со мною приют. Он согласился. Дождь шел сильно; огонь наш был залит; скоро потом *мустики* (род комаров) напали на нас. Он опять разложил огонь и стал обмахивать меня веткою.

Я чувствовал, что мне не должно было засыпать; но усыпление начало овладевать мною. Вдруг разразилась новая гроза сильнее первой. Я оставался как усыпленный, не открывая глаз, не шевелясь и не теряя из виду молодого человека. Однажды сильный удар грома, казалось, смутил его. Я увидел, что он бросал в огонь немного табаку в виде приношения. В другой раз, когда сон, казалось, совершенно мною овладевал, я увидел, что он стерег меня, как кошка, готовая броситься на свою жертву; однако ж я всё противился дремоте.

Поутру он с нами отзавтракал, как обыкновенно, и ушел вперед прежде, нежели успел я собраться. Дочь моя, с которой разговаривал он в лесу, казалась еще более испуганною и долго не хотела войти в челнок; мать уговаривала ее и старалась скрыть от меня ее смятение. Наконец мы поехали. Молодой человек плыл у берега, не в дальнем от нас расстоянии, до десяти часов утра. Тогда при довольно опасном и быстром повороте, откуда взору открывалось далекое пространство, и он и челнок его исчезли, что очень меня удивило.

На сем месте река имеет до 80 вержей ширины, а в десяти — от поворота, о котором я упоминал,— находится маленький, утесистый остров. Я был раздет и с усилием правил челноком против бурного течения (что заставляло меня жаться как можно ближе к берегу), как вдруг вблизи раздался ружейный выстрел; пуля просвистала над моей головою. Я почувствовал как бы удар по боку. Весло выпало у меня из правой руки, которая сама повисла.

Дым выстрела затемнял кусты; но со второго взгляда я узнал убегающего Ом-чу-гвут-она.

Дочери мои закричали. Я обратил внимание на челнок: он был весь окровавлен. Я старался левою рукою направить его на берег, чтобы преследовать молодого человека; но течение было слишком сильно для меня: оно принесло нас на утесистый островок. Я ступил на него и, вытащив левою рукою челнок на камень, попробовал зарядить ружье; но не успел того сделать и упал без чувств. Очнувшись, я увидел, что был один на острову. Челнок с моими дочерьми исчезал вдали, возвращаясь вспять по течению. Я снова лишился чувств; но наконец пришел в себя.

Полагая, что мой убийца надзирал за мною из какого-нибудь скрытого места, я осмотрел свои раны. Правая рука была в очень худом состоянии: пуля, вошедшая в бок близ легкого, осталась во мне. Я отчаялся в жизни и стал кликать Ом-чу-гвут-она, прося его прекратить мне жизнь и мучения: „Ты убил меня,— кричал я,— но хотя я и смертельно ранен, однако боюсь прожить несколько дней. Приди же, если ты муж, и выстрели в меня еще раз“. Звал его несколько раз, но не получил ответа.

Я был почти гол: в минуту, как меня ранили, на мне, кроме порт, была одна рубашка, и та вся разорванная во время усилий при плавании. Я лежал на голом утесе, на зное летнего дня; земляные и черные мухи кусали меня; в будущем видел я лишь медленную смерть. Но по захождении солнца сила и надежда возвратились; я доплыл до того берега. Вышед из воды, мог стать на ноги и испустил крик бранный, называемый *сассакуи*, в знак радости и вызова. Но потеря крови и усилия во время плавания снова лишили меня чувств.

Пришед в себя, я спрятался близ берега, чтоб наблюдать за моим врагом. Вскоре увидел я Ом-чу-гвут-она, выходящего из своей западни; он пустил в воду свой челнок, поплыл вниз по реке и прошел близехонько от меня. Мне сильно хотелось кинуться на него, чтоб схватить и задавить его в воде; но я не понадеялся на свои силы и таким образом пропустил его, не открываясь.

Вскоре пламенная жажда начала меня мучить. Берега реки были круты и каменисты. Я не мог лежа напиться от раненой руки, на которую не в силах был опереться. Надлежало войти в воду по самые губы. Вечер свежел более и более, и силы мои вместе с тем возобновлялись. Кровь, казалось, лилась свободнее; я занялся своею раною. Несмотря на опухоль мяса, я постарался соединить раздробленные косточки; сперва разорвал на бинты остаток своей рубашки, потом зубами и левой рукою стал их обвивать около руки сначала слабо, а потом всё туже, туже, пока наконец успел ее порядочно перевязать. Вместо лубков привязал я прутики и повесил руку на веревочку, накинутую на шею.

После того взял корку с дерева, похожего на вишневое, и, разжевав ее, приложил к моим ранам, надеясь тем остановить течение крови. Кусты, отделявшие меня от реки, были все окровавлены. Настала ночь. Я выбрал для ночлега мшистое место. Пень служил мне изголовьем. Я не хотел удалиться от берега, дабы наблюдать надо всем, что случится, и дабы в случае жажды иметь возможность ее утолить. Я знал, что лодка, принадлежащая купцам, должна была около того времени проехать в этом самом месте, ждал я от них-то помощи. Индийских хижин не было

ближе тех, откуда к нам присоединился Ом-чу-гвут-он, и я имел причину думать, что, кроме его, дочерей моих и жены, никого кругом не было.

Простертый на земле, я стал молиться великому духу, прося его сжалиться надо мною и ниспослать помощь в час скорби. Оканчивая молитвы, заметил я, что мустики, которые роем облепили голое тело мое, умножая страдания, стали отлетать, покружились надо мною и наконец исчезли. Я не приписал этого непосредственному действию великого духа: вечер становился холодным, и, следовательно, это было влияние воздуха. Я был, однако ж, уверен, как и всегда во время бедствий и опасности, что владыко дней моих невидимо находился близ меня, мощно мне покровительствуя. Я спал тихо и спокойно; но часто просыпался и всякий раз помнил, просыпаясь, что снилась мне лодка с белыми людьми.

Около полуночи услышал я на той стороне реки женские голоса, и мне показались они голосами моих дочерей. Я подумал, что Ом-чу-гвут-он открыл место, куда они скрылись, и как-нибудь их обижал, потому что крики их изъявляли страдание. Но я не имел силы встать и идти к ним на помощь.

На другой день, прежде десяти часов утра, услышал я по реке человеческие голоса и увидел лодку, наполненную белыми людьми, подобную той, которую видел во сне. Эти люди вышли на берег, не в дальнем расстоянии от места, где я лежал, и стали готовить завтрак. Я узнал лодку г. Стюарта, гудзонского купца, которого ждали около того времени. Полагая, что появление мое произведет над ними впечатление неприятное, я дождался конца их завтрака.

Когда приготовились они к отплытию, я вошел в брод, дабы обратить на себя их внимание. Увидя меня, французы перестали грести и все устремили на меня взор с видом сомнения и ужаса. Течение быстро их уносило, и зов мой, произнесенный на индийском языке, не производил никакого действия. Наконец я стал звать г. Стюарта по имени и, вспомнив несколько английских слов, умолял путешественников воротиться за мною. В одну минуту весла опустились, и лодка подъехала так близко, что я мог в нее войти.

Никто не узнал меня, хотя гг. Стюарт и Грант были мне очень знакомы. Я был весь окровавлен, и, вероятно, страдания очень меня переменили. Меня осыпали вопросами. Вскоре узнали, кто я таков и что со мною случилось. Приготовили мне постелю в лодке. Я умолял купцов ехать за моими детьми в то направление, откуда слышались их крики, и боялся найти их умерщвленными. Но все разыскания были тщетны...

Узнав об имени моего убийцы, купцы решились тотчас отправиться в деревню, где жил Ом-чу-гвут-он, и обещались убить его на месте, если успеют поймать. Меня спрятали на самое дно лодки. Когда причалили мы к хижинам, старик вышел к нам навстречу, спрашивая: „Что нового?"— Всё хорошо,— отвечал г. Стюарт,— другой новости нет.— „Белые люди,— возразил старик,— никогда нам правды не скажут. Я знаю, что в той стране, откуда вы прибыли, есть новости. Один из наших молодых людей, Ом-чу-гвут-он был там и сказывал, что Сокол (индийское прозвище Д. Теннера), который дней несколько тому назад проезжал здесь с женою и с детьми, всех их перерезал. Но, кажется, Ом-чу-гвут-он

сделал сам что-нибудь недоброе: он что-то неспокоен, а увидя вас, бежал".

Гг. Стюарт и Грант стали, однако ж, искать Ом-чу-гвут-она по всем хижинам и, удостоверясь в его побеге, сказали старику: „Правда, он сделал недоброе дело; но тот, кого хотел он убить, с нами; неизвестно, будет ли он еще жив..." Тогда показали меня индийцам, собравшимся на берегу.

Здесь мы несколько времени отдыхали. Осмотрели мои раны. Я удостоверился, что пуля, раздробив кость руки, вошла в бок близ ребра, и просил г. Гранта вынуть ее; но ни он, ни г. Стюарт на то не согласились. Я принужден был сам начать операцию левою рукою. Ланцет, данный мне г. Грантом, переломился. Я взял перочинный ножичек, и тот переломился, потому что в этом месте мясо очень отвердело. Наконец дали мне широкую бритву, и я вынул пулю; она была очень сплющена. Оленья жила и другие снадобья остались в ране. Коль скоро увидел я, что пуля ниже ребр не опустилась, стал надеяться на выздоровление; но, имея причину полагать, что рана моя была отравлена ядом, предвидел медленное выздоровление.

После того отправились мы в деревню, в которой старшиною был родной брат моего убийцы. Тут г. Стюарт имел предосторожность спрятать меня опять. Жители призваны были один за другим; им роздали табаку. Но все разыскания опять остались тщетны. Наконец меня показали, и сказано было старшине, что мой убийца был родной его брат. Он потупил голову и отказался отвечать на вопросы белых людей. Но мы узнали от других индийцев, что жена моя с дочерьми останавливалась в этой деревне на пути своем к Дождевому озеру.

Мы тотчас туда отправились и нашли их задержанных в конторе. Подозрение тамошних купцов было возбуждено их беспокойством и ужасом, также и моим отсутствием. Коль скоро меня завидели, старуха убежала в лес; но купцы послали за нею погоню; ее поймали и привели.

Гг. Стюарт и Грант предоставили мне самому произнести приговор над женою, явно виновной в покушении на мою жизнь. Они объявили ее преступление равным злодейству Ом-чу-гвут-она и достойным смерти или всякой другой казни. Но я потребовал, чтоб ее только прогнали из конторы без запасов и запретили б туда являться. Она была мать моих детей: я не хотел, чтоб она была повешена или забита до смерти (как предлагали мне купцы); но вид ее становился мне несносен: по просьбе моей ее прогнали без наказания.

Дочери сказали, что в ту минуту, как упал я без чувств на камень, они, почитая меня мертвым и повинуясь приказанию матери, пустились в обратный путь и предались бегству. В некотором расстоянии от островка, где я лежал, старуха причалила к кустарнику, спрятала там мое платье и после долгого перехода скрылась в лесу; но потом, размыслив, что лучше бы сделала, если б присвоила себе мою собственность, воротилась. Тогда-то услышал я крики дочерей, сопровождавших старуху, которая подбирала мое платье на берегу...»

Ныне Джон Теннер живет между образованными своими соотечественниками. Он в тяжбе с своею мачехою

о нескольких неграх, оставленных ему по наследству. Он очень выгодно продал свои любопытные «Записки» и на днях будет, вероятно, членом *Общества Воздержности.** Словом, есть надежда, что Теннер со временем сделается настоящим yankee, ** с чем и поздравляем его от искреннего сердца.

The Reviewer

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА

Сочинение Сильвио Пеллико

На днях выйдет из печати новый перевод книги «Dei doveri degli uomini», сочинения славного Сильвио Пеллико.

Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже *пословицею народов;* она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием,— и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие.

И не всуе, собираясь сказать несколько слов о книге кроткого страдальца, дерзнули мы упомянуть о божественном Евангелии: мало было избранных (даже между первоначальными пастырями церкви), которые бы в своих творениях приблизились кротостию духа, сладостию красноречия и младенческою простотою сердца к проповеди небесного учителя.

В позднейшие времена неизвестный творец книги «О подражании Иисусу Христу», Фенелон и Сильвио Пеллико в высшей степени принадлежат к сим избран-

---

* Общество, коего цель — истребление пьянства. Члены обязываются не употреблять и не покупать никаких крепких напитков. *Издатель.*

** Прозвище, данное американцам; смысл его нам неизвестен. *Издатель.*

ным, которых ангел господний приветствовал именем *человеков благоволения.*

Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью,— прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства.

Признаемся в нашем суетном зломыслии. Читая сии записки, где ни разу не вырывается из-под пера несчастного узника выражение нетерпения, упрека или ненависти, мы невольно предполагали скрытое намерение в этой ненарушимой благосклонности во всем и ко всему; эта умеренность казалась нам искусством. И, восхищаясь писателем, мы укоряли человека в неискренности. Книга «Dei doveri» устыдила нас и разрешила нам тайну прекрасной души, тайну человека-христианина.

Сказав, какую книгу напомнило нам сочинение Сильвио Пеллико, мы ничего более не можем и не должны прибавить к похвале нашей.

В одном из наших журналов, в статье писателя с истинным талантом, критика, заслужившего доверенность просвещенных читателей, с удивлением прочли мы следующие строки о книге Сильвио Пеллико:

«Если бы книга *Обязанностей* не вышла вслед за книгою *Жизни* (Мои темницы), она показалась бы нам общими местами, сухим, произвольно догматическим уроком, который мы бы прослушали без внимания».

Неужели Сильвио Пеллико имеет нужду в извинении? Неужели его книга, вся исполненная сердечной теплоты, прелести неизъяснимой, гармонического красноречия, могла кому бы то ни было и в каком бы то ни было случае показаться *сухой* и холодно догматической? Неужели, если б она была написана в тишине Фиваиды или в библиотеке философа, а не в грустном уединении темницы, недостойна была бы обратить на себя внимания человека, одаренного сердцем? Не можем поверить, чтобы в самом деле такова была мысль автора «Истории поэзии».

Это уж не ново, это было уж сказано — вот одно из самых обыкновенных обвинений критики. Но всё уже было сказано, все понятия выражены и повторены в течение столетий: что ж из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, не

станем на него клеветать: разум неистощим в *соображении* понятий, как язык неистощим в *соединении* слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторение лексикона. *Мысль* отдельно никогда ничего нового не представляет, *мысли же* могут быть разнообразны до бесконечности.

Как лучшее опровержение мнения г-на Шевырева, привожу собственные его слова:

«Прочтите ее (книгу Пеллико) с тою же верою, с какою она писана, и вы вступите из темного мира сомнений, расстройства, раздора головы с сердцем в светлый мир порядка и согласия. Задача жизни и счастия вам покажется проста. Вы как-то соберете себя, рассеянного по мелочам страстей, привычек и прихотей — и в вашей душе вы ощутите два чувства, которые, к сожалению, очень редки в эту эпоху: чувство довольства и чувство надежды».

СЛОВАРЬ О СВЯТЫХ,

прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно-чтимых. 1836 г. СПб.

В наше время главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые *ученые* принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною *взглядов*, приноровлением модных понятий к старым давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые, в некотором смысле, можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих.

«Словарь о святых» не принадлежит к числу опрометчивых и скороспелых произведений, наводняющих наши книжные лавки. Отчетливость в предварительных изысканиях, полнота в совершении предпринятого труда поставили сию книгу высоко во мнении знающих людей. Издатель на своем поприще имел предшественником Новикова, напечатавшего в 1784 году «Опыт Исторического

словаря о всех в истинной православной вере святою непорочною жизнию прославившихся святых мужах». С того времени прошло более пятидесяти лет; средства и источники умножились; для нового издателя труд был облегчен, но вместе с тем и удвоен. В «Опыте» Новикова помещено 169 имен угодников, с описанием их жития или безо всякого объяснения: «Словарь о святых» заключает в себе 363 имени, т. е. более, нежели вдвое. У Новикова источники изредка указаны внизу самого текста: в нынешнем «Словаре» полный «Указатель» источникам напечатан особо, в два столбца, мелким шрифтом и составляет целый печатный лист.

«Церковь российская,— сказано в предисловии,— весьма осторожно оглашала святыми угодников своих, и только по явном открытии нетления мощей, прославленных чудесами, помещала их в месяцесловы. Россия к утверждению православия своего видела во многих местах явное знамение благодати над мощами тех, кои святостию жизни, примером благочестия или христианским самоотвержением явили себя достойными почитания; но имена сих угодников не были внесены в ,,Общие святцы Российской церкви"; а память их совершалась в тех только местах, где они почивают. Причиною такой местности было отделение духовной власти Новгорода от главной духовной власти России и потом разделение митрополии на Киевскую и Московскую. Уже в половине XVI века московский митрополит Макарий, составляя ,,Великие Четьи Минеи", собрал жития и некоторых святых, еще дотоле в Патериках не помещенных, и для установления им служеб имел в Москве 1547 года собор, на котором двенадцати святым российским назначено повсюду празднование и службы, а девяти — только в местах, где мощи их почивают. Те церкви, которые не успели на собор представить свидетельство о своих местных угодниках, после получали, по рассмотрению митрополита, дозволение совершать память их, и потом, при патриархах, некоторые из них внесены в общие месяцесловы. Митрополит Ростовский Димитрий в своих ,,Четьих Минеях" поместил преподобных киевопечерских под числом совершения их памяти. Но и за сим многие не внесены в месяцесловы, хотя некоторым сочинены особые службы, кондаки и тропари; таковы угодники новогородские, псковские, вологодские и другие.

В предлагаемом ,,Словаре" помещены: жития святых, прославленных в российской церкви; жития некоторых других подвижников благочестия, коих память благоговейно сохраняется там, где они жили или почили; наконец краткие известия о тех богоугодно-поживших, которых имена выписаны из синодиков или древних монастырских записок. При описании жизни святого, прославленного во всей российской церкви, обозначены в ,,Словаре" месяц и число совершения памяти; относительно прочих также означается место и день, когда чтится их память совершением молебных пений или панихид, по введенному постановлениями или преданием обычаю».

Слог издателя должен будет служить образцом для всех ученых словарей. Он прост, полон и краток. Нам случилось в «Энциклопедическом лексиконе» (впрочем, книге необходимой и имеющей столь великое достоинство) найти в описании какого-то сражения уподобление одного из корпусов кораблю или птице, не помним наверное чему: таковые риторические фигуры в каком-нибудь ином сочинении могут быть дурны или хороши, смотря по таланту писателя; но в словаре они во всяком случае нестерпимы.

Издатель «Словаря о святых» оказал важную услугу истории. Между тем книга его имеет и общую занимательность: есть люди, не имеющие никакого понятия о житии того св. угодника, чье имя носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству.

Наконец и библиофилы будут благодарны за типографическую изящность издания: «Словарь» напечатан в большую осьмушку, на лучшей веленевой бумаге и есть отличное произведение типографии Второго отделения собственной канцелярии е. и. в.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

Георгий Кониский, о котором напечатана статья в первом нумере «Современника», начинает свои пастырские поучения следующими замечательными словами:

«Первое слово к вам, благочестивые слушатели, Христовы люди, рассудил я сказать о себе самом... Должность моя, как вы сами видите, есть учительская: а учители добрые и нелукавые себе первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедуют, нежели чужим».

Приемля журнальный жезл, собираясь проповедовать истинную критику, весьма достохвально поступили бы вы, м. г., если б перед стадом своих подписчиков изложили предварительно свои мысли о должности критика и журналиста и принесли искреннее покаяние в слабостях, нераздельных с природою человека вообще и журналиста в особенности. По крайней мере, вы можете

подать благой пример собратии вашей, поместив в своем журнале несколько искренних замечаний, которые пришли мне в голову по прочтении первого нумера «Современника».

Статья «О движении журнальной литературы» по справедливости обратила на себя общее внимание. Вы в ней изложили остроумно, резко и прямодушно весьма много справедливых замечаний. Но признаюсь, она не соответствует тому, чего ожидали мы от направления, которое дано будет вами вашей критике. Прочитав со вниманием эту немного сбивчивую статью, всего яснее увидел я большое ожесточение противу г. Сенковского. По мнению вашему, вся наша словесность обращается около «Библиотеки для чтения». Все другие повременные издания рассмотрены только в отношении к ней. «Северная пчела» и «Сын отечества» представлены каким-то сильным арьергардом, подкрепляющим «Библиотеку». «Московский наблюдатель», по вашим словам, образовался только с тем намерением, чтоб воевать противу «Библиотеки». Он даже получил строгий выговор за то, что нападения его ограничились только двумя статейками; должно было, говорите вы, или не начинать вовсе, или, если начать, то уже не отставать. «Литературные прибавления», «Телескоп» и «Молва» похвалены вами за их оппозиционное отношение к «Библиотеке». Признаюсь, это изумило тех, которые с нетерпением ожидали появления вашего журнала. Неужто, говорили они, цель «Современника» — следовать по пятам за «Библиотекою», нападая на нее врасплох и вооруженной рукою отбивая от нее подписчиков? Надеюсь, что опасения сии лживы и что «Современник» изберет для себя круг действия более обширный и благородный...

Обвинения ваши касательно г. Сенковского ограничиваются следующими пунктами:

1. Г-н Сенковский исключительно завладел отделением критики в журнале, издаваемом от имени книгопродавца Смирдина.

2. Г-н Сенковский переправляет статьи, ему доставляемые для помещения в «Библиотеке».

3. Г-н Сенковский в своих критических суждениях не всегда соблюдает тон важности и беспристрастия.

4. Г-н Сенковский не употребляет местоимений *сей* и *оный*.

5. Г-н Сенковский имеет около пяти тысяч подписчиков.

Первые два обвинительные пункта относятся к домашним, так сказать, распоряжениям книгопродавца Смирдина и до публики не касаются. Что же до важного тона критики, то не понимаю, как можно говорить не в шутку о некоторых произведениях отечественной литературы. Публика требует отчета обо всем выходящем. Неужто журналисту надлежит наблюдать один и тот же тон в отношении ко всем книгам, им разбираемым? Разница — критиковать «Историю государства Российского» и романы гг. *** и пр. Критик, стараясь быть всегда равно учтивым и важным, без сомнения, погрешает противу приличия. В обществе вы локтем задеваете соседа, вы извиняетесь: очень хорошо; но, гуляя под качелями, вы толкнули лавочника, и не скажете же ему: mille pardons. Вы скажете: зачем ходить толкаться под качели? зачем упоминать о книгах, которые не стоят никакого внимания? Но если публика того требует непременно, зачем ей не угодить? Celà vous coûte si peu, et leur fait tant de plaisir! — Да позвольте узнать: что значит и ваш разбор альманаха «Мое новоселье», который так счастливо сравнили вы с тощим котом, мяукающим на кровле опустелого дома? Сравнение очень забавно, но в нем не вижу я ничего важного. *Врачю! исцелися сам!* Признаюсь, некоторые из веселых разборов, попадающихся в «Библиотеке для чтения», тешат меня несказанно, и мне было бы очень жаль, если бы критик предпочел хранить величественное молчание.

Шутки г. Сенковского насчет невинных местоимений *сей, сия, сие, оный, оная, оное* — не что иное, как шутки. Вольно же было публике и даже некоторым писателям принять их за чистую монету Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей* и *оный*,* но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга, метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет и пр.,

* Впрочем, мы говорим: в сию минуту, сей час, по сию пору и проч.

заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка. Но вы несправедливо сравнили гонение на *сей* и *оный* со введением *i* и v в орфографию русских слов и напрасно потревожили прах Тредьяковского, который никогда ни с кем не заводил споров об этих буквах. Ученый профессор, желавший преобразить нашу орфографию, действовал сам от себя, без предварительного примера. Замечу мимоходом, что орфография г. Каченовского не есть затруднительная новость, но давно существует в наших священных книгах. Всякий литератор, получивший классическое образование, обязан знать ее правила, даже и не следуя оным.

Что же касается до последнего пункта, т. е. до 5000 подписчиков, то позвольте мне изъявить искреннее желание, чтоб на следующий год могли вы заслужить точно такое ж обвинение.

Признайтесь, что нападения ваши на г. Сенковского не весьма основательны. Многие из его статей, пропущенных вами без внимания, достойны были занять место в лучших из европейских журналов. В показаниях его касательно Востока мы должны верить ему, как люди непосвященные. Он издает «Библиотеку» с удивительной сметливостию, с аккуратностию, к которой не приучили нас гг. русские журналисты. Мы, смиренные провинциалы, благодарны ему — и за разнообразие статей, и за полноту книжек, и за свежие новости европейские, и даже за отчет об литературной всячине. Жалеем, что многие литераторы, уважаемые и любимые нами, отказались от соучастия в журнале г. Смирдина, и надеемся, что «Современник» пополнит нам сей недостаток; но желаем, чтоб оба журнала друг другу не старались вредить, а действовали каждый сам по себе для пользы общей и для удовольствия жадно читающей публики.

Обращаясь к «Северной пчеле», вы упрекаете ее в том, что она без разбора помещала все в нее бросаемые известия, объявления и тому подобное. Но как же ей и делать иначе? «Северная пчела» газета, а доход газеты

составляют именно объявления, известия и проч., без разбора печатаемые. Английские газеты, считающие у себя до 15 000 подписчиков, окупают издержки издания только печатанием объявлений. Не за объявления должно было укорять «Северную пчелу», но за помещения скучных статей с подписью Ф. Б., которые (несмотря на ваше пренебрежение ко вкусу бедных провинциалов) давно оценены у нас по достоинству. Будьте уверены, что мы с крайней досадою видим, что гг. журналисты думают нас занять нравоучительными статейками, исполненными самых детских мыслей и пошлых шуточек, которые достались «Северной пчеле», вероятно, по наследству от «Трудолюбивой пчелы».

То, что вы говорите о «Прибавлениях к Инвалиду», вообще справедливо. Издатель оставил на полемическом поприще следы неизгладимые и до сих пор подвизается на оном с неоспоримым успехом. Мы помним «Хамелеонистику», ряд статеек в своем роде классических. Но позвольте вам заметить, что вы хвалите г. Воейкова именно за то самое, за что негодуете на г. Сенковского: за шутливые разборы того, что не стоит быть разобрано не в шутку.

Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности,— словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного.

Говоря о равнодушии журналистов к важным литературным событиям, вы указываете на смерть Вальтер Скотта. Но смерть Вальтер Скотта не есть событие литературное; о Вальтер Скотте же и его романах впопад и невпопад было у нас говорено довольно.

Вы говорите, что в последнее время заметно было в публике равнодушие к поэзии и охота к романам, повестям и тому подобному. Но поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде? И где подметили вы это равнодушие? Скорее можно укорить наших поэтов в бездействии, нежели публику в охлаждении. Державин вышел в свет третьим изданием; слышно, готовится четвертое. На заглавном листе басен Крылова (изданных

в прошлом году) выставлено: *тридцатая тысяча.* Новые поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом. Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание... Где же тут равнодушие публики к поэзии?

Вы укоряете наших журналистов за то, что они не сказали нам: что такое был Вальтер Скотт? Что такое нынешняя французская литература? Что такое наша публика? Что такое наши писатели?

В самом деле, вопросы весьма любопытные! Мы надеемся, что вы их разрешите впоследствии и что избегнете в вашей критике недостатков, так строго и так справедливо вами осужденных в статье, которую вправе мы назвать программою вашего журнала. *

А. Б.

Тверь
23 апреля 1836

ОБЪЯСНЕНИЕ

Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале, навлекло на меня обвинение, в котором долгом полагаю оправдаться. Это стихотворение заключает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошел первую половину поприща и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уроны, предоставя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества. Я не мог подумать, чтобы тут можно было увидеть намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унизить священную славу Кутузова; однако ж меня в том обвинили.

Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой

* С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объяснения. Статья «О движении журнальной литературы» напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямодушием, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае она не есть и не могла быть программою «Современника».

Изд.

Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай-де-Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, *где равен был неравный спор,* отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения.) Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!

Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик? Ужели, после двадцатипятилетнего безмолвия, поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?.. Конечно, не народом и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом.

Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унизить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту степень, на которой она явилась в 1813 году. Но не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру — на того, кто некогда внушил мне следующие стихи, конечно не-

достойные великой тени, но искренние и излиянные из души.

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...
и проч.

КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА,

происшествие в России, в 2 част. Издал Иван Бутовский. СПб. При подписке 1 ч. выдается, а на 2 билет.

Под сим заглавием вышел в свет первый том записок Н. А. Дуровой. Читатели «Современника» видели уже отрывки из этой книги. Они оценили, без сомнения, прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которою пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия. В сем первом томе описаны детские лета, первая молодость и первые походы Надежды Андреевны. Ожидаем появления последнего тома, дабы подробнее разобрать книгу, замечательную по всем отношениям.

КЛЮЧ К ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Н. М. КАРАМЗИНА. *2 ч. М.*

Издав сии два тома, г. Строев оказал более пользы русской истории, нежели все наши историки с высшими взглядами, вместе взятые. Те из них, которые не суть еще закоренелые верхогляды, принуждены будут в том сознаться. Г-н Строев облегчил до невероятной степени изучение русской истории. «*Ключ* составлен по *второму* изданию „Истории государства Российского", *самому полному и исправному»*, пишет г. Строев. Издатели «Истории государства Российского» должны будут поскорее приобрести право на перепечатание «Ключа», необходимого дополнения к бессмертной книге Карамзина.

О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБРИАНОВОМ ПЕРЕВОДЕ «ПОТЕРЯННОГО РАЯ»

Долгое время французы пренебрегали словесностию своих соседей. Уверенные в своем превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писателей иностранных относительно меры, как отдалились они от французских привычек и правил, установленных французскими критиками.

В переводных книгах, изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного предисловия, где бы не находилась неизбежная фраза: мы думали угодить публике, а с тем вместе оказать услугу и нашему автору, исключив из его книги места, которые могли бы оскорбить вкус образованный французского читателя. Странно, когда подумаешь, кто, кого и перед кем извинял таким образом! и вот к чему ведет невежественная страсть к народности!.. Наконец критика спохватилась. Стали подозревать, что г. Летурнер мог ошибочно судить о Шекспире и не совсем благоразумно поступил, переправляя на свой лад «Гамлета», «Ромео» и «Лира». От переводчиков стали требовать более верности, а менее щекотливости и усердия к публике, пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде и с их природными недостатками. Даже мнение, утвержден-

ное веками и принятое всеми, что переводчик должен стараться передавать дух, а не букву, нашло противников и искусные опровержения.

Ныне (пример неслыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона *слово в слово* и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только оный был возможен! Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела, должно было сильно изумить поборников *исправительных переводов* и, вероятно, будет иметь большое влияние на словесность.

Изо всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции. Не говорим о жалких переводах в прозе, в которых он был безвинно оклеветан, не говорим о переводе в стихах аббата Делиля, который ужасно поправил его грубые недостатки и украсил его без милосердия; но как же выводили его собственное лицо в трагедиях и в романах писатели новейшей романтической школы? что сделал из него г. Альфред де Виньи, которого французские критики без церемонии поставили на одной доске с В. Скоттом? как выставил его Виктор Юго, другой любимец парижской публики? Может быть, читатели забыли и «Cinq-Mars», и «Кромвеля» и потому не могут судить о нелепости вымыслов Виктора Юго. Выведем того и другого на суд всякого знающего и благомыслящего человека.

Начнем с трагедии — одного из самых нелепых произведений человека, впрочем одаренного талантом.

Мы не станем следовать за спотыкливым ходом этой драмы, скучной и чудовищной; мы хотим только показать нашим читателям, в каком виде в ней представлен Мильтон, еще неизвестный поэт, но политический писатель, уже славный в Европе своим горьким и запосчивым красноречием.

Кромвель во дворце своем беседует с лордом Рочестером, переодетым в методиста, и с четырьмя шутами. Тут же находится Мильтон со своим вожатым (лицом довольно ненужным, ибо Мильтон ослеп уже гораздо после). Протектор говорит Рочестеру:

— Так как мы теперь одни, то я хочу посмеяться: представляю вам моих шутов. Когда мы находимся в веселом духе, тогда они бывают очень забавны. Мы все пишем стихи, даже и мой старый Мильтон.

Мильтон *(с досадою).*

Старый Мильтон! Извините, милорд: я девятью годами моложе вас.

Кромвель.

Как угодно.

Мильтон.

Вы родились в 99, а я в 608.

Кромвель.

Какое свежее воспоминание!

Мильтон *(с живостию).*

Вы бы могли обходиться со мною учтивее: я сын нотариуса, городового альдермана.

Кромвель.

Ну, не сердись — я знаю, что ты великий феолог и даже хороший стихотворец, хотя пониже Вайверса и Дона.

Мильтон *(говоря сам про себя).*

Пониже! как это слово жестоко! Но погодим. Увидят, отказало ли мне небо в своих дарах. Потомство мне судия. Оно поймет мою Еву, падающую в адскую ночь, как сладкое сновидение; Адама, преступного и доброго, и Неукротимого духа, царствующего также над одною вечностию, высокого в своем отчаянии, глубокого в безумии, исходящего из огненного озера, которое бьет он огромным своим крылом! Ибо пламенный гений во мне работает. Я обдумываю, *молча,* странное намерение. Я живу в мысли моей, и ею Мильтон утешен: так, я хочу в свою очередь создать свой мир между адом, землею и небом.

Лорд Рочестер *(про себя).*

Что он там городит?

Один из шутов.

Смешной мечтатель!

Кромвель *(пожимая плечами).*

Твой «Иконокласт» очень хорошая книга, но твой черт, Левиафан... *(смеясь)* очень плох...

Мильтон *(сквозь зубы, с негодованием).*

И Кромвель смеется над моим Сатаною!

Рочестер *(подходит к нему).*

Г-н Мильтон!

Мильтон *(не слыша его и оборотясь к Кромвелю).*

Он это говорит из зависти.

Рочестер *(Мильтону, который слушает его с рассеянностию).*

По чести вы не понимаете поэзию. Вы умны, но у вас недостает вкуса. Послушайте: французы учители наши во всем. Изучайте Ракана, читайте его пастушеские стихотворения. Пусть Аминта и Тирсис гуляют у вас по лугам; пусть она ведет за собою барашка на голубой ленточке. Но Ева, Адам, ад, огненное озеро! Сатана голый, с опаленными крыльями! Другое дело: кабы вы его прикрыли щегольским платьем; кабы вы дали ему огромный парик и шлем с золотою шишкою, розовый камзол и мантию флорентинскую, как недавно видел я во французской опере Солнце в праздничном кафтане.

Мильтон *(удивленный).*

Это что за пустословие?

Рочестер *(кусая губы).*

Опять я забылся! Я, сударь, шутил.

Мильтон.

Очень глупая шутка!

Далее Мильтон утверждает, что править государством безделица; то ли дело писать латинские стихи. Немного времени спустя Мильтон бросается в ноги Кромвелю, умоляя его не домогаться престола, на что протектор отвечает ему: г. Мильтон, государственный секретарь, ты пиит, ты в лирическом восторге забыл, кто я таков и проч.

В сцене, не имеющей ни исторической истины, ни драматического правдоподобия, в бессмысленной пародии церемониала, наблюдаемого при коронации английских королей, Мильтон и один из придворных шутов играют главную роль. Мильтон проповедует республику, шут подымает перчатку королевского рыцаря...

Вот каким жалким безумцем, каким ничтожным пустомелей выведен Мильтон человеком, который, вероятно,

сам не ведал, что творил, оскорбляя великую тень! В течение всей трагедии, кроме насмешек и ругательства, ничего иного Мильтон не слышит; правда и то, что и сам он, во всё время, ни разу не вымолвит дельного слова. Это старый шут, которого все презирают и на которого никто не обращает никакого внимания.

Нет, г. Юго! не таков был Джон Мильтон, друг и сподвижник Кромвеля, суровый фанатик, строгий творец «Иконокласта» и книги «Defensio populi»! Не таким языком изъяснялся бы с Кромвелем тот, который написал ему свой славный пророческий сонет:

Cromwell, our chief of men!

Не мог быть посмешищем развратного Рочестера и придворных шутов тот, кто *в злые дни, жертва злых языков,* в бедности, в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал «Потерянный рай».

Если г. Юго, будучи сам поэт (хотя и второстепенный), так худо понял поэта Мильтона, то всяк легко себе вообразит, что́ под его пером стало из лица Кромвеля, с которым не имел он уж ровно никакого сочувствия! Но это не касается до нашего предмета. От неровного, грубого Виктора Юго и его уродливых драм перейдем к чопорному, манерному графу Виньи и к его облизанному роману.

Альфред де Виньи в своем «Сен-Марсе» также выводит перед нами Мильтона и вот в каких обстоятельствах:

У славной Марии Делорм, любовницы кардинала Ришелье, собирается общество придворных и ученых. Скюдери толкует им свою аллегорическую карту любви. Гости в восхищении от крепости *Красоты,* стоящей на реке *Гордости,* от деревни *Записочек,* от гавани *Равнодушия* и проч. и проч. Все осыпают г-на Скюдери напыщенными похвалами, кроме Мольера, Корнеля и Декарта, которые тут же находятся. Вдруг хозяйка представляет обществу молодого путешествующего англичанина, по имени Джона Мильтона, и заставляет его читать гостям отрывки из «Потерянного рая». Хорошо; да как же французы, не зная английского языка, поймут Мильтоновы стихи? Очень просто: места, которые он будет читать, переведены на французский язык, переписаны на особых листочках и списки розданы гостям. Мильтон будет декламировать, а гости следовать за ним. Да зачем же

ему беспокоиться, если уже стихи переведены? Стало быть, Мильтон великий декламатор, или звуки английского языка чрезвычайно как любопытны? А какое дело графу де Виньи до всех этих нелепых несообразностей? Ему надобно, чтоб Мильтон читал в парижском обществе свой «Потерянный рай» и чтоб французские умники над ним посмеялись и не поняли духа великого поэта (разумеется, кроме Мольера, Корнеля и Декарта), а из этого выйдет следующая эффектная сцена.

Хозяйка взяла листы и раздала их гостям.

«Все уселись и замолчали. Не скоро уговорили молодого иностранца начать чтение и отойти от окна, где он, казалось, с большим удовольствием разговаривал с Корнелем. Наконец он подошел к креслам, стоявшим у стола: он, казалось, был слабого здоровья и, можно сказать, упал, а не сел в них. Он облокотился на стол и закрыл рукою глаза свои, большие и выразительные, но полузакрытые и покрасневшие от бдений или слез. Он читал стихи свои наизусть, недоверчивые его слушатели смотрели на него с видом высокомерным или, по крайней мере, покровительственным; другие с рассеянным видом просматривали перевод стихов его.

Голос его, сначала глухой, постепенно очищался; скоро поэтическое вдохновение исхитило его из него самого, и взгляд его, возведенный к небу, сделался высоким, как взгляд Рафаэлева евангелиста, ибо свет еще отражался в нем. Он повествовал в стихах своих о первом грехопадении человека и призывал святого духа, который предпочитает всем храмам сердце чистое и бесхитростное, который всё ведает и присутствовал при рождении времени.

Это начало принято было с глубоким молчанием, а последняя мысль с легким ропотом. Он ничего не слыхал, видел всё сквозь какое-то облако,— он был в мире, им созданном, и продолжал.

Он повествовал о духе адском, прикованном в пламени мстительном цепями диамантовыми; о времени, девять раз наделившем смертных днями и ночами в продолжение его падения; о зримой тьме вечных темниц и пламенеющем океане, в котором плавали падшие ангелы; гремящий его голос начал речь князя демонов: Ты ли, говорил он, ты ли тот, сиявший в ослепительном блеске блаженных селений света! О! как ниспал ты! Теки со мною... Что нам до поля нашей небесной битвы? ужели всё для нас погибло? Мы всё сохранили, и волю непреклонную, и дух мести ненасытимой, и ненависть бесконечную, и мужество непреодолимое, ужели это не победа?

Тут слуга громким голосом возвестил о прибытии гг. Монтрезора и д'Антрэг. Они раскланялись, поговорили, передвигали все кресла и наконец уселись. Слушатели воспользовались этим, чтобы начать множество частных разговоров; в них слышались только хулы и упреки в безвкусии; некоторые умные, но слишком привязанные к старине люди вскричали, что они этого не понимают, что это выше их разумения (не думая, чтобы говорили правду), и этим ложным смирением привлекали себе похвалу, а поэту

охуждение: выгода двойная. Иные говорили даже, что это поругание святыни.

Прерванный поэт закрыл лицо руками и облокотился на стол, чтобы не слышать всего этого шума похвал и критик. Только три человека подошли к нему: то были какой-то офицер, Покелень и Корнель; сей последний сказал Мильтону на ухо:

— Советую вам переменить ваши картины; та, которую вы нам изобразили, слишком высока для ваших слушателей».

Мильтон, несмотря на то, что назначенные для чтения места переведены и что он должен читать их по порядку, ищет в памяти своей то, что, по его мнению, более произведет действия на слушателей, не заботясь о том, поймут ли его или нет. Но посредством какого-то чуда (не изъясненного г-м де Виньи) все его понимают. Дебарро находит его приторным; Скюдери — скучным и холодным. Мария Делорм очень тронута описанием Адама в первобытном его состоянии. Мольер, Корнель и Декарт осыпают его комплиментами etc., etc.

Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке, не известном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то *закрывая глаза,* то *возводя их в потолок.* Разговоры его с Дету, с Корнелем и Декартом не были б пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль, ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека.

После удивительных вымыслов В. Юго и графа де Виньи, хотите ли видеть картину, просто набросанную другим живописцем? прочтите в «Вудстоке» встречу одного из действующих лиц с Мильтоном в кабинете Кромвеля: . . . .

Французский романист, конечно, не довольствовался бы таким незначащим и естественным изображением. У него Мильтон, занятый государственными делами, непременно терялся бы в пиитических мечтаниях и на полях какого-нибудь отчета намарал бы несколько стихов из «Потерянного рая»; Кромвель бы это подметил, разбранил бы своего секретаря, назвал бы его стихоплетом и вралем etc., а из того бы вышел *эффект,* о котором бедный В. Скотт и не подумал!

Перевод, изданный Шатобрианом, заглаживает до некоторой степени прегрешения молодых французских писателей, так невинно, но так жестоко оскорбивших великую тень. Мы сказали уже, что Шатобриан переводил Мильтона почти слово в слово, так близко, как только то мог позволить синтаксис французского языка: труд тяжелый и неблагодарный, незаметный для большинства читателей и который может быть оценен двумя, тремя знатоками! Но удачен ли новый перевод? Шатобриан нашел в Низаре критика неумолимого. Низар в статье, исполненной тонкой сметливости, сильно напал и на способ перевода, избранный Шатобрианом, и на самый перевод. Нет сомнения, что, стараясь передать Мильтона *слово в слово,* Шатобриан, однако, не мог соблюсти в своем преложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. Возьмем первые фразы: Comment vous portez vous; How do you do. Попробуйте перевести их слово в слово на русский язык. *

Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к преложению слово в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит таковой опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, всё вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительного, своенравного, и смелого даже до бессмыслия?

Перевод «Потерянного рая» есть торговая спекуляция. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым

* Кстати: недавно (в «Телескопе», кажется) кто-то, критикуя перевод, хотел, вероятно, блеснуть знанием итальянского языка и пенял переводчику, зачем он пропустил в своем переводе выражение *battersi la guancia* — бить себя по щекам. *Battersi la guancia* значит *раскаяться,* перевести иначе не имело бы никакого смысла.

министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевел Мильтона *для куска хлеба.* Каково бы ни было исполнение труда, им предпринятого, но самый сей труд и цель оного делают честь знаменитому старцу. Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестию. После этого что скажет критика? станет ли она строгостию оценки смущать благородного труженика и, подобно скупому покупщику, хулить его товар? Но Шатобриан не имеет нужды в снисхождении: к своему переводу присовокупил он два тома, столь же блестящие, как и все прежние его произведения, и критика может оказаться строгою к их недостаткам столько, сколько ей будет угодно; несомненные красоты, страницы, достойные лучших времен великого писателя, спасут его книгу от пренебрежения читателей, несмотря на все ее недостатки.

Английские критики строго осудили «Опыт об английской литературе». Они нашли его слишком поверхностным, слишком недостаточным; поверив заглавию, они от Шатобриана требовали ученой критики и совершенного знания предметов, близко знакомых им самим; но совсем не того должно было искать в сем блестящем обозрении. В ученой критике Шатобриан не тверд, робок, и сам не свой; он говорит о писателях, которых не читал; судит о них вскользь и понаслышке и кое-как отделывается от скучной должности библиографа; но поминутно из-под пера его вылетают вдохновенные страницы; он поминутно забывает критические изыскания и на свободе развивает свои мысли о великих исторических эпохах, которые сближает с теми, коим сам он был свидетель. Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия (иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках, чуждых истории английской литературы, но которые и составляют истинное достоинство «Опыта».

Книга Шатобриана начинается быстрым и широким изображением середних веков, служащим введением в «Историю английской литературы»:

Порядок общественный, вне порядка политического, составлен из религии, умственной деятельности и промышленности материальной. Во всяком народе, во время величайших бедствий и важнейших событий, священник молится, стихотворец поет, ученый мыслит, живописец, ваятель, зодчий творят и зиждут, ремесленник работает. Смотря только на них, вы видите мир настоящий, истинный, неподвижный, основание человечества, однако, по-видимому, чуждый обществу политическому. Но священник в своей молитве, поэт, художник, ученый в своих творениях, ремесленник в своем труде — открывают от времени до времени, в какую эпоху они живут, в них отзываются удары событий, от которых сильнее и обильнее текли их жалобы, их пот и дары вдохновения...

Средние века представляют картину странную и которая кажется произведением мощного, но расстроенного воображения. В древности каждый народ исходит, так сказать, из собственного своего источника, некий первобытный дух проникает во всё и во всем отзывается. Нравы и гражданские установления делаются однородными. Общество в средних веках было составлено из обломков тысячи других обществ. Римская цивилизация и паганизм в нем оставили свои следы; христианская религия несла ему свое учение и торжества; франки, готфы, бургундцы, англо-саксы, датчане, нормандцы сохраняли обычаи и нравы, свойственные их племенам. Все роды собственности и законов были перемешаны между собою... все формы свободы и рабства сталкивались между собою: монархическая свобода короля, аристократическая свобода благороднорожденного, личная свобода священника, общая свобода волостей, исключительная свобода городов, судилищ, сословий ремесленных и купечества, представительная свобода народа, рабство римское, повинность варварских племен, крепость приземельная. Отселе явления не сообразные ни с чем, обычаи, один другому противуречащие и связанные только узами религии. Кажется, будто народы разные, не имеющие между собою никакого сношения, согласились жить под единою властию, около единого алтаря.

«ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Песнь о полку Игореве» найдена была в библиотеке графа А. Ив. Мусина-Пушкина и издана в 1800 году. Рукопись сгорела в 1812 году. Знатоки, видевшие ее, сказывают, что почерк ее был полуустав XV века. Первые издатели приложили к ней перевод, вообще удовлетворительный, хотя некоторые места остались темны или вовсе невразумительны. Многие после того силились их объяснить. Но, хотя в изысканиях такого рода последние бывают первыми (ибо ошибки и открытия предшественников открывают и очищают дорогу последователям), первый перевод, в котором участвовали люди истинно

ученые, всё еще остается лучшим. Прочие толкователи наперерыв затмевали неясные выражения своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными. Объяснениями важнейшими обязаны мы Карамзину, который в своей Истории мимоходом разрешил некоторые загадочные места.

Некоторые писатели усумнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. Вальполь не вдался в обман, когда Чаттертон прислал ему стихотворения старого монаха Rowley. Джонсон тотчас уличил Макферсона. Но ни Карамзин, ни Ермолаев, ни А. Х. Востоков, ни Ходаковский никогда не усумнились в подлинности «Песни о полку Игореве». Великий критик Шлецер, не видав «Песни о полку Игореве», сомневался в ее подлинности, но, прочитав, объявил решительно, что он полагает ее подлинно древним произведением и не почел даже за нужное приводить тому доказательства; так очевидна казалась ему истина!

Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться. Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. Державин? но Державин не знал и русского языка, не только языка «Песни о полку Игореве». Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание *всех* наречий славянских. Положим, он ими бы и обладал, неужто таковая смесь естественна? Гомер, если и существовал, искажен рапсодами.

Ломоносов жил не в XII столетии. Ломоносова оды писаны на русском языке с примесью некоторых выражений, взятых им из Библии, которая лежала перед ним.

Но в Ломоносове вы не найдете ни польских, ни сербских, ни иллирийских, ни болгарских, ни богемских, ни молдавских etc. и других наречий славянских.

Слово о пълку Игоревѣ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова.

«*Не* лѣпо *ли* бяшетъ, братіе, начати старыми словесы трудныхъ повѣстій о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича! начати же ся тъй пѣсни по былинамъ сего времени, а не по замышленію Бояню».

§ 1. Все занимавшиеся толкованием «Слова о полку Игореве» перевели: «Не прилично ли будет нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, братцы, было воспеть древним складом, старым слогом, древним языком трудную, печальную песнь о полку Игореве, Игоря Святославича?»

Но в древнем славянском языке частица *ли* не всегда дает смысл вопросительный, подобно латинскому *ne;* иногда *ли* значит *только,* иногда — *бы,* иногда — *же;* доныне в сербском языке сохраняет она сии знаменования. В русском частица *ли* есть или союз разделительный, или вопросительный, если управляет ею отрицательное *не;* в песнях не имеет она иногда никакого смысла и вставляется для меры так же, как и частицы *и, что, а, как уж, уж как (замечание Тредьяковского).* *

В другом месте «Слова о полку» *ли* поставлено так же, но все переводчики решили, что это есть ошибка переписчика и перевели не вопросом, а утвердительно. То же надлежало бы сделать и здесь.

Во-первых, рассмотрим смысл речи. По мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же петь по былинам сего времени (то есть по-новому) — а не по замышлению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противуречие! ** Если же призна-

* Замечание 1-е. В русском языке сохранилось одно слово, где *ли* после *не* не имеет силы вопросительной — *неже-ли.* Слово *неже* употреблялось во всех славянских наречиях и встречается и в «Слове о полку Игореве»: «луце же потяту быти, неже полонену быти».

** Очень понимаем, почему А. С. Шишков не отступил от того же мнения. Ему, сочинителю «Рассуждения о древнем и новом слоге», было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя «Слова о полку Игореве» предпочитали былины своего времени старым словесам.

ем, что частица *ли* смысла вопросительного не дает, то выйдет: Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна. Стихотворцы никогда не любили упрека в подражании, и неизвестный творец «Слова о полку Игореве» не преминул объявить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояна. Глагол *бяшетъ* подтверждает замечание мое: он употреблен в прошедшем времени (с неправильностию в склонении, коему примеры встречаются в летописях) и предполагает условную частицу: Неприлично было *бы*. Вопрос же требовал бы настоящего или будущего.

«Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы».—

§ 2. Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит, но, во всяком случае, поэт приводит сие место в пример того, каким образом слагали песни в старину. Здесь полагаю описку, или даже поправку, впрочем незначительную: растекашется мыслию по древу — тут пропущено слово *славием*, которое довершает уподобление; ниже сие выражение употреблено. *

«Помняшеть бо рѣчь първыхъ временъ усобіцѣ».

§ 3. Ни один из толкователей не перевел сего места удовлетворительно. Дело здесь идет о Бояне; всё это продолжение прежней мысли: Поминая предания о прежних бранях (усобица значит ополчение, брань, а не междуусобие, как перевели некоторые. Междуусобие есть уже слово составленное), напускал он и проч. «Помняшеть бо рѣчь първыхъ временъ усобіцѣ; тогда пущашеть ı̃ соколовъ на стадо лебедѣй etc.», т. е. 10 соколов, напущенные на стадо лебедей, значили 10 пальцев, возлагаемых на струны. Поэт изъясняет иносказательный

---

* *Примечание.* Г-н Вельтман перевел это место: *былое воспеть,* а не вымысел Бояна, *коего мысли текли в вышину, как соки по дереву.* Удивительно!

язык соловья старого времени, и изъяснение столь же великолепно, как и блестящая аллегория, приведенная им в пример. А. С. Шишков сравнивает сие место с началом поэмы «Смерть Авеля». * Толкование Александра Семеновича любопытно (том 7, стран. 43). «Итак, надлежит паче думать, что в древние времена соколиная охота служила не к одному увеселению, но тако ж и к некоторому прославлению героев, или к решению спора, кому из них отдать преимущество. Может быть, отличившиеся в сражениях военачальники или князья, состязавшиеся в славе, выезжали на поле каждый с соколом своим и пускали их на стадо лебединое с тем, что чей сокол удалее и скорее долетит, тому прежде и приносить общее поздравление в одержании преимущества над прочими».

Г-н Пожарский с сим мнением не согласуется: ему кажется неприличным для русских князей «доказывать первенство свое, кровию приобретенное», полетом соколов. Он полагает, что не князья, а стихотворцы пускали соколов, а причина такого древнего обряда, думает он, была скромность стихотворцев, не хотевших выставлять себя перед товарищами. А. С. Шишков, в свою очередь, видит в мнении Я. Пожарского *крайнюю неосновательность* и несчастное *самолюбие* (том 11-й, страница 388). К крайнему нашему сожалению, г. Пожарский не возразил.

«Почнемъ же, братіе, повѣсть сію от стараго Владимера до нынѣшняго Игоря (здесь определяется эпоха, в которую написано Слово о полку Игореве); иже истягну умъ крѣпостію». (Истянул, вытянул, натянул, изведал, испробовал. *Пожарский* — опоясал, первые толкователи — напрягши ум крепостию своею). Истягнул, как лук, изострил, как меч,— метафоры, заимствованные из одного источника.

«Наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половѣцькую за землю Руськую. Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты, и рече Игорь къ дружинѣ своей: братіе и дружино! луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти» — лучше быть убиту, нежели полонену.

---

* Но что есть общего между манерной прозою господина Геспера и поэзией «Песни об Игоре»?

«А всядемъ, братіе, на свои бръзые комони, да позримъ синего Дону».

Суеверие, полагавшее затмение солнечное бедственным знаменованием, было некогда общим.

«Спала Князю умъ похоти, и жалость ему знаменіе заступи, искусити Дону великаго».— Слова запутаны. Первые издатели перевели: «Пришло князю на мысль пренебречь (худое) предвещание и изведать (счастия на) Дону великом». *Печаль* ему заступить имеет несколько значений: омрачить, помешать, удержать. Пришлось князю, мысль похоти и горесть знамение ему омрачило, удержало. Спали князю в ум желание и печаль. Ему знамение мешало (запрещало) искусити Дону великого. «Хощу *бо,* рече (так хочу же, сказал), копие приломити конець поля Половецкаго, а любо испити шеломомь Дону». «О бояне, соловию стараго времени! абы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача славию по мыслену древу», летая умом под облаками, сплетая хвалы на все стороны сего времени (если не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь пышную хвалу), «рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы». («Четыре раза упоминается в сей песни о *Трояне,* т. е. *тропа Трояня, вечи Трояни, земля Трояня* и *седьмый век Троянов:* но кто сей *Троян,* догадаться ни по чему не возможно», говорят первые издатели), 5 стр., изд. Шишкова. Прочие толкователи не последовали скромному примеру: они не хотели оставить без решения то, чего не понимали.

Чрез всю Бессарабию проходит ряд курганов, памятник римских укреплений, известный под названием *Троянова вала.* Вот куда обратились толкователи и утвердили, что неизвестный Троян, о коем четыре раза упоминает «Слово о полку Игореве», есть не кто иной, как римский император. Но и тропа Троянова может ли быть принята за Троянов вал, когда несколько ниже определяется (стр. 14, изд. Шишкова): «Вступилъ Дѣвою на землю Трояню, на синемъ море у Дону». Где же тут Бессарабия? «Следы Трояна в Дакии, видимые по сие время, должны были быть известны потомкам дунайских славян» (Вельтман). Почему же?

«Пѣти было пѣсь Игореви, того (Олга) внуку. Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая; галици стады бѣжать къ Дону великому; чили въспѣти было вѣщей Бояне, Велесовь (и) внуче!»

Поэт повторяет опять соображения Бояновы и, обращаясь к Бояну, вопрошает: «Или, не так ли петь было, вещий Бояне, Велесов внуче?»

«Комони ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ; стоять стязи въ Путивлѣ; Игорь ждетъ мила брата Всеволода».

Теперь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени.

«И рече ему Буй-Туръ Всеволодъ: одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый ты Игорю, оба есвѣ Святъславличя; сѣдлай, брате, свои бързыи комони, а мои ти готови (готовы — значит здесь известны, значение сие сохранилось в иллирийском словянском наречии: ниже мы увидим, что половцы бегут *неготовыми* — неизвестными — дорогами. Если же *неготовыми* значило бы *не мощенными,* то что ж бы значило *готовые кони?*), осѣдлани у Курьска на переди; а мои ти Куряни свѣдоми (сие повторение того же понятия другими выражениями подтверждает предыдущее мое показание. Это одна из древнейших форм поэзии. Смотри Священное писание) *къмети,* подъ трубами повити» (г. Вельтман пишет: *«Кмет* значит *частный начальник, староста».* Кметь значит вообще крестьянин, мужик. Kar gospòda stori krivo, kmeti mòrjo plàzhat shivo).

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОЙСТВЕННИКОВ ИОАННЫ Д'АРК

В Лондоне в прошлом, 1836 году умер некто г. Дюлис (Jean-François-Philippe Dulys), потомок родного брата Иоанны д'Арк, славной Орлеанской девственницы. Г-н Дюлис переселился в Англию в начале французской революции; он был женат на англичанке и не оставил по себе детей. По своей духовной назначил он по себе наследником родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца эдимбургского. Между его бумагами найдены подлинные грамоты королей Карла VII, Генриха III и Людовика XIII, подтверждающие дворянство роду господ д'Арк Дюлис (d'Arc Dulys). Все сии грамоты проданы были с публичного торгу, за весьма дорогую цену, так же

как и любопытный автограф: письмо Вольтера к отцу покойного господина Дюлиса.

По-видимому, Дюлис-отец был добрый дворянин, мало занимавшийся литературою. Однако ж около 1767 году дошло до него, что некто Mr de Voltaire издал какое-то сочинение об орлеанской героине. Книга продавалась очень дорого. Г-н Дюлис решился, однако ж, ее купить, полагая найти в ней достоверную историю славной своей прабабки. Он был изумлен самым неприятным образом, когда получил маленькую книжку *in-18,* напечатанную в Голландии и украшенную удивительными картинками. В первом пылу негодования написал он Вольтеру следующее письмо, с коего копия найдена также между бумагами покойника. (Письмо сие так же, как и ответ Вольтера, напечатано в журнале *Morning Chronicle.*)

Милостивый государь,

Недавно имел я случай приобрести, за шесть луидоров, написанную вами историю осады Орлеана в 1429 году. Это сочинение преисполнено не только грубых ошибок, непростительных для человека, знающего сколько-нибудь историю Франции, но еще и нелепою клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны д'Арк, по прозванию Орлеанской девственницы, Агнесы Сорель, господ Латримулья, Лагира, Бодрикура и других благородных и знатных особ. Из приложенных копий с достоверных грамот, которые хранятся у меня в замке моем (Tournebu, baillage de Chaumont en Tourraine), вы ясно увидите, что Иоанна д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc, seigneur du Feron), от коего происхожу по прямой линии. А посему не только я полагаю себя вправе, но даже и ставлю себе в непременную обязанность требовать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лживые показания, которые вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомянутой девственницы. Итак, прошу вас, милостивый государь, дать мне знать о месте и времени, также и об оружии вами избираемом для немедленного окончания сего дела.

Честь имею и проч.

Несмотря на смешную сторону этого дела, Вольтер принял его не в шутку. Он испугался шуму, который мог бы из того произойти, а может быть и шпаги щекотливого дворянина, и тотчас прислал следующий ответ:

22 мая 1767.

Милостивый государь,

Письмо, которым вы меня удостоили, застало меня в постели, с которой не схожу вот уже около осьми месяцев. Кажется, вы не изволите знать, что я бедный старик, удрученный болезнями и горестями, а не один из тех храбрых рыцарей, от которых вы

произошли. Могу вас уверить, что я никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники (l'impertinente chronique rimée), о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает. Лет сорок тому назад случилось мне напечатать поэму под заглавием «Генриада». Исчисляя в ней героев, прославивших Францию, взял я на себя смелость обратиться к знаменитой вашей родственнице (votre illustre cousine) с следующими словами:

Et toi, brave Amazone,
La honte des Anglais et le soutien du trône.

Вот единственное место в моих сочинениях, где упомянуто о бессмертной героине, которая спасла Францию. Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославление божиих чудес, вместо того, чтобы трудиться для удовольствия публики, бессмысленной и неблагодарной.

Честь имею быть,
милостивый государь,
Вашим покорнейшим слугою
Voltaire, gentilhomme de la chambre du roy.

Английский журналист по поводу напечатания сей переписки делает следующие замечания:

Судьба Иоанны д'Арк в отношении к ее отечеству поистине достойна изумления. Мы, конечно, должны разделить с французами стыд ее суда и казни. Но варварство англичан может еще быть извинено предрассудками века, ожесточением оскорбленной народной гордости, которая искренно приписала действию нечистой силы подвиги юной пастушки. Спрашивается, чем извинить малодушную неблагодарность французов? Конечно, не страхом диавола, которого исстари они не боялись. По крайней мере мы хоть что-нибудь да сделали для памяти славной девы; наш лауреат посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения. Англия дала пристанище последнему из ее сродников. Как же Франция постаралась загладить кровавое пятно, замаравшее самую меланхолическую страницу ее хроники? Правда, дворянство дано было родственникам Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в неизвестности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X. Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и, как пьяный дикарь, пляшет около своего потешного огня. Он, как римский палач, присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. Поэма лауреата не стоит, конечно, поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соуте есть

подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д'Ольбаха и M-me Jeoffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья. Жалкий век! жалкий народ!

ЗАМЕТКИ И АФОРИЗМЫ РАЗНЫХ ГОДОВ

Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию, так, как писатель только может любить ее язык.

Всё должно творить в этой России и в этом русском языке.

(1823)

*

Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному разделению лица, впрочем прекрасного — верх нахмуренный, грозный, низ, выражающий всегдашнюю улыбку. Это не нравилось Торвальдсену:

Questa è una bruta figura.

(1828)

*

Литература у нас существует, но критики еще нет. У нас журналисты бранятся именем *романтик*, как старушки бранят повес франмасонами и волтерианцами — не имея понятия ни о Вольтере, ни о франмасонстве.

(1829)

*

Французские критики имеют свое понятие об романтизме. Они относят к нему все произведения, носящие

на себе печать уныния или мечтательности. Иные даже называют романтизмом неологизм и ошибки грамматические. Таким образом Андрей Шенье, поэт, напитанный древностию, коего даже недостатки проистекают от желания дать на французском языке формы греческого стихосложения,— попал у них в романтические поэты.

(1830)

*

Первый несчастный воздыхатель возбуждает чувствительность женщины, прочие или едва замечены, или служат лишь... Так в начале сражения первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше.

(1830)

*

В миг, когда любовь исчезает, наше сердце еще лелеет ее воспоминание. Так гладиатор у Байрона соглашается умирать, но воображение носится по берегам родного Дуная.

(1830)

*

Острая шутка не есть окончательный приговор. *** сказал, что у нас есть *три* Истории России: одна для *гостиной,* другая для *гостиницы,* третья для *гостиного двора.*

(1830)

*

В одной из Шекспировых комедий крестьянка Одрей спрашивает: «Что такое поэзия? вещь ли это *настоящая?»* Не этот ли вопрос, предложенный в ином виде и гораздо велеречивее, находим мы в рассуждении о поэзии романтической, помещенном в одном из московских журналов 1830 года?

(1830)

*

Мильтон говаривал: «С меня довольно и малого числа читателей, лишь бы они достойны были понимать меня». Это гордое желание поэта повторяется иногда и в наше время, только с небольшою переменой. Некоторые из наших современников явно и под рукою стараются вразумить нас, что «с них довольно и малого числа читателей, лишь бы много было *покупателей»*.

(1830)

*

В газете *Le Furet* напечатано известие из Пекина, что некоторый мандарин приказал побить палками некоторого журналиста. Издатель замечает, что мандарину это стыдно, а журналисту здорово.

(1830)

*

Переводчики — почтовые лошади просвещения.

(1830)

*

Зависть — сестра соревнования, следственно из хорошего роду.

(1830)

*

Критикою у нас большею частию занимаются журналисты, т. е. entrepreneurs, люди, хорошо понимающие свое дело, но не только не *критики*, но даже и не литераторы.

В других землях писатели пишут или для толпы, или для малого числа.* У нас последнее невозможно, должно писать для самого себя.

(1833)

* Сии, с любовию изучив новое творение, изрекают ему суд, и таким образом творение, не подлежащее суду публики, получает в ее мнении цену и место, ему принадлежащие.

*

Д. — говаривал, что самою полною сатирою на некоторые литературные общества был бы список членов с означением того, что кем написано.

(1833)

*

Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи.

(1833)

*

Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом.

L'exactitude est la politesse des cuisiniers.

Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность.

(1834)

*

Буквы, составляющие славенскую азбуку, не представляют никакого смысла. *Аз, буки, веди, глаголь, добро* etc. суть отдельные слова, выбранные только для начального их звука. У нас Грамматин первый, кажется, вздумал составить апоффегмы из нашей азбуки. Он пишет: «Первоначальное значение букв, *вероятно,* было следующее: аз бук (или буг!) ведю — т. е. я бога ведаю (!), глаголю: добро есть; живет на земле кто и как, люди мыслит. Наш Он покой, рцу. Слово (λόγος) твержу...» (и прочая, говорит Грамматин; вероятно, что в прочем не мог уже найти никакого смысла). Как это всё натянуто! Мне гораздо более нравится трагедия, составленная из азбуки французской. Вот она:

Eno et Ikaël.

Tragédie

Personnages.

Le Prince Eno.
La Princesse Ikaël, *amante du Prince Eno.*
L'abbé Pécu, *rival du Prince Eno.*
Ixe
Igrec } *gardes du Prince Eno.*
Zède

Scène unique

Le Prince Eno, la Princesse Ikaël, l'abbé Pécu, gardes.

Eno

Abbé! cédez...

L'abbé

Eh! f...

Eno (*mettant la main sur sa hache d'arme*).

J'ai hache!

Ikaël (*se jettant dans les bras d'Eno*).

Ikaël aime Eno (*ils s'embrassent avec tendresse*).

Eno (*se retournant vivement*).

Pécu est resté? Ixe, Igrec, Zède! prenez M-r l'abbé et jettez-le par les fenêtres.

*

Множество слов и выражений, насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке. Например, *трогательный* от слова touchant (смотри справедливое о том рассуждение г. Шишкова). *Хладнокровие,* это слово не только перевод буквальный, но еще и ошибочный. Настоящее выражение французское есть *sens* froid — хладномыслие, а не sang froid. Так писали это слово до самого 18 столетия. Dans son assiette ordinaire. *Assiette* значит положение, от

слова *asseoir*, но мы перевели каламбуром — «в своей тарелке»:

Любезнейший, ты не в своей тарелке.
Горе от ума

РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗДАНИЕМ «СОВРЕМЕННИКА»

Журнал под названием «Современник» выходит каждые три месяца по одному тому.

В нем будут помещаться стихотворения всякого роду, повести, статьи о нравах и тому подобное; оригинальные и переводные критики замечательных книг русских и иностранных; наконец статьи, касающиеся вообще искусств и наук.

Цена за годовое издание 25 р. асс., с пересылкою 30 р. асс.

Статья, присланная нам из Твери с подписью А. Б., не могла быть напечатана в сей книжке по недостатку времени.

Мы получили также статью г. *Косичкина.* Но, к сожалению, и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, отлагаем ее до следующей.

Примечание к слову «богодельня»

Слово это весьма неправильно составлено из двух слов, *бога деля* (для), и потому должно писаться *богадельня.*

Новый роман

Недавно одна рукопись под заглавием: «Село Михайловское» — ходила в обществе по рукам и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением ожидаем его появления.

Примечание к повести «Нос»

Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись.

«Современник» будет издаваться и в следующем, 1837 году.

Каждые три месяца будет выходить по одному тому.

Цена за все четыре тома, составляющие годовое издание, 25 рублей асс., с пересылкою 30 рублей асс.

Подписка в СПб. принимается во всех книжных лавках. Иногородные могут адресоваться в Газетную экспедицию.

Издатель «Современника» не печатал никакой программы своего журнала, полагая, что слова: *литературный журнал* — уже заключают в себе достаточное объяснение.

Некоторые из журналистов почли нужным составить программу нового журнала. Один из них объявил, что «Современник» будет иметь целию — уронить «Библиотеку для чтения», издаваемую г. Смирдиным; в «Северной же пчеле» сказано, что «Современник» будет продолжением «Литературной газеты», издаваемой некогда покойным бароном Дельвигом.

Издатель «Современника» принужден объявить, что он не имеет чести быть в сношении с гг. журналистами, взявшими на себя труд составить за него программу, и что он никогда им того не поручал. Отклоняя, однако ж, от себя цель, недостойную литератора и несправедливо ему приписанную в «Библиотеке для чтения», он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в «Северной пчеле»: «Современник», по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением «Литературной газеты».

Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух нумеров своего журнала; вкрались некоторые ошибки, и одна довольно важная, происшедшая от недоразумения: публике дано обещание, которое издатель ни в каком случае не может и не намерен исполнить — сказано было в примечании к статье: «Новые книги», что книги, означенные звездочкою, будут со временем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у издателя те, которые показались ему замечательными или которые намерен он был прочитать; но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике: многие не входят в область литературы, о других потребны сведения, которых он не приобрел.

В первом томе «Современника», в статье: «Новые книги», под параграфом, относящимся к «Вастоле», поэме Виланда, изданной А. Пушкиным, ошибкою пропущена подпись издателя.

Редакция «Современника» не может принять на себя обратного доставления присылаемых статей.

Примечание к записке «О древней и новой России»

Во втором № «Современника» (на 1836 год) уже упомянуто было о неизданном сочинении покойного Карамзина. Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат если не полную речь великого нашего соотечественника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса.

НАБРОСКИ, ЗАПИСИ, КОНСПЕКТЫ, ПЛАНЫ

ЗАМЕТКА ПРИ ЧТЕНИИ т. VII, гл. 4 «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Где обязанность, там и закон.

Г-н Карамзин неправ. Закон ограждается страхом наказания. Законы нравственные, коих исполнение оставляется *на произвол* каждого, а нарушение не почитается гражданским преступлением, не суть законы гражданские.

Но граф Шереметев...

(1818—1819)

О ВЕЧНОМ МИРЕ

1. Il est impossible que les hommes ne conçoivent avec le temps la ridicule atrocité de la guerre comme ils ont conçu l'esclavage, la royauté etc. Ils verront que nous sommes destinés à manger, à boire et à être libres.

2. Les constitutions qui sont un grand pas de l'esprit humain et qui n'en sera pas l'unique tendent nécessairement à diminuer le nombre des troupes d'un état, l'esprit de la force armée étant directement opposé à toute idée constitutionnelle, il serait très possible qu' avant 100 ans l'on n'eût plus d'armée permanente.

3. Quant aux grandes passions et aux grands talents militaires on aura toujours la guillotine—la société se soucie fort peu d'admirer les grandes combinaisons d'un général victorieux—on a bien autre chose à faire — et ce n'est que pour cela qu'on s'est mis sous l'égide des lois.

Rousseau qui ne raisonnait pas mal pour un croyant de protestantisme dit en propres termes: «ce qui est utile au public ne s'introduit guère que par la force, attendu que les intérêts particuliers y sont presque toujours opposés. Sans doute la paix perpétuelle est à présent un projet bien absurde; mais qu'on nous rende un Henri IV et un Sully, la paix perpétuelle redeviendra un projet raisonnable; ou plutôt, admirons un si beau plan, mais consolons-nous de ne pas le voir exécuter; car cela ne peut se faire que par des moyens violents et redoutables à l'humanité». Il est évident que ces terribles moyens, dont il parlait, c'étaient les révolutions — or nous y sommes. Je sais

bien que toutes ces raisons sont très mauvaises, le témoignage d'un petit garçon comme Rousseau qui n'a jamais gagné seulement une pauvre bataille ne peut avoir aucun poids — mais la dispute est toujours une très bonne chose en ce qu'elle aide à digérer — du reste elle n'a jamais persuadé personne — il n'y a que les imbéciles qui pensent le contraire.

(1821)

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Изо всех литератур она имела самое большое влияние на нашу. Ломоносов, следуя немцам, следовал ей. Сумароков — (Тредьяковский нехотя отделил стихосложением) — Дмитриев, Карамзин, Богданович. Вредные последствия — манерность, робость, бледность. Жуковский подражает немцам, Батюшков и Баратынский — Парни. Некоторые пишут в русском роде, из них один Крылов, коего слог русский. Князь Вяземский имеет свой слог. Катенин — пиесы в немецком роде — слог его свой.

Что такое французская словесность? Трубадуры. Малерб держится четырьмя строками оды к *Дюперье* и стихами *Буало*. Менар, чистый, но слабый. Ракан, Воатюр — дрянь. Буало, Расин, Мольер, Лафонтен, Ж. Б. Руссо, Вольтер. *Буало* убивает французскую словесность, его странные суждения, зависть Вольтера — французская словесность искажается — русские начинают ей подражать — Дмитриев, Карамзин, Богданович — как можно ей подражать: ее глупое стихосложение — робкий, бледный язык — вечно на помочах, Руссо в одах дурен. Державин.

Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.

(1822)

ЗАМЕТКА О КАТЕНИНЕ

П. А. Катенин перевел многие трагедии, также комедию *Le Méchant* и проч. Не упоминаю об его трагедии «Андромаха», которая еще в рукописи и не играна. Она, без сомнения, лучшая изо всех.

(1825)

СТАРИННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Не суйся середа прежде четверга. Смысл иронический; относится к тем, которые хотят оспорить явные законные преимущества: вероятно, выдумано во времена местничества.

В праздник жена мужа дразнит (выписка из *Кирши).*

Горе лыком подпоясано — разительное изображение нищеты; см. *Древние стихотворения.*

Иже не ври же, его же не пригоже. Насмешка над книжным языком: видно, и в старину острились насчет славянизмов.

Кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет. Апология пытки, пословица палача, выдуманная каким-нибудь затейным палачом.

На посуле как на стуле. Посул — церковная дань, а не *обещание,* как иные думали; следственно, пословица сия значит — на подарках можно спокойно сидеть, как бы на стуле.

Беспечальным сон сладок.

Не твоя печаль чужих детей качать — не твоя забота; *печаль* от глагола *пекусь.*

Бодливой корове бог рог не дает — пословица латинская.

Бог даст день, бог даст и пищи. Этой пословицей бедняк утешал однажды голодную жену. «Да,— отвечала она,— пищи, пищи, да с голоду и умри».

Нужда научит калачи есть, т. е. нужда — мать изобретения и роскоши.

Кто в деле (в должности), *тот и в ответе* (в посольстве).

(1825)

JE SUPPOSE SOUS UN GOUVERNEMENT DESPOTIQUE...

Je suppose sous un gouvernement despotique des esclaves et des gens libres — c'est à dire ceux dont la propriété et la volonté dépendent des lois du souverain et ceux qui sont la propriété de quelques individus.

Cet état de choses rentre dans le régime patriarchal, épargne aux gouvernement une infinité d'embarras, de fracas, simplifie l'administration et lui donne beaucoup de vigueur.

Gardez-vous donc d'abolir l'esclavage, surtout dans un état.

La liberté des paysans.

(1825—1826)

PRESQUE TOUTES LES RELIGIONS...

Presque toutes les religions ont donné à l'homme deux... il est quelque chose d'aussi hideux que l'athéisme qu'un homme rejétte.

(1830)

NE PAS ADMETTRE...

Ne pas admettre l'existence de Dieu c'est être plus absurde que ces peuples qui pensent du moins que le monde est posé sur un rhinocéros.

(1830)

О РОМАНАХ ВАЛЬТЕРА СКОТТА

Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с *enflure* французских трагедий,—не с чопорностию чувствительных романов—не с dignité истории, но современно, но домашним образом — Ce qui me dégoûte c'est ce que... Тут наоборот ce qui nous charme dans le roman historique — c'est que ce qui est historique est absolument ce que nous voyons.

Shakespeare, Гёте, Walter Scott не имеют холопского пристрастия к королям и героям. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих *la dignité* et *la noblesse*. Ils sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté, de théâtral même dans les circonstances solennelles — car les grandes circonstances leur sont familières.

On voit que Walter Scott est de la petite société des rois d'Angleterre.

(1830)

IGNORANCE DES SEIGNEURS RUSSES...

Ignorance des seigneurs russes. Tandis que les mémoires, les écrits politiques, les romans —Napoléon gazetier, Canning poète, Brougham, les députés, les paires — les femmes. Chez nous les seigneurs ne savent pas écrire.

Le tiers état. L'aristocratie.

(1830)

STABILITÉ—PREMIÉRE CONDITION...

Stabilité—première condition du bonheur publique.
Comment s'accommode-t-elle avec la perfectibilité indéfinie?

(1831)

О НОВЕЙШИХ РОМАНАХ

Barnave, Confession, Femme guillotinée.
Eugéne Sue.
de Vigny. Hugo.
Balzac. Scènes de la vie privée, Peau de chagrin, Contes bruns, drolatiques.
Musset. Table de nuit.

Поэзия французская — Byron
Муравьев
Полевой (полромана)
Свиньин
Карамзин

(1831)

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ КНИГИ М. Ф. ОРЛОВА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ»

Конечно, никто не *изобретал кредита* (доверенности). Он проистекает сам собою, как *условие,* как *сношение.* Он родился при первом меновном обороте.

Возвращение капитала не есть, конечно, господствующая мысль при *частном кредите,* но умножение оного посредством процентов. — У людей частных капиталы разделены на мелкие части.

Сам по себе *налог* слеп и падает без разбора на все состояния.— Нет, налог *может* отозваться во всех состояниях, но обыкновенно падает на одно (отсель ошибка физиократов или налога на землю, падающего на земледелие и нечувствительного множеству других сословий).

(1833—1834)

LA LIBÉRATION DE L'EUROPE...

La libération de l'Europe viendra de la Russie, car c'est là seulement que le préjugé de l'Aristocratie n'existe absolument pas. Ailleurs on croit à l'Aristocratie, les uns pour la dédaigner, les autres pour la haïr, les troisièmes pour en tirer profit, vanité etc. — En Russie rien de tout cela. On n'y croit pas, voilà tout.

(1835)

ПЛАН ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

Летописи, сказки, песни, пословицы.

Послания царские. Песнь о полку. Побоище Мамаево.

Царствование Петра. Царствование *Елисаветы,* Екатерины, Александра. Влияние французской поэзии.

(1829)

2

Язык. Влияние греческое.
Памятники его.
Литература собственно.
Причины: 1) ее бедности
2) отчуждения от Европы
3) уничтожения или ничтожности влияния скандинавского.
Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою.
Песнь о полку Игореве.
Песнь о побоище Мамаевом.
Сказки, мистерии.
Песни.

Пословицы *(гротеск)*.
Народность *сказок* (пересказать по-своему — Кальдерон).
Les Epîtres des patriarches, des tzars ne sont pas purement de la littérature ayant un autre but.

(1834)

3

Отчего первые стихотворения были сатиры?
Их успех etc.
Отчего сатира существовала еще при Екатерине, а ныне совсем уже не существует?
Кантемир.

Петр создал войско, флот, науки, законы, но не мог создать словесности, которая рождается сама собою, от своих собственных начал. Поколение, преобразованное, презрело безграмотную изустную народную словесность, и князь Кантемир, один из воспитанников Петра, в путеводители себе избрал Буало.

(1835)

ПЛАН СТАТЬИ О РУССКИХ ПЕСНЯХ

Вступление.
Но есть одно в основании.
Оригинальность отрицательных сравнений.
Исторические песни.

О Иване Грозном, о Мастрюке, о Ст. Разине, о Цыклере, о Петре, о Шереметеве, о Меншикове.

Казацкие.

Далее про Фермора, про Суворова.

Новейшее влияние. Мера, рифмы. Сумароков.

Свадьба.

Семейственные причины элегического их тона.

Лестница чувств.

(1830)

ПЛАН СТАТЬИ О ЦИВИЛИЗАЦИИ

1

De la civilisation.
De la division des classes.
De l'esclavage.

2

De la religion.
Du militaire et du civil.
De l'espionnage.
De l'esclavage et de la liberté (comme balance).
De la censure.
Du théâtre.
Des écrivains.
De l'exil.

Du mouvement rétrograde.

(1833—1834)

ПЛАН СТАТЬИ О ПРАВАХ ПИСАТЕЛЯ

О литературной собственности.

О правах издателя, писателя, анонима, наследника.

О ценсуре вообще

о подразделении

о книгах общедоступных и дешевых

исторических — дорогих

чисто ученых

огромных.

О журналах общих, ученых.

О классических книгах (в том числе сочинения, принадлежащие роду человеческому).

О ценсурах земской и духовной.

О кощунстве и веротерпимости.

О нравственности.

О сочинениях, не подлежащих суду.

О личностях.

(1835)

ШОТЛАНДСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Ворон ворону глаза не выклюнет — шотландская пословица, приведенная В. Скоттом в *Woodstock*.

(1836)

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, НАМЕЧЕННЫХ ДЛЯ «СОВРЕМЕННИКА»

Поход 1711 +
St. Raz. +
Путешествие В. Л. Пушкина (Дмитриева)
Календарь на 1721 год +
Путешествие Радищева +
Собрание русских песен.
Тредьяковский
О Пугачеве +
Сказки
Русские шутки.
О Ваньке Каине
L'Abbé Chappe
Antidote
О легчайшем способе возражать на критики Дашкова.
О пословицах
О Histoires tragiques
Aventuriers etc.
О Библиотеке Новикова
О Путешествии Арт. Ар.
О M. S.

Опыты библиографические.

(1836)

ЗАМЕТКИ
на
ПОЛЯХ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ П. А. ВЯЗЕМСКОГО «О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ОЗЕРОВА»

Текст Вяземского	Текст Пушкина
Стр. VI *(после введения об обстоятельствах смерти Озерова и о вражде, его преследовавшей).* Озеров умалчивал о своих неудовольствиях и, одаренный сердцем, чувствительным к обидам, не умел ни презирать вражды, ни бороться с нею и наконец оставил столицу и поприще славы своей.*	* Эти 6 страниц ныне, кажется, лишние. Можно из них будет выбрать некоторые мысли и поместить далее.
Стр. VI. Заслуги Озерова, преобразователя русской трагедии, которые можно, не определяя достоинства обоих писателей, сравнить с заслугами Карамзина, ** образователя прозаического языка, обращают на себя благодарное и любопытное внимание просвещенных друзей словесности. Оба оставили между собою и предшественниками своими великое расстояние. Судя по творениям, которые застали они, нельзя не признать, что ими вдруг подвигнулось искусство, и если бы не при нас случилось сие важное преобразование, трудно было бы поверить, что оно не приготовлено было творениями, от нас утраченными. Но для некоторых людей сей геркулесовский подвиг не существует. Они постоянно коснеют при мнениях прошедшего века.	** Большая разница. Карамзин великий писатель во всем смысле этого слова; а Озеров — очень посредственный. Озеров сделал шаг вперед в слоге, но искусство чуть ли не отступило. Геркулесовского в нем нет ничего.
Стр. VII—VIII. Пускай доканчивают они тяжелый сон жизни своей на вековом камне под усыпительным надзором невежества и предрассудков: мы обратимся к Озерову, который писал не для их века. *	* Переход несчаст-

К сожалению, я не могу, говоря о заслугах Озерова как автора, остановить на нем внимания читателей как на человеке: я не знал его лично.

ливый да и не нужный.

Стр. IX—X. Рожденный с пылкими страстями, с воображением романическим, он не мог противиться волшебной прелести любви, и привязанность к одной женщине, достойной владычествовать в его сердце, решила судьбу почти всей его жизни. Для нее он жил несколько лет, почти все лета своей молодости; с нею питался восторгами платонической страсти; часто предчувствовал счастие, но не был счастлив; ибо любезная ему женщина была замужняя и добродетельная.

он не мог противиться волшебной прелести любви *отмечено скобками.*

с нею питался восторгами платонической страсти *отмечено скобками.*

Стр. X—XI. Главным свойством его сердца была любовь к друзьям;* он часто делался их невольником, видел, чувствовал ими; но готов был рассердиться за малейшую неосторожность и также не мог устоять против малейшего знака любви. Смерть милой ему женщины удалила его на время от света, который в глазах его украшался ею, и от словесности, которая сначала была для него не более как забава. При образовании природном долго не мог он искать наслаждений и счастия в трудах ума, искав их единственно в мечтах сердца. Пробуждение от сладостных сновидений было развитием давно таившихся его способностей. Следующая черта даст ясное понятие о нежности и щекотливости благородной души его.— Он служил по гражданской части и имел успехи по службе, но мало радовался ими. Однажды его начальники спросили: не нужно ли сделать перемены в его департаменте? Озеров счел этот вопрос за совет идти в отставку и тотчас вышел.

Главным свойством его сердца была любовь к друзьям *отмечено скобками.*

* Любовь к друзьям — по-русски дружба. Не свойство — страсть разве.

Всё это сбивчиво — ты сперва говоришь о его любви, потом о его романизме в трагедиях, потом о дружбе, потом опять о любви, опять о его щекотливости, опять о любви. Более методы, ясности.

Стр. XI—XIII. Драматическое искусство у нас еще в колыбели.* Несмотря на несколько трагических и комических сцен, мелькающих в малом числе драматических творений, из коих всякое более или менее ознаменовано общею печатию отвержения, наложенною на наш театр рукою Талии и Мельпомены,** кажется, можем сказать решительно, что до сего времени мы не имели еще ни одной ориги-

* Где же геркулесовский подвиг Озерова?

От ознаменовано *до* Мельпомены *отмечено скобками.*

** Да говори просто. — Ты довольно

нальной комедии в стихах[1] и до Озерова не видали трагедии.

умен для этого.

Сумарокову, сему писателю, хотевшему с жадностию обнять все отрасли ученой славы, и у которого нельзя отнять ни ума, ни дарования, предназначено было судьбою проложить у нас пути к разным родам сочинений, но самому не достигнуть ни одной цели. Как Моисей, он навел других на обетованную землю, но сам не вступил в ее границы. Ослепленные современники венчали неутомимого писателя похвалами: добродушное потомство довольствуется быть отголоском старины, не налагая на себя тяжелого труда быть действующим судиею славы Сумарокова, и таким образом творец русского театра, хотя и не лишенный почести сего имени, уже почти не имеет места на оном. Может быть, и совсем поглотила бы его бездна забвения, если бы не приходило на мысль благочестивым и суеверным поклонникам старины, предпочитающим всегда славу усопших славе живых, ставить нам без зазрения совести * в образец басен на русском языке басни Сумарокова и в образец трагического слога напыщенные и холодные порывы притворного исступления Димитрия Самозванца. Должно заметить однако же, что в трагедиях Сумароков так же выше комедий своих, как Княжнин в комедиях выше трагедий Сумарокова и своих собственных. **

поглотила бы его бездна забвения *отмечено скобками. К этим словам относится замечание:*

И совсем его забыли (проще и лучше).

* без зазрения совести *отмечено скобками.*

Напротив: очень добродушно

Слово притворного *подчеркнуто и отмечено скобками. К этому слову относится замечание:*

т. е. forcé

** И этого не вижу: в нем всё дрянь, кроме некоторых од — N3 Сумароков прекрасно знал по-русски (лучше, нежели Ломоносов) —

Княжнин первый положил твердое основание как трагическому, так и комическому слогу. Лучшая комедия в стихах на нашем театре есть неоспоримо «Хвастун», хотя и в ней критика найдет много недостатков и вкус не все стихи освятил своею печатью. Но зато сколько сцен истинно комических, являющих блестящие дарования автора! Сколько счастливых стихов, вошедших неприметно в пословицы! Сколько целых мест, свидетельствующих, так сказать, о зрелости слога Кня-

[1] Стр. XII. Фонвизин умел быть оригинальным и хорошим стихотворцем, но писал прозою комедии, доныне лучшие на нашем театре, и даже единственные, как по истине представленных нравов и характеров, так и по разговору, который блистает непринужденным остроумием.

Не поэтому. Но о Фонвизине поговорим после.

жнина! В доказательство тому заметим, что дурной стих, площадное и непристойное выражение, оскорбляя ваш слух, поражает вас в «Хвастуне» так же, как хороший и удачный стих пробуждает вас в другой комедии. «Утешенная вдова» до сего времени может служить у нас образцовою по достоинству прозаического и комического слога, тонкой насмешки и веселости. В «Чудаках» блистает тоже дарование и еще более комической веселости.

«Хвастун» перевод из L'Important — я не читал подлинника — пересмотри.

полно, так ли?

Стр. XIV. В «Дидоне» видим не любовницу, в «Рославе» не пламенного друга отечества. О «Рославе» можно заметить, что имя *хвастуна* ему приличнее, нежели действительному «Хвастуну». *Верхолет* более лжец и обманщик: *Рослав* есть трагический хвастун. Княжнин, сказывают, признавался, что «Рослав» написан им по желанию собрать в одно все черты высокого, рассыпанные во французских трагедиях. Одно это желание, признанное или умолчанное, всё равно, но главное в трагедии его, может служить ему обвинением.*

Очень хорошо —

* Почему: изъясни.

Стр. XV—XVI. Главный недостаток Княжнина происходит от свойств души его. Он не рожден трагиком.*

* т. е. он просто не поэт —

О трагедиях последователей его, покоящихся после однодневной жизни в *Российском феатре,* нечего и упоминать. Не стану говорить и о трагедиях, в новейшее время перенесенных с иностранных театров на наш усердными переводчиками; о сих несчастных эмигрантах (разумеется, не без исключения), жалких и разительных свидетельствах изменения судьбы человеческой, сохранивших у нас одно прежнее имя, но оставивших на отечественной земле и богатство свое и славу отцов!

очень хорошо

Кажется, решительно можно сказать, что у нас не было трагедий, и величество Мельпомены не царствовало на трагической сцене. Актеры с пышными именами выходили перед зрителей, говорили стихи, иногда хорошие, чаще дурные; зрители рукоплескали, чаще зевали; но и рукоплескания их были данию звучности сти-

Хорошо

хов, блестящим выражениям истины, сильным изречениям, сохранению некоторых условий искусства, и тайна трагедии не была еще постигнута. Явился Озеров, и Мельпомена приняла владычество свое над душами. Мы услышали голос ее, повелевающий сердцу, играющий чувствами; сей голос, столь красноречивый в Расине и Вольтере. В первый раз увидели мы на сцене не актеров, пожалованных по произволу автора в греческих, римских или русских героев * и представляющих нам галерею портретов не на одно лицо, которое узнавать надобно было по надписи.

От Явился Озеров *до* голос ее *Пушкиным переделано:* Явился Озеров, и мы услышали голос

* пожалованных в греческие — — — *герои.*

представляющих нам *отмечено скобками.* и представляющих... на одно лицо *Пушкиным переделано:* и не галерею портретов на одно лицо.

Стр. XVI—XVII. Первый шаг Озерова в области поэзии был перевод из Колардо героиды *Элоизы к Абеларду*. В кратком предисловии, напечатанном при переводе, уведомляет он читателей, что предлагает им первый опыт свой в стихах и извиняется в смелости состязаться с счастливым соперником, утвердившим во Франции свою славу переводом из Попа письма, известного любителям словесности и сделавшегося, так сказать, молитвенником любви; он признается, что чтение стихов Колардо родило в нем вдохновение Аполлона и воспламенило воображение, не тронутое до того волшебным жезлом поэзии. «Читая Колардо,— говорит Озеров, — я был восхищен. Мне открылся путь парнасский, и я почувствовал вдохновение Аполлона, о котором прежде и мысли не имел».* Так добродушный Лафонтен, до конца жизни не проведавший тайны славы своей, тайны, темной для одних его глаз, обязан был чтению Оды Малерба открытием своего дарования. Поставить перевод наряду с подлинником невозможно; но не признать в переводчике Колардо грядущего поэта было бы несправедливо. Многие стихи, несмотря на тогдашнее младенчество языка нашей поэзии, могли бы украсить и в теперешнее время лучшее из наших стихотворений. Вообще рассказ и порывы страсти удачнее прочего сохранены переводчиком, еще непосвященным, но втайне обреченным любимцем Мельпомены. Его прочие мелкие стихотворения не свидетельствуют о пиитическом даровании, развернувшемся в трагедиях; а лирические песни доказывают, что Озеров не был лириком.

* Это дает мне мерку дарования Озерова.

Как тебе не стыдно распространяться об этом. Всё это лишнее

Стр. XVII—XVIII. «Смерть Олега» Древлянского, представленная в 1798 году на Петербуржском театре, была первою трагедиею Озерова и первою и последнею данию, заплаченною им веку Сумарокова и Княжнина. Вспомня, что предшественниками «Федры» были «Александр» и «Враждующие братья», дань, принесенная Расином веку Ротру и Корнеля, удивимся ли тому, что «Олег» не предвещал «Эдипа» и «Поликсены»? ???

Стр. XVIII. В плане трагедии «Смерть Олега» в самом составе стиха видны погрешности Княжнина, не искупленные красотами, ему принадлежащими. Красотам подражать не можно; их нельзя ни похитить, ни присвоить. Напротив того, недостатки писателей переходят из рук в руки во владение рабских его подражателей. Расин, победивший Корнеля, когда перестал брать его себе в пример, был ниже его, когда хотел сравниться с ним.

Княжнину?

Не думаю.

Стр. XIX—XX. Софокл, обвиняемый сыном в несостоянии править имением по старости лет и упадку рассудка, прочел для оправдания своего перед судьями «Эдипа в Колонском предместии», оконченного им в самое то время. Восхищенные судьи отослали со стыдом обвинителей и с торжеством проводили Софокла до дома. Сия трагедия, осветившая вечер славы греческого певца, озарила утро славы нашего трагика и была зарею нового дня на русском театре.

Лишнее

и была зарею нового дня на русском театре *зачеркнуто.*

Стр. XX. Сравнивать подлинник с подражанием не должно. ?

Стр. XX. Мы можем постигать красоту их искусства, но и постигнув ее, будем единственно холодными зрителями действия, а не участниками оного.

оного *Пушкиным исправлено на:* в оном

Стр. XX—XXI. И если позволено здесь уподобление, то нельзя ли сравнить греческую трагедию, в отношении к нам, с прекрасным портретом Рафаэлевой кисти, который мы ценим по одному искусству живописи, но которым прежний его обладатель дорожил еще более по вер-

Очень хорошо —

ному и живому изображению человека, близкого его сердцу?

Стр. XXI—XXII. Эпопея, принадлежащая к повествовательному роду, может переносить нас под чужое небо и живописать воображению картины, которые тем более удовлетворяют любопытству нашему, чем новее и неизвестнее они для нас. Но трагедия, которая творит из нас не холодных слушателей отдаленного повествования, а, обманывая нас, делает созерцателями и участниками действия, не должна ли, чтобы совершенно овладеть вниманием души нашей, представлять нам лица знакомые и пробуждающие в нас великие и священные воспоминания? И, придерживаясь первого сравнения с живописью, для лучшего объяснения мысли моей, я уподобил бы эпопею картине, изображающей глазам нашим природу, хотя и чуждую, но всегда величественную и всегда сродную нам по общим отношениям к человеку, а трагедию картине семейственной, которой живейшие права на сердце наше основаны на отношениях частных. Обратимся к Озерову.

И, придерживаясь.. эпопею *Пушкин переделал:* Можно и тут уподобить эпопею

Он как благоразумный художник воспитывал дарование свое...

Обратимся к Озерову, *зачеркнуто.* Он *Пушкиным переделано на* Озеров

Стр. XXII. К тому же, отнимая от Эдипа и всё то, что, так сказать, теряется для глаз наших, его несчастие, благородная твердость, нежная любовь дочери его имеют еще довольно прав на сострадание души, и повесть Эдипа останется всегда богатым и счастливым наследством древних, которым успешно могут пользоваться и новейшие трагики. Озеров в составлении своей трагедии отступал и от Софокла и от подражателей его иногда с успехом, иногда и нет.

Критика слишком незрелая.

где? как?

Стр. XXII—XXIII. Характер Тезея обнаруживается ясно: прием Креона и ответы на просьбу о союзе Тезея представляют благородство и справедливость царя, друга и благотворителя своих подданных.

прием... подданных *зачеркнуто. Кроме того, слова* благородство и справедливость царя *отмечены скобками.*

Стр. XXIII. Софокл при самом начале возбуждает в зрителях сострадание к несчастному царю изгнаннику и уважение к

дочери, разделяющей нищету и бедствие отца.	уважение *зачеркнуто*
Стр. XXIV. Злодеи, гордящиеся своими преступлениями и с отвратительным чистосердечием судящие себя беспристрастно, как судии посторонние, не находятся ни в природе, ни в произведениях гениев, ей подражавших; но рождаются от беспечности или бессилия трагиков, которые, не умея или не желая дать себе труда живописать разительною и твердою кистью характер предполагаемый, заставляют его называться именем, когда искусство требует, чтобы он отгадан был зрителями. Сей род изображения есть один из главнейших пороков русской трагедии и торжествует в «Димитрии Самозванце». До сей поры он еще сохраняется на нашем театре. В первом явлении третьего действия «Эдипа» Креон с излишнею искренностию сообщает Нарцессу исповедь свою, хотя и весьма поэтическую, но приносящую более чести стихотворцу, нежели трагику.	не находятся... ей подражавших *Пушкиным переделано:* не находятся в природе До сей поры... трагику *зачеркнуто. К этому месту относится замечание:* Повторение уже сказанного
Стр. XXV. Антигона Озерова совершенная Антигона. Такова она у Софокла, такова и в природе.	?
Стр. XXV. Антигоне не автор подсказывает, но сердце ее. Заметим здесь, что Озеров с вернейшим успехом ловил сходство женских лиц;* кисть его при изображении их была разборчивее в красках, точнее в оттенках и тщательнее в отделке. Взгляните на Антигону, Моину, Ксению, Гекубу и Поликсену!	* Знаешь ли почему?
Стр. XXV. Может быть, почерпнул он сию верность изображения в нежном образовании души своей, отражавшей с большею живостию и ясностию женские добродетели, может быть, заимствовал он ее от частого обращения с женщинами, очищающими как вкус наш, так и самые чувства.**	** нет
Стр. XXVI. Но трагик не есть уголовный судья.* Обязанность его и всякого писателя есть согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку, а не заботиться о жребии и приговоре провидения. Великие трагики и из новей-	* Прекрасно Ничуть. Поэзия выше нравственности — или по крайней мере

ших чувствовали сию истину, и Вольтер, поражая Зопира и щадя Магомета, не был ни гонителем добродетели, ни льстецом порока.

совсем иное дело.

Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона.

Стр. XXVII. Таким образом, вкоренелые предрассудки и уполномоченные представители их в обществе заграждают произвольными межами путь гению, еще не довольно возмужавшему, чтобы с постоянною смелостию презреть их в полете своем.

Тут не было ни гения, ни смелого полета — просто вкус —

Стр. XXVII. «Эдип в Афинах» будет занимать всегда одно из почетных мест на новейшем театре в отношении к творениям современной словесности чуждых народов, а в отношении к нашей поставил он Озерова наряду с величайшими нашими поэтами и на степень первейшего * нашего трагика. В первый раз сия трагедия была играна на Петербуржском театре в 1804 году и вскоре после того напечатана при посвящении, писанном прозою к Державину, который отвечал ему стихами, уже отзывающимися старостию поэта и не стоящими прозы Озеровой.**

* В Москве считался знаменитым затем, что был один —

** Милый мой, уважай Отца Державина! Не равняй его стихов с прозой Озерова! —

Стр. XXVIII. Осторожность не пленяется успехами и проницательным взглядом различает свойства похвал и искренность хвалителей, но пламенная и простая душа предается обману и поздно узнает, что слава вплетает терние в венцы, которыми наделяет она своих любимцев. *

* Вот тут, если хочешь, помести нечто из своего начала.

Стр. XXIX—XXX. Северный поэт переносится под небо, сходное с его небом, созерцает природу, сродную его природе, встречает в нравах сынов ее простоту, в подвигах их мужество, которые рождают в нем темное, но живое чувство убеждения, что предки его горели тем же мужеством, имели ту же простоту в нравах, и что свойства сих однородных диких сынов севера отлиты были природою в общем льдистом * сосуде. Самый язык наш представляет более красот для живописания северной природы. Цвет поэзии

Хорошо, смело
* не ледяном ли?

Оссиана может быть удачнее обильного в оттенках цвета поэзии Гомеровой перенесен на наш язык. Некоторые русские переводы песней северного Барда подтверждают сие мнение. Но ровное и, так сказать, одноцветное поле его поэм обещает ли богатую жатву для трагедии, требующей действия сильных страстей, беспрестанного их борения и великих последствий? Не думаю. И посему-то «Фингал» Озерова может скорее почесться великолепным трагическим представлением, нежели совершенною трагедиею.

Что есть общего между однообразием оссиановских поэм и трагедией, которая заимствует у них единый слог — ?

Стр. XXX. Новейшие, рабски следуя древним, приняли их мерку, не заботясь о выкройке их,* и забывая, что в греческих трагедиях хоры всегда занимают большее место и разделяют с действием внимание зрителей. С другой стороны, греки не столь жадны были, как мы, и содержание их пяти актов едва ли становится у нас на два. В трагедии «Фингал» одно только трагическое лицо: Старн.

* Перестань, не шали.

Почему ж?

Стр. XXXI. Вот одна трагическая сторона поэмы Озеровой! Он с искусством умел противопоставить мрачному и злобному Старну, таящему во глубине печальной души преступные надежды, взаимную и простосердечную любовь двух чад природы, искренность Моины, благородство и доверчивость Фингала, и сочетать в одной картине свежие краски добродетельной страсти, владычествующей прелестью очарования своего в сердцах невинных, с мрачными красками угрюмой и кровожаднейшей мести и хитрость злобной старости с доверчивою смелостию добродетельной молодости.

?

Противуположности характеров вовсе не искусство — но пошлая пружина французских трагедий —

Стр. XXXI. Трагедия «Фингал» торжество северной поэзии и торжество русского языка, богатого живописью, смелостию и звучностию.

?

Стр. XXXII. Стран, господствующее и почти действующее лицо в трагедии, начертан сильными красками и кистию решительно трагическою.

Кистью решительно не трагической.

Стр. XXXIII. ...на Задонских полях нанесен был сильный удар власти Мамая, кичливого противника русской свободы.

кичливого противника русской свободы *подчеркнуто и отмечено скобками.*

Стр. XXXVIII. Здесь невольно сливается с воспоминанием о ней воспоминание и о другой трагедии, которой творец и дарованием и преждевременною смертию, пресекшею при самом развитии исполняющуюся надежду прекрасной жизни, разделяет с Озеровым дань наших слез и уважения. Трагедия «Пожарской», если не изобилует трагическими красотами «Димитрия», то может по крайней мере по достоинству своему поэтическому занять, хотя и в некотором расстоянии, первое по ней место.

en note

Новое творение Озерова, принятое с восторгом, было последнею эпохою его счастия и успехов.*

* Очень хорошо.

Стр. XLII—XLIII. Трагедии Озерова занимают между ими средину и в самых погрешностях своих представляют нам отступления от правил, исполненные жизни и носящие свой образ. Они уже несколько принадлежат к новейшему драматическому роду, так называемому *романтическому,* который принят немцами от испанцев и англичан.

?

В конце статьи — общее заключение Пушкина:

Часть критическая вообще слаба, слишком слаба. Слог имеет твои недостатки, не имея твоих достоинств. Лучше написать совсем новую статью, чем передавать печати это сбивчивое и неверное обозрение.

Озерова я не люблю не от зависти (сего гнусного чувства, как говорят), но из любви к искусству. Ты сам признаешься, что слог его не хорош, — а я не вижу в нем ни тени драматического искусства. Слава Озерова уже вянет, а лет через 10, при появлении истинной критики, совсем исчезнет. Озерова перевели. Перевод есть оселок драматического писателя. Посмотри же, что из него вышло во французской прозе.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ М. П. ПОГОДИНА «ОБ УЧАСТИИ ГОДУНОВА В УБИЕНИИ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ»

Текст Погодина	Текст Пушкина
Стр. 90. В жизни знаменитого Годунова представляется любопытный вопрос: *имел ли он участие в убиении Димитрия?* До ответа на этот вопрос посмотрим, нужна ли была ему смерть царевича и видно ли было из прежних его деяний намерение погубить несчастного сироту... Димитрий родился от седьмого брака Иоаннова и по тогдашним понятиям едва ли имел право на престол, по крайней мере неоспоримое.*	* Смотри все Летописи, где об незаконности Дмитрия нигде не упомянуто, напротив.
Стр. 91. Историограф говорит (с. 12), что Годунов «вероятно, притворствовал в дружбе ко Бельскому, внутренно опасаясь в нем тайного совместника». Но Бельский вскоре опять является в столице, не говоря уже о том, что большая часть возмутителей была немедленно наказана. Да и мог ли Бельский, без связей, быть опасен шурину царскому?	После смерти Борисовой.
Стр. 92—93. Следовательно, они не почитали Димитрия наследником? по крайней мере отсюда видно, что всякая сторона легко могла отстранять его при рассуждениях о престоле.	Дядя *законный* наследник, но *сын* естественный наследник.
Далее — Борис не велел молиться о Димитрии и поминать его имени на литургии, мысля тем, говорит историограф, объявить злосчастного царевича незаконнорожденным, как сына шестой или седьмой Иоанновой супруги (Кар. X, 128).	(Один Борис)
Спрашиваю: зачем было прибегать Борису к этой лишней мере, если он задумал убийство, — мере, которая ясно обнаруживала неприязнь его к Димитрию...	!
Стр. 93. Напротив, задумав убийство, он верно стал бы осыпать благодеяниями свою жертву, царицу и ее родственников, — а теперь не вероятнее ли заключить, что Борис хотел политически убить Ди-	*Исправлено:*

митрия, в народном мнении, тише, безопаснее и гораздо действительнее. Сюда же относятся и слухи, распущенные в народе друзьями Годунова, о наклонности Димитрия ко злу и жестокости (коими правитель, по мнению историографа, приготовлял будто легковерных людей услышать без жалости о злодействе!!) (Кар. X, 130).

Борис хотел и политически

Следственно, были замыслы противу младенца, и Димитрий был опасен Борису.

Стр. 94. Как не избавился он от кормилицы, будто бы преданной царице. (Это совсем не похоже на действия Бориса).

!!

Не слишком ли рано, в 1591 году, думать было Борису о престоле, когда Феодору было еще только 34 года, когда он мог иметь еще детей, что и действительно случилось...?

Однако ж думал.

Стр. 94—96. ...неужели, говорю, Борис мог бояться совместничества с семилетным или четырнадцатилетным отроком, без подпоры в церкви, дворянстве, гражданах, без положительного права? Неужели он не мог предвидеть, что сей несчастный сирота был бы непременно отвержен народом, вслед за приверженцами правителя, если бы слуга Борисов, патриарх Иов, по решению собора и патриархов Александрийского, Антиохийского, Константинопольского и Иерусалимского, торжественно объявил народу с лобного места, что сын от седьмого брака не имеет права на престол? Вот мера, которая приготовлялась, кажется, при самом Феодоре. Сюда относятся и слова Бориса в письме к Сигизмунду с Огаревым, как сказали послы литовские в ответах боярам московским (в 1608 году), что если бы расстрига был и действительно сын Иоаннов Димитрий, то он всё еще не имел бы права на корону, будучи сыном незаконным, от шестой или седьмой жены. (Кар. XI, пр. 237).

Слова мог бояться ⌣ без положительного права *перечеркнуты.*

Царевич! единственный сын Иоанна!

Русским этого не говорили. Карамзин это уж изъяснил.

Приняв в расчет сии соображения, можно ли сказать утвердительно, что Борису необходимо нужна была смерть Димитрия? нельзя ли, наоборот, предположить, что Борис готовил ему смерть политическую, а не настоящую?

Противуречие.

Стр. 96. ...согласимся (самая трудная уступка), что Борис своими мерами хотел показать народу, будто и живой Димитрий ему не опасен и, следовательно, смерть его бесполезна; — согласимся, что Нагих и кормилицу * оставил он в Угличе для отклонения от себя всяких подозрений;

Противуречие.

* Как ему **знать** кормилицу.

Стр. 101—102. Для чего было Борису это хладнокровное *политическое* решение совета (которого никак себе вообразить нельзя), что смерть Димитрия необходима для безопасности правителя и для государственного блага!!

mauvaise foi

Яд, которым начали действовать новые (!) соучастники Бориса, не вредил младенцу ни в яствах, ни в питии... Может быть, дрожащая рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее!! Такой пиитической догадки оспоривать не нужно: существуют ли такие злодеи, которые согласны дать скрупул мышьяку, а не драхму? (Заметим, что этот Данило Волохов, у которого здесь дрожали руки, первый дал, говорят, удар ножом царевичу также дрожащею рукою).

Летописцы.

Шуточки.

И Борис не умел сыскать *одного* человека, с руками потверже (который, казалось бы, только и нужен был ему с самого начала вместо всех совещаний и выборов), не умел сыскать одну знающую старуху, кои по нашим деревням портят людей!

Слова . И Борис — портят людей *зачеркнуты.*

Нет: — Борис только что *досадовал,* и за неимением способных исполнителей решился *переменить* свое намерение, и вместо тихого яда действовать звонким ножом!

Не то: смотри Карамзина.

Что же? Этот опытный знаток людей открывается опять двум человекам (двадцатым?), которые отказываются исполнить его поручение и предаются гонению! (даже и не смерти?). Мог ли Борис гнать сих людей и питать их нерасположение к себе, во всяком случае для него опасное? Он верно или убил бы их, или наградил без меры.

А Наполеон, убийца Энгенского, и когда? ровно 200 лет после Бориса.

!!

Далее от слов **Наконец отправляются в Углич..** *до* **при кормилице, преданной Нагим** *зачеркнуто.*

Стр. 103. Как могла подозрительная мамка вывести Димитрия насильно из гор-

ницы в сени? Как допустила она за собою верную кормилицу, предвидя убийство? Как могла согласиться при ней на оное? Ведь оставаясь с трупом и очевидною свидетельницею убийства, она подвергалась явной смерти! и проч. и проч.

Как бы не?

Стр. 105. С другой стороны — как Шуйский, подобно баснословным Чепчугову и Загряжскому, не отказался, под благовидным предлогом, от такого поручения, которое кроме адских мук навлекало на него не только презрение всего рода, но и ненависть россиян, если при исполнении его должно было очевидно, перед тысячами людей, кривить душою.

Покровительствуемая Борисом! т. е. царем!

почему же, если об них упоминает *современная* летопись?

Стр. 106—107. «...Михайло Нагой велел принести несколько самопалов, ножей, железную палицу, — вымазать оные кровью и положить на тела убитых, в обличение их мнимого злодеяния. Сию нелепость утвердили своею подписью Воскресенский архимандрит Феодорит, два игумена и духовник Нагих от робости и малодушия; а свидетельство истины, мирское, единогласное, было утаено: записали только ответы Михаила Нагого, как бы явного клеветника, упрямо стоящего в том, что Димитрий погиб от руки злодеев».

истинно нелепость.

Свидетели!

Во всех ответах свидетелей нет ни слова о Борисе; нет ни малейшего повода думать, что убийство совершено по его приказанию.

«Но сии допросы, — говорит историограф (X, 138), — суть памятники бессовестной лживости Шуйского; ...он допрашивал тайно особенно, не миром, действуя угрозами и обещаниями; призывал кого хотел; писал что хотел».

«Одни сии допросы (Кар. X, пр. 238), явно ознаменованные действием страха, угроз, принуждения, совести нечистой, свидетельствуют о кове Бориса Годунова».

именно.

Стр. 108. Царице должно было снять вину с себя, если Димитрий погиб от ее небрежения...,

глупость.

Стр. 109. Скажем теперь два слова о народе. Народ, зная о неприязни Борисовой к Димитрию, легко поверил правдоподобной выдумке, сам очень естественно возымел подозрение на Правителя...

оправданному показанию всея Руси.

Стр. 110. Царица, Нагие и граждане, совершив самовольно казнь, не должны были впредь для своего оправдания доказывать вину казненных?

вздор

Стр. 110—112. Скажут — следствие можно б произвесть лучше и дознаться до истины; но если этого не сделано, то мы не имеем права дополнять его теперь своими произвольными догадками, — не смеем даже сказать утвердительно, что следователи не должны были довольствоваться узнанными обстоятельствами.

а вы что ж делаете?

Предложим теперь несколько дополнительных замечаний.

Как очутились на дворе дети, если Димитрий убит у крыльца тотчас по выходе из комнаты?

Не понимаю, что хочет сказать критик

Неужели убийцы не предвидели, что в городе произойдет волнение, и не приняли никаких мер к своему спасению? (Иные летописатели говорят, что они отбежали 12 верст, но воротились назад).

они бежали.

Нет

Борис не знал, по крайней мере, когда совершится это нелепое убийство, — как мог он вдруг придумать все средства (представленные у историографа), перехватить гонцов, переписать грамоты, приготовить допросы со всеми *мелкими* подробностями? и проч.

Неужели Шуйский явно заставлял граждан подписываться под готовыми ответами?

как мудрено!

Как Борис решался до такой степени обнаруживаться пред тысячами своих подданных?

и очень!

Царица была пострижена и заключена в монастырь. Все Нагие, сии справедливые или несправедливые обвинители Бориса, остались в живых (знак доброты его) и дожили до лучшей участи при Лжедимитрии.

Братья *царицы!*

Еще — не естественно ли подумать, что Шуйский, оказав Борису такую услугу, сделался ближайшим человеком к нему?

Совсем нет: в остальные семь лет царствования Федорова и семь лет царствования Борисова он оставался в одном положении без особенных знаков дружбы, даже милости Борисовой.

Он был военачальник

И так до сих пор нет *улик* против Бориса?

Слова И так — Бориса *перечеркнуты.*

Стр. 112. Инокиня Марфа... сказала между прочим, что настоящий сын ее убит в Угличе «от Бориса Годунова» (Соб. гос. гр. II, 307).

Но может ли история принимать в уважение слова этой бесхарактерной женщины...

Слово бесхарактерной *подчеркнуто и отмечено скобками.*

Стр. 115—116 (О Шуйском): ...он не понимал, что царственный младенец, с первого года своей жизни подверженный гонениям, оскорбляемый, лишаемый прав своих, наконец невинно погибший... равно свят...

Стр. 116. Патриарх Иов... о Димитрии говорит: «прият заклание неповинно от рук изменник своих».

Стр. 117. Мог ли бы Иов, друг и слуга Борисов, произвесть такое действие, если б принимал участие в убиении святого Димитрия, только что тогда в Москву перенесенного, которое летописи и историограф ему приписывают?

Когда же

Стр. 120. Историограф предлагает сие известие вот как: «если верить летописцу, то Борис велел и проч., но бумаги приказные свидетельствуют, что и проч.» — Зачем же верить летописцу?

То и говорит Карамзин. Это напоминает способ критиковать, Полевым употребляемый.

Стр. 124—125. Соединив теперь все собранные мною доказательства за него и против него, я представляю всё дело на суд Уголовной палаты, по существующим *ныне* законам.

Не должна ли она оставить Бориса только в подозрении, и подозрении слабом.

Как! нынешняя Уголовная палата должна оставить Бориса только в подозрении, а история, имея на своих весах еще двадцатипятилетие благодеяний Борисовых России, осмеливается произносить ему

Это глупость. *Уголовная Палата* не судит мертвых царей по *существующим ныне законам.* Судит их история, ибо на царей и на мертвых нет иного суда.

решительный приговор! Нет! нет! будем справедливы к сему великому мужу, который так хорошо понимал добродетель, если не сердцем, то по крайней мере плодовитым умом своим, который в продолжение своего блистательного правления возвел Россию на высокую степень могущества и славы, который в торжественную минуту своего помазания на престол обещался отдать последнюю рубашку с плеча неимущему подданному и никогда не изменял сему священному обету, который хотел учредить Университет в Москве в 1600 году вместо 1755-го...

Слова Как!.. *до* решительный приговор *перечеркнуты.*

фраза!

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 2-й ЧАСТИ «ОПЫТОВ В СТИХАХ И ПРОЗЕ» К. Н. БАТЮШКОВА

Текст «Опытов»	Заметки Пушкина
К друзьям (стр. 3—5)	
Вот список мой стихов, Который дружеству быть может драгоценен Я добрым гением уверен,	

Приписка под стихотворением:

Весьма дурные стихи.

Надежда* (стр. 9—10)	* Точнее бы *Вера.*
Всё дар его, и краше всех** Даров надежда лучшей жизни!	** Неудачный перенос.

Приписка под стихотворением:

Прекрасно

На развалинах замка в Швеции (стр. 11—18)	
Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,	вяло.
Назад лети с добычей бранной; Уж веет кроткий ветр во след твоим судам, Герой, победою избранный! Красавица стоит безмолвствуя, в слезах,	Вот стихи прелестные, собственно Ба-

Едва на жениха взглянуть украдкой смеет, Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет, Как месяц в небесах...	тюшкова — вся строфа прекрасна.
Там старцы жадный слух склоняли к песне сей, Сосуды полные в десницах их дрожали, И гордые сердца с восторгом вспоминали О славе юных дней.	Прекрасно.
Где вы, отважные толпы богатырей, Вы, дикие сыны и брани и свободы...	живо, прекрасно.

Приписка под стихотворением:

Вообще мысли пошлые, и стихи не довольно живы.

Элегия из Тибулла

Вольный перевод (стр. 19—26)

О вы, которые умеете любить, Страшитеся любовь разлукой прогневить!	Вяло.
Тогда не мчалась ель на легких парусах Несома ветрами в лазоревых морях;	Лишний стих.
До гроба я носил твои оковы нежны	узы
Богами вовержены во пропасти бездонны, Ужасный Энкелад и Тифий преогромный Питает жадных птиц утробою своей.*	и Тифий там огромный * Ошибка мифологическая и грамматическая.
При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной, Подруга в темну ночь зажжет светильник ясный И, тихо веретено кружа в руке своей, Расскажет повести и были старых дней. А ты, склоняя слух на сладки небылицы, Забудешься, мой друг; и томные зеницы Закроет тихий сон, и пряслица из рук Падет... и у дверей предстанет твой супруг, Как небом посланный внезапно добрый гений.	Прелесть.

Приписка под стихотворением:

Прекрасный перевол

Воспоминание (стр. 27—29)

На смерть летя против врагов	слабо
Да оживлю теперь я в памяти своей Сию ужасную минуту, Когда, болезнь вкушая люту И видя сто смертей, Боялся умереть не в родине моей!	Неудачный оборот и дурные стихи.
Но небо, вняв моим молениям усердным, Взглянуло оком милосердным	

Приписка под стихотворением:

Писано в первой молодости поэта.

Воспоминания
Отрывок (стр. 30—32)

Ни дружбы, ни любви, ни песней Муз прелестных, Которые всегда душевну скорбь мою, Как Лотос, силою волшебной врачевали.	Вяло.
Средь бурей жизни и недуг	бурь, недугов.
Обитель древняя и доблести и правов! *	* галлицизм.
Ты часто странника задумчивость питала. Когда румяная денница отражала И дальные скалы гранитных берегов, И села пахарей, и кущи рыбаков, Сквозь тонки утренни туманы На зеркальных водах пустынной Троллетаны.	Последние стихи славны своей гармонией.

Выздоровление (стр. 33—34) Как ландыш под серпом убийственным жнеца Склоняет голову и вянет	Не под *серпом,* а под *косою.* Ландыш растет в лугах и рощах — не на пашнях засеянных.

Приписка под стихотворением:

Одна из лучших элегий Батюшкова.

Мщение

Из Парни (стр. 35—38)

Но всё любовью здесь исполнено моей, И клятвы страшные твои напоминает, Их помнят и леса, их помнит и ручей, И эхо томное их часто повторяет.	лишнее и вялое.
Ты здесь, подобная лилее белоснежной, Взлелеянной в садах Авророй и весной, Под сенью безмятежной,	И у Парни это место дурно, у Батюшкова хуже. Любовь не изъясняется пошлыми и растянутыми сравнениями.
Цвела невинностью близ матери твоей.	своей
Здесь жертвы приносил у мирных алтарей,	Что такое?
И в первый раз *люблю* краснеяся сказала.	
(Тому сей дикий бор немой свидетель был).	Какой оборот!
И жребий с трепетом читает	должно было:
В твоих потупленных очах.	свой жребий.
В веселых пиршествах, тобой одушевленных,	
Где юность пылкая и взор считает твой.	темно
Когда ж безвременно с полей кровавой битвы К Коциту позовет меня судьбины глас,	
Скажу: будь счастлива в последний жизни час; И тщетны будут все любовника молитвы!	Je dirai: qu'elle soit heureuse! Et ce voeu ne pourra te donner le bonheur! Какая разница!

Привидение

Из Парни (стр. 39—42)

Если пламень потаенный По ланитам пробежал; Если пояс сокровенный Развязался и упал —	прелесть

Тибуллова элегия III
(стр. 43—45)

Колен пред случаем вовек не преклоняет	faveur. Не то.
Когда же Парк сужденье,	приговор
Когда суровых сестр противно веретено	

Приписка под стихотворением:

Стихи замечательные по счастливым усечениям — мы слишком остерегаемся от усечений, придающих иногда много живости стихам.

Мой гений (стр. 46)

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.

Приписка под стихотворением:

Прелесть кроме первых 4.

Тень друга (стр. 48—51)

Я берег покидал туманный Альбиона: Казалось, он в волнах свинцовых утопал.	Дмитриев осуждал цезуру двух этих стихов. Кажется, несправедливо.

Приписка под стихотворением:

Прелесть и совершенство — какая гармония!

Тибуллова элегия
Вольный перевод (стр. 52—58)

Мы учиним пред ним обильны возлиянья,	проза.
Иль на чело его, в знак мирного венчанья,	Увенчаем в знак венчания!!!
Возложим мы венки из миртов и лилей.	
Обрызган кровию, выигрывает бой...	проза.
О подвигах своих расскажет древний воин,	

Товарищ юности; и, сидя за столом,
Мне лагерь начертит веселых чаш
вином.*

* Было прежде: чаш пролитых вином — точнее.

В день рождения N (стр. 64)

Приписка под стихотворением:

Есть чувство

Пробуждение (стр. 65)

Ни быстрый лет коня ретива

усечение гармоническое

И гордый ум не победит
Любви, холодными словами.

Смысл выходит — холодными словами любви — запятая не поможет.

Разлука (стр. 66—67)

Приписка под стихотворением:

Прелесть

Таврида (стр. 68—70)

Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши злаки,
Иль, урну хладную вращая, водолей,
Валит шумящий дождь, седой туман и мраки

Любимые стихи Батюшкова самого.

Приписка под стихотворением:

По чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова.

Последняя весна
(стр. 72—74)

К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.

черт знает что такое!

Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, тогда
Исполните благоуханьем — дурно.
Вокруг пустынный небосклон

Приписка под стихотворением:

Неудачное подражание Millevoye

К Г*** чу (стр. 75—76)

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает,
Как от зноя василёк.
Ах! ужели наградит
Слава счастия утрату,
И ко дней моих закату
Как нарочно прилетит?

Что за детские стихи!

Последние 4 стиха очень милы

К Д***ву (стр. 77—80)

Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их *

* прекрасное повторение.

И там — где с миром почивали
Останки иноков святых,
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их

прелесть

Источник (стр. 81—83)

Приписка под стихотворением:

Не стоит ни прелестной прозы Парни, ни даже слабого подражания Мильвуа.

Пленный (стр. 86—90)

С полей победы похищенный
Один, толпой врагов *

* Любимые стихи князя Петра Вяземского.

На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом! *

* было прежде: белым снегом.

«На родину, в сей терем древний,
Где ждет меня краса, *
И под окном, в часы вечерни»

* вместо: красавица. Неудачно.

«Шуми, шуми волнами, Рона,
И жатвы орошай;
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
О ветры, с полночи летите
От родины моей;
Вы, звезды севера, горите,
Изгнаннику светлей!» —

прекрасно

Приписка под стихотворением:

Лев Васильевич Давыдов в плену у французов говорил одной женщине: «rendez-moi mes frimas». Батюшкову это подало мысль написать своего «Пленного». Он неудачен, хотя полон прекрасными стихами.— Русский казак поет, как трубадур, слогом Парни, куплетами французского романса.

Гезиод и Омир — соперники
(стр. 93—100)

Народы, как волны, в Колхиду * текли.

* Невежество непростительное!

Коней отрешите от тягостных уз
И в стойлы прохладны ведите;
Вы, пылью и потом покрыты бойцы,
При пламени светлом вздохните.
Внемлите, народы, Эллады сыны,
Высокие песни внемлите!

прекрасно

Пройдя из края в край гостеприимный мир *

* в конце сказано *рожденный в Самосе* и проч. Противуречие.

Омир

Мне снилось в юности: орел-громометатель
От Мелеса меня, играючи, унес.
На край земли, на край небес,
Вещая: ты земли и неба обладатель.

прекрасно

Гезиод

О, нежны дочери суровой Мнемозины!

зачем *суровой*

Твой гений проницал в Олимп: и вечны боги *
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.

И что ж? В юдоли сей страдалец искони **

* вот пример удачной перемены цезуры.

** Библеизм неуместный.

Приписка под стихотворением:

Вся элегия превосходна — жаль, что перевод.

К другу (стр. 101—105)

Минутны странники, мы ходим по гробам;
Все дни утратами считаем;
На крыльях радости летим к своим друзьям,
И что ж? их урны обнимаем.

прелесть! — да и всё прелесть!

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи и ланиты; *
Чело открытое одной из важных муз
И прелесть — девственной Хариты.

** звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков*

Она в страданиях почила

прекрасно!

Напрасно вопрошал я опытность веков,
И Клии мрачные скрижали.

Клио, как депо, не склоняется. Но это правило было бы затруднительно.

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает:
Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились;
Мой гений в горести светильник погашал
И музы светлые сокрылись.

Подражание Ломоносову и Torrismondo.

Последние 8 стихов отчеркнуты и под стихотворением приписано:

Сильное, полное и блистательное стихотворение.

Мечта (стр. 106—118)

Иль в Муромских лесах задумчиво блуждаешь,
Когда на западе зари мерцает луч
И хладная луна выходит из-за туч?
Или, влекомая чудесным обаяньем
В места, где дышит всё любви очарованьем,
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,

Гармония.

Студеной пеною Воклюза орошенным? То вдруг он пренесен во Сельмские леса,	
Где ветр шумит, ревет гроза, Где тень Оскарова, одетая туманом, По небу стелется над пенным океаном	прекрасно.
◡ — ◡ ◡ ◡ — — — И эхо по горам песнь звучну повторяет.	
Или в полночный час Он слышит скыльдов глас Прерывистый и томный. Зрит: юноши безмолвны, Склоняся на щиты, стоят кругом костров, Зажженных в поле брани; И древний царь певцов Простер на арфу длани.*	Скальд и бард одно и то же, по крайней мере — для нашего воображения.
Мир, мир тебе, герой! Твоей секирою стальной Пришельцы гордые разбиты! Но сам ты пал на грудах тел, Пал витязь знаменитый, Под тучей вражьих стрел!.. Ты пал! И над тобой посланницы небесны, Валкирии прелестны.	детские стихи *Стихи* от Мир, мир тебе, герой! *и далее до стиха* Где уготовали для сонма храбрых боги *Пушкиным перечеркнуты.*
Склонясь на злачный дерн С дружиною младою, Там снова с арфой золотою В восторге скальд поет * О славе древних лет Поет, и храбры очи, Как звезды тихой ночи, Утехою блестят.	* Опять всё то же.
Тогда на крылиях Мечты Летал я в поднебесной; Или, забывшися на лоне красоты,	дурно.
Я сон вкушал прелестной, И счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!	дурно.
Волшебница моя! Дары твои бесценны И старцу в лета охлажденны, С котомкой нищему и узнику в цепях. Заклепы страшные с замками на дверях,	какая дрянь

Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой,
Всё, всё украшено тобой!..
Кто сердцем прав, того ты ввек не покидаешь: !!
За ним во все страны летаешь,
И счастием даришь любимца своего.
Пусть миром позабыт! что нужды для него?
Но с ним задумчивость в день пасмурный, осенний, какая дрянь
На мирном ложе сна,
В уединенной сени,
Беседует одна.
О, тайных слез неизъяснима сладость!
Что пред тобой сердец холодных радость,
Веселий шум и блеск честей
Тому, кто ничего не ищет под луною;
Тому, кто сопряжен душою
С могилою давно утраченных друзей!

* *
*

Кто в жизни не любил?
Кто раз не забывался,
Любя, мечтам не предавался,
И счастья в них не находил?
Кто в час глубокой ночи,
Когда невольно сон смыкает томны очи,
Всю сладость не вкусил обманчивой Мечты? какая дрянь
Теперь, любовник, ты
На ложе роскоши с подругой боязливой, немного опять похоже на Батюшкова
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ее покров стыдливой;
Теперь блаженствуешь, и счастлив ты — Мечтой!
Ночь сладострастия тебе дает призраки,
И нектаром любви кропит ленивы маки.*

* Катенин находил эти два стиха достойными Баркова

* *
*

Мечтание душа поэтов и стихов.
И едкость сильная веков

Не может прелестей лишить Анакреона;
Любовь еще горит во пламенных мечтах
Любовницы Фаона;
А ты, лежащий на цветах
Меж нимф и сельских граций
Певец веселия, Гораций!
Ты сладостно мечтал.
Мечтал среди пиров, и шумных и веселых,
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Как часто в Тибуре, в сих рощах устарелых,

> дурно, вяло.
> дурно.
> слабо.

На скате бархатных лугов,
В счастливом Тибуре, в твоем уединенье,
Ты ждал Глицерию, и в сладостном забвенье,
Томимый негою на ложе из цветов,
При воскурении мастик благоуханных,
При пляске Нимф венчанных,
Сплетенных в хоровод,
При отдаленном шуме
В лугах журчащих вод,
Безмолвен в сладкой думе
Мечтал... и вдруг Мечтой
Восторжен сладострастной,
У ног Глицерии стыдливой и прекрасной

> дурно.

Победу пел любви
Над юностью беспечной,
И первый жар в крови

> пошло

И первый вздох сердечный,
Счастливец! воспевал
Цитерские забавы,
И все заботы славы
Ты ветрам отдавал!

> Хорошие 4 стиха.

* *
*

Ужели в истинах печальных
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных
Между обломков и гробов,
Найдем мы жизни нашей сладость?
От них, я вижу, радость
Летит, как бабочка от терновых кустов;
Для них нет прелести и в прелестях природы;

> *Стихи от* Ужели в истинах печальных *до* Летит, как бабочка от терновых кустов *Пушкиным перечеркнуты.*

Им девы не поют, сплетяся в хороводы; Для них, как для слепцов, Весна без радости и лето без цветов...	прекрасно
Увы! но с юностью исчезнут и мечтанья, Исчезнут граций лобызанья, Надежда изменит, и рой крылатых снов. Увы! там нет уже цветов, Где тусклый опытность светильник зажигает, И время старости могилу открывает.	дрянь

* *
*

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной! Ни свет, ни славы блеск пустой, Ничто даров твоих для сердца не заменит!	дрянь *Отчеркнуто до конца стихотворения.*

Приписка к стихотворению:

Писано в молодости поэта. Самое слабое из всех стихотворений Батюшкова.

Мои пенаты
Послание к Жуковскому и к Вяземскому (стр. 121—137).

Главный порок в сем прелестном послании — есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни.

Музы — существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но *норы* и *келии,* где лары расставлены, слишком переносят нас в греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином суворовского солдата с двуструнной балалайкой. Это всё друг другу слишком уже противоречит.

Там жесткая постель — Всё утвари простые, Всё рухлая скудель!	*Два последних стиха Пушкиным перечеркнуты.*
Богатство с суетой; С наемною душой Развратные счастливцы, Придворные друзья	*Стихи эти Пушкиным перечеркнуты и сбоку сопровождены заметкой:*

И бледны горделивцы, Надутые князья!	Сильные стихи
Мой век спокоен, ясен; В убожестве с тобой Мне мил шалаш простой; Без злата мил и красен Лишь прелестью твоей!	*Эти стихи Пушкиным перечеркнуты.*
К чему сии куренья И колокола вой, И томны псалмопенья Над хладною доской?	стихи прекрасные, но опять то же противуречие

Приписка под стихотворением:

Это стихотворение дышит каким-то упоеньем роскоши, юности и наслаждения — слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна.

Послание Г. В — му
(стр. 138—141)

Когда отвоевав под знаменем Беллоны, Под знаменем Любви я начал воевать И новый регламент * и новые законы В глазах прелестницы читать!	* mauvais goût— это редкость у Батюшкова.
Обетованный край! где ветреный Амур Прелестным личиком любезный пол дарует, Под дымкой на груди лилеи образует, (Какими б и у нас гордилась красота!)	как дурно!
О мой любезный друг! отдай, отдай назад Зарю прошедших дней и с прежними бедами, С любовью и войной! Или, волшебник мой, * Одушеви мое музыкой песнопенье.	* не понимаю этого перехода.
Еще отдай стихам потерянны права, И камни приводить в движенье И горы, и леса!	плоско
Тогда я с сильфами взлечу на небеса *	* вот сунуло куда!
Коснусь... и нимфы гор при месячном сияньe, Как тени легкие, в прозрачном одеяньe,	Сильваны, нимфы и наяды — *меж* сыром выписным и

С сильванами сойдут услышать голос мой.
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками.

гамбургским журналом!!!

Приписка под стихотворением:

Преглупая пиеса.

Послание к Т—ву (стр. 142—145)

Лишь дайте им! промолви — вмиг
Они очутятся с рублями.
Но кто *оне?* — Скажу точь-в-точь
Всю повесть их перед тобою

как плоско!

Был беден. Умер. От долгов
Он, следственно, спокоен. *

* Какая холодная шутка!

Но в мире он забыл жену
С грудным ребенком; и одну
Суму оставил им в наследство...
Но здесь не всё для бедных бедство!

Что за слог!

Прекрасно! славно! — спору нет!
Но... здешний свет
Не рай — мне сказывал мой дед

стихи, достойные Василия Львовича.

И стала... Грация точь-в-точь!..

опять!

Они пред образом, конечно,
Затеплят чистую свечу,—
За чье здоровье — умолчу:
Ты угадаешь, друг сердечный! *

* Я не угадаю: если за здоровье Тургенева, то это плоско — если нет, так изъяснись.— Охота печатать всякий вздор! Батюшков — не виноват.

Ответ Г—чу (стр. 146)

Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает *

* Батюшков женится на Гнедиче!

И если к нам любовь заглянет
В приют, где дружбы храм святой...
Увы! твой друг не перестанет
Еще ей жертвовать собой! —

Как гость, весельем пресыщенный, Роскошный покидает пир, Так я, любовью упоенный, Покину равнодушно мир!	прекрасно.

К Ж — му (стр. 148—152)

Приписка под стихотворением:

Прекрасно, достойно блестящих и небрежных шалостей французского остроумия,— и везде язык поэзии.

Ответ Т — ву (стр. 153—156)

Приписка под стихотворением:

Как неудачно почти всегда шутит Батюшков! Но его «Видение» умно и смешно.

Послание И. М. М. А.
(стр. 160—166)

Но там ли, где всегда роскошная природа И раскаленный Феб с безоблачного свода Обилием поля счастливые дарит, Таланта колыбель и область Пиерид?	Это дело десятое: не о том дело; см. стих 1.
И день, чудесный день, без ночи, <u>без зарей!</u>	зорь
Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы, Водил нас по следам своей счастливой музы,	
Столь чистой, как струи царицы светлых вод, На коих в первый раз зрел солнечный восход, Певец сибирского Пизарра вдохновенный!..	вяло
Всем наслаждается, и всюду наконец Готовит Фебу дань, его грядущий жрец.	темно!

Приписка под стихотворением:

Цель послания не довольно ясна; недостаточно то, что выполнено прекрасно.

Песнь Гаральда Смелого
(стр. 172—174)

Когда мы, содвинув стеной корабли — ?
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно яряся хлестали:
Я черпал их шлемом; работал веслом — прекрасно.

Вакханка (стр. 175—176)

Нагло ризы поднимали *
И свивали их клубком.
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас! —

* смело и счастливо.
может быть, слишком громкое слово.

Приписка под стихотворением:

Подражание Парни, но лучше подлинника, живее.

Разлука (стр. 180—182)

Приписка под стихотворением:

Цирлих манирлих. С Д. Давыдовым не должно и спорить.

Ложный страх
Подражание Парни (стр. 183—185)

«Гименей за всё ручался,
И амуры на часах».*

* Стих Муравьева

Рано утренние розы
Запылали в небесах...
Но любви бесценны слёзы,
Но улыбка на устах,
Томно персей волнованье
Под прозрачным полотном,
Молча, новое свиданье
Обещали вечерком.
Если б Зевсова десница
Мне вручила ночь и день,
Поздно б юная денница
Прогоняла черну тень!
Поздно б солнце выходило
На восточное крыльцо;
Чуть блеснуло б и сокрыло
За лес рдяное лицо;
Долго б тени пролежали
Влажной ночи на полях;

очень мило.

прекрасно

Долго б смертные вкушали
Сладострастие в мечтах.
Дружбе дам я час единый,
Вакху час и сну другой;
Остальною ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой!

прекрасно

Исправлено:
Поделился бы.

Сон могольца
(стр. 186—188)

Приписка под стихотворением:

Монгольская басня, как называет ее Батюшков сам.

Любовь в челноке
(стр. 189—191)

Стихотворение отмечено чертой по полям, переходящей к концу перечеркивание.

Счастливец
Подражание Касти (стр. 192—195)

Первые 11 четверостиший зачеркнуты; из них последнее, так же как и два заключительных, отмечено на полях чертой.

Радость

Подражание Касти (стр. 196—198)

Приписка под стихотворением:

Вот батюшковская гармония.

К. Н.* (стр. 199—201)

И под победными громами
Мы хвалим господа поем!..

Спокойся; с первыми громами
К знаменам славы полетишь

* Подражение старым трубадурам

Te Deum laudamus, а по-нашему должно бы *Царю небесный*.
прекрасно!

Эпиграммы, надписи и пр.
(стр. 202—207)

Эпиграммы и надписи II (Как трудно Бибрису...), III (Панфил забавен...), IV (И телом и душой...), VII (Ни вьюги, ни морозы...) *и* XII (По чести, это смесь...) *зачеркнуты.*

I

Всегдашний гость, мучитель мой,
О Балдус! долго ль мне зевать, дремать с тобой?
Будь крошечку умней, или — дай жить в покое!
Когда жестокий рок сведет тебя со мной —
Я не один и нас не двое.

Это не Батюшкова, а Блудова, и то перевод.

V

Мадригал новой Сафе

Ты Сафо, я Фаон; об этом и не спорю:
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

Переведенное острословие — плоскость.

XI

Мадригал Мелине, которая называла себя нимфою

Ты нимфа, Ио; нет сомненья!
Но только... после превращенья!

Какая плоскость!

Странствователь и домосед (стр. 208—229)

Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином

Стих не сказочный, натянутый.

Наследственным добром свои насытя взоры,
Такие завели друг с другом разговоры

лишнее.

они тут необходимо. *Друг с другом* — наречие, а не *имена сущ.*

И на море глядел,
От скуки сам с собой в полголос рассуждая.
Да где ж Тритоны все? где стаи Нереид?

В полголос *исправлено на* в полголоса

лишнее

Где скрылися они с толпой Океанид?
Я ни одной не вижу в море?

Уже он в Мемфисе, в обители чудес — дурно

Скорее в руки посох, шляпу,
Скорей из Мемфиса бежать
От гнева старцев разъяренных,
От крокодилов, псов и луковиц священных, — холодно
И между греков просвещенных
Любезной мудрости искать...

Ты мудрости ко мне, мой сын, пришел учиться?
У грека старец вопросил — холодно
С усмешкой хитрою; итак, прошу садиться
И слушать пенье Сфер: ты слышишь? Ничего!
А видишь ли в девятом мире
Духов, летающих в Эфире?..

Стихи от От скуки сам с собой в полголос рассуждая *до* Он в Грецию скорей *Пушкиным перечеркнуты и сопровождены замечанием:*

всё это лишнее.

Топиться хочешь ты? Согласен; но сперва
Поведай мне, твоя спокойна ль голова?
Рассудок ли тебя влечет в реку иль страсти?
Рассудок: но его что нам вещает глас?
Что жизнь и смерть равны для нас.
Равны: так незачем топиться. — прекрасно
Дай руку мне, мой сын, и не стыдись учиться
У старца, чем мудрец здесь может быть счастлив. —
Кто жить советует, всегда красноречив:
И наш герой остался жив.

Стихи от Забыв людей и свет *до* Отправиться в Афины *Пушкиным перечеркнуты и сопровождены замечанием:*

лишнее

Так же зачеркнуты стихи Пора с филосо-

фом расстаться *до* Как жить и в жизни сомневаться.

Стихи от Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил *до* И ждет опять денницы *зачеркнуты.*

Зачеркнуты стихи: Вы помните бульвар кипел в Париже так *до* Иль северный Амур с колчаном и стрелами

По пальцам доказал, что в мире быть... опасно, —
Что ж делать? — закричал с досадою народ.
— Что делать? сомневаться.

Сомненье мудрости есть самый зрелый плод.
Я вам советую, граждане, колебаться
И не мириться и не драться!..
Народ всегда нетерпелив.
Сперва наш краснобай услышал легкий ропот,
Шушуканье, а там поближе громкий хохот.

прекрасно — но не в том дело

Приписка под стихотворением:

Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не видно — всё вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.

Переход через Рейн
(стр. 233—241)

Стеклись, нагрянули, за честь твоих граждан,
За честь твердынь и сел и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян;
Где ангел мирный, светозарный,
Для стран полуночи рожден
И провиденьем обречен
Царю, отчизне благодарной

темно, дело идет об Елизавете Алексеевне.

Там всадник, опершись на светлу сталь копья, Задумчив и один, на береге высоком Стоит и жадным ловит оком Реки излучистой последние края. Быть может, он воспоминает Реку своих родимых мест — И на груди свой медный крест Невольно к сердцу прижимает	прелесть!

Приписка под стихотворением:

Лучшее стихотворение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное.

Умирающий Тасс, элегия
(стр. 245—253)

Замечание ко всему стихотворению:

Эта элегия, конечно, ниже своей славы. — Я не видал элегии, давшей Батюшкову повод к своему стихотворению, но сравните «Сетования Тасса» поэта Байрона с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия (см. замечание), ничего не видно. Это — умирающий Василий Львович, а не Торквато.

Ни в хижине оратая простого, Ни под защитою Альфонсова дворца,* Ни в тишине безвестнейшего крова, Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей	* добродушие историческое, но вовсе не поэтическое

«Там, там... о, счастие!.. средь непорочных жен, Средь ангелов, Елеонора встретит!» И с именем любви божественный погас.	Остроумие, а не чувство. Это покровенная глава Агамемнона в картине.

Беседка муз
(стр. 254—256)

Приписка под стихотворением:

Прелесть

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОГО К С. С. УВАРОВУ ПО ПОВОДУ КНИГИ УСТРЯЛОВА «О СИСТЕМЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Текст Вяземского	Заметки Пушкина
...Самый IX-й том, в котором Карамзин с откровенным негодованием благородной души живописал яркими красками тиранию *ослепленного царя*, самый сей том должен был усилить к нему вражду противников мнения его.	мучителя
...Дальновиднее в этом случае тех поверхностных и односторонних судей, которые видят в IX-м томе Карамзина соблазнительную откровенность, противники самодержавия увидели в этом томе торжество убеждений писателя, верного себе и мнению своему. И самое 14 декабря не было ли в последствии времени, так сказать, критика вооруженною рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть *Историею государства Российского*, хотя, конечно, участвующие в нем тогда не думали ни о Карамзине, ни о труде его...	Не лишнее ли?
И после подобных несообразностей в сфере действий самого правительства будут искать в области мнимых догадок или в тайниках неблагонамеренных обществ зародыши возмутительных понятий или ослабления уважения к законной власти и к существующему порядку, если они изредка кое-где и пробиваются в жизни общественной. Но зачем головоломно искать эти зародыши за тридевять земель, когда они у нас под рукою, когда они гласно и торжественно с университетских кафедр посеваются в уме молодежи, всегда жадной к приятию всего, что носит на себе отпечаток оппозиции! На развешенном знамени министерства вашего изображено охранительное правило. Так! но под сенью знамени сего не совершаются ли действия ему противные? Анархия в понятиях ведет к анархии в действиях...	Не лишнее ли, т. е. не повторение ли?
К стыду классического учения, коего университет должен быть стражем, г. Устрялов не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полевого: строй-	О Полевом не худо было напомнить и пространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом на-

ное творение одного и хаотический недоносок другого! И столь двусмысленно или просто сбивчиво опутал собственное мнение свое оговорками, пошлыми фразами и перифразами, что поистине не знаешь, кому из двух отдает он преимущество!

шей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести, — не говоря уже о плутовстве подписки, что́ уже касается управы благочиния, а не Академии наук.

ВОСПОМИНАНИЯ П. В. НАЩОКИНА С ПОПРАВКАМИ ПУШКИНА

Текст Нащокина

Любезный Александр Сергеевич! Покорствуя твоему желанию, я начал писать свои записки от самого рождения. Оно, кажется, и мудрено помнить свое рождение, но я оправдываюсь следующим:

Ребенок, занимаясь в углу игрушками или пересыпая из помадных банок песок в кучу и обратно, не взирая на его наружное равнодушие ко всему постороннему, всё слышит, что говорят кругом его, внимание у него не затмено воображением, и рассказы, слышанные в детстве, так сильно врезываются в память ребенка, что в последствии времени нам представляется, что как будто мы были самовидцами слышанного.

Оправдался еси?!

Я был не один у своих родителей, а потому, исключая моей няни, были еще другие, и их-то россказни первые поражают ухо ребенка; толки эти более или менее ограничиваются: пересудами или сплетнями, разговорами страшными и разговорами о детях. Первые не

Текст Пушкина

Любезный Александр Сергеевич! Повинуясь твоему желанию, я начал свои воспоминания от самого рождения. Оно, кажется, и мудрено помнить свое рождение, но рассказы, слышанные в детстве, так сильно врезываются в память нашу, что впоследствии нам кажется, что мы были свидетелями всего, о чем в самом деле мы только слышали.

Толки мамушек и нянюшек первые поражают ухо ребенка; толки эти более или менее ограничиваются пересудами и сплетнями, страшными рассказами и разговорами о детском белье. Сплетни не оставляют в ребенке впечатлений. Несмотря на то, что всем окружающим нас строго было запрещено пугать нас ведьмами, лешими, домовыми, няньки все-таки иногда говорили о них между собою, и эти россказни сильно на ме-

оставляют в ребенке впечатлений. Впечатления разговоров страшных сильны. Несмотря на то, что мамушкам, нянюшкам и всем окружающим нас строго было запрещено пугать нас ведьмами, лешими, домовыми, они все-таки иногда рассказывали о них друг другу, и эти россказни сильно на меня подействовали, и здесь-то я полагаю корень склонности моей к мистицизму и ко всему чрезвычайному. Вот первое обстоятельство действия отвлеченного страха: я как теперь помню, что няня моя, желая заставить меня скорее заснуть, стращала всегда какою-то *Аринoю,* которая и теперь осталась для меня каким-то фантастическим лицом. В жаркую, лунную ночь бессонницы я, казалось, сквозь занавес видел ее сидящую подле моей кровати, и страх заставлял меня невольно смыкать глаза, и тем вынуждался столь желаемый для нянюшки сон дитяти. Последний разряд их толков оставляет в нас неизгладимое впечатление рождения нашего со всеми слышанными подробностями и некоторое, впрочем весьма неясное, понятие о предпочтении или расположении родителей наших к кому-нибудь из нас. Отец мой, кажется, очень меня любил; о расположении же ко мне матушки теперь говорить совсем не для чего; из записок моих оно лучше видно.

В 1800 ли, 801, 802 ли году я родился, утвердительно не знаю; причина впоследствии сама откроется; но знаю верно, что это было с 14 на 15-е декабря за полночь. Отец мой выпил рюмку мадеры с крепостным и домашним подлекарем, вывезенным из Польши жидком; маленьким, худеньким, черненьким, с впалыми сверкающими глазками, курносым и

ня подействовали. Здесь-то я полагаю корень склонности моей к мистицизму и ко всему чрезвычайному. Я как теперь помню, что няня моя, желая заставить меня скорее заснуть, стращала всегда какою-то *Ариною,* которая и теперь осталась для меня каким-то знакомым фантастическим лицом. В жаркую, лунную ночь бессонницы я, казалось, сквозь занавес видел ее сидящую подле моей кровати; я от страха закрывал глаза и засыпал поневоле, к великому удовольствию моей нянюшки.

В 1800 ли, 801, 802 ли году я родился, утвердительно не знаю; причина впоследствии откроется; но знаю верно, что это было с 14 на 15-е декабря за полночь. Отец мой выпил рюмку мадеры с крепостным подлекарем, вывезенным из Польши жидком; в сертучке — маленьким, худеньким, черненьким, с впалыми сверкающими глазками, курносым и с ямочкой на подбородке. Мадеру подавал буфетчик Севолда, толстый, румяный, белокурый, среднего роста, в голубом фраке, в красном камзоле, обшитом галуном, в чулках и башмаках. Я еще помню этих людей и камзолы и сертук того и другого. Во время моего появления на свет отец мой был в чекмене, заменявшем у него наши нынешние халаты, но достоверными были плисовые сапоги, ибо, как и все баре того времени, он имел

с впадиной на подбородке, в сюртучке. Мадеру подавал буфетчик Севолда, толстый, румяный, белокурый, среднего роста, в голубом фраке, в красном камзоле, обшитом галуном, в чулках и башмаках. Это всё я помню потому, что помню этих людей и камзолы и сюртук того и другого. Во время моего появления на свет отец мой был в жупане, заменявшем у него наши нынешние халаты, но достоверными были плисовые сапоги, ибо, как и все баре того времени, он имел подагру. Об отце доскажу после; Севолду же описал в знак благодарности, он с удовольствием рассказывал мне о подробностях моего рождения. Он еще жив, но рассказы его я помню с шести или семи лет; взопревши от беготни в саду в деревне, я прибегал в большую столовую, чтобы освежиться, и заставал его в том же наряде, сидящего у подъемного большого окна, заставленного бутылями с уксусом, с чулком в руках; с вопросом: скоро ли выйдет из саду маменька? довольно ли я набегался? скоро ли вырасту? когда буду настоящим барином? а там, будто разговаривая с самим собою, рассказывал о том времени, когда я был еще меньше, когда и как родился.

Итак, я родился в Москве, в собственном доме, на Полянке, в приходе у Косьмы и Дамиана; крестила меня старшая сестра с родным дядею по матери Я. Я. М. и с приехавшим в ту же ночь мелкопоместным соседом Н. П. О., которому вверен был присмотр Ростовской вотчины, впоследствии доставшейся мне, теперь же мною проданной. Все эти упомянутые лица, кроме Н. П. О., имели значительное влияние на мою жизнь.

подагру. Севолду описал я в знак благодарности, он с удовольствием рассказывал мне о подробностях моего рождения. Он еще жив, но рассказы его я помню с шести или семи лет; вспотев от беганья в саду в деревне, я прибегал в большую столовую, чтобы освежиться, и заставал его в том же наряде, сидящего с чулком в руках у подъемного большого окна, заставленного бутылями с уксусом. Он спрашивал меня, скоро ли выйдет из саду маменька? довольно ли я набегался? скоро ли вырасту? когда буду настоящим барином? а там, не заботясь о том, слушаю я его или нет, рассказывал о том времени, когда я был еще меньше, когда и как родился.

Все упомянутые лица

От появления моего на здешний белый свет до того времени, как начну лепетать и помнить, займусь описанием происхождения нашего рода, некоторых предков и познакомлю тебя с моим отцом. Виновник нашего бытия в России был какой-то выходец из Италии Дукс и Владетельный князь, как значится в российском гербовнике; он прибыл в Россию весьма давно, вероятно в гости к какому-нибудь удельному князю. Из потомства его, а из предков моих замечателен был при царе Алексее Михайловиче Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, царственныя большия печати и государственных великих дел оберегатель.* Родной дед мой был человек также весьма замечательный; сведения об нем теперь собираются и скоро появятся в свет. Что касается до меня, то я мало слышал о нем, слышал только, что по предложении императрицы Анны Ивановны окружающим ее вельможам арестовать Бестужева ни у кого из них недостало на то твердости духа, так был силен Бестужев в предпоследние минуты своего владычества, и императрица возложила сие поручение на деда моего Василия Александровича Нащокина, который и исполнил оное с надлежащим успехом. Общая молва о нем говорит, что он был человек умный, честный, тверд и быстр в исполнениях.

Отец мой был человек славный; я не только люблю его

* «Знаменитый сановник сей, чуждый своекорыстия, почестей и отличий, подвизался на поприще государственного служения из одного только желания быть полезным, и для цели сей жертвовал всеми на то правами человеческого честолюбия, которое нередко увлекало даже умнейших мужей». Вот об нем одно из исторических известий.

От появления моего на свет

и исполнил оное.

память, но даже и тех, которые знавали и помнят его. Я его очень люблю. Его давно нет в живых; я остался после него пяти лет, но, несмотря на то, он часто служит для меня большим утешением. Он был человек достойный, в полной силе слова, и потому чувство, что я сын хорошего отца, удерживало меня от многих дел такого рода, где с пылким сердцем и с раздраженным воображением не мудрено было увлечься к весьма худому. Нередко в самых трудных обстоятельствах жизни, когда, со всею твердостию характера, не в силах довольствоваться сам собою и ищешь к пособию какого-нибудь сильного средства в отношении нравственном в другом существе, то этим существом для меня никто не был кроме отца моего. Объяснить это я могу только примером: истощив все способы к преодолению какого-нибудь трудного обстоятельства, выбившись из сил, я ложился спать (конец дня я полагаю некоторым образом концом всякому делу) и, засыпая в таком расположении, всегда видал во сне отца моего, чаще будто возвращающегося издалека после долгого отсутствия в свое семейство каким-то неопределенным лицом, и тут же тягость забот с меня спадала, и хотя во сне, но с чувством любви и покорности я полагал уже себя под покровом существа сильнейшего, и этот душевный покой сновидения возобновлял во мне силы и надежды на самом деле. С самого малолетства до сих пор ни в товарищах юности, ни в товарищах по службе, ни теперь в связях знакомства и родства, никогда я не находил ни помощи, ни истинно полезного совета. Из тысячи людей, вмешивающихся в

Нередко в самых трудных случаях жизни, когда, со всею твердостию характера, не был я в силах довольствоваться сам собою и искал помощи у другого существа, то этим покровительствующим существом для меня был мой отец. Объяснить это я могу только примером: истощив все способы к преодолению какого-нибудь неприятного обстоятельства, выбившись из сил, я ложился спать

силы и надежды.

мои обстоятельства и дела, я никогда не слыхал ни от одного чего-нибудь нового, над чем бы я уже сам не ломал себе голову и где самым трудным было не советовать, а действовать, за что никто из них не брался, а если и брался, то за это я всегда поплачивался терпением, душевным беспокойством, а чаще всего деньгами; и потому, решительно могу сказать, что в сей жизни я никому и ничем существенною пользою не обязан. Получа от отца достояние и оставшись после него в таком возрасте, в котором только возможно помнить детское чувство привязанности, зависимости и ласку его, не мудрено, что я сохранил к нему одному несомненное чувство предпочтения моим способностям и силам.

над чем бы я уже сам не ломал себе головы, где нужно было не советовать, а действовать, там их не было; если и бывали, то за это я всегда поплачивался терпением и душевным неудовольствием, а чаще всего деньгами.

ПРИПИСЫВАЕМОЕ ПУШКИНУ

КОГДА МАКФЕРСОН ИЗДАЛ «СТИХОТВОРЕНИЯ ОССИАНА»...

Когда Макферсон издал «Стихотворения Оссиана» (перевод, подражание или собственное сочинение,— этот вопрос, кажется, доселе еще не решен), тогда все с восхищением читали их и перечитывали. «Никто еще не был *опечален* мыслию (говорит Вильмен), что, удивляясь сим поэтическим песням, он удивлялся современнику. Все чувствовали *удовольствие без примеси*, то есть читали превосходные поэмы и не обязаны были за них благодарностью *никому из живых людей»*. Потом начали догадываться, допытываться и дознались (вправду или нет), что поэмы Оссиановы были поддельные, новейшие произведения, словом, что их создал сам Макферсон. Известный критик доктор Джонсон, человек отменно грубый, сильно напал на Макферсона и называл его обманщиком и злоумышленным делателем подлогов. Закипела жаркая война на перьях. И вот образчик тогдашней полемики: ответ Д. Джонсона на письмо Макферсона, который гордо изъявлял свою досаду на обидное неверие английского критика.

Г-н Джемс Макферсон!

Я получил ваше глупое и бесстыдное письмо. Я всеми мерами буду стараться отражать всякое насильственное против меня покушение; а чего не могу сделать сам, то сделают за меня законы. Надеюсь, что угрозы какого-нибудь негодяя никогда не отклонят меня от стремления — изобличать обман.

Какого себе оправдания требуете вы от меня? Я считал вашу книгу подложною, и теперь ее считаю таковою ж. В подтверждение сего мнения я представил публике причины, которые вызы-

ваю вас опровергнуть. Я презираю ваше бешенство. Ваши дарования, по издании в свет вашего Гомера, кажется, не слишком опасны; а слышанное мною о вашем характере заставляет меня обращать внимание не на то, что вы скажете, а на то, что вы докажете. Это письмо вы можете напечатать, если хотите.

В пояснение некоторых слов сего письма должно сказать, что Макферсон, обольщенный успехом своего Оссиана, перевел Гомерову «Илиаду» оссиановским слогом и весьма неудачно.

Предлагаем это письмо, как поучительный пример для наших журнальных критиков. И почему нашим *Адисонам* не быть и нашими *Джонсонами?*

НОВЫЕ ВЫХОДКИ ПРОТИВУ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НАШЕЙ АРИСТОКРАТИИ...

Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние. Ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, «Северная пчела» помнит, кто упрекал поминутно г-на Полевого тем, что он купец, кто заступился за него, кто осмелился посмеяться над феодальной нетерпимостию некоторых чиновных журналистов. При сем случае заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное: этому смеяться нечего. Если же бы звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Недворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуготовили крики: *Аристократов к фонарю* — и ничуть не забавные куплеты с припевом: *Повесим их, повесим.* Avis au lecteur.

О ТАТИЩЕВЕ

Татищев (Василий Никитич), тайный советник и астраханский губернатор, родился в 1686 году; поступил в 1704 году на службу и в том же году находился при взятии Нарвы; был в Полтавском сражении (1709), а потом под Азовом и при Пруте (1711). После сего отправлен в чужие краи, где усовершенствовал себя в науках и в языках немецком и польском. В 1718 году — президент мануфактур- и берг-коллегии генерал-фельдцейхмейстер граф Брюс, за отбытием своим на Аландский конгресс, поручил географические занятия свои Татищеву, состоявшему тогда в чине артиллерии капитан-поручика. В 1720 году отправлен Татищев в Сибирь для управления казенными железными заводами. Он говорит в Лексиконе своем: «1721 года зачат строить на реке Исети капитаном Татищевым железный завод и построен город немалый Екатеринск». Демидов, коему пожалован был Петром I один только Федьковский завод, распространил свои владения более, нежели следовало, и употреблял к заводу казенных мастеровых; опасаясь, чтобы Татищев не отнял у него казенного имущества, подал на него Петру I жалобу в притеснении его. Государь отправлял в сие время Геннина на сибирские заводы и поручил ему произвести следствие о сей ссоре. Геннин, разыскав дело сие, отправил всё следствие с Татищевым к государю. По окончании сей распри повелено было Татищеву отправиться к прежней должности на сибирские заводы.

«Как я отъезжал в 1722 году в Сибирь,— говорит Татищев,— и приехал к царевне Анне Иоанновне прощение принять, она, жалуя меня, спросила шалуна сумасбродного, подьячего Тимофея Архиповича, бывшего шутом при дворе: скоро ли я возвращусь? он меня не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал, сказал: ,,Он руды много накопает, да и самого закопают‘‘».

В 1723 году Татищев взят был ко двору, где и пробыл близ года; но по какому случаю и при какой должности, подлинно не известно. В 1724 произведен Татищев в полковники от артиллерии и послан в Швецию для обозрения горных заводов и для составления планов и моделей машинам. Ему поручено было пригласить в российскую службу несколько горных чиновников и отдать там в обучение разным горным мастерствам посланных с ним

академических учеников. Татищев исполнил поручение и торговал в Швеции, по указу берг-коллегии, медь, которая обходилася по 5 руб. 50 коп. за пуд, с тою выгодою, что провоз мог быть заплачен превосходством шведского веса против российского. Он возвратился в С.-Петербург чрез Копенгаген 1726 года и привез с собою одного только гранильного мастера поручика Рефа, потому что шведское правительство воспретило ему нанимать заводских мастеров. В 1727 году Татищев сделан советником берг-коллегии, и поручено ему с другими монетное дело. В 1730 пожалован он в действительные статские советники; а в 1734 назначен в Сибирь на место де-Геннина, для смотрения над казенными и партикулярными заводами. Прибыв в Екатеринбург, он обозрел все подведомственные ему заводы. Тогда общими трудами рудных промышленников и заводчиков составлен был устав, известный под именем «Татищева устав заводский». Сей устав не был высочайше утвержден, но им руководствовались казенные и частные заводы; и хотя последовали многие изменения по горному управлению, но заводские конторы и ныне следуют «Татищеву уставу». После сего определил Татищев казенных надзирателей на все частные заводы, назвав их шихтмейстерами, и дал чиновникам сим наказ, применяясь к учреждению саксонских и шведских заводов. Татищев обратил особенное внимание на учреждение горных училищ в Кунгуре, Соликамске и по заводам. Он подарил библиотеку сим заведениям, более 1000 книг составлявшую. Демидов успел, однако ж, устранить свои заводы от подведомства Татищева; тогда же отчислены были от него Строгановых горные заводы и соляные их промыслы.

При учреждении в 1736 году вместо берг-коллегии генерал-берг-директориума Татищев подчинен был по управлению заводов генерал-берг-директору Шембергу. В сие время принял он непосредственное участие в усмирении бунтующих башкирцев. Еще прежде сего, в 1734 году, помогал он полковнику Тевкелеву провиантом и снарядами, а в 1735 году Татищев сам ходил противу башкирцев Осинского уезда, и, быв подкреплен полковниками Мартыновым и Тевкелевым, одержал над ними значительную победу, казнил бунтовщиков, а с покорившихся взыскал в пользу Оренбургской экспедиции 10 000 руб. контрибуции и большое количество лошадей. Главный начальник

Оренбургской экспедиции, статский советник Кирилов, донеся о сем 1736 года кабинету, просил, чтоб с сибирской стороны поручить главное начальство над военными Татищеву. Кабинет утвердил сие представление в начале 1737 года, и того же года, по смерти Кирилова, ему поручены все дела Оренбургской экспедиции. По получении о том указа он оставил советника Хрущова начальником над всеми горными заводами, а сам отправился водою в Мензелинск, где нашел генерал-майора Соймонова, полковников Бардевика, Тевкелева и уфимского воеводу, статского советника Шемякина. Для удержания в покорности башкирцев они решили общим советом: учредить за Уралом новую, Исетскую провинцию, которой быть, вместе с Уфимскою, под ведением Оренбургской экспедиции. Кабинет утвердил сие положение. В январе 1738 года Татищев отправился в Самару, откуда предположено было начать военные действия против непокорных башкирцев. На пути он осмотрел с инженерами положение Красноярска и выбрал место для перевода Оренбургской крепости, помещенной на весьма неудобном месте. В сие время киргизский хан Нибирс прибыл в русский лагерь. Татищев принял сего владельца с почестию; он присягнул России в верности подданства. Татищев воспользовался сим случаем, чтобы доставить Оренбургскому краю все выгоды по торговле. Он отправил караван в Ташкент и послал вместе с оным двух офицеров для географических наблюдений. Караван миновал Среднюю и меньшие орды, но был разбит при Большой. Около сего же времени установил Татищев оренбургскую меновую торговлю и собрал первую пошлину с торгов и акциз с продажи питей. Окончив дела сии, принялся Татищев за устроение крепостей. Он обозрел весь Оренбургский край. В предприятии сем способствовали ему много флота капитан Элтон и инженерные офицеры. Но спокойствие башкирцев продолжалось недолго. Волжские калмыки, кочевавшие на луговой стороне реки Волги, оказали вдруг неповиновение, начали отгонять табуны от новопостроенных крепостей и разграбили купеческий обоз, шедший из Самары в Яицкий городок. Татищев отправил против сих бунтовщиков несколько казацких партий, кои, разбив калмыков в разных местах, переловили зачинщиков. 1739 года Татищев отправился в С.-Петербург и подал в кабинет разные представления свои, из коих главнейшие: I. Перенести

город Оренбург на урочище Красной горы. II. Провести линию вверх по Яику до Верхнеяицкой пристани, а оттуда по реке Ую до Царева городища и по реке Сакмаре. III. На линии сей поселить гарнизонные и ландмилицкие полки. IV. Позволить, за отдаленностию места, производить достойных обер-офицеров в чины, а недостойных увольнять в отставку. V. Позволить распространить торговлю того края. VI. Установить правила для управления киргиз-кайсаками. В сие время полковник Тевкелев, природный башкирец, находившийся при Оренбургской экспедиции, вызванный в С.-Петербург за несколько месяцев прежде Татищева, дабы состоять в свите посла, прибывшего туда из Персии, успел рассеять неблагоприятные слухи насчет Татищева и подал на него несколько жалоб. Кабинет, рассмотря жалобы сии и возражения Татищева, нарядил следственную комиссию над ними; а между тем определен был начальником оренбургской комиссии член государственной адмиралтейств-коллегии, контр-адмирал кн. Василий Урусов. Несмотря на сие, все вышеприведенные представления Татищева были уважены. Неизвестно, чем кончилась наряженная над Татищевым комиссия; обвинения оказались, вероятно, несправедливыми, ибо чрез несколько месяцев Татищев был снова послан в 1741 году, по смерти калмыцкого хана Дондук-Омбы, для усмирения взбунтовавшихся калмыков и вскоре назначен в Астрахань губернатором. От сей должности он уволен (1744) по несогласию его с наместником Калмыцкого ханства. Татищев, оставив Астрахань, отправился в подмосковную деревню свою, сельцо Болдино, где и умер 1750 года, июля 15. Тело Татищева предано земле в погосте, состоящем в одной версте от его деревни.

Доктор Лерх, сопровождавший князя Михаила Михайловича Голицына в Персию, говорит о Татищеве:

«Октября 27, 1744 года прибыли мы в Астрахань. Губернатором был там известный ученый Василий Никитич Татищев, который пред сим образовал новую Оренбургскую губернию. Он говорил по-немецки, имел большую библиотеку отличнейших книг и был в философии, математике, а особенно в истории весьма сведущ. Он написал „Российскую историю“, которая по кончине его досталась кабинет-министру барону Ивану Черкасову». Черкасов передал оную Ломоносову.

Татищев жил совершенным философом и имел особенный образ мыслей. Он был слабого здоровья, но сие не препятствовало ему быть деятельным и решительным в делах; он умел каждому дать полезный совет и помощь, а особенно купечеству, которое он в том крае восстановил.

Татищев решился первый привести в систему разнообразные повествования о России и, слича оные с летописями, составил «Историю Российского государства» с самых древних времен до 1463 года. Она напечатана в 4 частях (1768—1784). В сочинениях своих упоминает он, что занимался беспрерывно географиею. «Во время пребывания моего в Астрахани,— говорит он,— посылал я по земле и морю описывать искусных людей, сочиня ланкарту, послал оную в Сенат и Академию».

Татищев занимался разбором древних законов русских и объяснил основательными примечаниями «Русскую Правду» и «Судебник» царя Ивана Васильевича с дополнительными к нему указами. Первая помещена в 1 части продолжения «Древней российской вифлиотики»; а второй издан двоекратно: в 1768 и 1786 годах. Не успел он, к сожалению, кончить своего «Лексикона». Три книги оного, продолжающиеся до буквы Л, изданы в 1793 году и содержат много любопытного. Татищев говорит в предисловии «Лексикона», между прочим, что в 1735 году представил он кабинету, дабы переменить те немецкие названия, коими определяются степени горных чинов. Кабинет на сие согласился; но Бирон, узнав сие, на него сильно гневался. Татищев приложил к своей «Истории» известие о российском государственном гербе, о родословии российских государей, о иерархии, о чинах и суевериях древних и о географии русской вообще. В духовной Татищева помещено много замечаний, кои суть плоды долговременной службы и опытности. Татищев вооружается весьма сильно против кабаков, доказывая, сколь они вредны и пагубны; но, читая сие, нельзя не вспомнить, что он сам учредил кабаки в заводах Демидова. Духовная сочинена Татищевым в 1733 году сыну его Евграфу Васильевичу; издана она в 1773 году Сергеем Друковцовым. Сверх того, многие сочинения Татищева пропали, важные по предметам своим: 1. Лексикон сарматских, эстляндских и финских слов. 2. Жизнеописание царей Алексея Михайловича и Феодора Алексеевича. 3. Замечания на Страленберга, и 4. Перевод Кирхеровой хронологии татар и калмыков.



ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ

(Стр. 30)

В черновой рукописи Пушкина следовало:
Стр. 30. После слов «долговременным приготовлением»:

но у нас еще не требуемые ни духом народа, ни общим мнением, еще не существующим, ни самой силой вещей, были любимою мечтою молодого поколения. Несчастные представители сего буйного и невежественного поколения погибли.

Стр. 30. После слов «от первоначальных начертаний»:

Молодые люди занимались военной службой и старались отличиться французскими стишками и шалостями.

Стр. 31. После слов «просят оной в душе своей»:

с надеждою на милость монарха, не ограниченную никакими законами.

Стр. 31—32. После слов «освященных временем и привычкою»:

Россия походила бы на хаос; никто бы не знал, ни что́ он такое, ни что́ другие; долго беспорядок был бы чрезвычайный.

Стр. 34. После слов «совершенно измениться»:

Не таить от них республиканских рассуждений Тацита (великого сатирического писателя, впрочем, опасного декламатора и исполненного политических предрассудков).

Стр. 34. После слов «преподавать по Карамзину»:

Его творение есть вечный памятник и алтарь спасения, воздвигнутый русскому народу.

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ

(Стр. 38)

В отрывке «Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии...» после слов «отказала им в чувстве изящного» (стр. 38) следовало:

Руссо заметил уже, что ни одна из женщин-писательниц не доходила дале посредственности — кроме Сафы *и еще одной,* говорит Руссо, разумея Новую Элоизу, которую он выдавал за невымышленное лицо. Vitam impendere vero. Они вообще смешно судят о высоких предметах политики и философии! нежные умы не способны к мужественному напряжению мыслей; предметы изящных искусств с первого взгляда кажутся их достоянием, но и тут чем более вслушиваетесь в их суждения, тем более вы изумитесь кривизне и даже грубости их понятия. Рожденные с чувствительностью самой раздражительной, они плачут над посредственными романами Августа Лафонтена и холодно читают красноречивые трагедии Расина. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души.

Отрывок «Примеры невежливости» (стр. 39) имел следующее окончание:

Кстати или некстати некоторые критики, добровольные опекуны прекрасного пола, разбирая сочинения, замечают обыкновенно, что такие-то слова, выражения, описания дамам читать будет неприлично, как слишком простонародные, низкие. Как будто остроумная басня Крылова или описания шотландских кабаков в романах Вальтера Скотта должны непременно оскорблять тонкое чувство модной дамы! Как будто женщина какое-то идеальное существо, чуждое всему земному, и должно ужасаться простых прозаических подробностей жизни!

Эта провинциальная чопорность доказывает малое знание света и того, что в нем принято или нет.

Это-то, по несчастию, слишком у нас обыкновенно и приносит немалый вред нашей младенческой и жеманной литературе.

Отрывок «Идиллии Дельвига...» (стр. 45) в черновом тексте продолжался словами:

напряженного в чувствах, ничего, что отзывалось бы новейшим остроумием; сию вечную новизну и нечаянность простоты и добродушия, тонкость соображений, дабы оградить себя от прозаического влияния остроумия и умничания, от игривой неправильности романтизма, дабы сохранить полноту и равновесие чувств.

ВТОРОЙ ТОМ «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА» ПОЛЕВОГО

(Стр. 97)

Стр. 99. После слов «для развития сил юной России» первоначально следовало:

Дело в том, что в России не было еще феодализма, как перы Карла не суть еще бароны феодальные, а были уделы, князья и их дружина.

Драки княжеские не развили никакой силы; доказательство — нашествие татар. Освобождение городов не существовало в России. Новгород на краю России и соседний ему Псков были истинные республики, а не *общины* (communes), удаленные от Великокняжества и обязанные своим бытием сперва хитрой своей покорности, а потом слабости враждующих князей. Феодализм мог наконец родиться как первый шаг учреждений независимости (общины — второй), но он не успел. Он развился во время татар и был подавлен Иоанном III, гоним, истребляем Иоанном IV, стал развиваться во время междуцарствия, постепенно упразднялся искусством Романовых и наконец разом уничтожен Петром и Анною Ивановною (указом 31 года уничтожившей указ Петра).

НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ К «БОРИСУ ГОДУНОВУ»

(Стр. 112)

I.

19 июля 1829. Арзрум.

С величайшим отвращением решаюсь я выдать в свет «Бориса Годунова». Успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы. Боюсь, чтоб собственные недостатки не были б отнесены к романтизму и чтоб она тем самым не замедлила хода...

Хотя успех «Полтавы» ободряет меня...

II.

Je me présente ayant renoncé à ma manière première — n'ayant plus à allaiter un nom inconnu et une première jeunesse, je n'ose plus compter sur l'indulgence avec laquelle j'avais été accueilli. Ce

n'est plus le sourire de la mode que je brigue. Je me retire volontairement du rang de ses favoris, en faisant mes humbles remerciements de la faveur avec laquelle elle avait accueilli mes faibles essais pendant les dix ans de ma vie.

III.

Lorsque j'écrivais cette tragédie, j'étais seul à la campagne, ne voyant personne, ne lisant que les journaux etc. — d'autant plus volontiers que j'ai toujours cru que le romantisme convenait seul à notre scène; je vis que j'étais dans l'erreur. J'éprouvais une grande répugnance à livrer au public ma tragédie, je voulais au moins la faire précéder d'une préface et la faire accompagner de notes. Mais je trouve tout cela fort inutile.

IV.

Pour une préface: Le publique et la critique ayant accueilli avec une *indulgence passionnée* mes premiers essais et dans un temps où la sévérité et la malveillance m'eussent probablement dégoûté de la carrière que j'allais embrasser, je leur dois reconnaissance entière, et je les tiens quittes envers moi, leur rigueur et leur indifférence ayant maintenant peu d'influence sur mes travaux.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА КРИТИКИ

(Стр. 116)

В рукописи зачеркнуто:
Стр. 128. После слов «они даже нас и не смешат»:

Недавно один из наших критиков, сравнивая Шекспира с Байроном, считал по пальцам, где более мертвых? в трагедии одного или в повести другого. Вот в чем полагал он существенную разницу между ими. Мнение наших критиков о нравственности и приличии, если разобрать его, удивительно забавно. Хотите ли знать, как у нас критиковали бы Расинову «Федру»?

Стр. 135. После слов «в Москве и своих деревнях»:

Имя предков моих встречается почти на каждой странице нашей истории. Ныне огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок, последние их родовые поместия скоро исчезнут, имя их останется честным, единственным достоянием темным потомкам некогда знатного боярского рода.

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ОБВИНЕНИЙ

(Стр. 137)

Набросок к статье

Г-н ПОЛЕВОЙ, ИЗДАТЕЛЬ «МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА» И «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА»...

Отчего происходит эта смешная стыдливость и жеманство, эта чопорность деревенской дьячихи, зашедшей в гости к петербургской барыне? Потому что нашим литераторам хочется доказать, что и они принадлежат высшему обществу (high life, haute société), что и им известны его законы; не лучше ли было бы им постараться по своему тону и своему поведению принадлежать просто к хорошему обществу (bonne société)?

Всё это доказывает, как мало etc. По несчастию, наши литераторы etc.

Кажется, молодой критик имеет столь же неосновательное понятие о чистоплотности, как и о литературе.

В рукописи первоначально было:
Стр. 142. После слов: «никогда не говорю»:

А. Итак, revenons à nos moutons, обратимся к литераторам. Неужто в самом деле эпиграммы французских писателей приуготовали крики *les aristocrates à la lanterne*?

Б. Таково по крайней мере мнение «Литературной газеты».

А. А твое мнение? Нельзя узнать?

Б. Экий лукавый! заманивает опять меня в политику. Не узнаешь.

А. И ты мне не будешь отвечать?

Б. Нет.

А. Как хочешь, поговорим о другом.

Стр. 143. После слов: «они сделали еще лучше»:

А. Воля твоя, замечание «Литературной газеты» есть тайный донос. Зачем поставили они *avis au lecteur*?

Б. Напечатанный тайный донос! Это что-то ново.

А. Если не тайный, так *явный* донос. Это не легче.

О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ «МАРФА ПОСАДНИЦА»

(Стр. 146)

Планы статьи

Драматическое искусство родилось на площади — для народного увеселения. Что нравится народу, что поражает его? Какой язык ему понятен?

С площадей, ярманки (вольность мистерий) Расин переносит ее во двор. Каково было ее появление?

(Корнель, поэт испанский).

Сумароков, Озеров, (Катенин).

Шекспир, Гёте, влияние его на нынешний французский театр, на нас. Блаженное неведение критиков. Осмеянные Вяземским, они на словах согласились, признали романтизм, а на деле не только его не держатся, но детски нападают на него.

Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки.

Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. *Свобода.*

*

Ошибочное понятие об поэзии вообще и драматическом искусстве в особенности. Какая цель драмы?

Что есть драма.

Как она образовалась.

*

Иоанн. Его влияние, его политика.

Шекспир. *Народ. Женщины.*

Враги. *Посадница.* Как понял ее Карамзин в своей повести. *Ксения.*

Действие (слог).

Стр. 148. После слов «занимать его любопытство» в рукописи зачеркнуто:

Что привлекает внимание образованного, просвещенного зрителя, как не изображения великих государственных происшест-

вий? Отселе история, перенесенная на театр, и народы, и цари, выведенные перед нами драматическим поэтом.

В чертогах драма изменилась. Голос ее понизился. Она не имела уже нужды в криках. Она оставила маску преувеличения, необходимую на площади, но излишнюю в комнате, она явилась проще, естественнее. Чувства более утонченные уже не требовали сильного потрясения. Она перестала изображать отвратительные страдания, отвыкла от ужасов, мало-помалу сделалась благопристойна и важна.

НАЧАЛО СТАТЬИ О В. ГЮГО

(Стр. 181)

Стр. 181. После слов «чуждо и непонятно» в рукописи зачеркнуто:

Монтень, путешествовавший по Италии, не упоминает ни о Микеле-Анджело, ни о Рафаеле. Montesquieu смеется над Гомером, Вольтер, кроме как Расина и Горация, кажется, не понял ни одного поэта; Лагарп ставит Шекспира на одной доске с Лопе де Вега и Кальдероном.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ

(Стр. 184)

Отрывки черновой редакции

Стр. 185. В главе «Шоссе» после слов «удобнейшие способы ею пользоваться» вместо следующего абзаца белового текста в черновой рукописи было:

Я начал записки свои не для того, чтоб льстить властям, товарищ, мною избранный, худой внушитель ласкательства, но нельзя не заметить, что со времен возведения на престол Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму.

Я упомянул о моем товарище. Должно мне познакомить с ним читателя.

Стр. 185. После слов «с почтовыми товарищами» в беловой рукописи зачеркнуто:

Покойный князь Ив. Долгорукий, поэт не довольно еще оцененный, поступил гораздо благоразумнее: он, собравшись в подмосковную,

Посовестившись брать с собой в дорогу книжку,
От голоду в запас взял вяземску коврижку.

Стр. 188. В главе «Москва» вместо слов «Подмосковные деревни также пусты и печальны»:

Подмосковные дачи, некогда оживленные, балы, домашние театры, *фейвороки* (извините; не могу выговорить немецких этих звуков иначе как по московскому наречию) в рощах Свирлова, Марфина-Петровского, Останкина; гремела роговая музыка, плошки и цветные фонари озаряли английские дорожки, ширмы превращались в кулисы, актеры...

Стр. 189. После слов «его недавние права» в черновой рукописи было:

Елисавета, окруженная старыми сподвижниками Петра Великого, следовала во всем правилам, понятым ее отцом, к которому питала она пламенную, неограниченную любовь. Екатерина ласкала Москву, внимательно прислушивалась ее мнению, не мешала ни ее весельям, ни свободе ее толков — и во всё время своего долгого царствования только два раза удостоила Москву своим присутствием. Покойный император Александр после своего венчания на царство был в Москве три раза.

В 1810 в первый раз увидел я государя. Я стоял с народом на высоком крыльце Николы на Мясницкой. Народ, наполнявший все улицы, по которым должен он был проезжать, ожидал его нетерпеливо. Наконец показалась толпа генералов, едущих верхами. Государь был между ими. Подъехав к церкви, он *один* перекрестился, и по сему знаменью народ узнал своего государя. Через два года, перед началом войны, государь опять явился в древней столице, требуя содействия от своего дворянства, которое славно отвечало ему устами графа Мамонова. В 1818 приехал он в Москву восставшую и обновленную. Во время присутствия державного семейства пушечная пальба возвестила Москве рождение великого князя Александра Николаевича...

Ныне царствующий император чаще других государей удостоивает Москву своим посещением, и старая столица каждый раз оживляется и молодеет в присутствии своего государя. Неожиданный его приезд в 1830 году, во время появления холеры, принадлежит истории.

В Англии правительство тогда только и показывается народу, когда приходит оно стучаться под окнами (taxes), собирая подать. Во Франции, когда вывозит оно свои пушки противу площадного мятежа.

После этого следовала часть статьи от «Fuit Troja» до «Бедная Москва!» (стр. 187—189) и далее:

Упадок Москвы есть явление важное, достойное исследования: обеднение Москвы есть доказательство обеднения русского дворянства, происшедшее от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин, о коих поговорим в другом месте. Так что правнук богача делается бедняком потому только, что дед его имел четверо сыновей, а отец его столько же. Он уже не может жить с этим огромным домом, который не в состоянии он освещать даже и отапливать. Он продает его в казну или отдает за бесценок старым заимодавцам и едет в свою деревушку, заложенную и перезаложенную, где живет в скуке и в нужде, мало заботясь о судьбе детей, которых на досуге рожает ему жена и которые будут совершенно нищими.

Но улучшается ли от сего состояние крестьян? Крепостной мелкопоместного владельца терпит более притеснений и несет более повинностей, нежели крестьянин богатого барина.

Но, говорят некоторые, раздробление имений способствует к освобождению крестьян. Помещики, не получая достаточных доходов, принуждены заложить своих крестьян в Опекунский Совет и, разорив их, приходят в невозможность платить проценты, имение тогда поступает в ведомство правительства, которое может их обратить в вольные хлебопашцы или в экономические крестьяне. Расчет ошибочный. Помещик, пришедший в крайность, поспешает продать своих крестьян, на что всегда найдет охотников, а долг дворянства связывает руки правительству и не допускает его освободить крестьян, ибо в таком случае дворянство справедливо почтет свой долг угашенным уничтожением залога.

Кроме того, в этой главе был зачеркнутый отрывок после слов «Бедная Москва!» (стр. 189):

Ныне нет в Москве мнения народного: ныне бедствия или слава отечества не отзывается в ее сердце. Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах.

В беловом автографе после слов «неоспоримо на стороне Москвы» (стр. 189):

Г. А. заводит журнал, потому что он отставлен от выгодного места. Г. В. пишет роман, потому что романы *в цене*. Критики пишутся, потому что по краям газетного листа нужен *фельетон* в 1½ вершка как кайма по краям шали. Рано или поздно, но московский журнализм убьет журнализм петербургский.

Стр. 190. После слов «статьями английских Reviews» в беловом автографе:

Даже в журнале, принадлежащем к предприятиям чисто торговым, даже и тут перевес на стороне московского издателя: какая смышленость в выборе переводных статей! какая оборотливость в суждениях о предметах, вовсе чуждых понятиям критика! какое бойкое шарлатанство! Куда петербургским торгашам угнаться за нашими!

Стр. 191. В главе «Ломоносов» после слов «утомительны и надуты»:

Подражания псалмам и книге Иова — лучше, но отличаются только хорошим слогом, и то не всегда точным. Их поэзия принадлежит не Ломоносову. Его влияние было вредное, и до сих пор отзывается в тощей нашей литературе. Изысканность, высокопарность, отвращение от простоты и точности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать *да лобжет мя лобзанием* вместо *целуй меня* etc. Конечно, и Ломоносов того не думал и предлагал изучение славенского языка, как необходимое средство к основательному знанию языка русского. Знаю, что «Рассуждение о старом и новом слоге» так же походит на «Слово о пользе книг церковных в российском языке», как псалом Шатрова на «Размышление о величестве божием». Но тем не менее должно укорять Ломоносова в заблуждениях бездарных его последователей.

Стр. 197. После слов «Это дало особенную физиономию нашей литературе»:

У нас писатели не могли без явного унижения изыскивать покровительства у людей, которых почитали себе равными; сношения их между собою не имели признаков холопства, которое за-

тмевает большую часть иностранных словесностей. Что почиталось в Англии и во Франции честию, то было бы у нас унижением. У нас нельзя писателю поднести свою книгу графу такому-то, генералу такому-то в надежде получить от него 500 рублей или перстень, богато украшенный.

Стр. 197. К словам «проповедует независимость» было примечание:

Все журналы пришли в благородное бешенство и восстали против стихотворца, который (о верх унижения!) в ответ на приглашение князя ** извинялся в стихах, что не может к нему приехать и обещался к нему приехать на дачу! Сие несчастное послание было предано всенародно проклятию, и с той поры, говорит один журналист, слава *** упала совершенно!

Глава оканчивалась:

Во Франции ее блестящая литература века Людовика XIV была в передней. Анекдот о Бенсераде дает понятие о тогдашних нравах.

«Il s'attacha au cardinal Mazarin qui l'aimait, mais d'une amitié qui ne lui produisait rien. Benserade, suivant toujours son génie, faisait tous les jours les vers galants qui lui donnaient beaucoup de réputation. Un soir, le cardinal, se trouvant chez le roi, parla de la manière dont il avait vécu dans la cour du pape où il avait passé sa jeunesse. Il dit qu'il aimait les sciences; mais que son occupation principale était les belles lettres, et surtout la poésie, où il reussissait assez bien, et qu'il était dans la cour du pape, comme Benserade était en celle de France. Quelque temps après il sortit, et alla dans son appartement. Benserade arriva une heure après; ces amis lui dirent ce qu'avait dit le cardinal. A peine eurent-ils fini que Benserade, tout pénétré de joie, les quitta brusquement sans leur rien dire. Il courut à l'appartement du cardinal et heurta de toute sa force pour se faire entendre. Le cardinal venait de se coucher. Benserade pressa si fort, et fit tant de bruit, qu'on fut obligé de le laisser entrer. Il courut se jeter à genoux au chevet du lit de son éminence; et après lui avoir demandé mille pardons de son effronterie, il lui dit ce qu'il venait d'apprendre, et le remercia avec une ardeur inexplicable de l'honneur qu'il lui avait fait de se comparer à lui pour la réputation qu'il avait dans la poésie. Il ajouta qu'il en était si glorieux, qu'il n'avait pu retenir sa joie, et qu'il serait mort à sa porte si on l'eût empêché de venir lui en témoigner sa reconnaissance. Cet empressement plut beaucoup au cardinal. Il l'assura de sa protection, et lui promit qu'elle ne lui serait pas inutile: en effet six jours après, il lui envoya une petite pension de deux mille francs. Quelque temps après, il en eut

d'autres considérables sur des abbayes; et il aurait été évêque, s'il avait voulut s'engager à l'église». (Dictionnaire historique et critique par P. Bayle).

И заметьте, что Бель приводит эту черту безо всякого замечания, как дело весьма обыкновенное! Ныне во Франции нравы уже не те; но сословие писателей потому только не ползает перед министрами, что публика в состоянии дать больше денег. Зато как бесстыдно ползают они перед господствующими модами! Какой талант ныне во Франции не запачкал себя грязью и кровью в угоду толпы, требующей грязи и крови? Можно ли J. Janin сравнить с Краббом?

Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия. Писатели дворяне (или те, которые почитают себя à tort ou à raison членами высшего общества) постепенно начинают от них удаляться под предлогом какого-то *неприличия*. Странно, что в то время, когда во всей Европе готический предрассудок противу наук и словесности, будто бы не совместных с благородством и знатностью, почти совершенно исчез, у нас он только что начинает показываться. Уже один из самых плодовитых наших писателей провозгласил, что литературой заниматься он более не намерен, потому что она *дело не дворянское*. Жаль! Конечно, не слишком лестное товарищество некоторых *новичков* отчасти тому причиною, но разве бесчестное поведение двух или трех выслужившихся *проходимцев* может быть достаточным предлогом для всех офицеров оставить шпагу и отречься от честного звания воинов!

Радищев говорит, что Ломоносов ни в какой отрасли наук не проложил новых следов * — и тут же сравнивает его — с лордом Беконом! ** Таковое странное понятие имел 18-й век о величайшем уме новейших времен, о человеке, произведшем в науках сильнейший переворот и давшем им то направление, по которому текут они ныне.

---

* «Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой не зрели лучшие его очи, не соглядал он нижé грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники».

** «Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский не достоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки?»

Если Ломоносова можно назвать русским Беконом, то это разве в таком же смысле, как Хераскова называли русским Гомером. К чему эти прозвища? Ломоносов есть русский Ломоносов — этого с него, право, довольно.

Стр. 199. В главе «Русская изба» после слов «Людовика XV и его преемника» в черновой рукописи:

Всё это, конечно, переменилось, и я полагаю, что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина.

Однако строки Радищева навели на меня уныние. Я думал о судьбе русского крестьянина.

К тому ж подушное, боярщина, оброк —
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?..

Подле меня в карете сидел англичанин, человек лет 36. Я обратился к нему с вопросом: что может быть несчастнее русского крестьянина?

Англичанин. Английский крестьянин.

Я. Как? Свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба?

Он. Что такое свобода?

Я. Свобода есть возможность поступать по своей воле.

Он. Следственно, свободы нет нигде, ибо везде есть или законы, или естественные препятствия.

Я. Так, но разница покоряться предписанным нами самими законам или повиноваться чужой воле.

Он. Ваша правда. Но разве народ английский участвует в законодательстве? разве власть не в руках малого числа? разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?

Я. В чем вы полагаете народное благополучие?

Он. В умеренности и соразмерности податей.

Я. Как?

Он. Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром. Оброк не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать.

Я. Но злоупотребления...

Он. Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы английских фабричных работников — волоса встанут дыбом. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет об сукнах г-на Шмидта или об иголках г-на Томпсона. В России нет ничего подобного.

Я. Вы не читали наших уголовных дел.

Он. Уголовные дела везде ужасны; я говорю вам о том, что в Англии происходит в строгих пределах закона, не о злоупотреблениях, не о преступлениях. Кажется, нет в мире несчастнее английского работника — что хуже его жребия? Но посмотрите, что делается у нас при изобретении новой машины, вдруг избавляющей от каторжной работы тысяч пять или десять народу и лишающей их последнего средства к пропитанию?..

Я. Живали вы в наших деревнях?

Он. Я видел их проездом и жалею, что не успел изучить нравы любопытного вашего народа.

Я. Что поразило вас более всего в русском крестьянине?

Он. Его опрятность, смышленость и свобода.

Я. Как это?

Он. Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смышлености говорить нечего. Путешественники ездят из края в край по России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия; никогда не встречал между ими ни то, что соседи наши называют *un badaud*, никогда не замечал в них ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны...

Я. Справедливо; но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?

Он. Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были в Англии?

Я. Не удалось.

Он. Так вы не видали оттенков подлости, отличающих у нас один класс от другого. Вы не видали раболепного maintien Нижней каморы перед Верхней; джентельменства перед аристократией; купечества перед джентельменством; бедности перед богатством; повиновения перед властию... А нравы наши, а conversation criminal, а продажные голоса, а уловки министерства, а тиранство

наше с Индиею, а отношения наши со всеми другими народами?..

Англичанин мой разгорячился и совсем отдалился от предмета нашего разговора. Я перестал следовать за его мыслями — и мы приехали в *Клин.*

Стр. 203. В главе «Рекрутство» после слов «и с ним не братается» в беловой рукописи зачеркнуто:

Власть помещиков в том виде, какова она теперь существует, необходима для рекрутского набора. Без нее правительство в губернии не могло бы собрать и десятой доли требуемого числа рекрут. Вот одна из тысячи причин, повелевающих нам присутствовать в наших поместиях,[1] а не разоряться в столицах под предлогом усердия к службе, но в самом деле из единой любви к рассеянности и к чинам.

Стр. 206. В главе «О цензуре» после слов «выходит изо всех пределов»:

Приступая к рассмотрению сей статьи, долгом почитаю сказать, что я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось.

Стр. 206. После слов «типографического снаряда»:

Взгляните на нынешнюю Францию. Людовик Филипп, воцарившийся *милостию свободного книгопечатания,* принужден уже обуздывать сию свободу, несмотря на отчаянные крики оппозиции.

Глава оканчивалась (после слов «овладеть вами совершенно», стр. 206):

Сказав откровенно и по чистой совести мнение мое о свободе книгопечатания, столь же откровенно буду говорить и о цензуре.

Высший присутственный приказ в государстве есть тот, который ведает дела ума человеческого. *Устав,* коим судии должны руководствоваться, должен быть священ и непреложен.[2] Книги, являющиеся перед его судом, должны быть приняты не как извозчик, пришедший за нумером, дающим ему право из платы

[1] *Далее в черновой рукописи зачеркнуто:* По крайней мере каждый помещик во время каждого набора должен бы находиться в главном своем поместии.

[2] Несостоятельность закона столь же вредит правительству (власти), как и несостоятельность денежного обязательства.

рыскать по городу, но с уважением и снисходительностию. Цензор есть важное лицо в государстве, сан его имеет нечто священное. Место сие должен занимать гражданин честный и нравственный, известный уже своим умом и познаниями, а не первый коллежский асессор, который, по свидетельству формуляра, учился в университете. Рассмотрев книгу и дав оной права гражданства, он уже за нее отвечает, ибо слишком было бы жестоко подвергать двойной и тройной ответственности писателя, честно соблюдающего узаконенные правила, под предлогом злоумышления, бог ведает какого. Но и цензора не должно запугивать, придираясь к нему за мелочи, неумышленно пропущенные им, и делать из него уже не стража государственного благоденствия, но грубого буточника, поставленного на перекрестке с тем, чтоб не пропускать народа за веревку. Большая часть писателей руководствуется двумя сильными пружинами, одна другой противодействующими: *тщеславием* и *корыстолюбием.* Если запретительною системою будете вы мешать словесности в ее торговой промышленности, то она предастся в глухую рукописную оппозицию, всегда заманчивую, и успехами тщеславия легко утешится о денежных убытках.

Земская цензурная управа тщательно должна быть отделена от *духовной,* как было доныне в России. Цензор духовного звания не может иногда без явного неприличия позволить то, что в светском писателе не подлежит ни малейшей укоризне. Например, божба, призвание имени божия всуе, шутки над грехами etc. Что было бы верхом неприличия в книге феологической, то разве лицемер или глупец может осудить в комедии или в романе.

Нравственность (как и религия) должна быть уважаема писателем. Безнравственные книги суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассевают личную клевету или кои целию имеют распаление чувственности приапическими изображениями. Тут необходим в цензоре здравый ум и *чувство приличия,* ибо решение его зависит от сих двух качеств. Не должен он забывать, что большая часть мыслей не подлежит ответственности, как те дела человеческие, которые закон оставляет каждому на произвол его совести.

Было время (слава богу, оно уже прошло и, вероятно, уже не возвратится), что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной: некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветою. Например, какой-то стихотворец говорил о *небесных* глазах своей любезной. Цензор велел ему, вопреки просодии, поставить вместо *небесных* — *голубые,* ибо слово *небо* приемлется иногда в смысле высшего промысла! В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова

дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никак не желал пропустить балладу Вальтер Скотта. Некто критиковал трагедию Сумарокова; цензор вымарал всю статью и написал на поле: *Переменить, соображаясь со мнением публики.* Ода «Похвала Вакха» была запрещена, потому что пьянство запрещено божескими и человеческими законами. Спрашивается, каков был цензор и каково было писателям.

Радищев в статье своей поместил «Краткое историческое повествование о происхождении цензуры». Если бы вся книга была так написана, как этот отрывок, то, вероятно, она бы не навлекла грозы на автора. В сей статье Радищев говорит, что *цензура* была в первый раз установлена инквизицией. Радищев не знал, что новейшее судопроизводство основано во всей Европе по образу судопроизводства инквизиционного (пытка, разумеется, в сторону). *Инквизиция* была потребностию века. То, что в ней отвратительно, есть необходимое следствие нравов и духа времени. История ее мало известна и ожидает еще беспристрастного исследователя.

К этой же главе относится запись:

Увидя разбойника, заносящего нож на свою жертву, ужели вы будете спокойно ждать совершения убийства, чтоб быть вправе судить преступника!

Перерабатывая свою статью, Пушкин сделал кроме крупных сокращений и ряд мелких, например:

После слов «Бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся» (стр. 284) в черновом тексте было:

Мысль перевести «Телемака» стихами, выбор книги и самого метра — всё доказывает удивительную смелость.

После слов «толкуют, как мещане!» (стр. 203):

Обе стороны, одна с другой тесно связанные, вскоре мирятся и обнимаются и обращаются противу правительства.

О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ

(Стр. 210)

Стр. 210. После слов «Но внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась»:

Едва Россия успела свергнуть с себя иго татар, и уже ей должно было бороться с Польшей. Между тем царская власть ополчилась на боярство, а боярство домогалось аристократии.

Стр. 211. После слов «Наконец, явился Петр»:

Крутой переворот, произведенный мощным самодержавием Петра, ниспровергнул всё старое, и европейское *влияние* разлилось по всей России. Голландия и Англия образовали наши флоты, Пруссия — наши войска, Лейбниц начертал план гражданских учреждений.

Стр. 211. После слов «многое, начатое им»:

Он умер в полную пору мужества, во всей силе своей творческой деятельности, еще только в полножны вложив победительный свой меч. Он умер, но движение, переданное мощною его рукою, долго продолжалось в огромных составах государства. Даже меры *революционные,* предпринятые им по необходимости, в минуту преобразования, и которые не успел он отменить, надолго еще возымели силу закона. Доныне, например, сохраняется дворянство, даруемое порядком службы, мимо верховной власти.

Стр. 211. После слов *«вечного труженика* Тредьяковского»:

В первой редакции:

Наследники Великого пошли суеверно по его следам. Но высокомерие Долгоруких, пронырство Меншикова, наконец последние заговоры старшего боярства, пресеченные мощною рукою Бирона, слишком занимали русское дворянство, единственный класс, на который просвещение успело излить свои лучи.

Во второй редакции:

Петр I был нетерпелив. Став главою *новых идей,* он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общем презрении ко всему старому, народному, включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных песнях, в сказках (нелепых) и в летописях.

Рождалась новая словесность, отголосок новообразованного общества. Сын молдавского господаря, юноша, обрусевший в русских академиях и в петровских походах, в Париже перекладывал стихи придворного философа Горация и писал сатиры по образцу, данному придворным поэтом Людовика XIV, между тем как сын холмогорского рыбака скитался по германским университетам, вслушиваясь в уроки Готшеда.

Стр. 211. После слов: «Прежде всего надлежит нам ее исследовать»:

Когда в XII столетии под небом полуденной Франции рифма отозвалась в прованском наречии, ухо ей обрадовалось, трубаду-

ры стали играть ею, придумывать для нее всевозможные изменения стихов, окружили ее самыми затруднительными формами. Таким образом изобретены рондо, вирле, баллада * и триолет. Но ум не может довольствоваться одною игрою звуков; чувство требует чувства; воображение — картин и рассказов. Трубадуры и труверы обратились к новым источникам вдохновения: аллегория сделалась любимой формою вымысла; церковные празднества и темные понятия о древней трагедии породили мистерии. Явились ле, роман и фаблио.

Но все сии слабые опыты, не оживленные силою дарования, подходят под одну черту совершенной ничтожности. Трудность, искусно побежденная, прозаическая легкость оборотов, счастливо подобранный припев,— вот в чем почиталось главное достоинство стихотворства.

Редко искреннее изречение или простодушная шутка вознаграждают усталого изыскателя.

Стр. 213. Отрывок, начинающийся словами «Несмотря на ее видимую ничтожность», имел отброшенное начало:

Некто у нас сказал, что французская словесность родилась в передней и дальше гостиной не доходила. Это слово было повторено и во французских журналах и замечено, как жалкое мнение (opinion déplorable). Это не мнение, но истина историческая, буквально выраженная: Марот был камердинером Франциска I-го (valet de chambre), Мольер — камердинером Людовика XIV! Буало, Расин и Вольтер (особенно Вольтер), конечно, дошли до гостиной, но все-таки через переднюю. Об новейших поэтах говорить нечего. Они, конечно, на площади, с чем их и поздравляем.

Влияние, которое французские писатели произвели на общество, должно приписать их старанию приноравливаться к господствующему вкусу и мнениям публики. Замечательно, что все известные французские поэты были из Парижа. Вольтер, изгнанный из столицы тайным указом Людовика XV, полушутливым, полуважным тоном советует писателям оставаться в Париже, если дорожат они покровительством Аполлона и бога вкуса.

Ни один из французских поэтов не дерзнул быть самобытным, ни один, подобно Мильтону, не отрекся от современной славы. Расин перестал писать, увидя неуспех своей Гофолии. Публика (о которой Шамфор спрашивал так забавно: сколько нужно глупцов, чтоб составить публику), легкомысленная, невежественная

---

* *Балладой* называлось небольшое стихотворение, в коем рифмы сочетались известным образом и которое начиналось и оканчивалось теми же словами.

публика была единственною руководительницею и образовательницею писателей. Когда писатели перестали толпиться по передним вельмож, они, dans leur besoin de bassesse, обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостию и странностями, но с одною целию: выманить себе репутацию или деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!

БАЙРОН

(Стр. 217)

Стр. 217. После слов «на произвол молве»:

Впрочем, предпочитать свою славу литературную славе целого своего рода во всяком другом знатном писателе было бы самолюбие столь же смешное, как и предосудительное.

Стр. 220. После слов «предметом сплетен и клеветы»:

Он развелся с женою, жил один, и самые нелепые слухи распространялись о причине развода его с женою. Он был всегда вооружен, и когда садился обедать, перед ним клали на стол его пистолеты как необходимый прибор. Он выстроил в Ньюстиде несколько военных укреплений, по которым производил иногда пушечную пальбу.

ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ

(Стр. 287)

Стр. 287. После слов «дать ему вторичную жизнь»:

Так Брюллов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с пламенным и благородным подобострастием списывал Афинскую школу Рафаеля. А между тем в голове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по улице, чудно освещенной волканом.

О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБРИАНОВОМ ПЕРЕВОДЕ «ПОТЕРЯННОГО РАЯ»

(Стр. 334)

Стр. 334. После слов «словесностию своих соседей»:

Исключительно преданные образцам 17-го века, они не признавали в чужих народах никого, равного писателям, обессмертившим их сторону. Переводчики, которые пытались познакомить их

с великими писателями иностранными, никогда не дерзали быть верными своим подлинникам; они тщательно их преобразовывали и в своих переводах старались вывести совершенными французами.

Стр. 335. После слов «впрочем одаренного талантом»:

Драма «Кромвель» была первым опытом романтизма на сцене парижского театра. Виктор Юго почел нужным сразу уничтожить все законы, все предания французской драмы, царствовавшие из-за классических кулис: единство места и времени, величавое однообразие слога, стихосложение Расина и Буало — всё было им ниспровергнуто; однако справедливость требует заметить, что В. Юго не коснулся единства действия и единства занимательности (intérêt); в его трагедии нет никакого действия и того менее занимательности.

Стр. 338. После слов «продиктовал „Потерянный рай“»:

Клеветать на великих людей, которых мы не в состоянии понимать, есть жалкое святотатство. Знаю, что поступили неумышленно, но тем не менее возбуждаете вы негодование и заслуживаете...

«ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(Стр. 343)

1. Все толкователи поэмы поняли сие место одинаким образом: «Не прилично ли будет etc.», но смысл показывает, что поэт говорит утвердительно: «Неприлично будет нам..., а начаться по былинам сего времени». Таким образом, смысл становится ясным. Какой тут смысл: частица *ли* не всегда означает вопрос. В «Песни о полке» встречается два-три места, коих смысл явно утвердителен, несмотря на сию частицу, и все толкователи почли ее за описку. В русских песнях поминутно встречаем *ли,* не придающую смысла вопросительного, например: «Во саду ли в огороде».

2. Тут, кажется, ошибочно выпущено слово *славием,* которое довершает аллегорию. Ниже поэт, повторяя свое описание, говорит: «скача славию по мыслену древу».

3. Тут должна быть перестановка стиха. Je le rétablis. Я читаю таким образом:

Тебе бы петь etc.
Не буря etc.

Чрез то описание Игорева нашествия делается полнее и живее.

«Готовый» на языке западных славян — известный.

«Кмети» из Грамматина (выписка из Вельтмана). «Кмет» на языке западных славян значит простолюдин, мужик (например, из словинского).

«Хочу копье преломити, а любо испити...» Г-н Сенковский с удивлением видит тут выражение рыцарское. Нет, это значит просто неудачу: «Или сломится копье мое, или напьюсь из Дону». Тот же смысл, как и в пословице: либо пан, либо пропал.

ПРИМЕЧАНИЯ

МОИ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ РУССКОМ ТЕАТРЕ

(Стр. 7)

Статья, сохранившаяся в беловом автографе, опубликована была в 1895 г. На автографе надпись Н. И. Гнедича: «Пьеса, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же отдала ее». М. Е. Лобанов сделал приписку к надписи Гнедича (при слове «Пьеса»): «вообще сумасбродная». Писано не ранее января 1820 г., а так как отдана в незаконченном виде Е. Семеновой, то можно предположить, что Пушкин писал ее до мая 1820 г. и передача объясняется высылкой Пушкина из Петербурга. По-видимому, Пушкин собирался печатать свою статью в «Сыне отечества».

Стр. 7. *Лужнический пустынник* (Лужницкий старец) — псевдоним, часто встречавшийся на страницах «Вестника Европы». Пушкин считал, что все статьи за этой подписью писаны редактором журнала М. Т. Каченовским. В 1819 г. появилась статья Каченовского, направленная против «Истории государства Российского» Карамзина. Эта статья, напечатанная в пяти номерах журнала, подписана «Ф.» и названа «Письма киевского жителя к его другу»; статья содержала разбор предисловия Карамзина и двух переводов этого предисловия.

Стр. 7. *Чухонская деревня.* С пометой «Тентелева деревня» Н. И. Гнедич напечатал в «Сыне отечества» в 1816 г. статью «О вольном переводе Бюргеровой Леноры», в которой сравнивал два вольных подражания «Леноре» Бюргера: «Людмилу» Жуковского и «Ольгу» Катенина.

Стр. 7. *Безрукий инвалид.* В «Сыне отечества» 29 декабря 1819 г. появилось «Письмо к издателю» за подписью В. Кл — нов, по-видимому писанное Р. Зотовым. Автор сообщал о себе, будто бы он потерял на войне руку и глаз. Он хвалил петербургскую французскую труппу и критиковал русскую.

Стр. 7. Семенова Екатерина (1786—1849) и Сосницкая Е. Я. (1799—1855) — драматические актрисы. Колосова Е. И. (1782—1869) — артистка балета; театральная молодежь посещала дом Колосовой не только ради нее, но и ради ее дочери Александры Михайловны, с необычайным успехом дебютировавшей в конце 1818 г. Истомина А. И. (1799—1848) — артистка балета.

Стр. 8. *Большой каменный театр* — главный театр в Петербурге в начале XIX в., на месте нынешней Консерватории.

Стр. 9. *Жорж* (1787—1867) — французская трагическая актриса, гастролировавшая в России в 1808—1812 гг.

Стр. 9. *Измеренные строки Лобанова.* Семенова выступала в роли Клитемнестры в трагедии Расина «Ифигения в Авлиде», переведенной в 1815 г. М. Е. Лобановым (1787—1846).

Стр. 9. *Пестрые переводы.* Имеются в виду «Заира» Вольтера (1809), перевод пяти авторов, «Гораций» Корнеля (1817) — четырех авторов, «Медея» Лонжепьера (1819) — пяти авторов и др.

Стр. 9. *Валберхова* — Вальберхова М. И. (1788—1867), драматическая актриса. До 1812 г. выступала в трагедиях; ей покровительствовал А. Шаховской, видя в ней соперницу Семеновой. В 1812 г. она ушла и вернулась на сцену в 1815 г. уже в качестве комической актрисы. Пушкин перечисляет пьесы ее репертуара: «Дидона», трагедия Княжнина; «Ревнивая жена», комедия Деforжа; «Мизантроп» Мольера (Вальберхова выступала в роли Селимены, в русском переводе переименованной в Прелестину); «Нечаянный заклад», комедия Седена; «Пустодомы», комедия А. А. Шаховского.

Стр. 9. *Милая, робкая Колосова* — Колосова А. М. (1802—1880), впоследствии Каратыгина, жена выдающегося актера В. А. Каратыгина. Первый раз появилась на сцене 16 декабря 1818 г. в роли Антигоны в трагедии Озерова «Эдип в Афинах»; 30 декабря выступила в роли Моины в «Фингале» Озерова и 3 января 1819 г.— в «Эсфири» Расина. Ее первый бенефис состоялся 8 декабря 1819 г. Шла «Заира» Вольтера, затем опера-водевиль «Мнимые разбойники» и в заключение — русская пляска в исполнении матери и дочери Колосовых.

Стр. 9. *Filiae pulchrae mater pulchrior* — измененный стих Горация: O matre pulchra filia pulchrior (кн. I, ода XVI).

Стр. 10—11. Яковлев А. С. (1773—1817), Брянский Я. Г. (1790—1853), Щеников А. Г. (1784—1859), Глухарев А. (1786—1820), Каменогорский З. Ф. (1781—1832), Толченов П. И. (1787—1862), Борецкий И. П. (1795—1842) — драматические артисты.

Стр. 11. «По мне уж лучше пей...» — вошедшая в поговорку цитата из басни Крылова «Музыканты» (1808).

О ПРОЗЕ

(Стр. 12)

Черновой набросок статьи 1822 г. Опубликован в 1884 г. Начало наброска («Д'Аламберт сказал однажды Лагарпу...») взято из биографии Бюффона, писанной Кювье. Цитируя ее по памяти, Пушкин допустил ошибку, заменив именем Лагарпа имя Ривароля, которое находится в тексте Кювье.

Стр. 12. «Микромегас». В этой сатирической повести Вольтер вывел жителя Сириуса и секретаря Академии Сатурна. В последнем изображен Фонтенель, ученый секретарь Парижской академии наук. Пушкин ближайшим образом имеет в виду диалог, начинающий вторую главу:

«Надо сознаться,— сказал Микромегас,— что природа очень разнообразна».— «Да,— сказал житель Сатурна,— природа подобна клумбе цветов...» — «Ах! — возразил Микромегас,— оставьте вашу клумбу».— «Она,— продолжал секретарь,— подобна обществу блондинок и брюнеток, у которых наряды...» — «Эх, что мне за дело до брюнеток?» — сказал его собеседник. «Она подобна кар-

тинной галерее, в которой...» — «Ну нет,— сказал путешественник,— опять-таки природа подобна природе. Зачем подыскивать ей сравнения?» — «Чтобы вам понравиться,— отвечал секретарь».

Стр. 13. «С воспоминаниями о протекшей юности...» — Пушкин говорит о модной и затасканной теме многочисленных элегий того времени,— теме жалобы на утраченную молодость, часто сочетавшейся с темой умирающего юноши.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

(Стр. 13)

Напечатано в «Сыне отечества» № 18, 3 мая 1824 г.

Предисловие Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» вызвало на страницах «Вестника Европы» полемическое возражение, в котором автор с точки зрения классицизма опровергал обоснование романтизма, данное Вяземским. Автором этой анонимной статьи был М. А. Дмитриев.

О ПРИЧИНАХ, ЗАМЕДЛИВШИХ ХОД НАШЕЙ СЛОВЕСНОСТИ

(Стр. 14)

Черновой набросок среди бумаг 1824 г. Опубликован в 1874 г. Заметка вызвана статьей А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года», напечатанной в «Полярной звезде» на 1824 г. Здесь, отметив увлечение французским языком и пренебрежение к родному языку, Бестужев писал: «О прочих причинах, замедливших ход словесности, мы скажем в свое время». С этих слов и начинает Пушкин свою заметку. Стихотворная цитата в сноске взята из сатирического «Послания к кн. С. Н. Долгорукову, российскому министру в Голландии» кн. Дм. Петр. Горчакова (1758—1824). Сатира была известна в рукописи; данные стихи вошли в поговорку.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ЦЫГАНАМ»

(Стр. 15)

Черновые наброски предполагавшегося примечания к поэме «Цыганы». Опубликованы в 1855 г. Цитата во второй заметке — из собственного стихотворения Пушкина, тогда еще не изданного, «Баратынскому из Бессарабии».

Стр. 16. *И. П. Липранди* (1790—1880) — в то время приятель Пушкина. Упоминаемое Пушкиным «Описание Молдавии» написано в связи со служебными поручениями Липранди.

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ А. БЕСТУЖЕВА «ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛА 1825 ГОДОВ»

(Стр. 16)

Черновой набросок замечаний по поводу обозрения литературы А. Бестужева, появившегося в «Полярной звезде» на 1825 г. (вышла в свет 21 марта 1825 г.). Опубликован в 1934 г. Возражения Пушкина начинаются с первых слов статьи Бестужева: «Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных чувств и гениальных творений». Дальнейшие места из статьи, вызывающие возражения, Пушкин цитирует. Последняя заметка вызвана словами Бестужева: «у нас есть критика и нет литературы».

Стр. 16. «...Геродот жил прежде Эсхила». Ошибка Пушкина: Геродот (484?—425 до н. э.) был младшим современником Эсхила (525—456 до н. э.).

Стр. 16. «Романтическая словесность началась триолетами». Согласно историческим воззрениям первой четверти XIX века истоки романтической литературы видели в поэзии трубадуров XII века. *Таинствами* Пушкин называет драматические «мистерии».

Стр. 17. Соуве — так Пушкин писал имя английского поэта Саути (Southey, 1774—1843).

Стр. 17. Rima des triolets, fit fleurir la ballade — цитата из «Искусства поэзии» Буало. В подлиннике это место читается: Marot, bientôt après, fit fleurir les ballades, tourna les triolets, rima les mascarades. Всё это место только намечено в рукописи. Оно, очевидно, соответствует аналогичному в статье «О поэзии классической и романтической» (см. эту статью, стр. 24).

О г-же СТАЛЬ и о г. А. М — ВЕ

(Стр. 17)

Напечатано в «Московском телеграфе», 1825 г., ч. третья, № 12. Статья вызвана появлением в «Сыне отечества», 1825 г., № 10, «Отрывков г-жи Сталь о Финляндии с замечаниями». Автором этих замечаний был А. А. Муханов (1802—1834), служивший в это время в Финляндии адъютантом генерала Закревского. Так как статья эта была подписана только инициалами, Пушкин не знал, кто был ее автор (см. письмо Пушкина Вяземскому от 13—15 сентября 1825 г.). Собственная подпись Пушкина под статьей расшифровывается «Старый Арзамасец». Заключительный стих заимствован из сатирического послания П. А. Вяземского М. Т. Каченовскому (напечатано в «Сыне отечества» в 1821 г.). Пушкин слегка видоизменил его; у Вяземского:

Уважен будешь ты, когда других уважишь.

По поводу слов о «великодушии русского императора», поставленных для цензуры, см. письмо Вяземскому от 13 июля 1825 г.

О ПРЕДИСЛОВИИ г-на ЛЕМОНТЕ К ПЕРЕВОДУ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА

(Стр. 19)

Напечатано в «Московском телеграфе», 1825, ч. V, № 17. Предисловие Лемонте появилось в парижском издании: «Басни русские, извлеченные из собрания И. А. Крылова с подражанием на французском и италианском языках разными авторами и с двумя предисловиями, на французском г. Лемонтея, а на италианском г. Салфия. Изданные г. Орловым», 1825.

Лемонте (1762—1826) — французский историк, автор «Опыта о монархическом установлении Людовика XIV», приложенного к мемуарам Данжо (1818). См. высокую оценку этого труда в письме Пушкина Вяземскому от 5 июля 1824 г. Перевод предисловия Лемонте появился в «Сыне отечества», 1825, № 13 и 14. Пушкин нашел статью Лемонте поверхностной и откликнулся на нее более из уважения к имени автора, чем к ее содержанию. В качестве ошибок Лемонте Пушкин отмечает его утверждение, будто нашествие татар и литовцев оставило ржавчину на русском языке. Он оспаривает мнение Лемонте, который ставит в основную заслугу Ломоносову его литературные занятия и на первое место выдвигает его оды и псалмы.

Приводимый в сноске стих Сумарокова заимствован из его эпистолы «О стихотворстве». Французский стих взят из «Поэтического искусства» Буало.

Подпись Н. К., по-видимому, составлена из двух последних согласных букв фамилии: ср. лицейскую подпись «Александр Н. к. ш. п.»

Стр. 21. «...и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка». В предисловии к первой книге «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе» М. Ломоносова, 1757 г., «О пользе книг церковных в российском языке»; здесь Ломоносов указал, в каком жанре и как можно соединять церковнославянскую и русскую лексику.

Стр. 22. *Благосклонная улыбка прекрасного пола.* Пушкин пародирует отдельные фразы, появившиеся в альманахе «Полярная звезда», например в выпуске на 1823 год в вступительной статье А. Бестужева: «Что нельзя совершить, дабы заслужить благосклонный взор красавицы?.. Одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы!», или в статье А. Корниловича в выпуске на 1824 год: «Снисходительный взор ваш будет лучшею наградою для автора, улыбка вашего одобрения придаст ему новые силы» (в обращении к баронессе А.). Ср. письмо Бестужеву от 8 февраля 1824 г. (т. X).

Стр. 23. «...просвещение века...» Всё это рассуждение Пушкин почти буквально перенес из чернового наброска 1824 г. «О причинах, замедливших ход нашей словесности» (см. стр. 14).

О ПОЭЗИИ КЛАССИЧЕСКОЙ И РОМАНТИЧЕСКОЙ

(Стр. 24)

Незаконченная черновая статья 1825 г. Опубликована в 1855 г. Была вызвана усиленной полемикой вокруг классицизма и романтизма в европейской и русской печати. Пушкин отмечает неудовлетворительность в самой постановке вопроса и, в частности, указывает на французских журналистов. Позднее, исходя из положения этой статьи, Пушкин начал другую, под названием «О ничтожестве литературы русской». О французской цитате см. прим. к статье «Возражение на статью А. Бестужева...» (стр. 458).

О СТИХОТВОРЕНИИ «ДЕМОН»

(Стр. 26)

Незаконченный набросок 1825 года. Опубликован в 1874 г.

Стр. 26. «Думаю, что критик ошибся». В «Сыне отечества», 1825 г., № 3, в статье «Письма на Кавказ» говорилось: «Демон Пушкина не есть существо воображаемое: автор хотел представить развратителя, искушающего неопытную юность чувственностью и лжемудрствованием».

Стр. 26. «...даже указывали на лицо...» — на Александра Раевского.

Стр. 27. «Недаром великий Гёте...» Слова Мефистофеля («Фауст», сц. III): «Я дух, который вечно отрицает».

ОБ АНДРЕ ШЕНЬЕ

(Стр. 27)

Черновой набросок, сохранившийся в бумагах Пушкина. Писан в 1825 г., опубликован в 1884.

Стр. 27. «...несколько слов, сказанных о нем Шатобрианом...». В примечании к шестой главе третьей книги «Гения христианства» (1802). Там же и несколько отрывков из стихов Шенье, о которых пишет Пушкин.

О ТРАГЕДИИ

(Стр. 27)

Черновой набросок, писанный во время работы над «Борисом Годуновым». Опубликован в 1916 г. В наброске отразились споры 20-х годов между классиками и романтиками о «трех единствах» (времени, места и действия) и о смешении трагического с комическим.

О НАРОДНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ

(Стр. 28)

Черновой набросок, связанный со спорами о народности в русской критике 20-х годов. Опубликован в 1855 г. В частности, Пушкин имеет в виду статьи Бестужева в «Полярной звезде», где отмечается пренебрежение в обществе к русскому языку (см. «О причинах, замедливших...»), и статью В. Кюхельбекера в «Мнемозине» (см. следующую статью).

Стр. 28. *Карломан*—Карл Великий (по-итальянски Carlo Magno).

Стр. 28. «...как справедливо заметил кн. Вяземский». В предисловии к «Бахчисарайскому фонтану».

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА В «МНЕМОЗИНЕ»

(Стр. 29)

Черновой конспект замечаний на две статьи Кюхельбекера. Отрывки опубликованы в 1855 г., полностью статья опубликована в 1927 г. Пушкин останавливается на двух статьях В. Кюхельбекера. Первая из них «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» появилась в июне 1824 г. («Мнемозина», ч. II), другая, «Разговор с Булгариным» — в октябре того же года (там же, ч. III). Пушкин имеет в виду следующие места: из первой статьи: «Сила, свобода, вдохновение — необходимые три условия всякой поэзии»; из второй, по поводу Горация: «...он почти никогда не был поэтом *истинно восторженным.* А как прикажете назвать стихотворца, когда он чужд истинного вдохновения?» В обеих статьях Кюхельбекер защищает оду, как высокую лирическую форму, против элегии, господствовавшей в русской лирике начала 20-х годов. Ср. «Евгений Онегин», гл. IV, строфы XXXII—XXXIII и предисловие к первой главе романа. Писано в 1825—1826 гг.

Стр. 29. «Мы, напр...» В обеих статьях Кюхельбекера нет такой фразы, где встречались бы эти оба слова. По-видимому, они ошибочно заключены в кавычки и принадлежат Пушкину (вероятнее всего, надо читать «например»). Слово «мы», хотя вообще и недостаточное для полного уточнения цитаты, встречается в статье Кюхельбекера только три раза, из них только одно место удовлетворяет контексту замечаний Пушкина. Поэтому приводим предположительно это место: «Все мы в запуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях. Если бы сия грусть не была просто риторическою фигурою, иной, судя по нашим Чайльд-Гарольдам, едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что у нас на Руси поэты уже рождаются стариками. Картины везде одни и те же: *луна,* которая, разумеется, *уныла* и *бледна,* скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения *Труда,*

Неги, Покоя, Веселия, Печали, Лени писателя и *Скуки* читателя; в особенности же туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя».

О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ

(Стр. 30)

Эта официальная записка была составлена Пушкиным по распоряжению Николая I. Опубликована в 1884 г. Записка написана в Михайловском 15 ноября 1826 г. Бенкендорф писал Пушкину 30 сентября 1826 г.: «Его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения: и предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания». Таким образом, поручение имело характер политического экзамена, причем Пушкину было указано, в каком направлении требовалась записка: надо было осудить существующую систему воспитания (в частности Лицей), как явившуюся причиной декабристского движения. Подобного рода записки в том же 1826 г. были поданы, по-видимому, тоже по заказу правительства графом И. О. Виттом, начальником южных военных поселений, руководителем политического сыска на юге России («Записка о недостатках нынешнего воспитания российского дворянства»), Фаддеем Булгариным («Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного») и др.

Представленная Пушкиным записка была прочитана Николаем I. На основании устного отзыва Николая Бенкендорф написал Пушкину следующее письмо 23 декабря 1826 г.: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин».

Пушкин говорил о своей записке А. Вульфу в 1827 г.: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову».

В черновой рукописи имеются ссылки на «Записки»: по-видимому, Пушкин хотел воспользоваться своими записками, не дошедшими до нас, в части, характеризующей русское домашнее воспитание. В беловом тексте Пушкин сделал некоторые сокращения (см. выше, стр. 431).

ОБ АЛЬМАНАХЕ «СЕВЕРНАЯ ЛИРА»

(Стр. 35)

Черновик статьи, предназначавшейся для журнала «Московский вестник». Опубликован в 1916 г. Альманах «Северная лира» на 1827 год вышел в свет в январе 1827 г. Издателями альманаха были С. Е. Раич, основатель «Общества друзей», из которого вышли московские «любомудры», и один из участников этого общества Д. П. Ознобишин (псевдоним Делибюрадер). Пушкин упоминает следующие произведения, напечатанные в альманахе: «Греческая ода» В. И. Туманского, «Одесским друзьям» его же, отрывок из поэмы «Таврида» под названием «Бакчисарай» А. Н. Муравьева (см. эпиграмму Пушкина «Лук звенит, стрела трепещет»), два стихотворных перевода отрывков из «Божественной комедии» Данте А. С. Норова, перевод стихотворения А. Шенье «Неера» Д. П. Ознобишина и его же переводы под псевдонимом Делибюрадер «Оды Гафица» и «Нама. Уаль натру мискун» (с арабского). Статья, разбираемая Пушкиным («Петрарка и Ломоносов»), писана Раичем. Пушкин совершенно обошел молчанием произведения Веневитинова и Тютчева.

СТИХОТВОРЕНИЯ ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО

(Стр. 36)

Черновой набросок статьи о сборнике стихотворений Баратынского, вышедшем в свет в ноябре 1827 г. Сборник этот Баратынский предполагал издать еще в 1824 г. Сборник 1827 г. открывался отделом элегий, разделенных на три книги. Опубликовано в отрывках в 1884 г., полностью — в 1887 г.

Стр. 36. «...роды лирический и элегический...». Здесь «лирический» в значении «одический».

О ДРАМАХ БАЙРОНА

(Стр. 37)

Черновой набросок, относящийся к 1827 г. Опубликован в 1884 г.

Стр. 37. *Субботы* — сцены шабаша в «Фаусте». Первоначально Пушкин написал «Сцены ведьм и бесов».

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ

(Стр. 38)

Напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1828 г. (вышел в свет 22 декабря 1827 г.).

Стр. 38. «Стерн говорит...» Это замечание в печати не появилось, вероятно, из цензурных соображений. Пушкин цитирует «Сентиментальное путешествие» Стерна.

Стр. 40. «Всё, что превышает геометрию...» Цитата из «Мыслей» Паскаля.

Стр. 40. «Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème» — цитата из «Искусства поэзии» Буало (п. II).

Этот афоризм, как и следующий, имеет непосредственное отношение к статье В. Кюхельбекера (которого в 1827 г. Пушкин не мог назвать) «О направлении нашей поэзии...» («Мнемозина», ч. 2, 1824). В одном примечании Кюхельбекер писал: «Вольтер сказал, что все роды сочинений хороши, кроме скучного: он не сказал, что все равно хороши. Но Буало, верховный, непреложный законодатель в глазах толпы русских и французских Сен-Моров и Ожеров, объявил:

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème!

Есть однако же варвары, в глазах коих одна отважность предпринять создание эпопеи взвешивает уже всевозможные сонеты, триолеты, шарады и, может быть, баллады».

Стр. 40. «Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux»— цитата из предисловия Вольтера к комедии «Блудный сын». *Некто* — Кюхельбекер; см. предыдущее примечание.

Стр. 41. «Путешественник Ансело...» Пушкин говорит о книге Ансело «Шесть месяцев в России» (1827). Речь идет о грамматике Н. Греча, о романе Ф. Булгарина «Иван Выжигин» и о комедии Грибоедова «Горе от ума». В действительности в книге Ансело о Грибоедове не упоминается.

Стр. 41. «Государственное правило...» — видоизмененная цитата из предисловия к «Истории государства Российского». У Карамзина: «добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?».

Стр. 42. «Mes arrière-neveux me devront cet ombrage!» — цитата из басни Лафонтена «Старик и трое молодых».

Стр. 42. «Байрон говорил...» Взятие Измаила описано в восьмой песне «Дон-Жуана» (см. строфу LXIII), поездка Дон-Жуана в Петербург — в IX песне (см. строфу XXX).

Стр. 42. «Сон Сарданапалов». В монологе Сарданапала в трагедии Байрона «Сарданапал» (действие IV, явл. I). Карикатура, о которой говорит Пушкин, была издана не в Варшаве, а в Лондоне в 1795 г. и изображала Суворова, подносящего Екатерине отрубленные головы женщин и детей после взятия Варшавы.

Стр. 42. «В лице Нимврода...» В сне Сарданапала так описывается образ Нимврода: «Это был по своим чертам великан, и его взор был неподвижен, но сверкал: его длинные локоны ниспадали на широкие плечи».

Стр. 43. *Лорд Мидас.* Под этим именем Пушкин изобразил графа М. С. Воронцова, своего бывшего одесского начальника.

Стр. 43. «Coquette, prude». В черновике афоризм оканчивался: Prude мужского рода не имеет, но есть мужья — prudes.

Стр. 44. «Появление „Истории государства Российского"...»— отрывок из автобиографических записок Пушкина (см. т. VIII, «Карамзин»).

Стр. 45. «Идиллии Дельвига...» Этот отрывок был выпущен в печати, как относящийся к издателю «Северных цветов».

МАТЕРИАЛЫ К «ОТРЫВКАМ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛЯМ И ЗАМЕЧАНИЯМ»

(Стр. 45)

Здесь собраны те отрывки, которые находятся в черновиках предыдущей статьи, но не вошли в ее беловой текст. Опубликованы: «Дядя мой...» в 1922 г., «Сумароков...» в 1909 г., «Если всё...» в 1937 г., «У нас...» в 1928 г.

Стр. 45. «Дядя мой однажды занемог». Этот отрывок является пародией на афоризмы Василия Львовича Пушкина, напечатанные в «Литературном музеуме» на 1827 г. (вышел в свет в марте 1827 г.). В. Л. Пушкин назвал эти афоризмы «Замечания о людях и обществе». Там находятся такие изречения: «Многие из нас готовы на советы, редкие на услуги. Тартюф и Мизантроп превосходнее всех нынешних трилогий. Не опасаясь гнева модных романтиков и несмотря на строгую критику Шлегеля, скажу искренно, что я предпочитаю Мольера — Гёте и Расина — Шиллеру. Французы перенимали у греков и сами сделались образцами в драматическом искусстве».

Стр. 46. «Если всё уже сказано...» Пушкин цитирует статью Вяземского «Сочинения в прозе В. Жуковского», напечатанную в «Московском телеграфе», 1826, № 5. Ср. статью «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико», наст. том, стр. 323.

Стр. 47. «Есть различная смелость: Державин написал...» Первая цитата является, вероятно, началом строфы из «Вельможи»:

Орел, по высоте паря,
Уж солнце зрит в лучах полдневных:
Но твой чертог едва заря
Румянит сквозь завес червленых...

Но возможно, что это неточная цитата начала стихотворения «На парение орла»:

Воанергес! Орел, сын грома!
Не ты ль на высотах паришь
И снов святых патмосска холма
Виденья бытием решишь?

Вторая цитата — из оды «На возвращение графа Зубова из Персии»:

Сбылось! — Игру днесь счастья люту
И как оно к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло,
Ты видишь,— видишь, как мечты
Сиянье вкруг тебя заснуло,
Пришло,— остался только ты.

Следующая цитата — начальные стихи «Водопада».
Цитата из Жуковского — из «Певца в Кремле».
Цитата из Крылова — из басни «Муравей».

Цитата из Расина — из пролога к трагедии «Эсфирь»; слово vache употребил Делиль в поэме «L'Homme des champs»:

La vache gonfle en paix sa mamelle pendante.

Стр. 48. «Un bon mot de deux rimes orné» — цитата из второй песни «Поэтического искусства» Буало.

ЕСЛИ ЗВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...

(Стр. 48)

Черновой набросок литературно-критической пародии, написанный в 1827 г. Опубликован как начало «Истории села Горюхина» в 1884 г. Частично Пушкин воспользовался этим отрывком в создании биографии Белкина (в предисловии к «Повестям» и в «Истории села Горюхина»), но в большей степени изображенный здесь характер послужил материалом для создания образа Феофилакта Косичкина (см. стр. 177). В этом наброске Пушкин, говоря о писателях, «делающих честь не только России, но и всему человечеству», пародирует слова Полевого из статьи о «Евгении Онегине»: «делает честь стране, которой он принадлежит, и веку, в котором живет» («Московский телеграф», 1825, № 5). Цитируемое в конце объявление Филимонова напечатано в «Русском инвалиде», 1825, № 17, о книге «Искусство жить».

О ТРАГЕДИИ ОЛИНА «КОРСЕР»

(Стр. 49)

Черновое начало рецензии на «Корсер» Олина 1827 г. Опубликовано в 1855 г. Упоминание о плане в конце наброска объясняется тем, что В. Н. Олин в 1824 г. в рецензии на «Бахчисарайский фонтан» упрекал Пушкина за недостаток плана.

В. П. Титов писал Погодину 11 февраля 1828 г. о Пушкине: «Он готовит вам письмо о Борисе Годунове; что он читал, славно; хочет приготовить смешную статью о ,,Корсаре'' и о способе переделывать романы в романтические трагедии».

Стр. 50. «Дело в том, что он постиг...» Характеристика действующих лиц в драмах Байрона перенесена сюда из статьи «О драмах Байрона» (см. стр. 37).

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

(Стр. 51)

Письмо это не было напечатано в журнале. По-видимому, оно не было Пушкиным доведено до конца. Опубликовано в 1855 г. Поводом к этой статье явилось «Обозрение русской словесности за 1827 г.» С. П. Шевырева («Московский вестник», 1828, № 1), в котором давалась высокая оценка появившейся в печати сцены «Ночь. Келья в Чудовом монастыре». Об этом писал В. П. Титов Погодину 11 февраля 1828 г. (см. предыдущее примечание).

Стр. 52. *Два классические единства* — единство времени и места; Пушкин сохраняет из трех единств только единство действия.

Стр. 52. «Я увидел...» — Пушкин не выписал определения романтизма, встречавшегося в критике. Оно взято из заметки «Французские критики...» (см. стр. 352).

Стр. 52. «... один из самых оригинальных писателей... не усумнился включить...» П. А. Вяземский в предисловии к сочинениям Озерова.

Стр. 52. «...наши журнальные Аристархи...» Имеется в виду Н. Полевой и его статья о «Полярной звезде» на 1825 г. («Московский телеграф», 1825, № 8). См. об этой статье письмо Пушкина Вяземскому от 25 мая 1825 г.

Стр. 54. *Constitutionel* и *Quotidienne* — парижские газеты, первая — либеральная, вторая — монархическая.

Стр. 54. *Сцилла, Тиберий, Леонид* — французские трагедии: «Сулла» Жуи, 1821 г., «Последний день Тиберия» Л. Арно, 1828 г., «Леонид» Пиша, 1825 г.

Стр. 54. «Il ne dit, il ne fait que ce qu'on lui prescrit» — цитата из «Британика» Расина (действие IV, явление 4). Мнение, что в этих стихах имеется намек на участие Людовика XIV в балетах, основывается на письме Буало Морншеналю (сентябрь 1707), в котором говорится, что Людовик, услышав эти стихи, перестал выступать в придворных балетах.

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ «АТЕНЕЯ»

(Стр. 54)

Черновая статья; опубликована в 1930 г.; вызвана разбором двух глав «Евгения Онегина», напечатанным в журнале «Атеней», 1828 г., № 4, за подписью В. (М. А. Дмитриев). Пушкин не напечатал своего возражения, но потом отдельные замечания поместил в качестве примечаний при издании «Евгения Онегина».

Стр. 54. «Под романтическим автор разумеет...» В «Атенее» говорится: «Название: *романтическое* выручает стихотворение от всех притязаний здравого смысла и законных требований вкуса».

Стр. 55. *Времян.* Процитировав ссылку критика на стих Державина из стих. «На смерть князя Мещерского», Пушкин отвечает цитатой из стих. Батюшкова «Мои пенаты», показывающей, что в русском языке имеются обе формы: времен и времян.

Стр. 57. «...который взвесить смел...» Цитата из «Водопада» Державина.

Стр. 57. «Поникнул лавровой главою» — цитата из «Вельможи» Державина.

О ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОГЕ

(Стр. 57)

Черновой набросок, относящийся к 1828 г., опубликован в 1922 г. В этой статье Пушкин пишет о поэтах, обращавшихся к просторечию.

Стр. 57. Ваде (1720—1757) — представитель «пуассардской» поэзии (применявшей речь парижских базарных торговок),

Стр. 58. *Переводы из Гебеля* — Жуковского: «Овсяный кисель», «Красный карбункул», «Деревенский сторож», «Тленность» (1816); «Убийца» — баллада Катенина 1815 г. Цитируемый Пушкиным стих из «Убийцы» читается:

«Да полно что! гляди, плешивый!»

«БАЛ» БАРАТЫНСКОГО

(Стр. 58)

Черновой набросок статьи о Баратынском, в связи с выходом в свет его поэмы «Бал» в 1828 г. Опубликован в 1840 г.

Стр. 58. «...нежно благодарим его в журналах от *имени человечества...»* Намек на отзыв Н. Полевого о поэме А. Подолинского «Див и Пери», в котором Полевой писал: «благодарим его как поэта и человека» («Московский телеграф», 1827 г., № 21). В феврале 1829 г. Пушкин говорил Шевыреву: «Полевой от имени человечества благодарил Подолинского за „Дива и Пери“, теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за „Борского“».

Стр. 58. *...делающих истинную честь нашему веку* — цитата из Н. Полевого (см. примеч. к статье «Если звание любителя...», стр. 466).

Стр. 59. *Известные шуточки покойного «Благонамеренного»* — пародии и сатирические заметки, печатавшиеся в журнале А. Е. Измайлова «Благонамеренный» и направленные против Баратынского и его литературных друзей.

Стр. 59. *Неприличная статейка в «Северной пчеле»* — рецензия Булгарина («Северная пчела», 1826 г., № 20).

Стр. 59. *Слабое возражение* — статья Полевого в «Московском телеграфе», 1826 г., № 5.

Стр. 59. «Как отозвался „Московский вестник“...» С. Шевырев в «Московском вестнике», 1828 г., № 1, писал о стихотворениях Баратынского: «Он принадлежит к числу тех русских поэтов, которые своими успехами в мастерской отделке стихов исключили талант и глубокость мысли из числа важных достоинств поэзии».

Стр. 59. «...поэма „Бал“, напечатанная в „Северных цветах“...» В альманахе «Северные цветы» на 1828 год появился только отрывок из поэмы — «Бальный вечер», около 40 стихов. Полностью поэма вышла вместе с «Графом Нулиным» Пушкина отдельной книгой под общим названием «Две повести в стихах» в декабре 1828 г.

ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ

(Стр. 61)

Статья написана в Москве 27 марта 1829 г. и первоначально предполагалась к напечатанию в «Невском альманахе», но была запрещена цензурой в октябре. В сокращенном виде была напечатана в «Северных цветах» на 1830 год. На ту же тему Пушкин написал эпиграмму «Журналами обиженный жестоко». Эпи-

граф взят из первой песни «Энеиды» Вергилия с изменением одного слова: scholasticis вместо coelestibus. Слова эти стали поговоркой.

Стр. 62. *Замечания о заглавном листе «Истории государства Российского»* — рецензия Каченовского на предисловие к «Истории» Карамзина в «Вестнике Европы», 1819 г., №№ 2—6. Здесь же Пушкин называет другую статью Каченовского «О бельих лобках и куньих мордках» в «Вестнике Европы», 1828 г., № 13.

В черновой рукописи статья сопровождается списком оправдательных документов:

Pièces justificatives

1) Объявление на подписку «Вестника Европы».
2) Замечания «Телеграфа». Примечание *Рдк.*
3) Голос Измайлова.
4) Речь Глинки.
5) Вторая статья Полевого.
6) Письмо Глинки к Блудову.
7) Письмо Блудова.

Стр. 62. *Старый педант* — М. Т. Каченовский; *пьяный семинарист* — Н. И. Надеждин.

Стр. 63. *О музыке Верстовского* М. Каченовский писал в «Вестнике Европы», 1829 г., № 1. Это был отзыв о кантате на слова Пушкина «Черная шаль».

Стр. 63. «Тереза и Фальдони» — сентиментальный роман Леонара, переведенный М. Каченовским.

Стр. 63. *Надоумко* — псевдоним Н. И. Надеждина.

Стр. 63. *Бенигна* — псевдоним Н. А. Полевого.

Стр. 64. *Міхаил Трофімович* — орфография «Вестника Европы» вызывала насмешки, в частности за неуместное употребление буквы «і».

Стр. 64. «...Каченовский решился требовать защиты законов...» М. Т. Каченовский 18 декабря 1828 г. подал жалобу на цензора С. Н. Глинку, разрешившего № 20 «Московского телеграфа». На жалобу Каченовского отвечал С. Глинка, доказывая, что в статье Полевого не было никакой клеветы и личность Каченовского не была затронута. Московский Цензурный комитет принял сторону Каченовского, и лишь один В. В. Измайлов подал особое мнение, в котором он оправдывал Глинку. Дело было передано в Главное управление цензуры, которое согласилось с мнением В. В. Измайлова и отказало Каченовскому в его жалобе.

Стр. 65. «...ожесточенный издатель „Московского телеграфа“ напечатал другую статью...». В № 23 «Московского телеграфа».

Стр. 65. «Князь Вяземский уже дал однажды...» В «Письме в Париж», напечатанном в «Московском телеграфе», 1825 г., № 22.

О ПУБЛИКАЦИИ БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА В «СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЕ»

(Стр. 66)

Эта черновая заметка не была напечатана Пушкиным. Опубликована в 1884 г. Поводом к протесту Пушкина явилось то, что М. А. Бестужев-Рюмин, уже заявивший себя как литературный враг писателей, близких Пушкину, опубликовал в своем альманахе «Северная звезда» (вышел в свет в июле 1829 г.) 7 стихотворений за подписью Ап. Из них шесть принадлежали Пушкину, в том числе послание к Чаадаеву «Любви, надежды, тихой славы» (с цензурными изменениями). Седьмое стихотворение принадлежало Вяземскому. Сделано это было без всякого разрешения Пушкина.

Стр. 66. «...г-н Федоров напечатал под моим именем...» В 1827 г. в альманахе «Памятник Отечественных Муз» Борис Федоров напечатал без согласия Пушкина пять его стихотворений, в том числе лицейское стихотворение «Фавн и пастушка». По этому поводу в «Северных цветах» на 1829 год было напечатано: «В „Памятнике Муз“ напечатаны отрывки из стихотворения Пушкина „Фавн и пастушка“, стихотворения, от которого поэт ныне сам отказывается и поручил нам засвидетельствовать сие перед публикой».

Стр. 66. «...заменил своими стихами те, кои не могли быть пропущены цензурою». Эти слова могут относиться лишь к одному стиху: в послании «К Чаадаеву» стих «Минуты вольности святой» заменен другим: «Подруги сердцу дорогой». Вряд ли эти слова относятся к другой цензурной замене: в послании Орлову вместо «Хотя и русский генерал» напечатано «Достойный русский генерал». Других цензурных замен в публикации Бестужева-Рюмина нет. Таким образом, в этих словах Пушкина мы находим прямое признание, что послание Чаадаеву писано им.

О «РОМЕО И ДЖЮЛЬЕТЕ» ШЕКСПИРА

(Стр. 66)

Напечатано в «Северных цветах» на 1830 год с припиской редакции: «Извлечено из рукописного сочинения А. С. Пушкина». Судя по черновой рукописи, это не отрывок, а законченная заметка Пушкина.

О «НЕКРОЛОГИИ ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ Н. Н. РАЕВСКОГО»

(Стр. 67)

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 1, в отделе «Смесь», без подписи. Сохранился автограф заметки. Заметка в черновике кончалась словами: «Дети Н. Н. Раевского внуки Ломоносова» и припиской: «Н. Н. внук кн. Потемкина». Пушкин имеет в виду то, что жена генерала Раевского была внучкой Ломоносова по его дочери Елене Михайловне (по мужу Констан-

тиновой) и племянницей Г. А. Потемкина. «Некрология» была написана М. Ф. Орловым и издана анонимно.

Стр. 67. «...неизвестного некролога...» Слово «некролог» здесь значит «автор некрологии». Анонимность некрологии объяснялась тем, что имя Орлова, как декабриста, не могло быть названо.

Стр. 67. «...он не упомянул о двух отроках...» См. т. I, стихотворение «Раевский, молоденец прежний».

ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ

(Стр. 67)

Незаконченный черновой набросок, представляющий собою пародию на редакцию «Вестника Европы». Опубликован в 1884 г.

Стр. 67. *На Малой Бронной.* Надеждин подписывал свои статьи в «Вестнике Европы» «С Патриарших прудов». Патриаршие пруды находятся на Малой Бронной. Соседний район («Козье болото») — место действия поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед». Отсюда упоминание «некоторых соседних дам».

Стр. 67. *Бывший корректор типографии.* В статье Надеждина о «Полтаве» в качестве справедливого критика выведен Пахом Силыч Правдивин, отставной корректор ...овской университетской типографии.

Стр. 67. *Трандафырь.* Под этим именем высмеивали Каченовского.

Стр. 67. *Никодим Невеждин* — Надеждин (его псевдоним Никодим Надоумко).

Стр. 68. *Ширяев* — московский книгоиздатель.

Отдельные намеки пародии совпадают с намеками статьи «Отрывок из литературных летописей».

О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА Б. КОНСТАНА «АДОЛЬФ»

(Стр. 68)

Напечатано без подписи в отделе «Смесь» «Литературной газеты», 1830 г., № 1, 1 января. Заметка Пушкина вызвала затруднения в цензуре, и Сомов, редактировавший газету совместно с Дельвигом, писал об этом Одоевскому 28 декабря: «Пушкин написал заметку о переводе романа Бенжамена Констана „Адольф", сделанном князем Вяземским для издания его в Москве; наш цензор полагает, что роман находится в списке запрещенных иностранных книг, и отказывается подписать заметку; прошу вас сообщить, действительно ли роман находится в списке запрещенных книг». По-видимому, сообщение Одоевского разрешило все сомнения цензора. Перевод Вяземского вышел в свет в 1831 г. с посвящением Пушкину. В этом посвящении между прочим говорилось: «Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему».

Стр. 68. Стихотворная цитата — из «Евгения Онегина», глава седьмая, строфа XXII.

«ИЛИАДА» ГОМЕРОВА...

(Стр. 69)

Напечатано в «Литературной газете», № 2, 6 января 1830 г., без подписи. См. «Объяснение по поводу заметки об ,,Илиаде“».

Перевод «Илиады» вышел около 29 декабря 1829 г. и является делом всей жизни Гнедича. В самый день выхода в свет «Литературной газеты» он послал Пушкину записку, благодаря его за заметку: «Едва ли мне в жизни случится читать что-либо о моем труде, что было бы сказано так благородно и было бы мне так утешительно и сладко!»

В черновике заметка имеет продолжение, в котором Пушкин в сильно измененном виде цитирует свое письмо Гнедичу от 23 февраля 1825 г.: «Все благомыслящие люди чувствовали важность сего перевода и ожидали оного с нетерпением. Вы требуете сочинений моих,— писал Н. И. Гнедичу Пушкин.— В то время как ваш корабль входит в пристань, нагруженный богатствами Гомера, при громе наших приветствий, нечего говорить о моих мелочах на смерть Наполеона I».

О ЖУРНАЛЬНОЙ КРИТИКЕ

(Стр. 69)

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 3, 11 января, без подписи. Сохранился автограф.

Стр. 70. *Домашняя переписка издателя с сотрудниками.* Примеры даны из редакционных примечаний к статьям Надеждина в «Вестнике Европы», 1828 г., № 24, и 1829, г., № 23.

Стр. 70. «Иван Выжигин» — роман Булгарина.

РАЗГОВОР О КРИТИКЕ

(Стр. 70)

Черновой набросок. Опубликован в 1884 г. Работа Пушкина над текстом прервана в процессе его отделки, почему печатающаяся выше редакция является неокончательной. Сравнительно с предыдущими изданиями, текст статьи пересмотрен и уточнен, отражая последний момент работы над ним автора.

Статья вызвана резкой полемикой на страницах «Галатеи» — журнала, издававшегося С. Раичем. Раичу так же резко отвечал Полевой в «Московском телеграфе». Подобная же полемика велась в «Северной пчеле» Булгарина и «Вестнике Европы» Каченовского.

Стр. 71. «Державин их также воспевал». В оде «Фелица» говорится о кулачных боях, причем имеется в виду любовь гр. Орлова к подобным развлечениям.

Стр. 72. *Трагедия Хомякова* — «Ермак».

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ

(Стр. 72)

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 5, 21 января, без подписи. В черновике статьи после слов «толпу подражателей» следовало: «Но, кроме Купера и Манцони, как они все далеко отстали от шотландского чародея». (Имеются в виду романы Купера «Шпион» и Манцони «Обрученные»).

После слов «как мало жизни!» следовало: «Одна умная дама сравнивала роман Альфреда де Виньи с бледной дурной литографией». Эти слова показывают, что под слабыми подражателями В. Скотта Пушкин подразумевал А. де Виньи и его роман «Сен-Мар», к которому и относится вся предыдущая характеристика.

Стр. 72. *Ученик Агриппы* — легенда об алхимике Агриппе Неттесгеймском. На тему этой легенды существует баллада Саути «О юноше» и баллада Гёте «Ученик чародея».

О ЗАПИСКАХ САМСОНА

(Стр. 74)

Напечатано без подписи в отделе «Смесь» «Литературной газеты», 1830 г., № 5. Сохранился автограф. «Записки палача», о которых говорится в рецензии, в действительности были не подлинными: под именем Самсона их издавала группа французских писателей. В настоящей рецензии Пушкин имел в виду не столько данное издание, сколько общее направление французской литературы, где в это время в моде был «ужасный» роман. Кроме скандальных мемуаров Генриэты Вильсон 1825 г., «Современницы» (Иды Сент Эльм) 1827 г. и др., Пушкин называет роман Гюго «Последний день приговоренного к смерти». Жозеф де Местр писал о палаче в первом разговоре «Петербургских вечеров».

О «РАЗГОВОРЕ У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙ» ФОНВИЗИНА

(Стр. 75)

Напечатано в отделе «Смесь» «Литературной газеты», 1830 г., № 7, 31 января, без подписи. Сохранился автограф. В «Литературной газете» был опубликован неизданный «Разговор у княгини Халдиной» (из «Друга честных людей») Фонвизина. В «Северной пчеле» (№ 10) было выражено сомнение, действительно ли это произведение Фонвизина.

ДЕННИЦА

(Стр. 76)

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 8, 5 февраля. По свидетельству П. А. Вяземского, писано Пушкиным. В альманахе «Денница» (вышел в свет 9 января) напе-

чатано обозрение И. В. Киреевского (впоследствии известного славянофила, тогда примыкавшего к группе московских любомудров), привлекшее внимание Пушкина.

Стр. 76. *Одобрительное внимание великого Гёте* — письмо Гёте по поводу разбора С. Шевырева отрывка из «Фауста». Это письмо напечатано в «Московском вестнике», 1828 г., № 11.

Стр. 77. *Новый Цензурный устав* — утвержден 22 апреля 1828 г. Этот устав имел некоторые преимущества в сравнении с суровым уставом 1826 г.

Стр. 78. *Пушкин, поэт действительности...* Этой краткой и точной формулой Пушкин заменил расплывчатую характеристику его творчества, данную Киреевским.

КАРЕЛИЯ, ИЛИ ЗАТОЧЕНИЕ МАРФЫ ИОАННОВНЫ РОМАНОВОЙ

(Стр. 84)

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 10, 15 февраля, без подписи. Ф. Н. Глинка как член Союза благоденствия был сперва сослан в Олонецкую губернию, в Петрозаводск; здесь в 1829 г. он написал поэму «Карелия», которую и выпустил в свет в начале 1830 г. Отзыв Пушкина вызван не столько литературными достоинствами поэмы, сколько сочувствием к ссыльному декабристу. О принадлежности отзыва Пушкину писал Ф. Глинка.

О СТАТЬЯХ КН. ВЯЗЕМСКОГО

(Стр. 89)

Напечатано в отделе «Смесь» «Литературной газеты», 1830 г., № 10, 15 февраля, без подписи. Сохранился автограф. Заметка вызвана нападениями на Вяземского и на его критические приемы со стороны «Московского телеграфа» № 1 и «Северной пчелы» № 12. Эти нападения были вызваны статьей Вяземского в альманахе «Денница» — «Отрывок из письма А. И. Г.».

О НОВЕЙШИХ БЛЮСТИТЕЛЯХ НРАВСТВЕННОСТИ

(Стр. 90)

Черновой набросок. Опубликован в 1884 г. Набросок представлял собой продолжение предыдущей статьи, отброшенное в печати.

Стр. 91. «В одном журнале сильно напали на неблагопристойность поэмы...» Отзыв Надеждина о «Графе Нулине» в «Вестнике Европы», 1829 г., № 3.

Стр. 91. «Недавно исторический роман...» «Юрий Милославский» Загоскина вызвал рецензию Булгарина в «Северной пчеле», 1830 г., № 9. Там говорилось: «„И этого-то собачий сын не умел сделать!“ Как мило! Неужели автор не подумал, что книга его может попасться в руки дамам, может войти в учебные заведения!».

Стр. 91. Fashionable tales — светские повести английского писателя маркиза Норманби.

Стр. 91. «Душенька» — поэма Богдановича. «Модная жена» — стихотворная сказка И. И. Дмитриева.

НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ НА 1830 ГОД...

(Стр. 91)

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 12, 25 февраля.

Стр. 92. «...Издатель журнала, отличающегося...» — Николай Полевой. В 1829 г. в «Московском телеграфе» (в приложении «Новый живописец») Полевой под псевдонимами Буршев и Бессмыслин напечатал пародии на стихи Языкова.

«ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА», СОЧИНЕНИЕ НИКОЛАЯ ПОЛЕВОГО

(Стр. 92)

Статья I напечатана в «Литературной газете», 1830 г. № 4, 16 января, *статья II* — в № 12, 25 февраля. Первая статья подписана *Р* (латинское *П*), вторая — без подписи. Н. Полевой в 1829 г. предпринял по подписке издание своего обширного исторического труда «История русского народа». По его плану «История» должна была состоять из двенадцати томов (в действительности издание оборвалось в 1833 г. на шестом томе). По своему построению и историческим взглядам «История» Полевого была направлена против «Истории» Карамзина, чем и вызвана полемика на страницах «Литературной газеты».

Стр. 93. Belle conclusion et digne de l'exorde — ставший поговоркой стих из комедии Расина «Сутяги».

Стр. 93. *Философическая статья об русской истории* — рецензия Полевого на «Историю государства Российского» Карамзина («Московский телеграф», 1829 г., № 12), ее высмеял А. Воейков в «Славянине», 1829 г., № 48—49.

Стр. 97. Maître renard, peut-être on vous croirait — слегка измененный стих из эпиграммы Ж. Б. Руссо (эпиграммы, кн. II, эп. XIV). В этой эпиграмме, направленной против писателя Удара, рассказывается о лисе, потерявшей хвост и предлагавшей другим лисам также отрезать хвосты. Заключительные стихи:

> Maître Houdart, peut-être, on vous croirait:
> Mais par malheur vous n'avez point de queue.

Стр. 97. «В журнале, издаваемом ученым...» В «Вестнике Европы», издававшемся Каченовским, против «Истории» Полевого была напечатана бранная статья Надеждина (1830 г., № 1).

Стр. 97. *В пример галиматьи* — из эпиграммы И. И. Дмитриева «Подзобок на груди...»:

> Так, Бавий, так! стихи, конечно, и твои
> На лекциях пойдут — в пример галиматьи.

Стр. 97. «„Московский вестник“ ... сказал...». В № 2 1830 г. напечатан разбор «Истории» Полевого, писанный М. Погодиным, издателем журнала.

Стр. 97. «То же бы ты слово...» Из сказки «Дурень» («Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым»).

ВТОРОЙ ТОМ «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА» ПОЛЕВОГО

(Стр. 97)

Статья, оставшаяся в черновике. Второй том «Истории» Полевого вышел в свет в конце августа 1830 г. Пушкин взял его с собой в Болдино, где и писал о нем статью.

АНГЛИЯ ЕСТЬ ОТЕЧЕСТВО КАРИКАТУРЫ И ПАРОДИИ

(Стр. 101)

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 12, 25 февраля.

Стр. 101. «...узнать себя в пародиях...» Н. Полевой в «Московском телеграфе», в отделе «Новый живописец» напечатал стихотворные пародии на Пушкина и поэтов его круга: Дельвига, Баратынского, Языкова и Вяземского.

Стр. 101. «...пародировал Гизота и Тьерри». Об «Истории русского народа».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАМЕТКИ ОБ «ИЛИАДЕ»

(Стр. 101)

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 12, 25 февраля. Заметка вызвана статьей С. Раича («Галатея», 1830, № 4). Считая автором заметки об «Илиаде» Гнедича редактора «Газеты» Дельвига, Раич писал: «Мы бы поверили этому воззванию насчет труда, действительно важного по некоторым отношениям, если бы это воззвание не было чересчур величаво и не обнаруживало духа партии, которая в литературе не должна быть терпима».

В черновике после слов «во время отсутствия барона Дельвига»: «Не полагая, что имею право судить немедленно и решительно о таковом важном труде, каков перевод 24 песен „Илиады“, я ограничился простым объявлением; по моему незнанию греческого языка замечания мои были бы односторонни».

Стр. 101. «...отношения барона Дельвига к Н. И. Гнедичу...» В «Северных цветах» на 1829 год появились отрывки из «Илиады» в переводе Жуковского. Гнедич, уже много лет трудившийся над переводом «Илиады», усмотрев в этом обидное к себе отношение, написал Дельвигу резкую записку, и отношения между ними испортились.

Г-н РАИЧ СЧЕЛ ЗА НУЖНОЕ...

(Стр. 102)

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 13, 2 марта. Нападения Пушкина на Раича были вызваны его насмешками над заметкой Пушкина об «Илиаде» Гнедича. См. «Объяснение по поводу заметки об ,,Илиаде''» (стр. 101).

О ЗАПИСКАХ ВИДОКА

(Стр. 102)

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 20, 6 апреля, в отделе «Смесь», без подписи. Принадлежность Пушкину определяется заметкой в «Литературной газете» 9 августа. «Издателю ,,Северной пчелы'' ,,Литературная газета“ кажется печальною: сознаемся, что он прав, и самою печальнейшею статьею находим мнение А. С. Пушкина о сочинениях Видока». Пушкин в это время находился в Москве. В дневнике Погодина 18 марта 1830 г. имеется запись: Пушкин «давал статью о Видоке и догадался, что мне не хочется помещать ее (о доносах, о фискальстве Булгарина), и взял». Статья о Видоке явилась ответом на пасквильный «Анекдот» Булгарина, в котором он вывел Пушкина под видом французского писателя, который «в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины; у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камнями во всё священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — суетность». В Видоке Пушкин изобразил самого Булгарина. Пушкин намекает на сомнительное прошлое жены Булгарина, на его службу во французских войсках во время войны 1812 г., на его похвальбу дружбой с Грибоедовым и на политические его доносы. Характеристика была настолько точной, что смысл заметки ни для кого не был темным. В ответ на эту заметку Булгарин выступил с новым пасквилем о происхождении Пушкина от негритенка, купленного за бутылку рома (см. «Моя родословная»).

СОБРАНИЕ НАСЕКОМЫХ.

Стихотворение А. С. Пушкина

(Стр. 104)

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 43, 30 июля.

Стр. 104. «Оно удостоилось двух пародий...». В «Вестнике Европы», 1830 г., ч. II, была напечатана пародия за подписью Л. С. и в «Московском телеграфе», 1830 г., № 32, за подписью

Обезьянинов. В первой осмеивались произведения Пушкина, во второй — произведения поэтов пушкинского круга.

ДЕТСКАЯ КНИЖКА

(Стр. 105)

При жизни Пушкина не печаталось. Опубликовано по автографу в 1857 г.

Стр. 105. «Ветреный мальчик» — пародия на Николая Полевого.

Стр. 105. «Маленький лжец» — пародия на Павла Петровича Свиньина (1788—1839), издававшего журнал «Отечественные записки». Помимо склонности к хвастовству, Свиньин отличался страстью открывать самородков и часто в них ошибался.

Стр. 106. *Ванюша* — Н. И. Надеждин, критик «Вестника Европы». Слово «нигилист» было им применено в статье «Сонмище нигилистов» («Вестник Европы», 1829 г., № 1, 2) в значении «невежда».

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

(Стр. 106)

Черновой набросок полемической статьи. Опубликован частично в 1855, полностью в 1884 г. Под видом письма читателя в редакцию «Газеты» Пушкин затрагивал вопрос о тоне критики и полемики. Здесь Пушкин отвечал на статью Вяземского «Несколько слов о полемике», напечатанную в «Литературной газете», 1830 г., № 18, 27 марта.

Стр. 106. *** — Николай Полевой.

АЛЬМАНАШНИК

(Стр. 107)

Черновой набросок сатирических сцен. Опубликован в 1857 г. Под именем Бесстыдина выведен Бестужев-Рюмин, издатель альманаха «Северная звезда». См. «О публикации Бестужева-Рюмина» в «Северной звезде». Писано в 1830 г.

Стр. 110. *А. П., Е. Б., К. П. В.*— инициалы: А. Пушкин, Е. Баратынский, кн. П. Вяземский.

Стр. 111. «...посади меня верхом...» В те годы в Петербурге распространены были дешевые извозчичьи экипажи «гитары», род маленьких линеек. Они были рассчитаны на одного пассажира, который садился верхом. Потеснившись, можно было сесть и вдвоем, причем передний садился боком, «поперек».

О КРИТИКЕ

(Стр. 111)

Черновой набросок задуманной Пушкиным статьи. Писан в 1830 г., опубликован в 1928 г.

Заметка направлена против так называемого «коммерческого» направления в критике, представленного Ф. Булгариным. Именно Булгарин руководствовался в своей критике «низкими корыстными побуждениями», беспринципно подлаживаясь ко вкусам неразборчивых потребителей его литературных упражнений. Формула Пушкина «чистая любовь к искусству» включала в себя принципиальность и независимость поэтического творчества, ни в чем не совпадая с позднейшей формулой «искусства для искусства», так как самое искусство для Пушкина всегда являлось идейным.

НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ К «БОРИСУ ГОДУНОВУ»

(Стр. 112)

Черновые наброски предполагавшегося предисловия к изданию «Бориса Годунова». Первый набросок написан в форме письма к Н. Н. Раевскому, причем Пушкин переработал и дополнил свое черновое письмо к нему, написанное во второй половине июля 1825 г. (см. т. X). Набросок датирован 30 января 1829 г. Остальные наброски писаны в 1830 г., когда вопрос об издании трагедии был уже решен. Мелкие заметки см. выше («Из ранних редакций»). Опубликованы в 1855 г., кроме 4-го, появившегося в печати только в 1884 г.

Стр. 112. «... le dernier tome de Karamzine». Том XI «Истории государства Российского», содержащий историю царствования Бориса Годунова и Лжедмитрия.

Стр. 112. «...la cousine de M-me Lubomirska». Вероятно, Каролина Собаньская (1794—1885), с которой Пушкин встречался в Петербурге в 1828 г. См. стихотворение «Что в имени тебе моем».

Стр. 113. *Гаврила Пушкин* — Гавриил Григорьевич (ум. в 1638 г.), деятель Смутного времени.

Стр. 113. *Погорелое городище* — посад в Тверской губернии, где Пушкин бывал во время своей поездки в Малинники (1828).

Стр. 113. «Je compte revenir aussi sur Шуйский». Закончив «Бориса Годунова», Пушкин предполагал написать драматические произведения «Дмитрий и Марина» (название сохранилось в списке драматических замыслов) и «Василий Шуйский» (по воспоминаниям С. Шевырева).

Стр. 114. *C'est une œuvre de bonne foi* — слегка измененные начальные слова «Опытов» Монтеня (C'est ici un livre de bonne foi, lecteur).

Стр. 114. «В числе моих слушателей одного недоставало...» Пушкин говорит о Карамзине.

Стр. 115. «Аргивяне» — трагедия В. Кюхельбекера.

Стр. 115. «А. Жандр в отрывке своей прекрасной трагедии...» Из трагедии Жандра «Венцеслав» было напечатано только первое действие в альманахе «Талия», 1825 г.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА КРИТИКИ

(Стр. 116)

Во время пребывания своего в Болдине осенью 1830 г. Пушкин начал писать большую статью, в которой делал обзор критических отзывов о его произведениях на протяжении всей его литературной деятельности. Статья осталась недописанной.

Из этой статьи Пушкин напечатал отрывок о Полтаве в 1831 г. (см. примечание к стр. 132), остальное было опубликовано отчасти в 1840 г., полнее в 1841 г. Заметка «В другой газете...» (стр. 136) опубликована в 1855 г., заметки «Шпионы подобны букве ъ» (стр. 122), «Сам съешь» (стр. 124) и следующие четыре, кончая заметкой «Возвратясь из-под Арзрума» (стр. 126), «В одной газете...» (стр. 134) и «Иной говорит...» (стр. 136) — в 1884 г.

Стр. 117. *Пэан 12-го года* — «Певец во стане русских воинов» Жуковского.

Стр. 117. «Et moi je vous soutiens que mes vers sont très bons» — цитата из «Мизантропа» Мольера, действие I, явление 2 (у Мольера fort bons).

Стр. 117. «...уверял, что таковые стихи сами себя *дурно рекомендуют».* Из рецензии на седьмую главу «Евгения Онегина», напечатанную в «Галатее», 1830 г., № 14 («Стихи, которые сами себя рекомендуют с невыгодной стороны»). Пушкин ошибся, считая, что это сказано в отзыве на «Полтаву». Автор рецензии С. Раич.

Стр. 117. «Нынче в несносные часы карантинного заключения...» В начале октября 1830 г. Болдино было окружено карантинами вследствие холеры.

Стр. 117. «Кроме одной статьи в ,,Вестнике Европы''...» — «Письмо к редактору» за подписью «Житель Бутырской слободы» в «Вестнике Европы», 1820 г., № 11. Автором ее был А. Г. Глаголев (по свидетельству Погодина).

Стр. 117—118. *Дельные «вопросы».* В «Сыне отечества», 1820 г., № 38, было напечатано «Письмо к сочинителю критики на поэму ,,Руслан и Людмила''» за подписью NN. Оно состояло из вопросов, отмечавших недостатки поэмы. Автором был Д. П. Зыков (1798—1827), друг Катенина, в 1823 г. член Северного тайного общества.

Стр. 121. *5 грамматических ошибок.* 1. Стих из «Кавказского пленника». Ошибка отмечена Плетневым в «Соревнователе просвещения», 1822 г., № 10. Пушкин исправил соответствующий стих, первоначально читавшийся:

Остановлял он долго взор
На отдаленные громады.

2. В «Руслане и Людмиле», п. III, в первом издании было:

На теме полунощных гор,

3. В стихотворении «Буря» в журнале «Московский вестник», 1827 г., № 2, было напечатано:

И ветер воил и летал.

4. В издании «Полтавы» 1829 г. примечание 4 читалось: «Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но был отказан». Ошибка была отмечена Надеждиным в «Вестнике Европы», 1829 г., № 9.

5. В «Борисе Годунове» в сцене, напечатанной в «Московском вестнике», 1827 г., № 1, «Ночь, Келья в Чудовом монастыре» были два стиха:

А грозный царь игуменом смиренным
. . . .
Он говорил игумену и братьи.

В издании трагедии 1831 г. эти стихи напечатаны следующим образом:

А грозный царь игумном богомольным.
. . . .
Он говорил игумну и всей братье.

Стр. 122. «Г-н Федоров в журнале...» Б. Федоров в журнале «Санктпетербургский зритель», 1828 г., № 1, напечатал рецензию на IV и V главы «Евгения Онегина». На замечания Федорова Пушкин отвечал в примечаниях к роману. Журнал Федорова прекратился на первом номере.

Стр. 123. «...даже не заметили в „Вестнике Европы“ латинской опечатки». В отдельном издании шестой главы «Евгения Онегина» в строфе 11 было напечатано Sed altri tempora. Это было исправлено в новом полном издании романа.

Стр. 123. «Критику 7-ой песни „Северной пчеле“...» Бранный отзыв Булгарина в «Северной пчеле», 1830 г, №№ 25 и 39. Этот отзыв Пушкин цитирует в предисловии к двум последним главам «Евгения Онегина», которое он хотел предпослать изданию этих глав (см. т. V, стр. 458).

Стр. 123. В черновой рукописи вместо слов «описание Москвы взято из „Ивана Выжигина“» было:

«Стихи:

Архивны юноши на Таню
Толпою чопорной глядят

взяты из „Ивана Выжигина“. Весь отрывок был напечатан в „Северной пчеле“ года два прежде появления „Выжигина“. А неправильное выражение *Архивны юноши* принадлежит не мне, а приятелю моему Соболевскому».

Стр. 123. «Шутки наших критиков...» Пушкин цитирует рецензию на «Северные цветы» из «Вестника Европы», 1830 г., № 2. В «Сыне отечества» (издававшемся Булгариным, редактором «Северной пчелы») в № 16 была напечатана бранная статья против Дельвига, где говорилось: «Если бы немцы знали по-русски, то сказали бы то же самое, что „Вестник Европы“ — это стихи! — хи, хи, хи!».

Стр. 124. «Является колкое стихотворение...» Эпиграмма Баратынского «Писачка в Фебов двор явился» («Литературная газета», 1830 г., № 33). На эпиграмму отвечал Н. Полевой пародией

за подписью Гамлетов «Пришел поэт и пущен на Парнас» (в приложении к «Московскому телеграфу» «Новый живописец», 1830 г., № 13).

Стр. 125. «Поэту вздумалось описать любопытное собрание *букашек».* Стихотворение Пушкина «Собрание насекомых» вызвало ряд грубых пародий в «Вестнике Европы», 1830 г., № 8, и в «Московском телеграфе», 1830 г., № 8.

Стр. 125. «Господа чиновные журналисты...» Булгарин, прежде смеявшийся над купеческим происхождением Н. Полевого, в 1830 г. возглавил нападения на участников «Литературной газеты» как на «литературных аристократов».

Стр. 126. «В одной газете (почти официальной)...» В «Северной пчеле», 1830 г., № 94, был напечатан памфлет на Пушкина, выведенного в качестве поэта в «Испанской Америке»; о нем сообщалось, что предок его был куплен шкипером за бутылку рома. Пушкин отвечал на памфлет Булгарина стихотворением «Моя родословная».

Стр. 127. «Один журналист принял мое послание...» Н. Полевой напечатал в «Московском телеграфе», 1830 г., № 10, «Утро в кабинете знатного барина»; в этой сценке он высмеивал Пушкина, подносящего Юсупову свое послание.

Стр. 127. «...в статейке, заимствованной у ,,Минервы‘‘...» В рукописи описка «у Мервы» (прежде ошибочно читалось «у Мерсье»). «Минерва» — французский политический журнал, выходивший с февраля 1818 до марта 1820 г. и прекративший выход в свет по цензурным причинам. Во главе журнала стоял Б. Констан. Придерживаясь резко оппозиционного направления, журнал печатал между прочим фельетоны Жуи под названием «Пустынник в провинции», в которых находились сатирические нравоописательные очерки современной провинциальной жизни. Возможно, что Пушкин имел в виду этот нравоописательный жанр в духе модных в эти годы «Пустынников».

Стр. 127. «Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя...» Рылеев писал Пушкину в апреле 1825 г.: «характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он медведя и сбирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом». Вяземский в рецензии на «Цыган» («Московский телеграф», 1827 г., № 10) писал: «не хотелось бы видеть, как Алеко по селеньям водит с пеньем медведя. Лучше предоставить ему барышничать и цыганить лошадьми».

Стр. 127. «укоряли меня слишком дорогою ценою ,,Евгения Онегина‘‘...» В «Северной пчеле», 1830 г., № 40.

Стр. 128. «...самого народного нашего поэта (le plus national et le plus populaire)...» Намек на полемику Вяземского и М. Дмитриева по поводу предисловия к «Бахчисарайскому фонтану». В своем ответе Дмитриеву в «Дамском журнале», 1824 г., № 8, Вяземский писал: «у нас слово народный отвечает одно двум французским словам: populaire et national».

Стр. 128. «,,Граф Нулин‘‘ наделал мне больших хлопот». Заметка отвечает на рецензию Надеждина в «Вестнике Европы», 1829 г., № 3.

Стр. 131. «В альманахе, изданном г-ном Федоровым...» См. «О публикации Бестужева-Рюмина в ,,Северной звезде‘‘» (стр. 66).

Стр. 132. *Печатный лист кажется святым.* Из сатиры И. Дмитриева «Чужой толк», где говорится, что целью новых поэтов является иль дружество с князьком,

Иль похвала своих писателей, а им
Печатный всякий лист быть кажется святым.

Стр. 132. *Habent sua fata libelli.* Эта заметка, кончая словами «ужасного предмета», была напечатана в альманахе М. Максимовича «Денница» на 1831 год. Соответствующая часть печатается здесь по окончательному тексту. Отличия его от рукописного преимущественно стилистические. Уже в рукописи Пушкин сделал некоторые сокращения. Заметка начиналась: «Самая зрелая изо всех моих стихотворных повестей та, в которой все почти оригинально (а мы из этого только и бьемся, хоть это еще не главное), ,,Полтава'', которую Жуковский, Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, что я до сих пор ни написал, ,,Полтава'' не имела успеха».

Кроме того, пропущена фраза: «Низкими словами я, как В. Кюхельбекер, почитаю те, которые подлым образом выражают какие-нибудь низкие понятия, например нализаться вместо напиться пьяным и т. п.».

Максимович сопроводил этот отрывок примечанием: «Рукопись, из которой взят сей отрывок, содержит весьма любопытные замечания и объяснения Пушкина о поэмах его и некоторых критиках. Из оной видно, что поэт не опровергал критик потому только, что не хотел».

Стр. 132. Habent sua fata libelli — ставший поговоркой стих латинского писателя Терентиана Мавра, жившего в 3-м веке нашей эры.

Стр. 132. «Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи...» Булгарин в «Сыне отечества», 1829 г., №№ 15 и 16, Надеждин в «Вестнике Европы».

Стр. 132. «Ну что ж, что ты Честон? Хоть знаю, да не верю». Из комедии «Хвастун» Я. Княжнина.

Стр. 132. «Вспомните предания мифологические...» Пушкин перечисляет персонажей из «Метаморфоз» («Превращений») Овидия: Леду, любовницу Юпитера, превратившегося в лебедя; Филиру, любовницу Сатурна, превратившегося в коня; Пазифаю, родившую от быка Минотавра; Пигмалиона, влюбившегося в статую; Мирру, бывшую в кровосмесительной связи с отцом. На тему о Мирре написал трагедию Альфиери (1791).

Стр. 132. «Мазепа *злой и глупый старичишка».* В «Сыне отечества» Мазепа в изображении Пушкина назван «безрассудным и мстительным старичишкой», «злым дураком»; в «Вестнике Европы» — «лицемерным бездушным старичишкой».

Стр. 134. «Жену страдальца Кочубея...» Из второй части поэмы Рылеева «Войнаровский».

Стр. 134. «В одной газете официально сказано было, что я мещанин во дворянстве».— В «Северной пчеле», 1830 г., № 94, в статье «Второе письмо из Карлова» Булгарин, говоря о прозвище «литературные аристократы», данном сотрудникам «Литературной газеты», писал: «Не могу удержаться от смеха, когда подумаю, что они приняли это за правду, и в ответ на это заго-

ворили в своем листке о дворянстве! Жаль, что Мольер не живет в наше время. Какая неоцененная черта для его комедии». В этом же фельетоне Булгарин рассказал анекдот о негре, купленном за бутылку рома. См. «Моя родословная».

Стр. 135. «См. Рюлпера и Кастера». Запрещенные в России книги, в которых говорится о перевороте 1762 г.: Рюльер «Анекдоты о перевороте в России» (1762) и Кастера «История Екатерины II» год VIII (1800), обе на французском языке.

Стр. 136. «Образованный француз... пред одним настоящим». Полемизируя с Булгариным, Пушкин в данном случае прибег к ошибочному противопоставлению народов, стоявших на различных ступенях общественного развития, неубедительно отрицая исторические традиции и в том числе *уважение к прошедшему* у народов, еще не вышедших из кочевого состояния. Неудачу этого противопоставления можно объяснить отчасти тем, что Пушкин имел слабость разделять некоторые аристократические предрассудки — слабость, вызывавшую, как известно, иронические упреки со стороны Рылеева и Бестужева.

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ОБВИНЕНИЙ

(Стр. 137)

Эта неоконченная статья явилась в результате радикальной переработки статьи «Опровержение на критики». В нее вошли некоторые части этой статьи; так, после заметки «Недавно в Пекине случилось...» следует заметка «Сам съешь», без изменений перенесенная сюда (в настоящем издании она не повторена; см. стр. 124).

Отрывки из этой статьи опубликованы вместе с отрывками предыдущей в 1841 г., кроме двух: «Читал ли ты замечание...» (стр. 141), опубликованной в 1880 г., и «Один из великих...» (стр. 139), опубликованной в 1884 г.

Сохранился общий план статьи, из которого явствует предполагаемое содержание отсутствующих параграфов (2 и 3):

§ 1

О личной сатире. Китайский анекдот. Сам съешь.

§ 2

О нравственности. О графе Нулине. Что есть безнравственное сочинение. О Видоке.

§ 3

Об литературной аристократии. О дворянстве.

§ 4

Разговор о примечании.

Заключение.

Эпиграф взят из письма Р. Саути к издателю «Курьера» (1822). Первоначально эпиграф статьи был другой: «In statu quo ante bellum».

Стр. 137. «Глухой глухого звал...» Подражание французской эпиграмме Пелисона (1624—1693) «Трое глухих».

Эпиграмму Пушкин начал переделывать, но не кончил. Два последних стиха были изменены:

Судья решил: терпеть нельзя разврата;
Жените ж молодца, хоть девка виновата.

Стр. 137. «Можно *не удостоивать ответом...»* Цитата из статьи Н. Полевого в «Московском телеграфе», 1830 г., № 9.

Стр. 138. *Пэан 12 года* — стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов».

Стр. 138. *Перевод Илиады* — сделанный Н. Гнедичем.

Стр. 138. *Печатный лист кажется святым.* Из сатиры И. Дмитриева «Чужой толк».

Стр. 138. *Et moi je vous soutiens que mes vers sont très bons* — цитата из «Мизантропа» Мольера. Всё это место в несколько иной редакции находится в статье «Опровержение на критики».

Стр. 139. «Один из великих наших сограждан» — Карамзин.

Стр. 139. «...уехал бы в Константинополь». Пушкин имеет в виду, что в Турции в эти годы более, чем где-либо в Европе, господствовал самодержавный произвол, и граждане были лишены каких бы то ни было политических прав, в том числе и свободы слова. Турецкая цензура считалась самой строгой.

Стр. 139. «Первым примером обязаны мы **...» Булгарин под видом «китайских анекдотов» или сообщений из Китая печатал в «Северной пчеле» пасквили на современников.

Стр. 140. *Кухенрейтерские пистолеты.* Кухенрейтер — известный в свое время фабрикант пистолетов.

Стр. 140. «Один из наших литераторов...» — Булгарин, вызванный на дуэль Дельвигом (см. Table-talk, т. VIII).

Стр. 140. «...такой-то французский стихотворец...» — В «Анекдоте», напечатанном Булгариным в «Северной пчеле», 1830 г., № 30, под видом французского поэта выведен Пушкин, а под именем Гофмана, французского писателя, по происхождению немца, выведен сам Булгарин. Весь анекдот, будто бы заимствованный из английского журнала, является пасквилем на Пушкина. На это Пушкин ответил заметкой о Видоке (стр. 102).

Стр. 140. «Недавно в Пекине случилось очень забавное происшествие». Заметка заключает в себе обвинение Булгарина в плагиате из «Бориса Годунова». Пушкин сообщает, как он давал рукопись Бенкендорфу («некоторым мандаринам»), от которого Булгарин получил рукопись. В романе Булгарина «Димитрий Самозванец» (1830) Пушкин усмотрел несколько заимствований из своей трагедии, о чем стал открыто говорить. Булгарин по этому поводу обращался к Пушкину с письмом от 18 февраля 1830 г., уверяя его, что он не читал «Бориса Годунова» и знает о нем понаслышке. Кроме того, он напечатал рецензию на

главу VII «Евгения Онегина», в которой утверждал, что Пушкин «взял обильную дань из ,,Горя от ума'' и, просим не прогневаться, из другой известной книги» (имеется в виду «Иван Выжигин», роман Булгарина).

Стр. 141. «Читал ты замечание в № 45 ,,Литературной газеты''...» В этом номере «Литературной газеты» напечатана анонимная заметка, начинающаяся словами: «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии...» (см. в настоящем томе стр. 422).

Заметка была направлена против Булгарина, и смысл ее заключался в том, что Булгарин, стоявший на официозных охранительных позициях, противоречил сам себе, нападая на дворянское происхождение сотрудников «Литературной газеты».

Стр. 142. «Помилуй, да посмотри же...» Далее приводятся отдельные слова из припева французской революционной песни «ça ira» в редакции 1793 года (периода якобинской диктатуры).

Стр. 142. «Читал ли ты, как отделали всю ,,Литературную газету''...» Имеется в виду статья Булгарина в «Северной пчеле», 1830 г., № 110, 13 сентября, где находится фраза: «Читая в журналах грубую брань, клеветы, сплетни, гнусные выходки зависти, рядом с преувеличенными похвалами бессмертному историографу, поневоле выводим заключение, которое... не идет в печать».

Стр. 142. «Вот тебе еще что-то». По-видимому, статья в «Московском телеграфе», 1830 г., № 17, где по адресу «литературных аристократов» говорится: «Знай, что местничества в России нет, сиди в своей конуре, дуйся, как лягушка Езопова, и хлопай длинными, ослиными ушами».

ОБ АЛЬФРЕДЕ МЮССЕ

(Стр. 145)

При жизни Пушкина не печаталось. Писано осенью 1830 г., опубликовано в 1855 г.

Стр. 145. *Скептик Делорм.* В 1829 г. Сент-Бёв издал книгу своей лирики от имени будто бы умершего поэта: «Жизнь, стихи и мысли Жозефа Делорма»; в 1830 г. он же анонимно издал сборник стихов «Утешения». См. рецензию Пушкина на эти книги, стр. 162.

Стр. 145. «...молодой поэт с книжечкой сказок и песен...» Первый сборник Мюссе «Сказки Испании и Италии» 1829 г.

Стр. 145. «Воспевает луну...» В сборнике А. Мюссе помещена «Баллада луне», в которой поэт сравнивает луну с точкой над i, с глазом кривого, с железным циферблатом и пр.

Стр. 145. *Гофман* (1760—1828) и *Кольне* (1768—1832) — французские критики, сторонники классицизма.

Стр. 146. «Difficile est proprié communia dicere» — эпиграф к «Дон-Жуану» Байрона, взятый из Послания к Пизонам об искусстве поэзии Горация. Стих этот имел различные истолкования.

О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ «МАРФА ПОСАДНИЦА»

(Стр. 146)

Неоконченная статья Пушкина, посвященная разбору драмы М. Погодина «Марфа Посадница». Во вводной части Пушкин изложил свои взгляды на драматическое искусство, сложившиеся в период его работы над «Борисом Годуновым». Статья писана осенью 1830 г. Опубликована: первая часть (стр. 146—150) в 1841 г., вторая (стр. 150—152) — в 1842 г.

Стр. 147. «Корнелеву Клитемнестру сопровождает швейцарская гвардия». По-видимому, ошибка Пушкина, и он имел в виду «Ифигению в Авлиде» Расина, действие V.

Стр. 147. *Филоктет, Эдип* — трагедии Софокла; *Лир* — трагедия Шекспира.

Стр. 148. «У Расина... Нерон...» «Британник», действие II, явление 3.

Стр. 148. «Агамемнон будит своего наперсника...» — начальные стихи «Ифигении в Авлиде» Расина.

Стр. 149. «Дмитрий Донской» — трагедия Озерова (1807); «Пожарский» — трагедия М. В. Крюковского (1807).

Стр. 149. «Ермак» — трагедия А. С. Хомякова (1829).

Стр. 149. *Две драматические сатиры* — «Недоросль» Фонвизина и, вероятно, «Горе от ума» Грибоедова.

Стр. 150. «Марфу Посадницу...» «Марфа Посадница» Погодина в 1830 г. была известна Пушкину в рукописи. Данная статья должна была явиться отзывом на ее издание, причем трагедия должна была выйти в свет без имени автора. Это издание было выпущено в свет только в 1832 г.

БАРАТЫНСКИЙ

(Стр. 153)

При жизни Пушкина статья не печаталась. Написана, по-видимому, в октябре-ноябре 1830 г. в Болдине и, вероятно, предназначалась для «Литературной газеты». Опубликована в 1840 г.

Стр. 153. «Баратынский написал две повести...» «Эда, финляндская повесть» (1826) и повесть в стихах «Бал» (1828).

Стр. 154. *Выше певца Пенатов и Тавриды* — т. е. выше Батюшкова.

Стр. 154. «Перечтите его ,,Эду'' (которую критики наши нашли *ничтожной*...)» Имеется в виду отзыв Булгарина в «Северной пчеле», 1826 г., № 20.

НАБРОСКИ СТАТЬИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Стр. 155)

Этот черновой набросок 1830 г. не получил развития в этом году. К данным темам Пушкин вернулся позднее в статье «О ничтожестве литературы русской». Опубликовано в 1855 г.

ЗАМЕТКА О «ГРАФЕ НУЛИНЕ»

(Стр. 156)

Писано в 1830 г., опубликовано в 1855 г.

Стр. 156. «Публикола не взбесился бы...» Имя Публиколы (Публия Валерия) не фигурирует в поэме Шекспира; оно упоминается только в кратком содержании, предваряющем поэму. По-видимому, Пушкин имел в виду Коллатина, мужа Лукреции.

Стр. 156. *Происшествие в Новоржевском уезде* — по рассказам современников, приключение с Алексеем Вульфом, ухаживавшим за одной поповной.

ЗАПИСКИ П. В. НАЩОКИНА, ИМ ДИКТОВАННЫЕ В МОСКВЕ 1830

(Стр. 156)

Павел Воинович Нащокин (1801—1854) был знаком с Пушкиным с 1818 г., но особенно они подружились после возвращения Пушкина из ссылки в 1826 г. В свои приезды в Москву Пушкин обычно останавливался у Нащокина. Настоящие записки представляют собой запись рассказов Нащокина, оставшуюся незаконченной. Позднее, в 1836 г., по предложению Пушкина Нащокин начал сам писать свои записки и передал их Пушкину для литературной обработки. Эти записки также остались незаконченными. О записках Нащокина Пушкин упоминает в «Замечаниях о бунте» (5), см. т. VIII. Данные записки опубликованы в 1841 г.

Стр. 157. *Отец мой* — Воин Васильевич Нащокин (1742—1806).

Стр. 159. *Мать моя* — Клеопатра Петровна Нелидова (1767—1828).

Стр. 160. *Панкратьевна «Опасного соседа»* — сводня, выведенная В. Л. Пушкиным в комической поэме «Опасный сосед», «вся провонявшая и чесноком и водкой».

ПИСАТЕЛИ, ИЗВЕСТНЫЕ У НАС ПОД ИМЕНЕМ АРИСТОКРАТОВ...

(Стр. 160)

Написано в 1831 г., опубликовано в 1855 г. Заметка связана с «Письмом к издателю „Литературной газеты“» (см. стр. 106) и «Опытом отражения некоторых нелитературных обвинений» (см. стр. 137).

Стр. 161. «Один аристократ... извинялся...» Имеется в виду статья Вяземского «Несколько слов о полемике» («Литературная газета», 1830 г., № 18).

ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЙ

(Стр. 161)

Написано в 1831 г., опубликовано в 1928 г.

Стр. 161. «*Journal des débats*» — французская газета, издававшаяся с 1789 г.

Стр. 161. *Edinburgh Review* — «Edinburgh Magazine and Review», английский журнал, издававшийся с 1773 г.

Стр. 162. «...какой голос может иметь ,,Северный Меркурий''?» Пушкин отождествляет газету, издававшуюся в 1830—1832 гг. Бестужевым-Рюминым, с «Северной пчелой» Булгарина. Газета Бестужева-Рюмина отличалась той же нечистоплотностью в полемике и низким культурным уровнем.

VIE, POESIES ET PENSEES DE JOSEPH DELORME

(Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма)

LES CONSOLATIONS, POESIES PAR SAINTE-BEUVE

(Утешения. Стихотворения Сент-Бёва)

(Стр. 162)

Напечатано в «Литературной газете», 1831 г., № 32, 5 июня.

Стр. 167. «Буало заменил сие правило законом об гиатусе»; Пушкин приводит стихи из первой песни «Поэтического искусства» Буало.

ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ, ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ АЛЕКСАНДР АНФИМОВИЧ ОРЛОВ

(Стр. 168)

Напечатано в «Телескопе», 1831 г., № 13, за подписью: Феофилакт Косичкин. Статья написана по поводу «Литературных замечаний» Греча (в «Сыне отечества», 1831, № 27), восхваляющих роман Булгарина «Иван Выжигин» в ответ на уничтожающую оценку произведений Булгарина в статье Надеждина («Телескоп», 1831, № 9). Критическая статья Надеждина была написана по поводу трех брошюр А. А. Орлова: «Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или дети Ивана Выжигина» (М., 1831), «Хлыновские свадьбы Игната и Сидора, детей Ивана Выжигина» (М., 1831) и «Смерть Ивана Выжигина» (М., 1831).

Стр. 170. «...он живет в своей деревне, близ Сокольников; и он просил меня не посылать к нему всякого вздору». Пушкин пародирует замечание Греча, который заключил свои «Литературные замечания» словами: «Булгарин живет в деревне своей подле Дерпта и не читает ,,Телескопа'' (он просил меня не посылать к нему вздоров)».

Стр. 171. «...бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить всё русское...» Булгарин во время Отечественной войны служил во французской армии.

Стр. 172. «Совестдрал» и «Английский милорд» — лубочные повести: «Похождение ожившего нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута Совестдрала большого носа» (перевод с польского, 1781) и «Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фридерики Луизы, с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и Сардинской королевы Терезии» (М. Комарова, 1782).

Стр. 173. «Он не задавал обедов иностранным литераторам...» Намек на обед, который в 1826 г. устроили Булгарин и Греч в честь французского писателя Ансело, который затем расхвалил романы Булгарина и грамматику Греча в своей книге «Six mois en Russie», 1827.

Стр. 173. Каркасы — зажигательные снаряды.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИЗИНЦЕ г. БУЛГАРИНА И О ПРОЧЕМ

(Стр. 175)

Напечатано в «Телескопе», 1831 г., № 15, с подписью: Ф. Косичкин.

Стр. 175. «Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов...» Намек на примирение Булгарина и Греча с Н. А. Полевым.

Стр. 175. «Ведь, кажется, у нас по полной оплеухе». Пушкин на память цитирует стих из комедии Княжнина «Чудаки» (действие IV, явл. 12), где лакей Высонос, мирясь после драки со своим недругом лакеем Пролазом, восклицает: «И, помнится, у нас по полной оплеухе».

Стр. 176. *Письма Бригадирши.*— «Венок, сплетенный Бригадиршею из журнальных листов для издателя „Московского телеграфа“», письма, представляющие собою сводку отрицательных отзывов (в том числе и Булгарина) о Н. А. Полевом, которую А. Ф. Воейков поместил в «Славянине» 1829 года.

Стр. 176. *Славный Грипусье* — Н. А. Полевой. В отделе мод «Московского телеграфа» сообщалось о цветах платьев «голубом, розовом и грипусье»; последнее слово являлось искажением французского «gris-poussière» (серый цвет пыли). Это вызвало насмешки по адресу Полевого со стороны «Северной пчелы».

Стр. 178. «...я не похожу на того китайского журналиста...» Речь идет о Грече, который, работая совместно с Булгариным, в частных разговорах постоянно от него отгораживался.

Стр. 179. *План романа «Настоящий Выжигин»* является сатирической схемой биографии Булгарина. Некоторые детали этой биографии Пушкин слышал от подполковника Спечинского, который рассказывал (вероятно, в апреле 1830 г.), что знал Булгарина в Ревеле, где он служил разжалованным в солдаты и страдал запоем. Он посещал слугу Спечинского Григория, у которого унес шинель и пропил ее. Главы V—VII основаны на том, что уволенный в 1811 г. из военной службы Булгарин бежал в Варшаву, затем перебрался во Францию, служил в войсках Наполеона, принимая участие в походе 1812 г., затем вернулся в Россию, занялся журналистикой, после 1825 г., чтобы реабили-

тировать себя, как человек, бывший в близких отношениях с декабристами, занялся политическими доносами и устроился в качестве официозного журналиста под покровительством шефа жандармов Бенкендорфа. Вместе с Гречем («Высухин») издавал «Сын отечества». Как издатель этого журнала и газеты «Северная пчела» был монополистом в петербургской печати.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ К РУССКОМУ ИНВАЛИДУ»

(Стр. 179)

Напечатано в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», 1831 г., № 79, где заметка Пушкина была включена в рецензию Л. Якубовича на первую книжку «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя.

Стр. 180. *Les précieuses ridicules* — жеманницы, изображенные в одноименной комедии Мольера.

«ПУТЕШЕСТВИЕ К СВ. МЕСТАМ» А. Н. МУРАВЬЕВА

(Стр. 180)

Незаконченный черновой набросок рецензии. Написан в 1832 г., опубликован в 1884 г. Книга А. Н. Муравьева «Путешествие к св. местам в 1830 г.» вышла в свет в начале 1832 г.

Стр. 180. «В 1829 году внимание Европы было обращено на Адрианополь...» В Адрианополе 14 сентября 1829 г. был заключен мир, обеспечивший независимость Греции и давший территориальные приобретения России.

Стр. 180. *«Здесь у подошвы Сиона...»* — цитата из путевых записок Д. Дашкова «Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине, в 1820 году» («Северные цветы» на 1826 год).

Стр. 181. «...он не старается, как Шатобриан...» — в «Путевых записках от Парижа до Иерусалима» Шатобриана, 1811 г.

Стр. 181. *Преобразователь Египта* — Мегмет-Али, правивший Египтом с 1805 г.

О САЛЬЕРИ

(Стр. 181)

Написано не ранее средины 1832 г., опубликовано в 1855 г.

Стр. 181. «В первое представление ,,Дон Жуана''...» Опера была поставлена в Праге в октябре 1787 г. Сальери присутствовал не на этом спектакле, а в 1788 г. в Вене.

Стр. 181. «Сальери умер лет 8 тому назад». Итальянский композитор Антонио Сальери умер в 1825 г. Сальери в самом деле признался перед смертью, но насколько его признание соответствует действительности, до сих пор является предметом споров.

НАЧАЛО СТАТЬИ О В. ГЮГО

(Стр. 181)

Написано в 1832 г., опубликовано в 1855 г.

Стр. 182. *Прелестные шалости Коле.* Шарль Коле (1709—1783) — автор легких сатирических песенок и комедий, один из основателей литературного общества «Погребок».

Стр. 182. «В „Литературной газете" упомянули о них с похвалою...» Речь идет о статье самого Пушкина «Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme» (см. стр. 162).

СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ В СТИХАХ ПАВЛА КАТЕНИНА

(Стр. 182)

Напечатано в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» от 1 апреля 1833 г., № 26, с подписью А. Пушкин и датой 14 марта 1833.

Стр. 183. «...Гнедич взялся высказать их мнения...» Рецензия Н. И. Гнедича «О вольном переводе Бюргеровой баллады Ленора» в «Сыне отечества», 1816 г., № 27, где он писал, что стихи перевода Катенина «оскорбляют слух, вкус и рассудок». В ответ на критику Гнедича Грибоедов выступил в защиту Катенина с антикритикой «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады Ленора» («Сын отечества», 1816 г., № 30).

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ

(Стр. 184)

Эта статья, предназначавшаяся Пушкиным к печати, не могла появиться в свет по цензурным причинам. Пушкин писал ее с декабря 1833 г. до апреля 1834 г. Глава «Москва» написана в январе 1835 г. Текст статьи сохранился в черновом и беловом виде. Перебеляя статью, Пушкин сделал несколько сокращений, некоторые из них — из цензурных соображений. Наиболее существенные части черновика, пропущенные в беловой редакции, приведены в отделе «Из ранних редакций», стр. 437. Опубликовано с большими цензурными пропусками в 1841 г.

Стр. 186. *Нравственно-сатирический роман* — «Иван Выжигин» Ф. Булгарина.

Стр. 187. «Fuit Troja, fuimus Trojani». Неточная цитата из «Энеиды» Вергилия, п. II.

Стр. 187. «...московские обеды (так оригинально описанные кн. Долгоруким)...» См. стихотворение И. М. Долгорукова «Пир».

Стр. 190. «...петербургские журналы судят о литературе...» Первоначально было: «„Северная пчела" судит о литературе». Вся эта мысль высказана в статье «Баратынский», см. стр. 153.

Стр. 190. «...сравнение между обеими столицами».— В рукописи Пушкина это *сравнение* не находится. Написано только заглавие «Москва и Петербург». Делались предположения, что Пушкин имел в виду Гоголя и его «Петербургские записки».

Стр. 191. *Рапорт* Ломоносова напечатан был в журнале «Московский телеграф», 1827 г., № 22, откуда и выписан Пушкиным,

Стр. 196—197. «У нас, как заметила M-me de Staël...» В «Десятилетнем изгнании». Цитату Пушкин привел по памяти, неточно.

Стр. 197. *Журналист, ошельмованный в общем мнении.* Эта характеристика относится к Ф. Булгарину.

Стр. 197. «Спрашивали однажды у старой крестьянки...» Это место совпадает с примечанием к третьей главе «Евгения Онегина», оставшимся в рукописи (см. т. V, стр. 438).

Стр. 200. «Лучшие и прочнейшие изменения...» Эти слова от имени воображаемого автора (Гринева) Пушкин включил в текст «Капитанской дочки», гл. VI. Следует отметить, что и в данном случае та же мысль высказана от воображаемого автора «Путешествия из Москвы в Петербург», взгляды которого во многом явно не совпадают со взглядами самого Пушкина, и объясняется необходимостью приспособить статью к цензурным условиям. Отчасти мысль эту можно объяснить и тем, что Пушкин не видел в современной ему России политических сил, способных произвести коренные изменения государственного строя.

Стр. 202. «Чудовище, склонясь на колыбель детей...» Из послания Жуковского «Императору Александру» (1814).

Стр. 203. «*Простодум* в комедии Княжнина...» Из комедии Я. Княжнина «Хвастун», действ. I, явл. V.

Стр. 205. «А. Х. Востоков определил его...» См. «Опыт о русском стихосложении», 1817.

Стр. 206. «Один из французских публицистов...» Бенжамен Констан в «Размышлениях о конституциях и гарантиях», 1814. То же самое он повторил в своих позднейших политических трактатах.

О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ

(Стр. 210)

Писано в 1834 г., опубликовано в отрывках в 1855 г. Статья является развитием раннего наброска «О поэзии классический и романтической». Дошедший до нас отрывок — только часть задуманной статьи. О полном ее содержании можно судить по сохранившимся планам:

1) Быстрый отчет о французской словесности в 17 столетии.

2) 18 столетие.

3) Начало руской словесности. Кантемир в Париже обдумывает свои сатиры, переводит Горация. Умирает 28 лет. Ломоносов, плененный гармонией рифма, пишет в первой своей молодости оду, исполненную живости etc., и обращается к точным наукам, dégouté славою Сумарокова. Сумароков. В сие время Тредьяковский, один понимающий свое дело. Между тем 18 столетие allait son train.

4) Екатерина — ученица 18-го столетия. Она одна дает толчок своему веку. Ее угождения философам. Наказ. Словесность отказывается за нею следовать, точно так же как народ (члены комиссии, депутаты). Державин, Богданович, Дмитриев, Карамзин, Екат., Фонвизин и Радищев.

Век Александров. Карамзин уединяется, дабы писать свою Историю. Дмитриев — министр. Ничтожество общее. Между тем *французская обмелевшая* словесность envahit tout.

Voltaire и великаны не имеют ни одного последователя в России; но бездарные пигмеи, грибы, выросшие у корня дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, M-me Жанлис овладевают русской словесностию, Sterne нам чужд, за исключением Карамзина. Парни и влияние сластолюбивой поэзии на Батюшкова, Вяземского, Давыдова, Пушкина и Баратынского. Жуковский и *двенадцатый год,* влияние немецкое превозмогает.

Нынешнее влияние критики французской и юной словесности. *Исключения.*

Кантемир. Ломоносов. Тредьяковский. Влияние Кантемира уничтожено Ломоносовым, Тредьяковского — его бездарностью. Постоянное борение Тредьяковского. Он побежден. Сумароков. *Екатерина (Вольтер).* Фонвизин. Державин.

Стр. 210. «Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля». Слово «алгебра» арабского происхождения; пропагандистом философии Аристотеля в конце XII века был арабский философ Аверроэс.

Стр. 211. *Сын молдавского господаря* — Антиох Кантемир.

Стр. 211. *Сын холмогорского рыбака* — М. Ломоносов. В 1730—1735 гг. он учился в славяно-греко-латинской академии при Заиконоспасском монастыре в Москве.

Стр. 212. *Тройственная поэма* — «Божественная комедия» Данте, состоящая из трех частей: Ад, Чистилище, Рай.

Стр. 212. «Rima des triolets, fit fleurir la ballade» — стих из «Поэтического искусства» Буало.

Стр. 212. «...оцененный великим критиком», т. е. Буало; приведены стихи из «Поэтического искусства».

Стр. 213—214. «...сладкоречивый епископ в книге, исполненной смелой философии...» Фенелон в книге «Приключения Телемака» (1699).

Стр. 214. «...высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей...» Вероятно, г-жа де Сталь, которая писала в «Десятилетнем изгнании» гл. XIX: «Хорошее общество всех стран одинаково (se ressemble)».

Стр. 214. «Он написал эпопею, с намерением очернить кафолицизм». «Генриада» (1728).

Стр. 214. *Циническая поэма* — «Орлеанская девственница».

Стр. 215. «Европа едет в Ферней на поклонение». К Вольтеру, который с 1760 г. жил в своем имении в Фернее.

Стр. 215. «...благословляя внука Франклина...» В 1778 г. в Париже Франклин, тогда посланник Соединенных Штатов во Франции, привел к Вольтеру своего внука, и тот сказал ему ставшие знаменитыми слова: «Бог и свобода».

ДЕЛЬВИГ

(Стр. 215)

Наброски неоконченной статьи о Дельвиге. Опубликованы в 1841 г. Написаны, по-видимому, не позднее 1834 года. Вскоре

после смерти Дельвига (1831) Пушкин писал Плетневу о своем желании принять участие в коллективной биографии поэта. Замысел этот не был осуществлен.

Стр. 216. «с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием» — с В. К. Кюхельбекером.

Стр. 216. «Дельвиг послал ему свои первые опыты...» Ода «На взятие Парижа», напечатанная за подписью «Русский» в «Вестнике Европы», 1814 г., № 12, июнь.

Стр. 217. «стихи одного из его товарищей» — антологические стихи и эпиграммы А. Д. Илличевского, лицейского товарища Дельвига и Пушкина.

БАЙРОН

(Стр. 217)

Написано, по-видимому, в 1835 г., опубликовано в 1841 г. Является наброском начала статьи-биографии о Байроне. На листе автографа статьи имеется помета: «О Байроне и о предметах важных. 1835. Черная Речка, дача Миллера, 25 июля», являющаяся цитатой (не совсем точной) из «Горя от ума» Грибоедова (действ. IV, явл. 4, слова Репетилова: «О Бейроне, ну, о матерьях важных»). Французская выписка взята из «Мемуаров лорда Байрона» Т. Мура (Париж, 1830, т. I, стр. 31—33).

«ТРИ ПОВЕСТИ» Н. ПАВЛОВА

(Стр. 221)

Черновая рецензия, не появившаяся в печати. Опубликована в 1884 г. Сборник Н. Ф. Павлова «Три повести» вышел в свет в 1835 г. Наличие в нем критики крепостного права привлекло внимание Николая I, и он приказал объявить цензору книги Снегиреву строгий выговор.

Стр. 222. «...близорукая мелочность нынешних французских романистов». Ближайшим образом Пушкин говорит здесь об особенностях манеры Бальзака.

Стр. 222. «...расхвалили в „Московском наблюдателе“...» В отзыве С. П. Шевырева, «Московский наблюдатель», 1835 г., ч. I.

ЗАПИСКИ ЧУХИНА, СОЧИНЕНИЕ ФАДДЕЯ БУЛГАРИНА

(Стр. 222)

Начало неоконченной рецензии. «Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни» вышли в свет в 1835 г.

КОМЕДИЯ ЗАГОСКИНА «НЕДОВОЛЬНЫЕ»

(Стр. 222)

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в начале 1836 г. в связи с постановкой в Москве и Петербурге и выходом в печати комедии Загоскина.

Стр. 222. «...строгий приговор над новой комедией...» Отрицательные рецензии на комедию были напечатаны в «Московском наблюдателе», 1835 г., ч. IV, кн. I, в «Телескопе», 1835 г., кн. 13. Белинский поместил подробный разбор комедии в «Молве», 1835 г., № 48—49.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕОРГИЯ КОНИСКОГО...

(Стр. 223)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. I.

Стр. 224. *Жолнер* — по-польски солдат.

Стр. 225. *Диссиденты* — здесь православные в Литве, не признававшие Унию (соединение с католической церковью), утвержденную церковным съездом в Бресте в 1596 г. К числу диссидентов в Польше относили также и протестантов.

Стр. 225. *Слуцкая конфедерация* — союз православных, депутаты которых собрались в Слуцке в марте 1767 г. для защиты гражданских прав православных диссидентов в Польше.

Стр. 225. *Барская конфедерация* — объединение представителей польской шляхты, боровшихся против русского влияния в Польше, организованное в городе Баре в марте 1768 г. Деятельность участников Барской конфедерации в области общей политики сводилась к борьбе против России, вовлечению Турции в войну с Россией и пр., в области церковной политики — к борьбе против уравнения православных в правах с католиками, что прикрывало борьбу с национальным движением украинцев, находившихся в пределах Польши.

Стр. 225. Шуазёль (1719—1785) — французский министр иностранных дел с 1758 до 1770 г. Придерживался политики, враждебной России, и поддерживал в Турции и Польше противников России.

Стр. 229. «Подмогу, какая дана Сикеоту...» Федор Сикеот, в житии которого (22 апреля) сообщается о его подвижничестве и о покровительстве св. Георгия.

Стр. 229. «Но главное произведение Кониского...» Пушкин интересовался рукописной «Историей Руссов или Малой России», которую долгое время приписывали Георгию Кониcкому. В действительности ее автор украинофил Г. А. Полетика. Об «Истории Руссов» сообщил Пушкину М. А. Максимович в 1829 г.

Стр. 230. «...как видно даже из эпитафии...» В стихотворной эпитафии Георгия Кониского есть стих:

Георгий именем я из Кониских дому.

Стр. 231. *Ясыр* — по-украински пленные.

Стр. 231. *Гвалт* — насилие.

Стр. 231. «в запись не отказано». Темное место. В других списках: «в запас не отправлено».

Стр. 231. «урядников римских». В других списках «урядников польских и духовных римских».

Стр. 233. *Зрада* — измена.

Стр. 234. *Байрак* — буерак, лесистый овраг,

Стр. 234. «...но скоро замолкли...». В журнале цензурный пропуск: «Женам сим, по невероятному тогдашнему зверству, обрезавши груди, перерубили их до одной, а сосцами их били мужей, в живых еще бывших, по лицам их».

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ДОЛИНЕ АЖИТУГАЙ»

(Стр. 235)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. I. Появление рассказа Казы-Гирея вызвало требование Бенкендорфа впредь не печатать произведения офицеров без разрешения военных властей. По-видимому, такое разрешение для Казы-Гирея было дано, и в следующей книге «Современника» появился его «Персидский анекдот». Казы-Гирей был участником Персидской кампании 1826—27 гг. Умер в 1863 г.

«ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ»

Повесть в стихах, сочинение Виланда

(Стр. 236)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. I. Переводчиком стихотворной сказки Виланда «Перфонт, или Желания» (1778) был Е. П. Люценко (1776—1854), служивший в 1811—1813 гг. в Царскосельском лицее. Перевод был сделан еще в 1807 г. Пушкин отвечал на выпады Н. Надеждина в «Молве» (1836, № 1) и О. Сенковского в «Библиотеке для чтения» (1836, № 2); последний отзыв и пересказывает Пушкин.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

(Стр. 237)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. I.

О ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ

(Стр. 237)

Написано, вероятно, в начале 1836 г. Опубликовано после смерти Пушкина в «Современнике», 1837 г., т. VI.

В действительности лицо, известное под прозвищем Железная Маска, был итальянец граф Маттиоли, секретарь герцога Мантуанского, обманувший Людовика XIV в переговорах о приобретении крепости Казале.

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ

(Стр. 239)

Статья была подготовлена Пушкиным для напечатания в третьей книге «Современника», но была запрещена по распоряжению министра народного просвещения С. С. Уварова 26 августа 1836 г. Опубликована в 1857 г.

Учитывая чрезвычайно трудные цензурные препятствия, Пушкин усилил в статье критическую часть, обострил свои разногласия с Радищевым, а во многих местах и просто изложил официальную точку зрения на Радищева. Для Пушкина главной целью было снять запрет с имени Радищева и добиться права писать о нем. Еще в 1823 году он писал Бестужеву: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? кого же мы будем помнить? это умолчание не простительно...» Однако и в такой форме статья Пушкина не была разрешена. Уваров дал следующее заключение: «Статья сама по себе недурна и с некоторыми изменениями могла бы быть пропущена. Между тем, нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и о книге, совершенно забытых и достойных забвения».

Пушкин воспользовался в статье биографическими данными, находящимися в «Житии Ф. В. Ушакова», и некоторыми мемуарными сведениями. Об этом свидетельствует следующая черновая запись:

«Козодавлев, Ушаков и Радищев из пажей, Насакин, Наумов из гвардии сержантов посланы Екатериною в чужие края. *Ушаков* умирает рано. *Козодавлев* и *Радищев* входят протоколистами в сенат. Насакин — игрок и пьяница. Наумов умирает молодым, Гр. Воронцов покровительствует Радищеву по службе.

Дмитриев у Державина слышит от Козодавлева об *Путешествии.*

Державин доносит о Путешествии Зубову».

Стр. 239. «...один на чреде заметной обнаружил совершенное бессилие...» О. П. Козодавлев (1754—1819), с 1810 по 1819 министр внутренних дел.

Стр. 243. «...переписка с одним из тогдашних вельмож...» С гр. А. Р. Воронцовым (1741—1805). Воронцов был начальником Радищева по службе в коммерц-коллегии и оказывал ему покровительство.

Стр. 244. *Граф Завадовский* — гр. П. В. Завадовский (1738—1812), министр народного просвещения, председатель комиссии составления законов.

Стр. 245. «Алеша Попович» — поэма сына Радищева, ошибочно приписанная Пушкиным самому Радищеву.

Стр. 246. «...вот что мы видим в Радищеве». В рукописи далее зачеркнуто: «Отымите у него честность, в остатке будет Полевой».

Стр. 247. Главу «Клин» Пушкин, вероятно, избрал из соображений цензурной осторожности. Эта глава (без имени Радищева) была уже напечатана в «Северном вестнике» 1805 г., ч. V, январь («Отрывок из бумаг одного россиянина»).

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

(Стр. 250)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. II, без подписи. Отчет написан на основании отдельно изданной брошюры «Заседание, бывшее в Российской Академии 18 января 1836 г.». Сохранился автограф.

Стр. 250. «Карамзин справедливо удивляется...» Приведенная цитата взята из речи Карамзина, произнесенной в Российской Академии 5 декабря 1818 г. по случаю его избрания в члены Академии.

Стр. 250. «Словарь обветшал, пока еще над ним трудились». Цитата из предисловия Вильмена к Словарю Французской академии 1835 г.

Стр. 254. «...мысли *о древней и новой России...*» Неопубликованная еще в то время записка Карамзина «О древней и новой России», 1810 г. См. «Примечание к записке ,,О древней и новой России''», стр. 359.

ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ

(Стр. 255)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. II, без подписи. Речи Скриба и Вильмена переведены из отдельной брошюры, пересланной Пушкину А. И. Тургеневым из Парижа в конце февраля 1836 г. Заседание, на котором произнесены эти речи, состоялось 28 января. В переводе опущен конец речи Скриба, посвященный «свободе песни».

Стр. 255. «Наш боец чернокудрявый...» Стихи Н. М. Языкова из его послания Д. В. Давыдову, напечатанного в «Московском наблюдателе», 1835 г., кн. III. Пушкин цитировал по памяти (у Языкова: «Ты боец чернокудрявый»).

Стр. 255. «J. Janin в своем фельетоне осмеял того и другого». В газете «Journal des Débats» от 3 февраля 1836 г., в фельетоне «Скриб и его вступительный водевиль».

Стр. 258. Сноска со ссылкой на мемуары Ласказа о пребывании Наполеона на острове Св. Елены сделана Пушкиным.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗАПИСКАМ Н. А. ДУРОВОЙ

(Стр. 271)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. II, без подписи, в качестве издательского предисловия к «Запискам». Эпиграф — из IV книги «Метаморфоз» Овидия (стих 820).

«ИСТОРИЯ ПОЭЗИИ» С. П. ШЕВЫРЕВА

(Стр. 272)

Написано в начале 1836 г., опубликовано в 1884 г. «История поэзии» Шевырева вышла в свет в конце декабря 1835 г. В заметке Пушкин излагает содержание первой главы книги.

МНЕНИЕ М. Е. ЛОБАНОВА О ДУХЕ СЛОВЕСНОСТИ, КАК ИНОСТРАННОЙ, ТАК И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

(Стр. 273)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. III, без подписи.

Стр. 274. *Эдимбургские журналисты.* Лобанов цитировал статью из «Эдинбургского обозрения» (Edinburgh Review), журнала, основанного в 1802 г., выходившего четыре раза в год, пользовавшегося большим распространением.

Стр. 274. *Sponte sua, sine lege* — цитата из I песни «Метаморфоз» Овидия.

Стр. 276. «О движении журнальной литературы» — статья Гоголя.

Стр. 278. «Германская философия, особенно в Москве...» Пушкин имеет в виду группу московских так называемых любомудров.

ВОЛЬТЕР

(Стр. 280)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. III.

Стр. 283. *Фрерон* (1719—1776) — французский реакционный критик, ожесточенный противник Вольтера; в свою очередь Вольтер преследовал Фрерона жестокими сатирами.

Стр. 283. *Желание Ювенала.* Вошедший в поговорку стих Ювенала из 10-й сатиры: «Надо молиться, чтобы был здоровый дух в здоровом теле, сильная душа, не знающая страха смерти».

Стр. 283. *Устрица Лафонтена* — из его басни «Устрица и спорщики».

Стр. 283. *Скапиновы обманы* — комедия Мольера.

Стр. 286. «...не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана...» Пушкин намекает здесь на факты собственной биографии — оскорбившее его камер-юнкерское звание и тяжелую зависимость от царя.

ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ. СТИХОТВОРЕНИЯ ВИКТОРА ТЕПЛЯКОВА, 1836

(Стр. 287)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. III, без подписи. Стихотворения Теплякова (т. II) вышли в свет осенью 1836 г.

Стр. 287. «Adieu, adieu, my native land!» Из первой песни «Странствия Чайльд Гарольда» Байрона (в подлиннике: «Adieu, adieu! my native shore»).

Стр. 289. «Грессет в одном из своих посланий пишет...» В послании «La Chartreuse», à M. D. D. N.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПАМЯТНИКЕ КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ И ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ

(Стр. 296)

Написано в августе — сентябре 1836 г. Предназначалось в качестве примечания к статье М. Погодина «Прогулка по Москве», которая должна была появиться в кн. III «Современника» 1836 г. и, по-видимому, не была пропущена цензурой. Опубликовано в 1922 г.

На памятнике работы Мартоса (1818 г.) сделана надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому» (памятник на Красной площади).

ПУТЕШЕСТВИЕ В. Л. П.

(Стр. 297)

Написано в 1836 г., опубликовано в 1855 г. Шуточное стихотворение «Путешествие В. Л. П.» И. И. Дмитриева было издано в 1808 г. в количестве 50 экземпляров.

Стр. 297. «Друзья! сестрицы! я в Париже...» Начальные стихи «Путешествия В. Л. П.».

ДЖОН ТЕННЕР

(Стр. 298)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. III. Написано летом 1836 г.

Статья Пушкина представляет собой изложение «Записок» Джона Теннера, изданных в Нью-Йорке в 1830 г. Перевод сделан Пушкиным с французского издания книги Теннера, вышедшего в Париже в 1835 г.

Стр. 298. «Но несколько глубоких умов в недавнее время...» Пушкин имеет в виду интерес к американской конституции в Европе, вызвавший ряд исследований, в частности использованную Пушкиным в данной статье книгу Токвиля «О демократии в Америке».

Стр. 299. «Дикари, выставленные в романах...» Цитата из предисловия к «Запискам» Джона Теннера.

«ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА»

Сочинение Сильвио Пеллико

(Стр. 322)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., т. III.

Стр. 322. «На днях выйдет из печати новый перевод...» Книга итальянского писателя Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» (1834 г.) была переведена на русский язык Н. Хрусталевым и издана в 1835 г. Новый перевод был сделан С. Н. Дириным и издан анонимно в середине января 1837 г.

Стр. 323. «Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах...» Пеллико был арестован в 1820 г. за участие в карбонарском движении. В 1832 г. вышла его книга «Мои тюрьмы».

Стр. 323. «В одном из наших журналов, в статье писателя с истинным талантом...» В «Московском наблюдателе», 1836 г., ч. VI, С. П. Шевырев дал характеристику книги Пеллико.

Стр. 323. *Автор «Истории поэзии»* — С. П. Шевырев.

Стр. 323. «Но всё уже было сказано...» — Всё это место повторяет мысль одной заметки Пушкина, сохранившейся в черновой записи и относящейся к 1827 г. См. настоящий том, стр. 46.

СЛОВАРЬ О СВЯТЫХ...

(Стр. 324)

Напечатано без подписи в «Современнике», 1836 г., т. III. Составителями словаря, вышедшего в 1836 г., были Д. А. Эристов и лицейский товарищ Пушкина М. Л. Яковлев, который в то время служил директором типографии II отделения с. е. в. канцелярии, где и был издан словарь.

Стр. 324. *Дух сомнения и отрицания* — измененная цитата из собственного стихотворения Пушкина «Ангел».

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

(Стр. 326)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., т. III с подписью: А. Б. Опубликовано как писанное Пушкиным в 1928 г.

Статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», помещенная в «Современнике» (1836 г., кн. I), написана Гоголем и напечатана без подписи.

Статья была принята журналами как программная и вызвала полемику, нежелательную для Пушкина. Это заставило его высказаться под видом обращения А. Б. к издателю «Современника» и отметить свое несогласие с Гоголем по отдельным вопросам журналистики. Письмо А. Б. Пушкин снабдил издательским примечанием.

Стр. 328. «Celà vous coûte si peu» Пушкин цитирует анекдот об актрисе Госен (1711—1767), которая отличалась до-

ступностью, и когда ее упрекали в легкомысленном поведении, она отвечала приведенными словами.

Стр. 330. «...скучных статей с подписью Ф. Б.» — т. е. статей Фаддея Булгарина.

Стр. 330. «Хамелеонистика» — фельетоны А. Ф. Воейкова, печатавшиеся в 1828 г. в «Славянине».

ОБЪЯСНЕНИЕ

(Стр. 331)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., т. IV.

Стр. 331. «Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале, навлекло на меня обвинение...» Л. Голенищев-Кутузов в брошюре «Критическая заметка на стихотворение Пушкина ,,Полководец‘‘» писал: «Поэт полагает, что генерал Барклай-де-Толли уступил лавровый венок князю Голенищеву-Кутузову... сожаления достойно, что поэт позволил себе такой совершенно неприличный вымысел».

Стр. 332. *Где равен был неравный спор* — цитата из стихотворения «Бородинская годовщина» (5 сентября 1831 г.).

Стр. 332. «...вождю, забытому Жуковским...» В стихотворении «Певец во стане русских воинов» в числе героев Отечественной войны не назван Барклай-де-Толли.

Стр. 333. «Перед гробницею святой...» Пушкин цитирует первые 3 строфы (из 5) своего стихотворения 1832 года.

КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА

(Стр. 333)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., т. IV; см. «Предисловие к Запискам Дуровой», стр. 271.

КЛЮЧ К ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Н. М. КАРАМЗИННА 2 ч., *М.*

(Стр. 334)

Напечатано в «Современнике», 1836 г., т. IV. «Ключ» или указатель к «Истории государства Российского», составленный археографом П. М. Строевым, был издан в 1835 г.

Стр. 334. «...все наши историки с высшими взглядами...» Пушкин имел в виду главным образом Полевого, который противопоставлял труду Карамзина свою «Историю русского народа», являющуюся опытом философского, а не летописного построения истории. См. статью «Историю русского народа...», стр. 92.

О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБРИАНОВОМ ПЕРЕВОДЕ «ПОТЕРЯННОГО РАЯ»

(Стр. 334)

Статья опубликована в «Современнике», 1837 г., кн. I. Написана в конце 1836 г. в связи с полемикой, возникшей в английских и французских журналах по поводу перевода Шатобрианом «Потерянного рая» Мильтона (вышел в Париже в 1836 г.).

Стр. 335. «...первый из французских писателей переводит Мильтона...» — Шатобриан.

Стр. 338. «Иконокласт» и «Defensio populi» — трактаты «Иконоборец» (1649) и «Защита английского народа» (Defensio populi anglicani, 1651).

Стр. 338. «Cromwell, ourchief of men!» Стих из сонета «Генералу Кромвелю».

Стр. 338. «Скюдери толкует им...» *Карта любви* в действительности принадлежит не творчеству драматурга Скюдери, а взята из романа «Клелия» (1656) его сестры Мадлены Скюдери.

Стр. 339. «Все уселись...» Все цитаты из романа А. де Виньи взяты из перевода Очкина (СПб., 1835).

Стр. 340. «...прочтите в ,,Вудстоке‘‘...» В романе Вальтера Скотта «Вудсток» (1826). Неизвестно, какое место романа здесь имеется в виду.

Стр. 341. «Кстати: недавно (в ,,Телескопе‘‘, кажется)...» В рецензии на перевод «Неистового Роланда», сделанный С. Раичем («Телескоп», 1832 г., № 4).

«ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(Стр. 343)

Написано в начале 1836 г., опубликовано в 1855 г.

Стр. 343. «...первый перевод, в котором участвовали...» Первыми переводчиками «Слова о полку Игореве» были А. Ф. Малиновский и Н. Н. Бантыш-Каменский (изд. А. И. Мусина-Пушкина, 1800).

Стр. 344. «Некоторые писатели усумнились...» В подлинности «Слова» сомневались М. Т. Каченовский, О. И. Сенковский и И. И. Давыдов.

Стр. 344. «...Чаттертон прислал ему стихотворения старого монаха Rowley». Томас Чаттертон (1752—1770) — английский поэт, автор баллад из эпохи норманского завоевания, которые он выдавал за стихи монаха XV века Раули. Английский журналист и историк Вальполь разоблачил мистификацию Чаттертона.

Стр. 344. «Джонсон тотчас уличил Макферсона». Английский критик Джонсон (1709—1784) первый высказал сомнение в подлинности поэм Оссиана, изданных в 1762 г. Макферсоном.

Стр. 347. «Г-н Пожарский с сим мнением не согласуется...» Я. О. Пожарский издал в 1819 г. перевод с примечаниями «Слова о полку Игоря Святославича, удельного князя Новагорода Северского». Перевод этот и толкования вызвали возражения со стороны многих исследователей «Слова», в том числе со стороны А. С. Шишкова.

Стр. 347. «К крайнему нашему сожалению, г. Пожарский не возразил». Пушкин не знал о статье Пожарского в «Сыне отечества» (1819, № 33), где он отвечает на критику «Русского инвалида» (1819, № 157—161) именно по данному вопросу.

Стр. 349. «Kar gospóda...» Выписка из «Словинско-немецкого словаря» Я. А. Мурко (1833).

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОЙСТВЕННИКОВ ИОАННЫ Д'АРК

(Стр. 349)

Напечатано в «Современнике» (1837 г., т. V), вышедшем после смерти Пушкина. Написано, вероятно, в первых числах января 1837 г. В дневнике А. Тургенева есть запись от 9 января 1837 г.: «Я зашел к Пушкину: он читал мне свой pastiche (подделку) на Вольтера и на потомка Жанны Дарк». Тургенев потому назвал это произведение «пастиш», что в действительности все факты, приведенные в данной статье, вымышлены Пушкиным. Возможно, что он хотел напечатать это в «Современнике», но преследовал ли он цели мистификации или хотел выдать статью за беллетристическое произведение, утверждать невозможно.

Стр. 351. «...наш лауреат посвятил ей...» Р. Саути (Пушкин пишет «Соуте») — автор поэмы «Жанна Дарк» (1796). Саути изменил свободолюбивым убеждениям юности и стал официозным поэтом. Байрон постоянно обвинял его в продажности. С 1813 г. Саути получил звание поэта-лауреата.

Стр. 351. «...как пьяный дикарь...» Пушкин обращает к Вольтеру как автору «Орлеанской девственницы» ту бранную характеристику, какую Вольтер дал Шекспиру в предисловии к «Семирамиде», говоря о «Гамлете»: «Можно подумать, что это произведение — плод воображения пьяного дикаря».

Стр. 352. *Потомки Лагира и Латримулья.* Исторические персонажи «Орлеанской девственницы», представители французской аристократии. Лагир, участвовавший вместе с Иоанной д'Арк в осаде Орлеана, пытался освободить ее из английского плена; Латримуль, министр Карла VII, был ее противником.

ЗАМЕТКИ И АФОРИЗМЫ РАЗНЫХ ГОДОВ

(Стр. 352)

При жизни Пушкина большей частью не печатались. Написаны в разное время (главным образом в конце 20-х — начале 30-х гг.). Четыре заметки напечатаны Пушкиным в 1830 г. (см. примечания), остальные опубликованы в разное время посмертно.

Стр. 352. *Торвальдсен, делая бюст известного человека...* Датский скульптор, в 1820 г. сделал бюст Александра I (см. стихотворение «К бюсту завоевателя»).

Стр. 353. «Так гладиатор у Байрона...» В поэме «Чайльд-Гарольд», песнь IV, строфа CXI.

Стр. 353. *Острая шутка...* Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 10, 15 февраля. *Три Истории* — «История государства Российского» Карамзина, «История российская» (1817—1818) С. Н. Глинки и «История русского народа» Н. Полевого.

Стр. 353. *В одной из Шекспировых комедий...* Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 12, 25 февраля. *Крестьянка Одрей* — из комедии «Как вам это нравится», действие III, явл. 3. *Рассуждение о поэзии романтической* — статья Н. Надеждина «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии», печатавшаяся с № 1 «Вестника Европы», 1830 г. В этом рассуждении Надеждин нападал на Пушкина, его не называя.

Стр. 354. *Мильтон говаривал...* Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 16, 17 марта.

Стр. 354. *В газете Le Furet...* Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 45, 9 августа. Заметка является ответом на пасквильные «Китайские анекдоты», печатавшиеся в «Северной пчеле». Ближайшим образом Пушкин имеет в виду «китайский анекдот», касающийся распри Каченовского и Полевого, напечатанный в «Северной пчеле», 1829 г., № 33. Газета «Le Furet» выходила в Петербурге на французском языке.

Стр. 355. *Не откладывай до ужина...* — афоризмы, написанные Пушкиным при чтении книги Брилья-Саварена «Физиология вкуса» (четвертое изд., 1834). Здесь же Пушкин начал и зачеркнул еще один афоризм: «Не предлагай своему гостю, что сам...»

Французский афоризм — пародия на изречение Людовика XVIII: «L'exactitude est la politesse des rois».

Стр. 355. «У нас Грамматин...» Рассуждение о славянском алфавите находится в книге Н. Ф. Грамматина «Слово о полку Игореве», 1823 г., стр. 113.

РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗДАНИЕМ «СОВРЕМЕННИКА»

(Стр. 357)

Журнал под названием «Современник»... Записка, поданная в Цензурный комитет. Она рассматривалась 10 марта 1836 г. Опубликована в 1921 г.

Статья, присланная нам из Твери... Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. II. В этой заметке самое сопоставление имен А. Б. и Косичкина (всем известный псевдоним Пушкина, см. «Торжество дружбы...» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем») заключало намек на то, что письмо А. Б., действительно напечатанное в следующей книжке журнала, принадлежит Пушкину. Однако намек оказался недостаточно ясным. Обещание поместить статью Косичкина (не выполненное Пушкиным) являлось предупреждением Булгарину, уже начавшему свои нападения на журнал Пушкина.

Примечание к слову «богодельня». Напечатано в виде редакционного примечания к статье «Пешехода» (М. Погодина) «Прогулка по Москве» («Современник», 1836, кн. III) — к тому месту, где говорится о безграмотности московских вывесок.

Новый роман. Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. III. Роман Варвары Сем. Миклашевич «Село Михайловское» был напечатан только в 1864 г.

Примечание к повести «Нос». Напечатано в «Современнике» (1836) в качестве редакционного примечания к повести Гоголя.

«Современник» будет издаваться... Издатель «Современника» не печатал никакой программы... Обстоятельства не позволили издателю... В первом томе «Современника»... Редакция «Современника» не может принять на себя... Пять редакционных заметок, напечатанных в третьей книге «Современника», 1836 г.

Стр. 358. «Один из них объявил...» О. Сенковский в «Библиотеке для чтения», 1836 г., т. XV, писал, что целью «Современника» будет «уронить ,,Библиотеку для чтения'' нападками на своих соперников по ремеслу».

Примечание к записке «О древней и новой России». Напечатано после смерти Пушкина в «Современнике», 1837 г., кн. V, при отрывках из записки Карамзина, которая не могла быть напечатана полностью по цензурным причинам. В более полном виде эти отрывки были подготовлены к печати Пушкиным, но запрещены цензурой 28 октября 1836 г.

Стр. 359. «Во втором № ,,Современника''...» Там была напечатана статья «Российская академия» с характеристикой записки Карамзина (см. стр. 254).

НАБРОСКИ, ЗАПИСИ, КОНСПЕКТЫ, ПЛАНЫ

ЗАМЕТКА ПРИ ЧТЕНИИ т. VII, гл. 4 «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

(Стр. 363)

Черновой, неразборчивый набросок. Написано в 1818—1819 гг., опубликовано в 1884 г. Глава 4 седьмого тома Истории Карамзина, «Состояние России 1462—1533», содержит общую характеристику правовых и общественных установлений эпохи объединения русского государства. Карамзин доказывает, что в основе русского самодержавия лежит законность, и противопоставляет его тирании: «Самодержавие не есть отсутствие законов: ибо где *обязанность,* там и *закон;* никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастие народное».

Стр. 363. «Но граф Шереметев...» Возможно, что Пушкин имеет в виду отказ графа Б. П. Шереметева участвовать в суде над Алексеем и слова его по этому поводу: «Служить моим государям, а не судить их кровь — моя есть должность».

О ВЕЧНОМ МИРЕ

(Стр. 363)

Написано в 1821 г. Опубликовано в переводе в 1924 г., в подлиннике в 1930 г. Заметка представляет собой конспект споров, которые велись в доме Михаила Орлова в Кишиневе. Предметом спора был «Проект вечного мира» аббата Сен-Пьера, напечатанный в 1716 г. По-видимому, спорящие знали этот проект не в изложении самого Сен-Пьера, а в кратком резюме, написанном Ж. Ж. Руссо (1760). Цитата (Пушкиным не выписанная) взята из замечаний Руссо, которыми он сопроводил свое резюме.

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

(Стр. 364)

Черновой план, относящийся, вероятно, к 1822 году. Отчасти он был осуществлен в статье «О поэзии классической и романтической» (стр. 24). Опубликован в 1928 г.

Стр. 364. «Малерб держится четырьмя строками...» Популярные стихи:

Mais elle était du monde, où les plus belles choses
Ont le pire destin:
Et Rose elle a vécu que vivent les roses,
L'espace d'un matin.

Стр. 364. *Стихи Буало* — см. «О ничтожестве литературы русской», стр. 210.

Стр. 364. «Руссо в одах дурен». Жан Батист Руссо (1671—1741), одописец. Пушкин предпочитал одам его эпиграммы. См. письмо Вяземскому от 25 января 1825 г.

ЗАМЕТКА О КАТЕНИНЕ

(Стр. 364)

Написано в 1825 г., опубликовано в 1884 г.

Катенин перевел трагедии Расина «Эсфирь» (1816), Т. Корнеля «Ариадну» (1811) и П. Корнеля «Сид» (1822). Комедию Грессе «Le Méchant» (1747) он перевел под названием «Сплетни» (1821). Оригинальная его трагедия «Андромаха» написана в 1825 г., играна в 1826 и напечатана в 1827.

СТАРИННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

(Стр. 364)

Черновые записи, относящиеся, вероятно, к 1825 г. Опубликованы в 1855 г.

В Михайловском Пушкин занимался собиранием памятников народного творчества: записывал сказки и песни. Одновременно он занялся изучением русских пословиц. Кроме устных записей,

он пользовался и ранее изданными сборниками. В его библиотеке сохранились размеченные им сборники пословиц изд. 1770 и 1822 гг. В первом из них находится запись пословицы: «В кабак далеко, да ходить легко.— В церковь близко, да ходить склизко». Ср. Замечание о пословицах в рецензии «Юрий Милославский...», стр. 73—74.

JE SUPPOSE SOUS UN GOUVERNEMENT DESPOTIQUE...

(Стр. 365)

Черновой набросок, относится к 1825—1826 гг. Опубликован в 1931 г.

PRESQUE TOUTES LES RELIGIONS...

(Стр. 365)

Черновая запись, относится к 1830 г. Опубликована в 1884 г.

NE PAS ADMETTRE..

(Стр. 366)

Написано в 1830 г., опубликовано в 1902 г.

О РОМАНАХ ВАЛЬТЕРА СКОТТА

(Стр. 366)

Написано в 1830 г. Опубликовано частично в 1855 г., полностью в 1924 г.

IGNORANCE DES SEIGNEURS RUSSES...

(Стр. 366)

Написано в 1830 г., опубликовано в 1924 г.

STABILITÉ — PREMIÈRE CONDITION

(Стр. 366)

Написано в 1831 г., опубликовано в 1881 г.

О НОВЕЙШИХ РОМАНАХ

(Стр. 366)

План неосуществленной статьи. Написан в 1832 г., опубликован в 1884 г.

Стр. 366. *Barnave, Confession, Femme guillotinée* — романы французского писателя Жюль Жанена, вышедшие в 1831, 1830 и 1829 гг.

Стр. 366. *Contes bruns* — сборник 1832 г., в котором Бальзак участвует только двумя новеллами, остальные написаны Ф. Шаль и Ш. Рабу. Пушкин в своей библиотеке имел брюссельское издание, которое в целях рекламы приписало весь сборник Бальзаку.

Стр. 366. *Musset. Table de nuit* — сборник повестей (1831 г.) французского писателя Поля Мюссе — брата поэта.

Стр. 367. *Муравьев.* Вероятно, Пушкин имел в виду вышедшую в 1832 г. книгу А. Н. Муравьева «Путешествие к св. местам» (см. стр. 180).

Стр. 367. *Полевой (полромана).* Исторический роман Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем» из 4-х частей, которые, по-видимому, вышли не все сразу.

Стр. 367. *Свиньин.* В 1832 г. вышел исторический роман П. П. Свиньина «Шемякин суд».

Стр. 367. *Карамзин.* Вероятно, Пушкин отмечал Карамзина-романиста, автора «Марфы Посадницы», «Бедной Лизы» и других повестей.

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ КНИГИ М. Ф. ОРЛОВА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ»

(Стр. 367)

Черновой набросок. Написан в 1833—1834 гг., опубликован в 1930 г. Книга «О государственном кредите» вышла в 1833 г. без имени автора. В библиотеке Пушкина находился экземпляр с вложением рукописи изъятого цензурой текста, что свидетельствует об интересе Пушкина к вопросам, затронутым Орловым.

LA LIBERATION DD L'EUROPE...

(Стр. 367)

Относится к 1835 году. Опубликовано в 1910 г. Написано при чтении французского перевода Сочинений Г. Гейне изд. 1835 г., в частности его «Путевых картин».

ПЛАН ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Стр. 367)

Черновые наброски. Набросок 1 сделан в 1829 году, опубликован в 1884 г. Набросок 2 датируется 1834 годом, опубликован в 1903 г. Набросок 3 вместе с планом статьи о правах писателя написан на обороте письма Бутурлина, полученного Пушкиным в мае 1835 г.

ПЛАН СТАТЬИ О РУССКИХ ПЕСНЯХ

(Стр. 368)

Черновые наброски, относящиеся к 1831 году. Опубликованы в 1922 г. По-видимому, представляют собой материал для предисловия к изданию русских песен, задуманному Пушкиным в 1832 г.

Стр. 368. «Оригинальность отрицательных сравнений». Пушкин имеет в виду особенность славянских народных песен: зачин с отрицательным сравнением («Не сокол летал по поднебесью» и т. п.). Впервые Пушкин заинтересовался этой особенностью при чтении «Введения» к «Простонародным песням нынешних греков» Гнедича (1825).

ПЛАН СТАТЬИ О ЦИВИЛИЗАЦИИ

(Стр. 369)

Черновые наброски. Написано в 1833 или 1834 г., опубликовано в 1903 г.

ПЛАН СТАТЬИ О ПРАВАХ ПИСАТЕЛЯ

(Стр. 369)

Черновой план, относится к 1835 г. Опубликован в 1884 г.

ШОТЛАНДСКАЯ ПОСЛОВИЦА

(Стр. 370)

Набросок 1836 г., связанный с замыслом статьи о пословицах (стр. 364). Опубликован в 1884 г. В «Вудстоке» В. Скотта речь идет о ястребах. В одном из имевшихся у Пушкина собраний пословиц (изд. 1770 г.) им отмечена пословица: «Ворон ворону глаза не выклюнет; а хоть и выклюнет, да не вытащит»,

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, НАМЕЧЕННЫХ ДЛЯ «СОВРЕМЕННИКА»

(Стр. 370)

Перечень составлен в 1836 г. и содержит статьи, как напечатанные, так и дошедшие до нас в черновиках, а также статьи или только задуманные, или утраченные. Опубликован в 1922 г.

Стр. 370. «Поход 1711» — Записки Моро де Бразе (см. т. VIII).

«Путешествие В. Л. Пушкина». См. стр. 297.

«Календарь на 1721 год». В бумагах Пушкина сохранилась копия этого календаря.

«Собрание русских песен». См. стр. 368.

«О Пугачеве». Статья «Ответ Броневскому», см. т. VIII.

«О легчайшем способе...» Название книги Дашкова (1811), направленной против А. Шишкова.

«О пословицах». В последние годы Пушкин собирал материалы по русским пословицам. Сохранилась одна заметка, относящаяся к этой теме, см. стр. 364.

«О Histoires tragiques». В библиотеке Пушкина сохранилась книга 1666 г.: «Les Histoires tragiques de notre temps. Composées par F. de Rosset.

Стр. 370. «О Библиотеке Новикова». Об издании «Древняя российская вивлиофика» Н. Новикова в 20 частях.

«О Путешествии Арт. Ар.» — О книге «Жизнь Артемия Араратского» (СПб., 1813).

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ П. А. ВЯЗЕМСКОГО «О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ОЗЕРОВА»

(Стр. 373)

Сделаны не ранее 1825 года. Опубликованы в 1897 г. Находятся на полях и листках бумаги, вклеенных в экземпляр оттиска статьи Вяземского, которая является предисловием к изданию сочинений Озерова 1817 г. (переиздана в 1824 г.). По-видимому, Вяземский просил Пушкина прорецензировать его статью для переработки в связи с переизданием 1827 года. Об этом свидетельствует характер замечаний Пушкина вроде: «Вот тут, если хочешь, помести нечто из своего начала» и т. п.

Стр. 376. *Important* — комедия Брюиса 1693 г. «Important de la cour». Комедия Княжнина является не переводом, а вольной переделкой.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ М. П. ПОГОДИНА «ОБ УЧАСТИИ ГОДУНОВА В УБИЕНИИ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ»

(Стр. 384)

Сделаны не ранее осени 1829 г. Опубликованы в 1913 г. Находятся в экземпляре «Московского вестника» за 1829 год, ч. III, стр. 90—126. Замечания являлись для Погодина развитием доказательств Пушкина в устном их споре осенью 1829 г.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 2-й ЧАСТИ «ОПЫТОВ В СТИХАХ И ПРОЗЕ» К. Н. БАТЮШКОВА

(Стр. 390)

Сделаны, по-видимому, не ранее 1830 г. Опубликованы в 1899 г. Находятся на полях экземпляра 2-й части «Опытов»; 5 из них чернильные, остальные сделаны карандашом. Приурочивание чернильных пометок к 1817 году, сделанное В. Л. Комаровичем («Литературное наследство», 1934, №№ 16—18, стр. 885), дальнейшим исследованием не подтверждается.

Из книги Батюшкова в разделе «Заметки на полях» приведены стихи и названы стихотворения, сопровожденные словесными замечаниями Пушкина и отчасти знаками, выражающими более или менее определенную оценку. Пометки с недостаточно ясной оценкой (черточки на полях, подчеркивания отдельных стихов или слов и т. п.) даны Пушкиным и к некоторым другим местам 2-й части «Опытов». Такие пометки, как и стихи, их вызвавшие, в текст тома не включены.

Стр. 391. «Ошибка мифологическая и грамматическая». Тифей (Тифон) и Энкелад, побежденные Зевсом, были положены под огнедышащую Этну. Не они, а Прометей питает «жадных птиц утробою своей» (миф).

Стр. 393. «Je dirai...» Цитата из Парни (IX элегия четвертой книги).

Стр. 397. «Невежество непростительное!» Батюшков сам отметил в отделе опечаток Колхиду, заменившую античный город Халкиду на Эвбее.

Стр. 398. «Подражание Ломоносову и Torrismondo». Пушкин имеет в виду стихи из 2-й строфы «Вечернего размышления о божием величестве» Ломоносова и стихи заключительного хора трагедии Тасса «Торрисмондо», которые Батюшков привел в виде эпиграфа к своей элегии «Умирающий Тасс».

Стр. 406. «Стих Муравьева». Четвертый стих 7-й строфы стихотворения «Богине Невы».

Стр. 408. «Это не Батюшкова, а Блудова...» Д. Н. Блудов, в 20-х и 30-х гг. крупный сановник, в 10-х гг. был одним из главных участников «Арзамаса» и сочинял посредственные стихи.

Стр. 410. «темно, дело идет об Елизавете Алексеевне». Об императрице, супруге Александра I.

Стр. 411. «Это — умирающий Василий Львович...» См. письмо Пушкина к Плетневу от 9 сентября 1830 г. о смерти В. Л. Пушкина.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОГО К С. С. УВАРОВУ ПО ПОВОДУ КНИГИ УСТРЯЛОВА «О СИСТЕМЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ»

(Стр. 412)

Сделаны не ранее конца 1836 г. Опубликованы в 1879 г. Письмо Вяземского к министру просвещения Уварову было написано по поводу диссертационного труда Н. Г. Устрялова, критикующего основные идеи «Истории государства Российского» Карамзина. Судя по тому, что Пушкин не напечатал в «Современнике» присланного ему Вяземским разбора книги Устрялова, он не совсем разделял мнение критика. Об этом же свидетельствуют и лаконические заметки на полях письма.

Стр. 412. «О Полевом не худо было напомнить...» См. статью «История русского народа», сочинение Николая Полевого (стр. 92).

ВОСПОМИНАНИЯ П. В. НАЩОКИНА С ПОПРАВКАМИ ПУШКИНА

(Стр. 413)

Сделаны в 1836 году. Опубликованы в 1936 г. Являются образцом редакторской работы Пушкина над рукописью. Самая идея писать воспоминания в виде писем дана Нащокину Пушкиным (см. письмо Пушкина от 2 декабря 1832 г.). О Нащокине и его мемуарах см. «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве 1830 г.» (стр. 156).

ПРИПИСЫВАЕМОЕ ПУШКИНУ

КОГДА МАКФЕРСОН ИЗДАЛ «СТИХОТВОРЕНИЯ ОССИАНА»...

(Стр. 421)

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г., № 5, 21 января. Принадлежность Пушкину не доказана.

Стр. 421. «...говорит Вильмен...» В «Картине восемнадцатого века», ч. II, лекция шестая (1828).

НОВЫЕ ВЫХОДКИ ПРОТИВУ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НАШЕЙ АРИСТОКРАТИИ...

(Стр. 422)

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 45, 9 августа. По свидетельству А. И. Дельвига, Пушкин участвовал в составлении отдела «Смесь» в этом номере, однако неясно, в какой именно заметке он участвовал. Об этой заметке Пушкин пишет в статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (см. стр. 137).

О ТАТИЩЕВЕ

(Стр. 423)

Писарская копия этой статьи находится среди бумаг Пушкина. Однако принадлежность ее Пушкину не доказана. Статья отчасти является пересказом «Жизнеописания тайного советника Василия Никитича Татищева, бывшего советника берг-коллегии и начальника всех сибирских горных заводов» В. Н. Берха («Горный журнал», 1828, кн. 1). Опубликовано в 1884 г.

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ

Стр. 432. «Руссо заметил уже...» Пушкин цитирует слова Руссо из его «Письма Даламберу по поводу статьи о Женеве» (1758).

Стр. 432. «Vitam impendere vero». В том же «Письме» Руссо приводит эти слова и пишет: «Вот девиз, который я выбрал, и чувствую, что я его достоин». Слова эти — вошедшая в поговорку цитата из четвертой сатиры Ювенала.

ВТОРОЙ ТОМ «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА» ПОЛЕВОГО

Стр. 433. *Указ 31 года* — собственно два указа Анны Иоанновны: от 25 октября 1730 г., которым отменялся указ Петра I о «единонаследии» (т. е. о недробимости земель при наследовании), и указ от 17 марта 1731 г., уничтожавший правовые различия между вотчинами и поместьями.

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ОБВИНЕНИЙ

Стр. 435. «Г-н Полевой, издатель...» Набросок имеет в виду пасквиль Полевого на стихотворение «К вельможе» — «Утро в кабинете знатного барина», напечатанный в приложении к «Московскому телеграфу» «Новый живописец общества и литературы» (1830, при № 10).

НАЧАЛО СТАТЬИ О В. ГЮГО

Стр. 437. «Монтень, путешествовавший по Италии...» Пушкин говорит о путевых записках Монтеня: «Путешествие Монтеня в Германию и Италию в 1580 и 1581 годах».

Стр. 437. «Лагарп ставит Шекспира...» В своем «Лицее».

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ

Стр. 438. «Покойный князь Ив. Долгорукий...» Ив. Мих. Долгорукий (1764—1823), поэт и мемуарист. Цитируется его стихотворение «Пир».

Стр. 440. «Знаю, что ,,Рассуждение о старом и новом слоге...“» «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) — первое филологическое произведение А. С. Шишкова, в котором он доказывал единство русского и церковнославянского языков. С этого времени началась полемика «карамзинистов» и «шишковистов». «О пользе книг церковных в российском языке» (1757) — произведение М. Ломоносова по вопросам стилистики.

Стр. 440. *Шатров,* Ник. Мих. (1767—1841) — поэт из сторонников А. С. Шишкова. Изданные им в 1831 г. стихотворения содержат два тома «Подражаний псалмам и песен духовных». Особенно было известно его «Подражание псалму 32-му» (1816).

Стр. 440. *Размышление о величестве божием* — два стихотворения Ломоносова 1743 года: «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния» и «Утреннее размышление о божием величестве».

Стр. 441. «Все журналы пришли в благородное бешенство...» Полемика по поводу послания «К вельможе» 1830 г., в частности выпады Полевого и Булгарина.

Стр. 443. «К тому ж подушное, боярщина, оброк...» Из басни Крылова «Крестьянин и смерть».

Стр. 446. «В славной балладе Жуковского...» В балладе «Иванов вечер» (1822). После длительных препирательств с цензурой Жуковский напечатал эту балладу под названием «Замок Смальгольм». Баллада переведена из В. Скотта.

О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ

Стр. 448. «...например, сохраняется дворянство, даруемое...» Указы Петра о табели о рангах 1722 г. и указ о единонаследии 1714 г.

Стр. 448. «...по образцу, данному придворным поэтом Людовика XIV...» По собственному свидетельству А. Кантемира, в форме своих сатир он подражал сатирам Буало.

Стр. 449. «Некто у нас сказал...» Сам Пушкин. См. «Отрывки из писем, мысли и замечания», стр. 45.

Стр. 449. «Вольтер... советует писателям...» — в «Храме вкуса».

ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ

Стр. 450. «Так Брюллов, усыпляя...» В 1827 г. Брюллов закончил копировать по заказу правительства фреску Рафаэля «Афинская школа» в Ватикане. С 1829 г. по 1832 он писал картину «Последний день Помпеи».

ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Стр. 451. Черновые заметки, предшествовавшие общей статье и являвшиеся материалом для нее.

Первая группа замечаний относится к переводу, сделанному Жуковским. Рукописная копия этого перевода с многими пометами Пушкина сохранилась среди его бумаг.

Стр. 451. «Тебе бы петь...» Относится к следующему месту перевода Жуковского:

Не буря соколов занесла чрез поля широкие!
Галки стадами бегут к Дону великому!
Тебе бы петь, вещий Боян, внук Велесов!

Пушкин предлагает последний стих поставить на первое место.

Стр. 452. «...из Грамматина...» «Слово о полку Игоревом. Историческая поэма, писанная, в начале XIII века на славенском языке прозою», 1823. Изд. Н. Ф. Грамматина (текст, переводы в прозе и стихах и примечания). Пушкин ссылается на примечания Грамматина, оспаривая их.

Стр. 452. «...выписка из Вельтмана». «Песнь ополчению Игоря Святославича князя Новгород-Северского. Переведено с древнего русского языка XII столетия А. Ф. Вельтманом», 1833. Толкование Вельтмана совпадает с толкованием Грамматина. Выписка приведена в статье Пушкина (стр. 349).

Стр. 452. «...из словинского». Из «Словинско-немецкого словаря» А. Я. Мурко, 1833. В статье Пушкин выписал этот пример, дающий слову *кмет* другое значение.

Вторая заметка связана с чтением перевода Вельтмана.

Стр. 452. «Г-н Сенковский с удивлением видит тут...» В действительности это мнение принадлежит Каченовскому, но Пушкин цитировал его по брошюре С. В. Руссова «О подлинности древнего русского стихотворения, известного под названием Слово о полку Игореве», 1834. У Руссова приведено мнение Каченовского, но так, что его можно приписать Сенковскому.

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

Стр. 8.— Делла Мария (композитор).
Стр. 9.— Прелестной дочери прелестнейшая мать. *(Латин.)*
Стр. 11.— Конечно, это не так просто сказать. *(Франц.)*
Стр. 16.— Марини, Альфиери, Монти, Фосколо.
Стр. 17.— Маро слагал триолеты, содействовал расцвету баллады. *(Франц.)*
Стр. 17.— Сисмонди.
Стр. 17.— «Десять лет изгнания». *(Франц.)*
Стр. 22.— Пришел наконец Малерб, и, первый во Франции, и т. д. *(Франц.)*
Стр. 22.— госпожи дю Дефан, Буфлер, д'Эпине. *(Франц.)*
Стр. 23.— европейская цивилизация. *(Франц.)*
Стр. 23.— наивность, добродушие. *(Франц.)*
Стр. 25.— виреле. *(Франц.)*
Стр. 26.— Данте.
Стр. 26.— слагал триолеты, содействовал расцвету баллады. *(Франц)*.
Стр. 26.— де Вега. *(Исп.)*
Стр. 27.— речи в сторону. *(Латин.)*
Стр. 36.— блестящие обороты мысли. *(Итал.)*
Стр. 37.— Манфред. *(Англ.)*
Стр. 37.— Альфиери. *(Итал.)*
Стр. 37.— шедевр. *(Франц.)*
Стр. 40.— Безупречный сонет один стоит длинной поэмы. *(Франц.)*
Стр. 40.— Все жанры хороши, кроме скучного. *(Франц.)*
Стр. 41.— одинаково хороши. *(Франц.)*
Стр. 41.— Морально я остался плотским, но плотски я сделался моральным. *(Франц.)*
Стр. 42.— Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью. *(Франц.)*
Стр. 42.— Тайные общества — дипломатия народов. *(Франц.)*
Стр. 48.— И почтительно целует плиты твоих храмов. *(Франц.)*
Стр. 48.— корова. *(Франц.)*
Стр. 48.— Данте, Мильтон.
Стр. 48.— Словцо, украшенное двумя рифмами. *(Франц.)*

Стр. 50— «Чайльд-Гарольд». *(Англ.)*
Стр. 50.— о поклонники! *(Латин.)*
Стр. 52.— Данте (великий отец наш Алигиери). *(Итал.)*
Стр. 54.— «Конституционная» (газета), «Ежедневная» (газета). *(Франц.)*
Стр. 54.— Он говорит и делает лишь то, что ему предписывают и т. д. *(Франц.)*
Стр. 54.— Вальполь. *(Англ.)*
Стр. 55.— (без инверсии). *(Латин.)*
Стр. 56.— безразлично. *(Франц.)*
Стр. 57.— пресыщенные. *(Франц.)*
Стр. 57.— Вордсворт. Кольриджж. *(Англ.)*
Стр. 60.— с любовью. *(Итал.)*
Стр. 61.— Возможен ли такой гнев в душах ученых мужей! *(Латин.)*
Стр. 61.— без гнева и пристрастья. *(Латин.)*
Стр. 66.— блестящими оборотами мысли. *(Итал.)*
Стр. 71.— джентльмена. *(Англ.)*
Стр. 72.— в духе Генриха IV. *(Франц.)*
Стр. 72.— денди, щеголь. *(Англ.)*
Стр. 73.— госпожи Кампан. *(Франц.)*
Стр. 73.— «Время». *(Англ.)* «Газета прений» *(Франц.)*
Стр. 73.— госпожа Сталь. *(Франц.)*
Стр. 91.— модных повестей. *(Англ.)*
Стр. 93.— Заключение прекрасное и достойное вступления. *(Франц.)*
Стр. 96.— по произволу переписчика. *(Латин.)*
Стр. 97.— Сударыня-лиса, быть может вам поверят... *(Франц.)*
Стр. 97.— и ты, Брут! *(Латин.)*
Стр. 102.— завистники. *(Латин.)*
Стр. 106.— тысяча извинений. *(Франц.)*
Стр. 108.— Семь в руке... девять... Проклятие... девять и семь... девять и семь... девять. *(Франц.)*
Стр. 109.— взять *(Франц.)*
Стр. 112—114.— Вот моя трагедия, раз уж вы непременно хотите ее, но я требую, чтобы прежде прочтения вы пробежали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков на историю того времени, вроде наших киевских и каменских обиняков. Надо понимать их — это Sine qua non.[1]

По примеру Шекспира я ограничился развернутым изображением эпохи и исторических лиц, не стремясь к сценическим эффектам, к романтическому пафосу и т. п... Стиль трагедии смешанный. Он площадной и низкий там, где мне приходилось выводить людей простых и грубых,— что касается грубых непристойностей, не обращайте на них внимания: это писалось наскоро и исчезнет при первой же переписке. Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги. Но, не говоря уже о том, что любовь весьма подходит к романическому и страстному характеру моего авантюриста, я заста-

---

[1] это непременное условие. *(Латин.)*.

вил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина он лишь бегло очерчен. Но, конечно, это была странная красавица. У нее была только одна страсть: честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим, деля то отвратительное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей слабую надежду на более уже не существующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, в то же время ведет переговоры с польским королем как коронованная особа с равным себе, и жалко кончает свое столь бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть. Она ужас до чего полька, как говорила кузина г-жи Любомирской.

Гаврила Пушкин — один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах. Он был очень талантлив — как воин, как придворный и в особенности как заговорщик. Это он и Плещеев своей неслыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я снова нашел его в Москве в числе семи начальников, защищавших ее в 1612 году, потом в 1616 году, заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, венчавших на царство Романова, потом послом. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашел в Погорелом Городище — городе, который он сжег (в наказание за что-то), подобно проконсулам Национального Конвента.

Я намерен также вернуться и к Шуйскому. Он представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова, он одним из первых бояр переходит на сторону Дмитрия. Он первый вступает в заговор и он же, заметьте, сам берется выполнить всё это дело, кричит, обвиняет, из предводителей становится рядовым воином. Он готов погибнуть, Дмитрий милует его уже на лобном месте, ссылает и с тем необдуманным великодушием, которое отличало этого милого авантюриста, снова возвращает ко двору и осыпает дарами и почестями. Что же делает Шуйский, чуть было не попавший под топор и на плаху? Он спешит создать новый заговор, успевает в этом, заставляет себя избрать царем и падает — и в своем падении сохраняет больше достоинства и силы духа, нежели в продолжение всей своей жизни.

В Дмитрии много общего с Генрихом IV. Подобно ему он храбр, великодушен и хвастлив, подобно ему равнодушен к религии — оба они из политических соображений отрекаются от своей веры, оба любят удовольствия и войну, оба увлекаются несбыточными замыслами, оба являются жертвами заговоров... Но у Генриха IV не было на совести Ксении — правда, это ужасное обвинение не доказано, и я лично считаю своей священной обязанностью ему не верить.

Грибоедов критиковал мое изображение Иова — патриарх, действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него дурака.

Создавая моего Годунова, я размышлял о трагедии — и если бы вздумал написать предисловие, то вызвал бы скандал — это, может быть, наименее понятый жанр. Законы его старались обосновать на правдоподобии, а оно-то именно и исключается самой сущностью драмы; не говоря уже о времени, месте и проч., какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенной на две части, из коих одна занята 2000 человек, будто бы невидимых для тех, которые находятся на подмостках?

2) *Язык.* Например, у Лагарпа Филоктет, выслушав тираду Пирра, говорит на чистом французском языке: «Увы, я слышу сладкие звуки греческой речи». Не есть ли все это условное неправдоподобие? Истинные гении трагедии заботились всегда исключительно о правдоподобии характеров и положений. Посмотрите, как смело Корнель поступил в «Сиде»: «А, вам угодно соблюдать правило о 24 часах? Извольте». И тут же он нагромождает событий на 4 месяца. Нет ничего смешнее мелких изменений общепринятых правил. Альфиери глубоко чувствовал, как смешны речи в *сторону,* он их уничтожает, но зато удлиняет монологи. Какое ребячество!

Письмо мое вышло гораздо длиннее, чем я хотел. Прошу вас, сохраните его, так как оно мне понадобится, если черт меня попутает написать предисловие.

30 января 1829. *(Франц.)*

Стр. 114.— Это добросовестное произведение. *(Франц.)*
Стр. 115.— безразлично. *(Франц.)*
Стр. 115.— см. перевод к стр. 60.
Стр. 117.— А я утверждаю, что стихи мои хороши. *(Франц.)*
Стр. 118.— Орландо, песнь V, октава VIII. *(Итал.)*
Стр. 120.— Следовательно. *(Латин.)*
Стр. 126.— как человек благородного происхождения оскорбляет и не дерется. *(Франц.)*
Стр. 127.— тем лучше. *(Итал.)*
Стр. 128.— (самого национального и самого популярного). *(Франц.)*
Стр. 130.

Однако, вы очень податливы на искушение,
И тело производит сильное впечатление на ваши чувства!
Не понимаю, право, что за пылкость вас одолела.
Я совсем не так быстра на плотские желания,
И когда б я увидела вас голым с головы до пят,—
Вся ваша кожа меня бы не соблазнила. *(Франц.)*

Стр. 132.— Книги имеют свою судьбу. *(Латин.)*
Стр. 137.— Саути. *(Англ.)*
Стр. 138.— см. перевод к стр. 117.
Стр. 140.— см. перевод к стр. 126.
Стр. 140.— Над этим посмеялись, я сам еще смеюсь. *(Франц.)*
Стр. 142.— аристократов на фонарь. *(Франц.)*
Стр. 142.— Пойдет. *(Франц.)*
Стр. 142.— Кстати *(Франц.)*.

Стр. 143.— предупреждение читателю. *(Франц.)*
Стр. 143.— они не так глупы. *(Франц.)*
Стр. 145.— Религиозные гармонии. *(Франц.)*
Стр. 145.— Виктор Гюго. *(Франц.)*
Стр. 145— Мюссе. *(Франц.)*
Стр. 146.— Порция. *(Франц.)*
Стр. 146.— Каштаны с жару. *(Франц.)*
Стр. 146.— «Мардош» Мюссе. *(Франц.)*
Стр. 146.— Трудно хорошо выразить общие вещи. *(Латин.)*
Стр. 146.— послание к Пизонам. *(Латин.)*
Стр. 148.— герой, король комедии. *(Франц.)*
Стр. 148.— Я спрячусь в этой комнате. *(Франц.)*
Стр. 148.— Сокрытый близ сих мест, я вас узрю, госпожа. *(Франц.)*
Стр. 148.

Да, это Агамемнон, это твой царь тебя будит.
Приди, узнай голос, поражающий твой слух. *(Франц.)*

Стр. 154.— Словцо, украшенное двумя рифмами. *(Франц.)*
Стр. 156.— труверов. *(Франц.)*
Стр. 158.— волшебный фонарь. *(Франц.)*
Стр. 161.— «Газета прений». *(Франц.)*
Стр. 161.— Эдинбургское обозрение. *(Англ.)*
Стр. 161.— испытания. *(Франц.)*
Стр. 162.

Для желающего утопиться место очень удобно.
В любой день стоит только пойти сюда,
Спрятать одежду под этой березой
И, словно для купанья, погрузиться в воду:
Не как безумец, стремглав,
Но присесть, поглядеть вокруг; следить
За длинным отблеском луча света на листве и на воде;
Затем, когда почувствуешь, что дух исчерпал себя до конца,
И озябнешь, тогда, не затягивая праздника,
Нырнуть головой, чтобы ее больше не поднимать.
Вот моя заветная мечта, когда я задумываю умереть.
Я всегда одиноко плакал и страдал;
Ничье сердце не билось рядом с моим, когда я проходил жизненный путь.
Так же, как я жил, пусть я умру — тайно,
Без шума, без криков, без толпы собравшихся соседей.
Жаворонок, умирая, прячется во ржи,
Соловей, чувствуя, что голос его ослабевает,
И приближается холодный ветер, и падает его оперение,
Исчезает из жизни незаметно для всех, как лесное эхо:
Я так же хочу исчезнуть. Только через месяц или два,
Может быть, через год, однажды вечером,
Пастух в поисках за заблудившейся козой,
Или охотник, спустившись к ручью и заметив,
Что его собака бросилась туда и возвратилась с лаем,

Взглянет: луна, с ним вместе смотря,
Осветит тусклым сиянием это тело —
И внезапно он побежит до самого поселка
без оглядки.
Несколько местных жителей придут ранним утром,
Вытянут за волосы неузнаваемый труп,
Эти обрывки тела и кости, забитые песком.
И, примешивая шутки к каким-нибудь глупым
россказням,
Долго будут совещаться над моими почерневшими
останками
И, наконец, повезут их на тачке на кладбище,
Поскорее заколотят их в какой-нибудь старый гроб,
Который священник трижды окропит святой водой,
И оставят меня без имени, без деревянного креста!

Стр. 163.

Мой друг, вот вы отец новорожденного;
Это еще один мальчик; небо даровало его вам
Прекрасного, свежего, радостно улыбающегося этой
горькой жизни.
Он стоил едва лишь нескольких стонов своей матери.
Ночь; я вижу вас... При легком шуме сон
Обнял розового ребенка на белой спящей груди,
А вы, отец, бодрствуя у камина,
Углубившись в раздумья и склонив голову,
Вы часто оборачиваетесь, чтобы вновь увидеть,—
о счастье! —
Младенца, мать, и брата, и сестру,
Как пастух, радующийся своим новым ягнятам,
Или как хозяин, ввечеру считающий снопы хлеба.
В этот торжественный час, в этой глубокой тишине,
Кто, кроме вас, знает бездну, в которой тает ваше
сердце, друг?
Кто знает ваши слезы, ваши немые ласки,
Сокровища гения, изливающиеся в нежности,
Стон орла, более грустный, чем у голубки в гнезде,
Потоки, струящиеся с гранитной скалы,
И бесчисленные ручьи от снега.
Тающего под зноем норвежского лета на склонах
ледника?
Живите, будьте счастливы и когда-нибудь воспойте
Нам эти сверхчеловеческие тайны невыразимой
любви.

А я в это время также бодрствую,
Не у голубых занавесей розового детства,
Не у брачного ложа, орошенного благовониями,
Но у холодного одра, над телом усопшего.
Это — сосед, подагрический старик, умерший
от камня в печени.
Его племянницы позвали меня, я здесь по их
просьбе;
Один я присел к одру с девяти часов вечера,
В главах постели — черный деревянный крест
С костяным распятием положен меж двух свечей,

На стуле; рядом ветка самшита, дорогого для верующих,
Мокнет в тарелке, и я вижу под простыней
Мертвого, во всю длину, со сжатыми ногами и
скрещенными руками.
О! если бы, по крайней мере, я долгое время знал
Этого мертвеца при жизни! Если бы мне хотелось
Поцеловать этот желтый лоб в последний раз!
Если бы, глядя всё время на эти жесткие прямые
складки,
Я бы, наконец, увидел, как что-то шевелится,
Движется подобно ноге отдыхающего человека,
И что пламя голубеет! Если бы я услышал,
Как заскрипела кровать!.. или если бы я мог
молиться!
Но нет: никакого священного ужаса, никакого
нежного воспоминания.
Я смотрю и не вижу, слушаю и не слышу.
Каждый час бьет медленно, и когда, переутомленный
От этого удручающего спокойствия и этих глупых
грез,
Я подхожу к окну немного подышать
(Так как на полночном небе только что родился
серп месяца),
Вон, вдруг, над далекой крышей дома,
Не на востоке, вспыхивает небосклон,
И я слышу вместо песни
Лай собак, воющих на пожар.

Стр. 164.

Нет, моя муза — не блистающая одалиска
С черными блестящими волосами, с продолговатыми
глазами гурии,
Пляшущая с обнаженной грудью при резких
звуках своего голоса,
Это не юная и розовая Пери,
Сверкающие крылья которой затмили бы хвост
прекрасного павлина,
Не белокрылая и голубокрылая фея,—
Эти две сестры-соперницы, которые открывают миры
и небеса
Ослепленному светом ребенку, лишь только он
скажет *да*.
Она — о моя обожаемая муза! —
Не дева иль плачущая вдова,
Одинокая обитательница пустынного монастыря
Или башни без вассалов, которая бродит под
сводами,
Произнося чье-то имя; спускается в рыцарские
гробницы;
Склоняя колени, широко покрывает плиты бархатом
платья
И, приникнув челом к мрамору, изливает со слезами,
В мелодичном гимне свои благородные несчастия.
Нет.— Но, когда ваша скорбь одиноко бредет
по лесу,

Видали ли вы там, в глубине, хижину
Под высохшим деревом? Рядом с нею вырыта канава;
Девушка постоянно стирает там ветхое белье.
Может быть, при виде вас, она опустила голову,
Так как, при всей своей бедности, она из хорошей семьи;
Она могла бы, как и другая, в более счастливые дни
Блистать в свете и цвести для любви;
Мчаться в экипаже; бывать на балах, на гуляньях;
Вдыхать на балконе ароматы и серенады;
Или, своей золотой арфой возбуждая сотни соперников,
Видеть лишь одну улыбку среди бесчисленных рукоплесканий.
Но небо с самого начала потемнело над нею,
И деревцо, едва родившись, было побито градом:
Она прядет, шьет и ухаживает дома
За старым, слепым и безумным отцом. *(Франц.)*

Стр. 165.

. . . . раздирающий кашель
Прерывает ее песню, испускает крик со свистом
И извергает кровяные сгустки из ее больной груди. *(Франц.)*

Стр. 165—166.

Я всегда знавал ее задумчивой и строгой;
Ребенком она редко принимала участие
В забавах веселого детства; она уже была рассудительна,
И когда ее маленькие сестры бегали по траве,
Она первая напоминала им о часе,
О том, что пора уже идти домой,
Что она услышала звон колокола,
Что запрещено подходить к каналу,
Пугать в роще ручную лань,
Играя, подбегать слишком близко к птичнику,—
И сестры слушались ее. Скоро ей исполнилось пятнадцать лет,
И ее разум украсился очарованиями более привлекательными:
Прикрытая грудь, ясное чело, на котором почиет спокойствие,
Розовое лицо под прекрасными темными волосами.
Скромные губы со сдержанной улыбкой.
Холодный и трезвый разговор, который, однако, нравится,
Нежный и твердый голос, никогда не дрожащий,
И черные, сходящиеся брови.
Чувство долга рождало в ней важное усердие.
Она держалась рассудительно, выдержанно, не рассеянно;
Она не мечтала, как молодая девушка,
Рассеянно роняющая из рук иглу
И думающая от вчерашнего до завтрашнего бала
О прекрасном незнакомце, пожавшем ей руку.

Никогда не видел никто, чтобы, облокотившись на окно
И позабыв работу, она следила сквозь ветви
Прерывный бег вечерних облаков,
А потом внезапно прятала бы лицо в платок,
Нет, она говорила себе, что счастливое будущее
Внезапно изменилось со смертью отца,
Что она — старшая дочь и потому должна
Принимать деятельное участие в домашних заботах.
Это юное и строгое сердце не знало власти
Тоски, от которой вздыхает и волнуется невинность.
Оно всегда подавляло разнеживающую грусть,
Возникающую бессознательно, очаровательные тревоги
И темные желания, все те смутные волнения,
Этих естественных пособников любви.
Владея вполне собой, она в самые нежные мгновения,
Обнимая свою мать, говорила ей *вы.*
Приторные комплименты и пылкие фразы
Праздных молодых людей для нее тратились попусту.
Но когда измученное сердце рассказывало ей свое
горе,
Ее ясное чело тотчас омрачалось:
Она умела говорить о страданиях, о горькой жизни,
И давала советы, как молодая мать.
Теперь она сама мать и жена,
Но это скорее по рассудку, чем по любви.
Ее мирное счастье умеряется уважением;
Ее муж, уже не молодой, мог бы быть для нее отцом;
Она не знала забвенья первого месяца,
Медового месяца, сияющего только однажды,
И чело ее, и глаза сохранили ото всех
Целомудренные тайны, о которых женщина должна
молчать.
Счастливая по-прежнему, она сообразует свою жизнь
С новыми обязанностями... Отрадно видеть ее,
Когда, освободившись от хозяйства, вечером в будни
Часов около шести, не наряжаясь, летом, она
выходит погулять
И садится в тени от палящего солнца,
На траву, с своей прекрасной дочкой.
Так текут ее дни с ранних лет,
Как безыменные волны под безоблачным небом,
Медленным, однообразным, но торжественным
потоком.
Ибо они знают, что стремятся к вечному берегу.
И при виде того, как тихо течет эта скромная доля,
Кротко уступая влечению долга,
Эти чистые, прозрачные, спокойные, молчаливые дни,
Которые успокаивают от шума и на которых,
отдыхают глаза,
Невольно, увы, я вновь впадаю в грусть;
Я думаю о моих быстро ушедших долгих днях,
Бурных, бессчастных, потерянных для долга,
И, о боже, я думаю о том, что скоро настанет
вечер! *(Франц.)*

Стр. 167.— Заира, Аглая, Элеонора.
Стр. 167.— Остерегайтесь, как бы в слишком поспешном беге гласная не столкнулась на своем пути с другою. *(Франц.)*
Стр. 167.— «Утешения». *(Франц.)*
Стр. 168.— будем религиозными будем политиками..., будем сумасбродами. *(Франц.)*
Стр. 168.— Я вышел на арену вместе с равным мне. Цицерон. *(Латин.)*
Стр. 169.— голос народа — голос божий. *(Латин.)*
Стр. 171.— где хорошо, там и родина. *(Латин.)*
Стр. 177.— Я кончил. *(Латин.)*
Стр. 179.— см. перевод к стр. 171.
Стр. 180.— жеманниц. *(Франц.)*
Стр. 181.— пересек. *(Франц.)*
Стр. 181.— исполненный. *(Франц.)*
Стр. 181.— Монтень, Вольтер, Монтескье. *(Франц.)*
Стр. 182.— «Сен-Мар». *(Франц.)*
Стр. 182.— «Осенние листья». *(Франц.)*
Стр. 182.— см. перевод к стр. 167.
Стр. 184.— Ад. *(Итал.)*
Стр. 187.— Была некогда Троя, были мы троянцы. *(Латин.)*
Стр. 188.— стары как улицы. *(Франц.)*
Стр. 190.— Обозрений. *(Англ.)*
Стр. 196.— см. перевод к стр. 132.
Стр. 196.— его светлости, герцогу и т. д. *(Англ.)*
Стр. 197.— г-жа Сталь. *(Франц.)*
Стр. 197.— (В России несколько дворян занялись литературой). *(Франц.)*
Стр. 198.— комфорт. *(Англ.)*
Стр. 199.— «По полям рассеяны какие-то дикие животные, самцы и самки, черные, с лицами землистого цвета, сожженные солнцем, склонившиеся к земле, которую они роют и ковыряют с непреодолимым упорством; у них как будто членораздельная речь, а когда они выпрямляются на ногах, то мы видим человеческое лицо; и действительно, это — люди. На ночь они удаляются в свои логовища, где питаются черным хлебом, водой и кореньями; они избавляют других людей от труда сеять, обрабатывать и собирать для пропитания, и заслуживают того, чтобы не терпеть недостатка в хлебе, который сами сеют». *Характеры. (Франц.)*
Стр. 200.— ротозей. *(Франц.)*
Стр. 201.— и т. д. и т. д.
Стр. 202.— ополчение. *(Нем.)*
Стр. 202.— и т. д.
Стр. 212.— см. перевод к стр. 26.
Стр. 212.

Наконец, пришел Малерб и первый во Франции
Дал почувствовать в стихах точную гармонию,
Показал силу слова, помещенного на должном месте,
И подчинил музу правилам долга.
Исправленный этим мудрым писателем язык
Перестал являть разборчивому уху что-либо грубое,
Строфы научились литься с изяществом,
И один стих не дерзал более вторгаться в другой.
(Франц.)

Стр. 217.— Кармартен.
Стр. 217.— Гордон.
Стр. 219.— В последнее время я много думал о Мэри Дёфф. Как это странно, что я был так безгранично предан и так глубоко привязан к этой девушке, в возрасте, когда я не мог не только испытывать страсть, но даже понять значение этого слова. И однако же это была страсть! Моя мать имела обыкновение смеяться над этой детской любовью; и много лет спустя,— когда мне было, примерно, лет шестнадцать,— она мне сказала однажды: «Ах, Байрон, я получила письмо из Эдинбурга, от мисс Аберкромби; ваша бывшая любовь, Мэри Дёфф, вышла замуж за господина С.» И что же я ей ответил? Я не могу постичь и объяснить то чувство, которое мною овладело в это мгновение. Со мною почти сделались судороги; моя мать была так этим встревожена, что потом, когда я оправился, она упорно избегала заговаривать со мной на эту тему, довольствуясь беседой об этом со своими приятельницами. И сейчас я спрашиваю себя, что бы это значило? Я не виделся с нею больше с тех пор, когда, вследствие проступка ее матери в Абердине, она поселилась у своей бабушки в Банфе; мы оба были тогда детьми. Я пятьдесят раз с тех пор влюблялся; и тем не менее я помню всё то, о чем мы говорили, помню наши ласки, ее черты, мое волнение, бессонницы и то, как я мучил горничную моей матери, заставляя ее писать Мэри письма от моего имени; и она в конце концов уступала, чтобы меня успокоить. Бедняжка считала меня сумасшедшим, и так как я в ту пору еще не умел как следует писать, она была моим секретарем. Я припоминаю также наши прогулки и то блаженство, которое я испытывал, сидя около Мэри в ее детской, в доме, где она жила, около Пленстоуна, в Абердине, в то время как ее маленькая сестра играла в куклы, а мы с серьезностью, на свой лад, ухаживали друг за другом.

Но как же это чувство могло пробудиться во мне так рано? Какова была причина и источник этого? И в ту пору, и несколько лет спустя, я не имел никакого понятия о различии полов. И тем не менее, мои страдания, моя любовь к той маленькой девочке были так сильны, что на меня находит иногда сомнение: любил ли я по-настоящему когда-либо с тех пор? Как бы то ни было, известие о ее замужестве как громом меня поразило. Я чуть не задохнулся, к великому ужасу моей матери и к неверию почти всех остальных. Это необычайное явление в моей жизни (ведь мне еще не было тогда полных восьми лет) заставило меня задуматься, и разрешение его будет меня мучить до конца моих дней. С некоторого времени,— сам не знаю почему,— *воспоминание* о Мэри (*не* чувство к ней) вновь пробудилось во мне с большей силой, чем когда-либо. Я хотел бы знать, помнит ли она обо всем этом, как и вообще обо мне? И вспоминает ли, как жалела когда-то свою сестренку Эллен за то, что у той не было тоже своего поклонника? Какой очаровательный образ ее сохранился в моей душе! Ее каштановые волосы, ласковые светло-карие глаза — всё, вплоть до ее костюма! Я был бы поистине несчастен, если бы *увидел ее теперь*. Действитель-

ность, как бы ни была она прекрасна, разрушила бы или, по меньшей мере, замутила бы черты восхитительной Пери, которою она тогда являлась и которая продолжает еще жить во мне, хотя с тех пор прошло более шестнадцати лет: ибо мне сейчас двадцать пять лет и несколько месяцев. *(Франц.)*

Стр. 237.— «Век Людовика XIV». *(Франц.)*

Стр. 239.— Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения. *(Франц.)*

Стр. 255.— Оторвавшись от своего стебля,
Бедный сухой листок,
Куда несешься ты? — Не знаю и т. д.
(Франц.)

Стр. 255.— *Листок* удостоился чести быть переведенным на несколько языков. Русский перевод его, сделанный генералом Давыдовым, замечателен, говорят, по своему изяществу и точности. Господин Давыдов — один из тех людей, которые, обладая природным даром к поэзии, предаются ей лишь из прихоти и чтобы отдохнуть от войны и наслаждений. Узнав о чести, оказанной ему г. Давыдовым, автор этих басен направил ему экземпляр их с посвящением:

Вам, поэт, вам, воин,
Который, упиваясь шампанским на берегу Гиппокрены,
Из дубового листка
Создал лист лавра. *(Франц.)*

Стр. 257.— Это гроссмейстер (университета) г. Фонтан. *(Франц.)*

Стр. 258.— Записки Лас-Каза. *(Франц.)*

Стр. 259.— Если только не будет особого повеления короля. *(Франц.)*

Стр. 261.— Оленьем парке. *(Франц.)*

Стр. 263.— В этих наивных картинах,
Бессмертных архивах лукавства века. *(Франц.)*

Стр. 263.

Братья мои, песенники,
Сердце, любовь, это — химеры.
В ваших песенках
Изображайте как старый обман
Эти добродетели,
Которых больше нет.
Любовь умерла во Франции.
Это
Покойник,
Умерший от слишком хорошей жизни!
. . . .
А все эти дурачки,
Что сочиняют мадригалы,
Предполагают у наших дам
Сердца,
Добрые нравы,
Добродетели, души!
И наполняют пламенем
Наших почти угасших любовников —
Этих сластолюбивых
Марионеток. *(Франц.)*

Стр. 264.— Жил король в Ивего,
Мало известный в истории;

Он вставал поздно, ложился рано,
Проводил дни в попойках,
И был увенчан Жанетою
Простым ночным колпаком и пр. *(Франц.)*

Стр. 264.— Беранже.
Стр. 268.— Даже в песенке требуется здравый смысл и искусство. *(Франц.)*
Стр. 270.— «Внутри одной канцелярии», «Мишель и Кристина». *(Франц.)*
Стр. 271.— То мужчина, то женщина, Овидий. *(Латин.)*
Стр. 272.— Мы великие критики. *(Франц.)*
Стр. 273.— Господин Всякий. *(Нем. и латин.)*
Стр. 273.— Спесь необузданная и решительная. *(Франц.)*
Стр. 273.— Каждому свое. *(Латин.)*
Стр. 274.— по-собственному желанию, без закона. *(Латин.)*
Стр. 280.— Неизданная переписка Вольтера с президентом де Броссом и т. д. Париж, 1836. *(Франц.)*
Стр. 281.— История плаваний в южные земли; Трактат о механическом образовании языков; История VII века Римской республики; Трактат о культе богов-фетишей. *(Франц.)*
Стр. 281.— «Италия сто лет тому назад». *(Франц.)*
Стр. 282.— Отрада. *(Франц.)*
Стр. 282.— Отраду на Сен-Жане. *(Франц.)*
Стр. 283.— пусть трепещет! дело идет не о том, чтобы его высмеять, а о том, чтобы его обесчестить. *(Франц.)*
Стр. 283.— Здоровый дух в здоровом теле. *(Латин.)*
Стр. 284.— Ваши розовые кусты — в моих садах,
И на них скоро появятся цветы,—
Сладостный приют, где я сам себе хозяин!
Я отказываюсь от суетных лавров,
Которые слишком, быть может, любил в Париже.
Я слишком исколол себе руки
Шипами, которые выросли на них. *(Франц.)*
Стр. 285.— Памфлет доктора Акакия. *(Франц.)*
Стр. 287.— Прощай, прощай, родная сторона! *(Англ.)*
Стр. 289.— Я перестаю ценить Овидия,
Когда он в вялых стихах
Поет мне, пресный и плаксивый,
Тягучие жалобы. *(Франц.)*
Стр. 289.— «Скорбей». *(Латин.)*
Стр. 289.— «Искусство любви». *(Латин.)*
Стр. 290.— Скорбей кн. IV, эл. I. *(Латин.)*
Стр. 299.— «Демократия в Америке». *(Франц.)*
Стр. 322.— Обозреватель. *(Англ.)*
Стр. 322.— Об обязанностях людей. *(Итал.)*
Стр. 328.— тысяча извинений. *(Франц.)*
Стр. 328.— Это вам так мало стоит, а мне доставляет столько удовольствия. *(Франц.)*
Стр. 335.— Сен-Мар. *(Франц.)*
Стр. 338.— Защита народа. *(Латин.)*
Стр. 338.— Кромвель, наш вождь! *(Англ.)*
Стр. 341.— Как ваше здоровье? Буквально: «как вы себя несете?» «Как вы делаете?» *(Франц. и англ.)*

Стр. 344.— Раули. *(Англ.)*
Стр. 349.— Коль господа чинят несправедливость, крестьяне должны платиться жизнью. *(Словенск.)*
Стр. 350.— Господин Вольтер. *(Франц.)*
Стр. 350.— «Утренняя Хроника». *(Англ.)*
Стр. 350.— Турнебю, округ Шамон в Турени. *(Франц.)*
Стр. 350.— Лука д'Арк, владетель Ферона. *(Франц.)*
Стр. 351.— А ты, храбрая амазонка,
Позор англичанам и опора трона. *(Франц.)*
Стр. 351.— Вольтер — камер-юнкер французского короля. *(Франц.)*
Стр. 352.— г-жи Жофрен. *(Франц.)*
Стр. 352.— Вот грубое лицо. *(Итал.)*
Стр. 354.— «Хорек». *(Франц.)*
Стр. 354.— предприниматели. *(Франц.)*
Стр. 355.— Точность — вежливость поваров. *(Франц.)*
Стр. 356.— Эно и Икаэль [1]

Трагедия

Действующие лица

Принц Эно
Принцесса Икаэль, возлюбленная принца Эно
Аббат Пекю, соперник принца Эно
Икс, Игрек, Зед — стража принца Эно

Сцена единственная

Принц Эно, принцесса Икаэль, аббат Пекю, стража.

Эно

Аббат, уступите...

Аббат

Черт!

Эно *(налагая руку на секиру)*

У меня секира!

Икаэль *(бросаясь в объятия Эно)*

Икаэль любит Эно *(они нежно обнимаются)*

Эно *(с живостью обернувшись)*

Пекю остался? Икс, Игрек, Зед! Возьмите аббата и бросьте его в окошко. *(Франц.)*

[1] Слова действующих лиц созвучны названию букв французского алфавита.

НАБРОСКИ, ЗАПИСИ, КОНСПЕКТЫ, ПЛАНЫ

Стр. 363.— *1.* Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же, как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п... Они убедятся, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными.

2. Так как конституции,— которые являются крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, который не будет единственным,— необходимо стремятся к сокращению численности войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, то возможно, что менее чем через 100 лет не будет уже постоянной армии.

3. Что касается великих страстей и великих воинских талантов, для этого останется гильотина, ибо общество вовсе не склонно любоваться великими замыслами победоносного генерала: у людей довольно других забот, и только ради этого они поставили себя под защиту законов.

Руссо, рассуждающий не так уж плохо для верующего протестанта, говорит в подлинных выражениях: «То, что полезно для народа, возможно ввести в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противоречат. Несомненно, идея вечного мира в настоящее время весьма абсурдный проект; но пусть вернутся Генрих IV и Сюлли, и вечный мир станет снова разумной целью; или точнее: воздадим должное этому прекрасному плану, но утешимся в том, что он не осуществляется, так как это может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества». Ясно, что эти ужасные средства, о которых он говорил,— революция. Но вот они настали. Я знаю, что все эти доводы очень слабы, и свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не одержавшего ни одной победишки, не может иметь никакого, веса, но спор всегда хорош, так как способствует пищеварению; впрочем, он еще никогда никого не убедил, и только глупцы думают противное. *(Франц.)*

Стр. 364.— «Злословец». *(Франц.)*

Стр. 365.— Я предполагаю в условиях деспотического государства существование рабов и людей свободных, т. е. таких, коих собственность и воля зависят от законов монарха, и таких, которые являются собственностью каких-нибудь лиц.

Этот порядок приближается к патриархальному строю, избавляет правительство от бесконечного количества затруднений, потрясений, упрощает управление и придает ему большую мощь.

Итак, остерегайтесь уничтожить рабство, особенно в монархическом государстве.

Свобода крестьян. *(Франц.)*

Стр. 365.— Почти все верования дают человеку два... имеется нечто такое же отвратительное, как атеизм, отвергаемый человеком. *(Франц.)*

Стр. 366.— Не допускать существования божества значит быть нелепее народностей, думающих по крайней мере, что мир покоится на носороге. *(Франц.)*

Стр. 366.— Вальтера Скотта.

Стр. 366.— напыщенностью. *(Франц.)*

Стр. 366.— достоинством. *(Франц.)*

Стр. 366.— То, что мне противно... *(Франц.)*

Стр. 366.— Что нас очаровывает в историческом романе — это то, что историческое в них есть подлинно то, что мы видим. *(Франц.)*

Стр. 366.— Шекспир, Вальтер Скотт.

Стр. 366.— достоинство и благородство. *(Франц.)*

Они просты в буднях жизни, в их речах нет приподнятости, театральности, даже в торжественных случаях, так как величественное для них обычно.

Видно, что Вальтер Скотт принадлежит к интимному кругу английских королей. *(Франц.)*

Стр. 366.— Невежество русских бар. Между тем как мемуары, политические произведения, романы — Наполеон газетчик, Каннинг поэт, Брум, депутаты, пэры, женщины. У нас баре не умеют писать. Третье сословие. Аристократия.

Стр. 366.— Устойчивость — первое условие общественного благополучия. Как она согласуется с непрерывным совершенствованием? *(Франц.)*

Стр. 366.— Барнав, Исповедь. Обезглавленная женщина. Евгений Сю. Де Виньи. Гюго. Бальзак. Сцены из частной жизни. Шагреневая кожа. Мрачные рассказы. Озорные (рассказы). Мюссе. Ночной столик. *(Франц.)*

Стр. 367.— Байрон.

Стр. 367.— Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презирая ее, другие ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не верят. *(Франц.)*

Стр. 368.— Послания патриархов и царей не принадлежат к чистой литературе, так как имеют иное назначение. *(Франц.)*

Стр. 369.— 1. Цивилизация. Деление на классы. О рабстве.
2. Религия. О военном и гражданском. Шпионаж. О рабстве и свободе (как противовесе). О цензуре. О театре. О писателях. Об изгнании. О движении вспять. *(Франц.)*

Стр. 370.— «Вудстоке». *(Англ.)*

Стр. 370.— Аббат Шапп. *(Франц.)*

Стр. 370.— Противоядие. *(Франц.)*

Стр. 370.— Трагические повести. *(Франц.)*

Стр. 370.— Авантюристы и т. п. *(Франц.)*

Стр. 375.— натянутого, принужденного. *(Франц.)*

Стр. 376.— «Важный человек». *(Франц.)*

Стр. 383.— в примечание. *(Франц.)*

Стр. 386.— недобросовестно. *(Франц.)*

Стр. 393.— *Я скажу:* пусть она будет счастлива! И это желание не сможет дать тебе счастья. *(Франц.)*

Стр. 394.— благосклонность. *(Франц.)*

Стр. 396.— Мильвуа. *(Франц.)*

Стр. 397.— «верните мне мои морозы». *(Франц.)*

Стр. 398.— Торрисмондо. *(Итал.)*

Стр. 403.— Дурной вкус. *(Франц.)*

Стр. 407.— Тебя, бога, хвалим. *(Латин.)*

Стр. 422.— Предупреждение читателю. *(Франц.)*

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

Стр. 432.— Жизнью жертвовать истине. *(Латин.)*

Стр. 433.— II. Являюсь, отказавшись от ранней своей манеры. Мне не приходится пестовать безвестное имя и раннюю молодость, и я уже не смею рассчитывать на снисходительность, с какой я был принят. Я уже не ищу благосклонной улыбки минутной моды. Я добровольно покидаю ряды ее любимцев и смиренно благодарю за ту благосклонность, с какой она встречала мои слабые опыты в течение десяти лет моей жизни. *(Франц.)*

Стр. 434. III. Когда я писал эту трагедию, я был один в деревне, никого не видал, читал одни газеты и т. д.— тем охотнее, что я всегда полагал романтизм единственно пригодным для нашей сцены; я убедился, что ошибался. Я испытывал великое отвращение, отдавая читателям свою трагедию, и по крайней мере хотел предварить ее предисловием и сопроводить примечаниями. Но нахожу все это совершенно бесполезным. *(Франц.)*

Стр. 434. IV. *К предисловию.* Так как читатели и критика приняли со *страстным снисхождением* мои первые опыты и в такое время, когда строгость и недоброжелательство вероятно отвратили бы меня от избираемого мной поприща, я обязан им полной признательностью и считаю, что они более не в долгу у меня, так как их суровость или безразличие ныне оказывает малое влияние на мои труды. *(Франц.)*

Стр. 435.— высший свет. *(Англ. и франц.)*

Стр. 435.— см. перевод к стр. 422.

Стр. 439.— Была Троя. *(Латин.)*

Стр. 440.— обозрения. *(Англ.)*

Стр. 441.— Он вступил в круг приближенных к кардиналу Мазарини, который любил его, но эта дружба ничего не приносила. Бенсерад, следуя своему вдохновению, сочинял постоянно свои галантные стихи, доставлявшие ему известность. Однажды кардинал, будучи у короля, рассказывал, как он жил при папском дворе, где он провел свою молодость. Он говорил, что любил науки, но что главным его занятием была литература — и особенно поэзия, в которой он достиг доволь-

но хорошего успеха, и что при папском дворе он был то же, что Бенсерад при французском. Спустя некоторое время кардинал вышел и отправился в свои покои. Через час пришел Бенсерад (известный писатель того времени); его друзья стали ему рассказывать, что говорил кардинал. Едва они кончили, как Бенсерад, охваченный радостью, внезапно оставил их, ничего им не сказав. Он прибежал в покои кардинала и стал стучаться изо всей силы, добиваясь, чтобы его приняли. Кардинал только что лег. Бенсерад так усиленно настаивал и поднял такой шум, что пришлось его впустить. Вбежав, он бросился на колени перед изголовьем кровати его высокопреосвященства и после тысячи извинений за свою наглость сказал ему о том, что он сейчас узнал, и с необыкновенным жаром благодарил за честь, которую ему оказал кардинал, сравнив его с собой в отношении поэтической репутации. Он прибавил, что он так был польщен, что не мог сдержать радости и, что он бы умер у его дверей, если бы ему помешали войти и изъявить свою признательность. Эта горячность очень понравилась кардиналу. Он уверил его в своем благоволении и обещал, что оно не будет для него бесполезно: и действительно, спустя шесть дней, он назначил ему небольшой пенсион в 2 тысячи франков. Через некоторое время он стал получать другую значительную сумму с аббатства и стал бы епископом, если бы захотел посвятить себя церкви («Исторический и критический словарь» П. Бейля). *(Франц.)*

Стр. 442.— Жюль Жанен.
Стр. 442.— по заблуждению или резонно. *(Франц.)*
Стр. 444.— см. перевод к стр. 200.
Стр. 444.— поведения. *(Франц.)*
Стр. 444.— супружеская неверность. *(Англ.)*
Стр. 450.— в их потребности к низости. *(Франц.)*
Стр. 451.— я это восстанавливаю. *(Франц.)*

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 456.— см. перевод к стр. 9.
Стр. 458.— см. перевод к стр. 17.
Стр. 458.— Маро, вскоре затем, вызвал расцвет баллады, слагал триолеты, рифмовал маскарады. *(Франц.)*
Стр. 464.— см. перевод к стр. 40.
Стр. 464.— см. перевод к стр. 40.
Стр. 464.— см. перевод к стр. 42.
Стр. 464.— Кокетка, недотрога. *(Франц.)*
Стр. 466.— «Сельский человек». *(Франц.)*
Стр. 466.— Корова мирно наполняет повисшее вымя. *(Франц.)*
Стр. 466.— см. перевод к стр. 48.
Стр. 467.— см. перевод к стр. 54.
Стр. 469.— «ученых» вместо «небожителей». *(Латин.)*
Стр. 469.— Оправдательные документы. *(Франц.)*
Стр. 475.— см. перевод к стр. 93.
Стр. 475.— Господин Удар, быть может вам поверят, но к несчастию у вас нет хвоста. *(Франц.)*

Стр. 479.— Последний том Карамзина. *(Франц.)*
Стр. 479.— Кузина Любомирской. *(Франц.)*
Стр. 479.— Рассчитываю вернуться к Шуйскому. *(Франц.)*
Стр. 479.— см. перевод к стр. 114.
Стр. 479.— Вот добросовестная книга, читатель. *(Франц.)*
Стр. 480.— см. перевод к стр. 117.
Стр. 482.— см. перевод к стр. 128.
Стр. 483.— см. перевод к стр. 132.
Стр. 485.— В том же положении, как и до войны. *(Латин.)*
Стр. 485.— см. перевод к стр. 117.
Стр. 486.— см. перевод к стр. 146.
Стр. 489.— см. перевод к стр. 161.
Стр. 490.— «Шесть месяцев в России». *(Франц.)*
Стр. 492.— см. перевод к стр. 187.
Стр. 493.— отвращенный. *(Франц.)*
Стр. 493.— шло своим ходом. *(Франц.)*
Стр. 494.— захватывает все. *(Франц.)*
Стр. 494.— Вольтер.
Стр. 494.— Стерн.
Стр. 500.— см. перевод к стр. 274.
Стр. 500.— см. перевод к стр. 287.
Стр. 500.— Обитель, к М. Д. Д. Н. *(Франц.)*
Стр. 502.— см. перевод к стр. 328.
Стр. 503.— см. перевод к стр. 338.
Стр. 503.— см. перевод к стр. 338.
Стр. 504.— Раули. *(Англ.)*
Стр. 504.— господа. *(Словенск.)*
Стр. 505.— «Хорек». *(Франц.)*
Стр. 506.— Точность — вежливость королей. *(Франц.)*
Стр. 507.— Но она была из мира, где лучшее
Имело худшую судьбу;
И роза, она жила столько, сколько живут розы —
Лишь одно утро. *(Франц.)*
Стр. 508.— Злословец. *(Франц.)*
Стр. 508.— Я предполагаю в условиях деспотического государства... *(Франц.)*
Стр. 508.— почти все верования... *(Франц.)*
Стр. 508.— не допускать... *(Франц.)*
Стр. 509.— Невежество русских бар... *(Франц.)*
Стр. 509.— Устойчивость — первое условие. *(Франц.)*
Стр. 509.— см. перевод к стр. 366.
Стр. 509.— см. перевод к стр. 366.
Стр. 509.— см. перевод к стр. 366.
Стр. 510.— Освобождение Европы. *(Франц.)*
Стр. 511.— Трагические истории нашего времени, сочиненные Ф. де Россе. *(Франц.)*
Стр. 511.— Важный придворный. *(Франц.)*
Стр. 512.— Я скажу... *(Франц.)*
Стр. 512.— Торрисмондо.
Стр. 514.— см. перевод к стр. 432.

СОДЕРЖАНИЕ[1]

[1] Статьи, напечатанные Пушкиным без заглавия и не имеющие заглавия в его рукописях, отмечены звездочкой *.

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Текст проверен и примечания составлены
проф. *Б. В. Томашевским*

*

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Том VII

Редактор издательства *К. Н. Феноменов*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Л. М. Бова* и *Г. А. Мошкина*

Сдано в набор 1/III 1978 г. Подписано к печати 31/VII 1978 г. Формат бумаги $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Печ. л. 17+1 вкл. ($^{1}/_{16}$ печ. л.) =28.67 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 31.40. Изд. № 7012. Тип. зак. № 923. Тираж 300 000. *Цена 3 р. 50 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

Киевская книжная фабрика Республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, д. 24.


А. С. ПУШКИН
VII